СЕН-СИМОН

МЕМУАРЫ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Полные и дополненные воспоминания герцога де Сен-Симона о веке Людвика XIV и Регентстве. Это история не личной жизни и не отдельных частных жизней. Это история целой четко обозначенной эпохи, "века Людовика XIV".

- Полные и доподлинные воспоминания герцога де Сен-Симона о веке Людовика XIV и Регентстве.
  - 23. 1712. Странным образом потерянная табакерка. Характер дофина и хвала ему
  - 24. 1715. О здоровье короля и его смерти
  - 25. 1715. Продолжение дневника последних дней короля
  - 26. 1716. Жизнь и времяпрепровождение герцога Орлеанского
  - 27. 1717. Приезд царя во Францию
  - 28. 1723. Гийом Дюбуа, аббат, с 1721 года кардинал, первый министр в 1722 году, умер в 1723 году
  - 29. 1723. Герцог де Лозен
  - 30. 1723. Скоропостижная смерть герцога Орлеанского
- Заключение
- ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
- ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17

- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61

- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101
- ○ 102
- ○ 103
- ○ 104
- ○ 105

- ○ 106
- ○ 107
- ○ 108
- ○ 109
- ○ 110
- ○ 111
- ○ 112
- ○ 113
- ○ 114
- ○ 115
- ○ 116
- ○ 117
- ○ 118
- ○ 119
- ○ 120
- ○ 121
- ○ 122
- ○ 123
- ○ 124
- ○ 125
- ○ 126
- ○ 127
- ○ 128
- ○ 129
- ○ 130
- ○ 131
- ○ 132
- ○ 133
- ○ 134
- ○ 135
- ○ 136
- ○ 137
- ○ 138
- ○ 139
- ○ 140
- ○ 141
- ○ 142
- ○ 143
- ○ 144
- ○ 145
- ○ 146
- ○ 147
- ○ 148
- ○ 149

- ○ 150
- ○ 151
- ○ 152
- ○ 153
- ○ 154
- ○ 155
- ○ 156
- ○ 157
- ○ 158
- ○ 159
- ○ 160
- ○ 161
- ○ 162
- ○ 163
- ○ 164
- ○ 165
- ○ 166
- ○ 167
- ○ 168
- ○ 169
- ○ 170
- ○ 171
- ○ 172
- ○ 173
- ○ 174
- ○ 175
- ○ 176
- ○ 177
- ○ 178
- ○ 179
- ○ 180
- ○ 181
- ○ 182
- ○ 183
- ○ 184
- ○ 185
- ○ 186
- ○ 187
- ○ 188
- ○ 189
- ○ 190
- ○ 191
- ○ 192
- ○ 193

- ○ 194
- ○ 195
- ○ 196
- ○ 197
- ○ 198
- ○ 199
- ○ 200
- ○ 201
- ○ 202
- ○ 203
- ○ 204
- ○ 205
- ○ 206
- ○ 207
- ○ 208
- ○ 209
- ○ 210
- ○ 211
- ○ 212
- ○ 213

Полные и доподлинные воспоминания герцога де Сен-Симона о веке Людовика XIV и Регентстве.
Избранные главы. Книга 2

23. 1712. Странным образом потерянная табакерка. Характер дофина и хвала ему

В пятницу 5 февраля герцог де Ноайль подарил дофине очень красивую табакерку, полную превосходного испанского табака; дофина угостилась и похвалила табак. Было это поздним утром. Войдя к себе в кабинет, куда никто, кроме нее, не входил, она положила табакерку на стол и оставила там. К вечеру у дофины начался озноб. Она легла в постель и не могла подняться даже для того, чтобы пойти после ужина в кабинет к королю. В субботу, 6-го, пострадав всю ночь от лихорадки, дофина тем не менее встала в обычное время и провела день по заведенному порядку; но вечером ее вновь залихорадило. Лихорадка, правда не слишком сильная, продержалась всю ночь, а в воскресенье, 7-го, несколько улеглась; однако часов в шесть вечера у дофины внезапно начались очень сильные боли чуть ниже виска; больное место было размером не больше монетки в шесть су, но боль была так мучительна, что дофина передала королю, пришедшему ее проведать, что просит его не входить. Невыносимая боль не прекращалась до понедельника; облегчение принес только табак, курительный и жевательный, к коему подмешан был опиум, да два кровопускания из руки. Едва боль немного успокоилась, как поднялась лихорадка сильнее прежнего. Дофина сказала, что не страдала так и при родах. Столь жестокая хворь вызвала среди дам пересуды о табакерке, которую поднес дофине герцог де Ноайль. В день, когда это произошло, в пятницу 5-го числа, дофина, ложась в постель, рассказала дамам о подношении, расхвалила и табак и табакерку, потом послала за нею герцогиню де Леви к себе в кабинет, сказав, что та найдет ее на столе. Герцогиня отправилась, но ничего не нашла; скажу сразу, что, как ее ни разыскивали, никто более не видел этой табакерки с тех самых пор, как дофина оставила ее на столе у себя в кабинете. Когда обнаружилась эта пропажа, она показалась весьма странной; тщетность поисков, которые велись еще долго, в сочетании со столь загадочным несчастьем, приключившимся так скоро, породила самые зловещие подозрения. До человека, подарившего табакерку, эти подозрения не дошли; все так старательно их скрывали, что он о том и не услышал; толки не выходили за пределы самого узкого круга. Принцессу обожали и многого от нее ждали; от ее жизни зависело положение тех, кто входил в этот круг, — оно изменилось бы с переменой ее собственного положения. Табак она нюхала тайком от короля,

хотя и без особой опаски, поскольку г-жа де Ментенон об этом знала; но ей пришлось бы дорого поплатиться, если бы об этом проведал король; потому-то все и боялись разгласить странную пропажу табакерки. В ночь с понедельника на вторник 9 февраля дофина была в полном забытьи: днем король много раз подходил к ее постели, но у дофины была сильная лихорадка; иногда больная ненадолго просыпалась, однако сознание ее было затуманено; на коже появились признаки сыпи, дававшие надежду на корь, потому что корью болели в это время многие заметные особы в Версале и в Париже. Ночь со вторника на среду 10-го прошла дурно, тем более что надежда на то, что это корь, рухнула. Король с самого утра пришел к дофине, которой перед тем дали рвотное. Снадобье подействовало исправно, однако не принесло никакого облегчения. Дофина, сидевшего неотступно у нее в алькове, силой заставили спуститься в сады и подышать свежим воздухом: это было ему необходимо, но вскоре тревога погнала его обратно в опочивальню. К вечеру боли усилились. В одиннадцать часов лихорадка возобновилась с удвоенной силой. Ночь прошла ужасно. В четверг, 11 февраля, король в девять утра уже был у дофины; г-жа де Ментенон почти не отлучалась от нее, за исключением того времени, когда принимала короля у себя в покоях. Принцесса была так плоха, что решили предложить ей причаститься. Как ни страдала дофина, это предложение ее поразило: она стала расспрашивать о своем состоянии; ей отвечали, стараясь преуменьшить опасность, но советовали все же принять причастие и постепенно убедили, что лучше с этим не медлить. Она поблагодарила за то, что с ней говорят начистоту, и сказала, что приготовится к причастию. Спустя немного времени появились опасения, что несчастье может произойти с минуты на минуту. О. Ла Рю, иезуит, ее духовник, которого она, казалось, всегда любила, приблизился к ней и стал умолять не откладывать долее исповедь; дофина взглянула на него, сказала, что прекрасно его слышит, и ничего больше не прибавила. Ла Рю предложил ей исповедоваться немедленно, но ответа не добился. Будучи умным человеком, он понял, в чем дело; будучи человеком добрым, тут же перестал настаивать и сказал ей, что, возможно, она не желает исповедоваться именно ему; в таком случае он заклинает ее не насиловать себя, а главное, ничего не бояться; он обещает ей, что все уладит сам; он только просит ее сказать, от кого она хотела бы принять причастие, и он, Ла Рю, приведет ей этого священника. Тогда она призналась, что желала бы исповедоваться г-ну Байи, священнику миссии Версальского прихода. Это был почтенный человек, исповедник самых порядочных придворных, не чуждый, выражаясь языком того

времени, душка янсенизма, что, впрочем, было весьма редко среди бернардинцев. Он был исповедником г-жи де Шатле и г-жи де Ногаре, придворных дам, от которых дофина иногда о нем слышала. Оказалось, что Байи уехал в Париж. Принцессу это явно огорчило, и она захотела его дождаться, но о. Ла Рю убедил ее, что лучше не терять драгоценного времени, которое, получив причастие, она с большей пользой уделит докторам, и тогда она попросила, чтобы ей привели францисканца, коего звали о. Ноэль; о. Ла Рю тут же сходил за ним и привел к дофине. Можно себе представить, какого шуму наделала перемена духовника в столь критическую и опасную минуту и на какие мысли навела людей. Я вернусь к этому позже, а теперь не хочу прерывать повествования, проникнутого столь печальным интересом. Дофин был убит горем; он из последних сил старался скрыть свою муку, чтобы не покидать изголовья дофины. Но у него началась такая сильная лихорадка, что утаить ее было невозможно; врачи, желавшие избавить его от ужасного зрелища, которое предвидели, сделали все, что было можно, чтобы самим и при посредстве короля удержать дофина у него в покоях с помощью вымышленных известий о состоянии его жены.

Исповедь была долгой. Вслед за нею дофину сразу соборовали и причастили; король сам принял святые дары у подножия главной лестницы. Часом позже дофина попросила читать отходную. Ей возразили, что она вовсе не так плоха, и, утешив ее, уговорили, чтобы она попыталась уснуть. Днем пришла королева Английская; ее провели по галерее в гостиную, примыкавшую к опочивальне дофины. В гостиной находились король и г-жа де Ментенон; туда же пригласили докторов, чтобы те устроили в их присутствии консилиум: докторов было семеро — придворных и вызванных из Парижа. Все в один голос высказались за то, чтобы пустить кровь из ноги прежде, чем опасность усугубится, а в случае, если кровопускание не принесет желаемого успеха, на исходе ночи дать больной рвотное. В семь часов вечера отворили кровь. Начался новый приступ болей; врачи нашли, что он слабее предыдущего. Ночь принесла больной ужасные мучения. Рано утром проведать дофину пришел король. В девять утра ей дали рвотное, но оно почти не помогло. Весь день одни признаки болезни сменялись другими, все более изнурительными; изредка к больной возвращалось сознание. Совсем уже вечером в опочивальню, несмотря на присутствие короля, допустили множество народу; от духоты нечем было дышать; незадолго до того, как больная испустила дух, король вышел, сел в карету у главного подъезда и вместе с г-жой де Ментенон и г-жой де Келюс уехал в Марли. И король, и г-жа де

Ментенон были убиты горем; они не нашли в себе сил посетить дофина.

Никогда не бывало принцессы, которая, явившись при дворе в таких юных летах, была бы так прекрасно к тому подготовлена и так умела воспользоваться полученными советами. Ее хитроумный отец,[1] досконально знавший наш двор, описал его дочери и научил ее единственному способу, как прожить при дворе счастливо. Ей помогли в этом врожденный ум и понятливость; у ней было много обаятельных черт, привлекавших к ней сердца, а положение, которое она занимала благодаря супругу, королю и г-же де Ментенон, приносило ей самые лестные почести. Она искусно добивалась этого с самых первых минут пребывания при дворе; всю жизнь она не покладая рук трудилась, дабы упрочить свое положение, и беспрестанно пожинала плоды своего труда. Кроткая, застенчивая, но умная и сообразительная, добрая до того, что боялась причинить малейшее огорчение кому бы то ни было, и вместе с тем веселая и легкомысленная, прекрасно умевшая облюбовать себе цель и упорно ее преследовать, она, казалось, с легкостью переносила любое, самое суровое, принуждение, давившее на нее всей своей тяжестью. Она была полна дружелюбия: оно било в ней ключом. Она была весьма некрасива: щеки отвислые, лоб чересчур выпуклый, нос незначительный, но пухлые вызывающие губы, роскошные темно-каштановые волосы и того же цвета изящно очерченные брови; глаза у ней были выразительнее всего и воистину прекрасны — а вот зубов мало, и все гнилые, о чем она сама упоминала и над чем подшучивала; превосходный цвет лица, чудесная кожа, грудь невелика, но прелестна, длинная шея с намеком на зоб, ничуть ее не портивший, изящная, грациозная и величественная посадка головы, такой же взгляд, выразительнейшая улыбка, высокий рост, округлый, тонкий, легкий, изумительно стройный стан и поступь богини в облаках. Она'необычайно всем нравилась; невольная грация сказывалась в каждом ее шаге, во всех манерах, в самых незначительных речах. Ее простота и естественность, частенько проявлявшиеся в простодушии, но приправленные остроумием, очаровывали всех, равно как ее непринужденность, сообщавшаяся каждому, кто с нею соприкасался. Она желала нравиться всем подряд, даже самым для нее бесполезным, самым заурядным людям, хотя никакой искательности в ней не было. Казалось, она всей душой безраздельно принадлежит тому, с кем говорит сию минуту. Ее живая, юная, заразительная веселость одушевляла все вокруг; с легкостью нимфы поспевала она везде, подобно вихрю, который вьется одновременно во многих местах, повсюду внося движение

и жизнь. Она была украшением всех спектаклей, душой празднеств, увеселений, балов и всех пленяла там грацией, тактом и танцевальным искусством. Она любила игру, и игра по маленькой ее развлекала, поскольку она находила удовольствие в любом занятии; но предпочитала она крупную игру, играла четко, точно, не имея себе равных; в одно мгновение она оценивала шансы каждого, с той же радостью и увлечением в послеобеденные часы предавалась она серьезному чтению, вела беседы о книгах, трудилась со своими «серьезными дамами»-так называли тех ее придворных дам, которые были старше других по возрасту. Она ничего не берегла, даже здоровья, и вплоть до самых мелочей помнила всегда обо всем, что могло доставить ей приязнь короля и г-жи де Ментенон. С ними обоими она обнаруживала немыслимую гибкость, не изменявшую ей ни на минуту. Эта гибкость сочеталась в ней со сдержанностью, которую хранила дофина, хорошо знавшая короля и г-жу де Ментенон по опыту и благодаря своим наблюдениям; свой веселый нрав она проявляла лишь в умеренной степени и к месту. Она приносила им в жертву все — удовольствия, забавы и, повторяю, здоровье. Этим путем она добилась такой близости к ним, коей не удостоивался не только никто из законных детей короля, но даже ни один незаконнорожденный. На людях серьезная, благонравная, почтительная с королем, застенчивая и ласковая с г-жой де Ментенон, которую называла всегда не иначе, как «тетя», изящно смешивая степень родственной и дружеской близости, в семейном кругу она болтала, прыгала, вилась вокруг них; то присаживалась к ним на подлокотник кресла, то вспархивала на колени, бросалась им на шею, обнимала, целовала, ласкала, тискала, дергала за подбородки, донимала их, рылась у них в столах, в бумагах, в письмах, распечатывала эти письма, а подчас и читала их без спросу, когда видела, что король и г-жа де Ментенон в добром расположении духа и только посмеются над этим, и высказывалась о том, что было там написано; от нее ничего не скрывали, она присутствовала при том, как принимали курьеров с важнейшими известиями; к королю она входила когда угодно, даже во время совета; самим министрам она подчас оказывалась полезна, подчас опасна, но всегда готова была делать им одолжения, услуги, выручать, угождать, если только не была сильно предубеждена против кого-нибудь из них; так, она ненавидела Поншартрена, коего иногда при короле называла «ваш кривой урод», и Шамийара, не любить коего были у нее более существенные причины; она вела себя так свободно, что, слушая как-то вечером, как король и г-жа де Ментенон с одобрением говорили об английском дворе и о том,

как вначале все ожидали, что королева Анна[2] будет способствовать миру, дофина заявила: «Следует признать, тетя, что в Англии королевы правят лучше королей, а знаете, тетя, почему? — и, все так же бегая и прыгая, продолжала: — Потому что при королях правят женщины, а при королевах мужчины». Поразительно, что, слыша это, король и г-жа де Ментенон расхохотались и признали ее правоту. Я никогда не осмелился бы описать в серьезных мемуарах следующий случай, когда бы он лучше, нежели любой другой, не давал представления о том, с какой смелостью она говорила и делала при них что угодно. Я уже описывал, как располагались обычно в покоях г-жи де Ментенон она сама и король. Однажды вечером в Версале давали комедию; перед тем принцесса вдоволь наболталась обо всем на свете; тут вошла Нанон, старая горничная г-жи де Ментенон, о коей я уже несколько раз упоминал; увидев ее, принцесса в пышном своем туалете и в драгоценностях подошла к камину и стала к нему спиной, прислонясь к небольшому экрану между двух столиков. Нанон, держа руку как бы в кармане, зашла ей за спину и опустилась на колени. Король, сидевший к ним ближе всех, обратил на это внимание и спросил, что они там делают. Принцесса рассмеялась и отвечала, что занимается тем же делом, что и всегда в те дни, когда дают комедии. Король не унимался. «Ах, так вы ничего не заметили? Да ведь она ставит мне клистир». «Как?! — вскричал король, задыхаясь от смеха. — Вот сейчас, здесь, она ставит вам клистир?» «Ну разумеется, — отвечала принцесса. — А вам как его ставят?» И все четверо покатились со смеху. Нанон, оказывается, под юбками проносила в гостиную клистирную трубку с водой, задирала юбки принцессе, которая придерживала их, словно греясь у камина, покуда Нанон вставляла клистир. Потом юбки опускались, Нанон прятала и уносила трубку, и со стороны ничего не было заметно. Король и г-жа де Ментенон не обращали на это внимания или думали, что Нанон что-то поправляет в туалете принцессы. Они изрядно удивились и нашли все это забавным. Удивительно, что после клистира принцесса отправлялась в комедию, не испытывая потребности извергнуть из себя воду; иногда она делала это лишь после ужина и посещения кабинета короля; она уверяла, что это ее освежает, а иначе у нее в комедии разболелась бы голова от духоты. После того как это обнаружилось, она не стала церемониться больше, чем до того. Короля и г-жу де Ментенон она знала в совершенстве; она постоянно видела и понимала, что представляют собой г-жа де Ментенон и м-ль Шуэн. Однажды вечером, собираясь идти в постель, где ждал ее герцог Бургундский, она, сидя на стульчаке, болтала с г-жой де Ногаре и

с г-жой де Шатле, которые наутро мне о том рассказали; в такие минуты она охотнее всего пускалась в откровенности; итак, она с восторгом говорила с ними об обеих феях, а потом засмеялась и добавила: «Я хотела бы умереть раньше герцога Бургундского, но видеть после смерти все, что здесь будет; я уверена, что он женится на монахине медонской общины или привратнице монастыря дочерей св. Марии». Герцогу Бургундскому она старалась угодить неменьше, чем самому королю, и хотя частенько грешила излишним легкомыслием и чересчур полагалась на молчание тех, кто ее окружал, но величие и слава мужа были предметом ее неусыпного внимания. Мы видели, как затронули ее события Лилльской кампании и ее последствия, видели, какие старания прилагала она ради возвышения мужа и как полезна ему бывала в весьма важных делах, которыми, как уже говорилось, он был ей всецело обязан. Король не мог без нее обойтись. Часто, когда он, побуждаемый дружбой и нежностью, заставлял принцессу участвовать в увеселениях, которые могли бы ее развлечь, в семейном кругу никто не в силах был заменить ему ее, и до самого ужина, к коему она почти всегда поспевала, весь облик короля словно хранил на себе печать озабоченности и уныния. Но и принцесса, хоть и любила увеселительные поездки, была в этом отношении очень сдержанна и всегда дожидалась, пока ей прикажут ехать. Она весьма тщательно старалась навещать короля перед отъездом и по приезде, и, если случалось ей пропустить ночь — зимою из-за бала, летом из-за увеселительной поездки, — она всегда ухитрялась прийти наутро поцеловать короля, как только он проснется, и позабавить его рассказом о празднестве. Я уже столь подробно рассказывал, какие притеснения чинили ей Монсеньор и его приближенные, что не стану повторяться; скажу лишь, что большая часть двора ничего не замечала — так старательно скрывала принцесса свои обиды под видом непринужденных отношений со свекром, дружбы с теми, кои были ей при дворе всех враждебнее, и свободы в их кругу в Медоне; это стоило ей бесконечной изворотливости и такта. Однако она весьма чувствовала вражду и после смерти Монсеньора решила отплатить им тою же монетой. Как-то вечером в Фонтенбло все принцессы и их дамы собрались после ужина в кабинете, где был король; дофина болтала обо всем на свете и дурачилась без удержу, чтобы развеселить короля, которому это было приятно, как вдруг заметила, что герцогиня Бурбонская и принцесса де Конти переглядываются, обмениваются знаками и передергивают плечами с презрительным и высокомерным видом. Когда король поднялся и по обыкновению прошел в задний кабинет, чтобы покормить

собак, собираясь затем вернуться и пожелать принцессам доброй ночи, дофина одной рукой привлекла к себе г-жу де Сен-Симон, другой г-жу де Леви и, кивая им на герцогиню Бурбонскую и принцессу де Конти, стоявших в нескольких шагах, сказала: «Вы видели, видели? Я не хуже их знаю, что городила вздор и вела себя как дурочка; да ведь ему нужно, чтобы был шум: это его развлекает, — и, опираясь на их руки, тут же принялась прыгать и распевать: — А мне смешно на них смотреть! А я над ними потешаюсь! А я буду их королевой! А мне они не нужны, и теперь не нужны, и никогда не понадобятся! А им придется со мною считаться! А я буду их королевой!» — и прыгала, и скакала, и веселилась при этом от души. Дамы потихоньку стали ее унимать, говоря, что принцессам все слышно и что все на нее смотрят; сказали даже, что она с ума сошла, благо от них она сносила любые замечания. Тогда дофина запрыгала еще выше и замурлыкала еще громче: «А мне на них смешно смотреть! А они мне не нужны! А я буду их королевой!» — и не замолчала, покуда не вернулся король.

Увы! Бедная дофина думала, что будет королевой, да и кто этого не думал? К нашему несчастью, Богу было угодно, чтобы вышло иначе. Принцесса была так далека от подобных мыслей, что в день сретенья Господня у себя в спальне, где, кроме г-жи де Сен-Симон, почти никого с нею не было, потому что почти все дамы ушли в часовню и только г-жа де Сен-Симон осталась, чтобы сопровождать ее к проповеди, поскольку у герцогини дю Люд приключилась подагра, а графини де Майи не было, а эти дамы обычно тоже сопровождали принцессу, дофина завела речь о том, как много придворных дам, коих она знавала, ушли из жизни; потом заговорила о том, что она будет делать, когда состарится: как станет жить, как из сверстниц не останется никого, кроме г-жи де Сен-Симон и г-жи де Лозен, и как они будут втроем вспоминать о том, что видели, что делали когда-то; и эти рассуждения продолжались, пока не настало время идти слушать проповедь.

Она искренне любила герцога Беррийского и поначалу привязалась к герцогине Беррийской, желая превратить ее в подобие собственной дочери. Она глубоко почитала Мадам и нежно любила Месье, который отвечал ей такою же любовью и устраивал для нее увеселения и удовольствия, какие только мог; и все это перенесла она на герцога Орлеанского, в коем принимала неподдельное участие независимо от завязавшихся у нее позже отношений с герцогиней Орлеанской. Благодаря ей они получали сведения о короле и г-же де Ментенон и пользовались ее посредничеством в сношениях с ними. Дофина сохранила

глубокую и пылкую привязанность к герцогу и герцогине Савойским, а также к родным краям, иногда даже вопреки своему желанию. Ее выдержка и благоразумие проявились во время разрыва и после него.[3] Король был так внимателен, что избегал при ней любых разговоров, которые могли бы коснуться Савойи, а принцесса выказала во всем блеске искусство красноречивого молчания, но по редким замечаниям, вырывавшимся у нее, было видно, что она француженка душой, хотя в то же время она давала понять, что не может изгнать из сердца отца и родной край. Мы видели, какая дружба, какое участие и какие непрерывные сношения связывали ее с королевой, ее сестрой.[4] Во всех своих великих, причудливых и таких чарующих проявлениях она сочетала в себе принцессу и женщину: не то чтобы она могла выдать чужую тайну — здесь она была надежна, как скала, не то чтобы по легкомыслию нарушала планы других людей, но были у нее легкие недостатки, по-человечески вполне понятные. Ее дружба бывала следствием расчета, развлечений, привычек, надобностей; исключений из этого правила я не видел, кроме одной только г-жи де Сен-Симон; принцесса сама в этом признавалась с таким милым простодушием, которое почти заставляло примириться с этим изъяном в ней. Как было уже сказано, она хотела нравиться всем; но она не могла воспретить себе того, чтобы и ей кто-то понравился. Прибыв во Францию, она долгое время оставалась удалена от общества; затем ее приблизили раскаявшиеся старые интриганки,[5] чьи романтические души еще были полны галантности, хотя дряхлость, свойственная их летам, лишила их удовольствий, сопряженных с галантностью. Потом мало-помалу принцесса все более отдавалась свету и, останавливая свой выбор на тех, кто вился вокруг нее, руководствовалась больше своей симпатией, чем добродетелями этих людей. Приветливая по натуре, принцесса охотно приноравливалась к наиболее близким людям; никто из них не видел пользы в том, что она охотно и с радостью проводила время в разумных занятиях и в дневные часы чтение перемежалось у нее с полезными беседами исторического или благочестивого содержания с приближенными к ней пожилыми дамами, и в этом черпала она больше удовольствия, чем в рискованных разговорах по секрету, в которые вовлекали ее другие, причем сама она вовсе к этому не стремилась, удерживаемая природной застенчивостью и остатками деликатности. Тем не менее она дала увлечь себя довольно далеко,[6] и, не будь она так мила и не пользуйся всеобщей любовью, чтоб не сказать — обожанием, это накликало бы на нее тяжкие неприятности. Ее смерть пролила свет на эти тайны и

обнажила всю ту непрестанную жестокость, с которою король тиранил душу тех, кто принадлежал к его семье. Каково было изумление короля и всего двора в те ужасные минуты, когда никто не знал, что будет, а все сиюминутное казалось не имеющим значения и вдруг она, нарушая тем самым весь порядок, пожелала сменить духовника,[7] чтобы получить последнее причастие! Мы уже видели, что в неведении оставались только ее супруг и король, что г-жа де Ментенон все знала и была крайне озабочена тем, чтобы ни тот, ни другой ни о чем не проведали, а сама запугивала ими принцессу; но при этом г-жа де Ментенон любила ее, вернее, души в ней не чаяла: обходительность и очарование принцессы покорили ее сердце; г-жа де Ментенон развлекала ими короля с пользою для себя, и, как это ни поразительно, так оно и было: г-жа де Ментенон прибегала к поддержке принцессы, а иногда и советовалась с нею. При всей своей любезности принцесса меньше всего на свете заботилась о своей наружности и меньше всех уделяла ей времени и трудов: наряжалась в одну минуту, да и то лишь ради придворных. Она не утруждала себя ношением драгоценностей иначе как на празднествах и балах, а в прочее время носила их как можно меньше, да и то лишь ради короля. С ее смертью затмились радость, веселье, всякие развлечения и все самое изящное: сумерки подернули поверхность двора. Она оживляла собою весь двор; она заполняла собой разом все его уголки, занимала его весь целиком, проникала в самую его глубину; двор только затем и пережил ее, чтобы тосковать. Никогда ни об одной принцессе не жалели так, как о ней; никогда не бывало особы, более достойной быть принцессой. Поэтому сожаления о ней не иссякали; невольная, тайная скорбь надолго воцарилась в сердцах, и осталась ужасная пустота, коей ничто не могло заполнить.

Король и г-жа де Ментенон, проникнутые острым горем, единственным неподдельным горем в их жизни, прибыли в Марли и прежде всего направились в покои г-жи де Ментенон; король поужинал в одиночестве у нее в опочивальне и провел некоторое время у нее в кабинете в обществе герцога Орлеанского и внебрачных детей. Герцог Беррийский, сам пораженный искренней и глубокой скорбью и еще более удрученный отчаянием брата, не имевшим границ, остался в Версале вместе с герцогиней Беррийской, которая была в восторге, что избавилась от той, кто превосходила ее по своему положению, пользовалась большей любовью, чем она, и кому она всем была обязана; однако герцогиня Беррийская постаралась подчинить свои чувства рассудку и вполне удержалась в пределах приличий. На другое утро герцог и герцогиня Беррийские отбыли в Марли, чтобы

поспеть к пробуждению короля.

Его высочество дофин был болен; сердце его надрывалось от сокровеннейшей и горчайшей скорби; он не выходил из своих покоев и не желал видеть никого, кроме брата, духовника[8] да герцога де Бовилье, который уже неделю или около того лежал больной у себя в городском доме, но тут совершил над собой усилие, встал с постели и приехал к своему питомцу; он восхищался величием, какое ниспослал дофину Всевышний, величием, которое обнаружилось, как никогда, в этот ужасный день и во все последующие, вплоть до самой его смерти. Это была последняя их встреча в этом мире, о чем они тогда не подозревали. Шеверни, д'О и Гамаш ночевали в покоях дофина, однако видели его лишь считанные мгновения. В субботу утром, 13 февраля, они заставили его уехать в Марли, дабы избавить его от ужасающего шума над его головой, в покоях, где умерла дофина. В семь утра он через заднюю дверь вышел из своих покоев и опустился в голубой портшез,[9] в коем его отнесли к карете. И портшез, и карету обступили полусонные, но обуреваемые любопытством придворные; они отвесили ему поклоны, которые он учтиво принял. Свита его — Шеверни, д'О и Гамаш — села в карету вместе с ним. Возле часовни он вышел, прослушал мессу, а оттуда велел перенести себя в портшезе к стеклянным дверям своих покоев и вошел в дом. К нему немедля явилась г-жа де Ментенон; можно себе представить, как горестна была их встреча; не в силах ее перенести, г-жа де Ментенон вскоре удалилась. Дофину пришлось вытерпеть посещения принцев и принцесс, которые из деликатности оставались у него всего по несколько минут, в том числе и герцогиня Беррийская, которую сопровождала г-жа де Сен-Симон, к коей дофин обратился с выражением живейшей скорби, общей для них обоих. Некоторое время он оставался наедине с герцогом Беррийским. Приближалось пробуждение короля; Шеверни, д'О и Гамаш вошли к дофину, и я рискнул войти вместе с ними. С мягкостью и приязнью, тронувшими меня до глубины души, дофин дал мне понять, что заметил меня; но я был потрясен его вымученным, безжизненным, совершенно отрешенным взглядом, переменой в его чертах и какими-то пятнами, не красными, а скорее белесыми и довольно большими, испещрившими ему все лицо, — это было замечено, помимо меня, всеми, кто был в комнате. Дофин стоял; несколько мгновений спустя ему доложили, что король проснулся. На глаза ему навернулись слезы, которые он старался удержать. Услышав известие, он молча обернулся, но не двинулся с места. В комнате были только трое его приближенных, я и Дюшен. Приближенные раз и другой предложили ему идти к

королю; он не шевельнулся и ничего не ответил. Я приблизился и сделал ему знак, что надо идти, а затем тихо обратился к нему с тем же предложением. Видя, что он стоит и молчит, я осмелился взять его за руку и сказать, что рано или поздно ему все равно придется увидеться с королем, что король его ждет, наверняка хочет поскорее увидеть и обнять и что любезнее было бы не откладывать эту встречу; так его уговаривая, я отважился тихонько его подтолкнуть. Он бросил на меня душераздирающий взгляд и пошел. Я проследовал за ним несколько шагов и удалился, чтобы перевести дух. Больше я его не видел. Молю милосердного Господа, чтобы я вечно видел его там, где, вне всякого сомнения, удостоен он быть за свою доброту!

Те немногие, кто был в то время в Марли, собрались в большой гостиной. Принцы, принцессы и те, кто имел свободный доступ к королю, находились в малой гостиной между покоями короля и г-жи де Ментенон, а г-жа де Ментенон была у себя в опочивальне; когда ее известили о пробуждении короля, она одна вошла к нему через малую гостиную, минуя всех, кои там собрались и вошли несколько позже. Дофин проник к королю через кабинеты и обнаружил у него в опочивальне всю эту толпу; король, как только его увидел, подозвал и нежно обнял; он долго не отпускал внука, то и дело привлекая к себе в объятия. Эти первые, очень трогательные мгновения сопровождались бессвязными словами, которые прерывались слезами и рыданиями. Чуть позже король вгляделся в дофина, и его испугало то же, что и нас, когда мы видели принца у него в спальне. Все, кто был у короля, также пришли в ужас, особенно врачи. Король велел им пощупать у дофина пульс, и пульс им не понравился — так они сказали позже; тогда они ограничились тем, что объявили, что пульс нечеткий и принцу лучше бы пойти лечь в постель. Король еще раз его обнял, очень ласково посоветовал поберечь себя и приказал ему идти в постель; дофин повиновался, и больше он уже не вставал. Было довольно позднее утро; король провел мучительную ночь, у него болела голова; за обедом он увидел, что из высокопоставленных придворных к столу явились немногие. После обеда король пошел проведать дофина, у которого усилилась лихорадка и ухудшился пульс; затем король прошел к г-же де Ментенон и поужинал с нею наедине; после этого побыл немного у себя в кабинете в обществе тех, кто обыкновенно туда приходил. Дофин не виделся ни с кем — только с дворянами из своей свиты, иногда ненадолго с докторами, с некоторыми из дворян, принадлежавших к свите его брата; довольно долго у него пробыл исповедник; ненадолго был допущен г-н де Шеврез; весь день дофин провел в молитвах и

слушал, как ему читали религиозные книги. Составили список, уведомили тех, кто был допущен в Марли, как то было сделано после смерти Монсеньера; и те, кто вошел в этот список, стали прибывать один за другим. Следующий день, воскресенье, король провел так же, как накануне. Здоровье дофина возбуждало все большую тревогу. Принц сам в присутствии Дюшена и г-на де Шеверни не скрыл от Будена, что не надеется на исцеление и, судя по тому, как он себя чувствует, у него нет сомнений в том, что все будет именно так, как он предсказал. Он возвращался к этой мысли несколько раз с большим равнодушием, с презрением ко всему мирскому и его соблазнам, с несравненным смирением и любовью к Богу. Невозможно выразить, насколько все были потрясены. В понедельник 15-го королю отворяли кровь; дофину было не лучше, чем накануне. Король и г-жа де Ментенон порознь несколько раз его навещали; больше никто к нему не входил, только брат заглядывал на несколько мгновений, молодые дворяне из его свиты — когда это требовалось, г-н де Шеврез — совсем ненадолго; весь день больной провел в молитвах и за душеспасительным чтением. Во вторник 16-го стало хуже: дофина сжигал неумолимый внутренний жар, хотя внешних проявлений лихорадки не было; однако необычный, очень сильный пульс вызывал серьезные опасения. Вторник принес с собою заблуждение: пятна, которые выступали на лице больного, распространились по всему телу и были приняты за симптомы кори. Все на это надеялись, но врачи и те из придворных, кои были осведомлены лучше прочих, еще помнили, что такие же пятна выступили на теле у дофины, о чем те, кто был у нее в спальне, узнали только после ее смерти. В среду 17-го страдания больного значительно возросли. Я постоянно узнавал о нем через Шеверни и от Бульдюка, королевского аптекаря, который заглядывал ко мне поговорить всякий раз, когда на минуту выходил из опочивальни. Это был бесподобный аптекарь, мы пользовались услугами еще его отца,[10] а затем и его и всегда были к нему расположены: он разбирался в деле по меньшей мере не хуже самых лучших врачей, в чем мы не раз убеждались на опыте, и притом был весьма умен и безупречно честен, скромен и мудр. У него не было тайн от нас с г-жой де Сен-Симон. Он совершенно ясно дал нам понять, что думает о болезни дофины; так же недвусмысленно высказался он на второй день недомогания дофина. Итак, я больше не надеялся; однако бывает так, что надеешься вопреки всякой очевидности. В среду боли усилились, словно пожиравший больного внутренний огонь разгорелся еще сильнее. Очень поздно вечером дофин велел передать королю, что просит дозволения назавтра рано утром

причаститься и прослушать мессу у себя в спальне без всякой торжественности, только с одним священником; но вечером еще никто об этом не знал; все выяснилось лишь наутро. Тем же вечером, в среду, я довольно поздно заглянул к герцогу и герцогине де Шеврез, которые занимали первый павильон в сторону деревни Марли, в то время как мы жили во втором. Я был в безысходном отчаянии; в этот день я едва видел короля один раз; я лишь по несколько раз на дню ходил узнавать новости у герцога и герцогини де Шеврез, а больше никого не посещал, потому что мог видеть только тех, кто был так же опечален, как я, и с кем не надо было себя принуждать. Г-жа де Шеврез, так же как я, ни на что не надеялась; г-н де Шеврез, который сохранял обычное свое душевное равновесие, по-прежнему не отчаивался и видел все в розовом свете: он попытался, опираясь на физику и медицину, уверить нас, что положение дел внушает скорее надежду, чем опасения; его спокойствие вывело меня из терпения, и я набросился на него, нарушая всякую пристойность, но зато к облегчению г-жи де Шеврез и тех немногих, кто был при этом. Затем я вернулся к себе и провел мучительную ночь. В четверг 18 февраля рано утром я узнал, что дофин с нетерпением ждал полуночи, вскоре затем прослушал мессу, причастился, провел два часа в благочестивой беседе с Господом, а потом сознание его помутилось; далее, как сказала мне г-жа де Сен-Симон, его соборовали, и в половине девятого он скончался.

В этих мемуарах я не считаю своим долгом описывать собственные переживания; когда-нибудь, когда меня давно уже не будет на свете, мои воспоминания будут обнародованы, и тогда чувства мои и без того будут слишком понятны читателям, которые легко вообразят, в каком состоянии были мы с г-жой де Сен-Симон. Скажу лишь, что в первые дни мы оба почти не показывались на люди, что я хотел все бросить, удалиться от двора и от мира и что потребовалась вся мудрость, все искусство и вся власть надо мной г-жи де Сен-Симон, чтобы с превеликим трудом этому воспрепятствовать.

Усопший принц, сперва старший сын наследника, а потом и сам наследник престола, родился сущим чудовищем и в ранней юности наводил на всех трепет. Суровый и вспыльчивый, он не знал удержу и ярился даже на бессловесные вещи; буйный и злобный, он не терпел ни малейшего сопротивления, будь то от самого времени или от сил природы: на него нападало тогда такое возбуждение, что страшно было, как бы с ним не приключился удар; он был неописуемо упрям и подвержен всяческой похоти, вожделея к женщинам и в то же время, что встречается редко, питая столь же сильную склонность совсем

другого рода. Не менее любил он и вино, и обильный стол, и беспощадную охоту, самозабвенно обожал музыку, а также игру, причем проигрыш был для него невыносим и выиграть у него было крайне опасно. Словом, он потакал всем своим страстям и предавался всем наслаждениям; часто бывал он необуздан и поддавался врожденной жестокости; позволял себе варварские шутки и с убийственной меткостью выставлял людей на осмеяние. Он взирал на всех свысока, словно сам он парит над остальными в небе, а они все сплошь ничтожества, не имеющие с ним ничего общего. Насилу он признавал своих братьев, кои должны были посредничать между ним и родом человеческим, хотя их всех троих всегда старались воспитывать вместе и наравне, никому не отдавая преимущества. Во всех своих проявлениях он блистал умом и проницательностью: даже когда он злился, его ответы поражали; его рассуждения отличались точностью и глубиной, даже когда он был во власти гнева. Он забавлялся приобретением самых отвлеченных знаний. Обширность и подвижность его ума казалась сверхъестественной, что мешало ему ограничиться каким-либо одним делом: на это он был не способен. Быть может, он испортил себе стан тем, что, не слушая возражений, подолгу рисовал во время занятий, поскольку имел к этому большую склонность и способность, а иначе занятия его оказывались бесплодны.

Он был скорее миниатюрным, чем крупным, лицо имел удлиненное и смуглое, рост идеальный, глаза несравненной красоты, живой, трогательный, удивительный, блестящий взгляд, чаще всего кроткий, но всегда проницательный; выражение лица приятное, благородное, тонкое, умное — казалось, ум, которым проникнут его облик, передаётся собеседнику; подбородок скорее острый; длинный, крупный, вовсе не красивый нос несколько портил его наружность; волосы его, каштановые и на редкость густые и курчавые, все время были взъерошены; губы и рот у него были хороши, покуда он молчал, ибо, хотя зубы у него были недурные, но верхняя челюсть чересчур выдавалась вперед и почти накрывала нижнюю, поэтому неприятно было смотреть, как он разговаривает или смеется. Ноги у него были так красивы и ступни так изящны, что, кроме короля, никто не мог с ним в этом сравниться, однако несколько длинноваты для его роста. Из женских рук он вышел прямым и стройным. Довольно рано было замечено, что стан его начал искривляться: немедля прибегли к ошейнику и железному кресту, которые он носил у себя в покоях, даже когда бывал не один; перепробовали все игры, все упражнения, кои могли бы выправить его стан. Но природа оказалась сильнее, и у него вырос горб, причем только с одной

стороны, так что он охромел, хотя ноги выше колена и бедра были у него совершенно одинаковые, но, по мере того как одно плечо становилось у него выше другого, одна нога от ступни до колена становилась короче другой, и вся его фигура скособочилась. Несмотря на это, он подолгу, быстро, легко и с удовольствием ходил; любил и пешие прогулки, и езду верхом, хотя наездник был неважный. Но вот что может показаться поразительным: будучи наделен острым зрением, выдающимся умом, обретя с годами незаурядные добродетели, твердое и глубокое благочестие, принц так и не пожелал признать, каков его стан на самом деле, и никогда с этим не свыкся: эта его слабость предостерегала окружающих против шуток и нескромностей и причиняла хлопоты тем, кто ему прислуживал: они старались скрыть в нем этот изъян, насколько это было в их силах, но остерегались дать ему почувствовать, что они заметили то, что само бросалось в глаза. Приходится сделать вывод, что полного совершенства человеку в нашем мире не дано.

При всем его уме, да еще уме такого рода, соединенном с такой живостью и чувствительностью, со страстями, да еще столб пылкими, воспитание его было делом нелегким. Герцог де Бовилье, понимая всю сложность этой задачи, а также всю ее важность для будущего, превзошел самого себя в усердии, терпении, разнообразии методов. От помощников ему было мало толку, и он прибегал ко всем средствам, кои были у него под рукой. Фенелон, Флери, помощник наставника, сочинивший прекрасную «Историю церкви», несколько дворян, состоявших при принце, Моро, первый камердинер, человек, значительно возвышавшийся над своим кругом, но никогда не забывавшийся, немногие слуги, герцог де Шеврез, единственный, кто не состоял при принце, — все они были привлечены к делу и все трудились в одном и том же духе и направлении, что воспитатель, чье искусство, будь оно описано, послужило бы материалом для превосходного трактата, в равной степени любопытного и познавательного. Но Господь, владеющий нашими сердцами, чей Дух святый веет по воле Его, сделал принца истинным своим шедевром, и, когда тому минуло восемнадцать-двадцать лет, труд герцога де Бовилье был окончен. Наследник поднялся из бездны приветливым, кротким, человечным, умеренным, терпеливым, скромным, подчас даже чересчур совестливым для того положения, которое занимал, смиренным и строгим в нравах и поведении. Он усердно исполнял свой долг, который был в его понимании огромен, и думал только о том, как сочетать обязанности сына и подданного с теми, к коим был, по его собственному мнению, предназначен. Его сокрушало только то,

что день столь короток. В молитве черпал он силу и утешение, а поддержку находил в благочестивом чтении. Поначалу вкус к отвлеченным наукам и способность к ним похищали у него много времени, но потом он понял, что должен тратить время на то, чтобы изучать вещи, необходимые в его положении, и соблюдать приличия, свойственные рангу принца, которому предстоит править государством, а до тех пор состоять при дворе. Первые шаги на стезе благочестия и страх перед собственной слабостью к наслаждениям делали его поначалу нелюдимым. Учредив сам над собой неусыпный и строгий надзор, каковой он почитал своим долгом, принц затворился у себя в кабинете, словно в недоступном для случайностей убежище. Но до чего непостижим свет! Будь принц прежним, он внушал бы омерзение, теперь же людям захотелось его презирать. Принц почувствововал это и стерпел; он с радостью поверг испытание позором к подножию креста Господня, чтобы тревожить себя горькими воспоминаниями о минувшей своей гордыне. Мучительней всего оказалось для него то, что отношение к нему в самом тесном семейном кругу ухудшилось. Король, поверхностно благочестивый и умеренный, вскоре с тайной досадой убедился, что юный принц как бы невольно порицает его жизнь, противопоставляя ее своей: отказывается от нового бюро, чтобы отдать бедным предназначавшиеся для него деньги, и без особой благодарности встречает распоряжение короля подновить позолотой скромное жилище внука. Мы видели, как обидел короля чересчур решительный отказ принца явиться на бал в Марли в день благовещения: разумеется, то был промах с его стороны, вызванный неопытностью; он обязан был оказать королю, своему деду, этот знак уважения и, прямо скажем, милосердной снисходительности, а не раздражать его столь странной несхожестью с ним; но сам по себе это был, в сущности, значительный поступок, который навлек на него все последствия отчуждения, которое он выказал королю, и осуждение двора, для которого король был божком и которому подобная странность казалась смехотворной.

Не меньше мучений доставлял ему Монсеньер: погрязнув в корыстных интересах и доверившись людям, которые задолго до заговоров во Фландрии уже опасались молодого принца, он замечал только его внешнюю суровость и сторонился сына, словно сурового судьи. Герцогиня Бургундская, встревоженная строгостью мужа, чего только не делала, дабы смягчить его нрав. Каждый день в ход пускалось все: ее чары, к коим он был чувствителен, хитрости и неудержимая назойливость молодых дам ее свиты, проявлявшиеся в сотнях уловок, искус увеселений и

празднеств, к которым он был совершенно равнодушен. В тиши кабинетов его преследовали то выговоры благочестивой феи,[11] то колкие замечания короля, то грубое и нарочитое отчуждение Монсеньера; узкий придворный круг и родные язвительно давали ему почувствовать вполне понятное предпочтение, оказываемое ими герцогу Беррийскому, коего осыпали похвалами, ласкали и баловали на глазах у старшего, которым тяготились, как чужаком. Только сильной душе дано ежедневно выносить подобные испытания и не дрогнуть; нужна могучая поддержка незримой руки, когда снаружи не на кого опереться и когда принц столь высокого ранга окружен враждой близких, перед коими все склоняются, и почти явным презрением двора, который ничто более не сдерживало и который жил в тайном страхе оказаться когда-нибудь под властью этого принца. Однако мало-помалу он одумался, опасаясь не угодить королю, оттолкнуть от себя Монсеньера и внушить людям отвращение к добродетели; твердая и грубая кора стала мягче, хотя сердцевина ствола осталась столь же прочной. Наконец он понял, что значит покинуть Господа ради Господа и что, ведя себя как подобает его рангу, коим он облечен по воле Всевышнего, он отнюдь не изменит благочестию, столь ему любезному. Итак, он принялся усердно заниматься почти исключительно теми предметами, кои могли наставить его в искусстве управления, и больше времени уделять свету. При этом он выказал столько любезности и естественности, что вскоре все поняли, что у него были причины на то, чтобы уклоняться от света, и что возвращение туда нелегко ему далось, — и вот свет, который так ценит любовь к себе, постепенно смягчился к принцу. Во время своей первой кампании во Фландрии,[12] где он был вместе с маршалом Буффлером, принц приобрел любовь войска. Не меньшей приязни удостоился он и во время второй кампании, когда вместе с маршалом де Таларом взял Брейзах;[13] повсюду он держался весьма непринужденно и далеко превзошел желания Марсена, состоявшего при нем ментором. Чтобы вернуть его ко двору, пришлось скрыть от него план, касавшийся Ландау, [14] что выяснилось только потом. Печальные обстоятельства последующих лет не позволили поставить принца во главе армии. В конце концов сочли, что его присутствие там необходимо, чтобы воодушевлять войска и поддерживать утраченную дисциплину. Было это в 1708 году. Я уже рассказывал о том,[15] какой гороскоп, составленный на основе изучения мною интересов и интриг, я предложил герцогу Бовилье в садах Марли[16] до того, как об этом было объявлено во всеуслышание; мы видели, с каким поразительным успехом, поднимаясь все выше по ступеням лжи, хитрости, беспредельной дерзости,

бесстыдных, доныне неслыханных предательств по отношению к королю, государству, истине, дьявольский заговор, превосходно составленный и подготовленный, поверг принца во прах в государстве, которым ему предстояло править, и в доме его отца: замолвить хотя бы слово в защиту принца стало опасным преступлением. Эта чудовищная история была уже так подробно рассказана в своем месте, что здесь я ограничусь упоминанием о ней. Это новое жестокое испытание оказалось для принца особенно мучительно: он видел, что все объединились против него, а на его стороне только истина, задыхающаяся в руках фараоновых жрецов.[17] Он ощутил на себе всю тяжесть этого испытания, всю протяженность пути, все тернии на нем; он все перенес терпеливо, твердо, а главное, с благочестием праведника, который во всем прозревает Бога, смиряется под его рукой, очищается в тигле, который уготовила ему эта рука, благодарен Всевышнему за все, в великодушии своем желает делать и говорить только то, чего требует от него долг перед государством и истиной, и столь опасается проявить человеческую слабость, что сам себе ставит самые строгие пределы справедливости и благочестия. Такая добродетель в конце концов нашла себе награду еще в этом мире, и награду тем более заслуженную, что принц, держась вдали от всего, не прилагал к этому никаких усилий. Я уже достаточно описал этот поразительный переворот, почему и ограничусь здесь лишь упоминанием о том, как министры поверглись к ногам принца, завладевшего сердцем короля, какое влияние стяжал он в делах, в какую милость попал и с каким тщанием стал входить в подробности правления. Теперь он больше, чем когда-либо, усердствовал в делах правления и изучал все, что может ему способствовать в этом. Он изгнал все науки, служившие ему развлечением, и стал делить время, проводимое в кабинете, между молитвами, которые сократил, и учением, которым занимался как можно больше, а остальные часы посвятил королю, коего усердно посещал, г-же де Ментенон, о коей заботился, супруге, коей свидетельствовал любовь и благосклонность, а так же уделял много внимания своему двору, стараясь быть доступным и любезным. Чем больше король его возвышал, тем старательней принц подчеркивал свое послушание ему; чем больше уважения и доверия король ему оказывал, тем лучше умел он отвечать на это приязнью, благоразумием, учтивостью, а главное, хранил сдержанность, далекую от всякого искательства и тщеславия и начисто свободную от малейшего самодовольства. В отношении секретов, своих и чужих, он был совершенно непроницаем. Его доверие к духовнику не распространялось на дела; я привел два

незабываемых примера,[18] касавшихся дел, кои представляли огромную важность для иезуитов, обратившихся с ними к королю; в обоих делах принц всеми силами выступал против них. Мы не знаем, питал ли он большее доверие к архиепископу Камбрейскому; судить мы можем только по тому, как он доверял г-ну де Шеврезу и в особенности г-ну де Бовилье. Об этих двух свояках можно сказать, что у них словно было одно сердце и одна душа на двоих; а архиепископ Камбрейский вливал жизнь и силы в это сердце и эту душу. Их преданность ему была безгранична, секретные сношения с ним постоянны; с ним все время советовались и по важным, и по мелким делам политического, общественного, домашнего свойства; он был к тому же воплощением их совести. Принцу это было известно, и я всегда был убежден, основываясь, впрочем, только на правдоподобии такого предположения, что принц даже обращался к архиепископу за советами через посредство герцогов де Шевреза и де Бовилье и что они укрепляли в нем столь несомненную и глубокую дружбу, уважение и доверие к архиепископу. Следовательно, он мог рассчитывать и, бесспорно, рассчитывал, что, разговаривая с одним из троих, он беседует со всеми троими и слушает всех троих. Тем не менее его доверие к своякам было неодинаково: если он и доверял кому-нибудь безгранично, то таким доверием, бесспорно, пользовался герцог де Бовилье; однако в некоторых случаях герцогу не дано было проникнуть в его чувства — например, в том, что касалось римских дел, или дела кардинала де Ноайля, или некоторых его склонностей или привязанностей: я видел это своими глазами и слышал своими ушами. Я был близок к принцу только благодаря г-ну де Бовилье и думаю, что с моей стороны не будет чрезмерным самоуничижением сказать, что во всех смыслах и во всех отношениях мне было до него далеко. Однако он частенько сговаривался со мной, чтобы что-то сделать, разузнать, о чем-то поговорить, что-то внушить, кого-то приблизить к принцу или отдалить от него, пользуясь моим содействием, и поступал сообразно тем сведениям, кои я ему доставлял; и не раз, когда я рассказывал ему о своих свиданиях с принцем, он с изумлением просил меня повторить ему вещи, в которых, по его собственному признанию, принц никогда не был с ним настолько откровенен, и другие, о коих тот никогда ему не говорил. Правда, таких вещей было немного, но они бывали, и бывали не раз. Наверно, это не означает, что мне принц доверял больше; я стыдился бы за него и за себя, окажись он способен на столь грубую ошибку, и поостерегся бы о ней рассказывать; но я для того столь подробно останавливаюсь на этом обстоятельстве, которого никто, кроме

меня, не сумел бы подметить, чтобы засвидетельствовать, что самое полное доверие принца, покоящееся на самой прочной и надежной основе, никогда не доходило до самозабвения и что принцу не чужда была переменчивость, составляющая сплошь и рядом величайшее несчастье королей, дворов, народов и даже государств.

Итак, рассудок принца нисколько не был порабощен; подобно пчеле, принц собирал с лучших цветов лучшее, что они могли ему дать; он старался изучить людей и извлечь из них те знания и сведения, на какие мог надеяться; с некоторыми он иногда, хотя очень редко и мимоходом, советовался по отдельным вопросам; еще реже и по секрету просил что-либо ему объяснить, если полагал это необходимым, однако такие просьбы никогда не повторялись и не переходили в привычку. Я не знаю случаев — а они бы от меня не ускользнули, — чтобы он постоянно работал с кем-нибудь, кроме министров, разве что с герцогом де Шеврезом и с прелатами, помогавшими ему в деле кардинала де Ноайля. Кроме них, я единственный имел к нему частый и свободный доступ, иногда по его желанию, иногда по своему собственному. Тогда он открывал мне душу, говорил и о настоящем, и о грядущем — доверчиво и все же рассудительно, сдержанно, скромно. Он позволял себе касаться планов, кои почитал необходимыми; он откровенно рассуждал о вопросах всеобщего характера, но был скрытен касательно частных дел и особенно касательно частных лиц; но, поскольку именно об этом он желал вытянуть из меня полезные сведения, я ловко давал ему поводы для обмолвок и зачастую добивался успеха, потому что он все больше и больше проникался ко мне доверием; я почитал своим долгом до конца делиться с герцогом де Бовилье, а вслед за ним-~с герцогом де Шеврезом, которому не отдавал столь полного отчета, как его свояку, но все же довольно часто бывал с ним откровенен, как и он со мной. Целого тома не хватит, чтобы пересказать все мои встречи с принцем наедине. Какая любовь к добру! Какая самоотверженность! Какая- и сколь плодотворная — пытливость! И какая чистота намерений! Какой, смею сказать, отблеск Божества на этой искренней, простой, сильной душе, сохранившей его образ в той мере, в коей это нам дано на земле! Эта душа блистала достоинствами, кои придало ей воспитание, на которое не пожалели ни труда, ни искусства, воспитание равно ученое, разумное, благочестивое, полное размышлений о блистательном воспитаннике, рожденном, чтобы повелевать. В эти минуты он избавлялся от щепетильности, правившей им на людях. Он желал знать, с кем имеет и будет иметь дело. Он брал собеседника в оборот, чтобы воспользоваться разговором с глазу

на глаз, не допуская ни приукрашивания, ни корысти; но как разносторонни бывали такие беседы и как возрастало их очарование благодаря многообразию интересов принца, его искусству, любознательному рвению и тяге к знанию! Он увлекал собеседника от одной материи к другой, касался стольких предметов, лиц и событий, что тот, кто не способен был удовлетворить его любознательность, ушел бы недовольный сам собой, да и принца бы оставил недовольным. Подготовиться к беседе было невозможно, ибо непредсказуем был ее ход. Именно в импровизациях принц стремился почерпнуть истину, исходившую прямо из первых рук, и по самым разнообразным сведениям испытать, каким образом может он воспользоваться услугами человека, на котором остановил свой выбор. Таким образом, собеседник, обыкновенно рассчитывавший обсудить с ним какой-нибудь один предмет и предполагавший уложиться в четверть или в полчаса, проводил с принцем часа два и более, если тот сколько-нибудь располагал свободным временем. Он всегда обращался к предмету, который должен был служить главной темой разговора, но давал возможность для отступлений, кои властно вводил в нужное русло, и подчас эти отступления представляли для него основной интерес. И здесь уже никакого краснобайства, никаких комплиментов, похвал, завитушек, предисловий, присказок, никаких шуточек — говорить следовало только по делу, в обдуманных выражениях, сжато, по существу, имея в виду цель; ни слова без толку, без причины, ничего для забавы и потехи. В эти минуты христианская любовь к ближнему одушевляла его интересом к отдельным людям, и он досконально обсуждал все, что касалось каждого человека; в эти минуты у него рождались, вызревали и являлись на обозрение планы, распоряжения, перемены; бывало, он, не подавая виду, успевал заранее по косточкам разобрать их с герцогом де Бовилье, а иногда и с ним, и с герцогом де Шеврезом, хотя он редко виделся с ними обоими вместе. Порой он скрытничал с обоими или с кем-нибудь из них; от г-на де Бовилье он таился редко, но тайны, не подлежавшие разглашению, хранил незыблемо.

Наделенный столькими выдающимися качествами, этот замечательный принц не лишен был некоторых по-человечески понятных черточек, кои можно было бы назвать недостатками, подчас даже не слишком достойными; трудно было понять, каким образом они уживаются с его твердостью и величием, ибо никто не желал вспоминать те времена, когда принц был воплощением греха и порока, и поразмыслить над тем, как далось ему то чудесное перерождение, так приблизившее принца к совершенству, что люди, наблюдавшие его вблизи, удивлялись,

почему он не достиг полной безупречности. Я уже слегка касался отдельных его недостатков, которые, несмотря на его годы, были в нем остатками ребячества и с каждым днем уменьшались, что непреложно свидетельствовало о том, что вскорости они вовсе исчезли бы. Более существенным недостатком, от коего он наверняка избавился бы со временем благодаря размышлениям и опыту, было то, что иногда, хотя и редко, он питал дружескую склонность и даже привязанность к людям, которых трудно было уважать. Его нерешительность, мнительность, мелочная набожность день ото дня слабели, зато с каждым днем возрастали достоинства; особенно заметно было, что он совершенно исцелился от мнения, будто благочестие следует предпочитать любым другим талантам при назначении человека на должность, будь то министр, посланник или генерал, а набожность ценить выше дарований и опыта. В конце концов он, не переставая ценить благочестие в людях, убедился, что попадаются меж ними весьма порядочные и способные к выдающимся делам, однако же не слишком набожные и таких людей также надо привлекать к службе; не говорю уж об опасности наплодить лицемеров. Поскольку он был наделен чувствительным сердцем, он научился прощать людям слабости, не лишая их своего уважения и любви. Свет не видывал человека, который был бы так влюблен в порядок, так хорошо его знал, так стремился установить его во всем, устранить всяческую путаницу и расставить людей и вещи по местам; в высшей степени разбираясь во всем, что способствует наведению порядка, будь то жизненные правила, правосудие, здравый смысл, он, покуда не стал еще повелителем, внимательно старался воздать возрасту, заслугам, происхождению, рангу те отличия, кои им были положены, и подчеркивать их при каждом удобном случае. Изложение его планов чересчур удлинило бы мои мемуары, оно могло бы составить отдельный труд, но над этим трудом можно было бы умереть от сожалений. Не входя в тысячи подробностей относительно людей и способов, посредством коих он предполагал действовать, я все же не могу хоть в общих чертах — не упомянуть кое о чем. Изничтожение знати было принцу ненавистно, а равенство внутри нее невыносимо. Сие последнее новшество, посягавшее на все, кроме должностей, и смешивавшее человека знатного рода с новоиспеченным дворянином, а владельца поместья — с сеньером, представлялось ему крайней несправедливостью; он считал, что этот пагубный изъян в иерархии может послужить в недалеком будущем причиной для установления в королевстве власти военных. Принц помнил, что в самых ужасных бедствиях, при Филиппе Валуа,[19] Карле V,[20]

Карле VII,[21] Людовике XII,[22] Франциске I,[23] при его внуках,[24] при Генрихе IV[25] королевство обязано было своим спасением именно высшей знати, представители коей знали друг друга и взаимно придерживались различий, существовавших между ними; у них были и желание, и возможности отдельными отрядами и провинциями выступить на спасение государства, избегнув смятения и неразберихи, поскольку каждый сознавал свое место и положение и с легкостью готов был подчиниться тому, кто его превосходил. От тех же, кои были противниками этого, по его мнению, напрасно было бы ждать спасения: все они до единого настаивали на равенстве со всеми остальными, а посему исчезла упорядоченность, исчезло и умение приказывать, и умение подчиняться. Принц был до самой глубины души опечален падением знати и теми мерами, кои предпринимались и предпринимаются, чтобы принизить ее и не давать ей воспрянуть, вырождением доблести, коснувшимся и благородства, и добродетели, и чувств, вырождением, которое явилось следствием нищеты и смешения крови, ибо ради куска хлеба постоянно заключались неравные браки. Он негодовал, видя, как прославленная, блистательная французская знать превращается в простой народ и рознится от него только тем, что последний наделен свободой заниматься любым трудом, любой торговлей и даже военным делом, меж тем как знать превратилась в такой народ, перед которым стоит единственный выбор: либо предаться пагубной и разорительной праздности, а посему быть всем в тягость и внушать к себе презрение, либо идти на войну и дать себя убить, снося оскорбления от подчиненных государственного секретаря и секретарей интенданта; и даже отпрыски самых благородных и знатных семейств, кои по рождению и достоинству стоят выше прочих, не могут избежать той же участи: или оставаться бесполезными, или подвергаться ненависти чиновников-недворян, служа в армии. Но более всего принц не в силах был примириться с несправедливостью по отношению к армии, на которой зиждется нынешняя монархия: офицер-ветеран, часто весь израненный, дослужившийся, возможно, до генерал-лейтенанта, удаляется в родные края, заслужив всеобщее уважение, добрую славу и даже пенсион, а дома, если только он не из благородных, оказывается в равном положении с крестьянами своего прихода; я видел, как он приезжал к бывшим капитанам, кавалерам ордена Св. Людовика, получавшим пенсион, но ни в чем не мог добиться для них исключения, а между тем множество исключений такого рода делалось для тех, кто занимал самые низкие должности в судейском сословии или по финансовой части, даже после того, как эти должности, подчас

наследственные, бывали уже проданы.

Принц не мог примириться с тем, что никто не в состоянии управлять ни государством в целом, ни отдельными его частями, если прежде не стал чиновником, принимающим и препровождающим прошения в суде, и что в руках молодых судейских оказываются все провинции и все управление ими и каждый творит у себя в провинции решительно все, что ему заблагорассудится, обладая бесконечно более полной властью и куда более обширным и сильным влиянием, чем прежде обладали губернаторы этих провинций, которых между тем постарались ослабить настолько, что оставили им только название да доходы; не менее возмутительным почитал он, что власть в иных провинциях соединена, а порой и неотделима от должности главы парламента этой провинции при отсутствии должностей губернатора и генерального наместника и отсутствие их неизбежно оказывается длительным; а власть эта распространяется и на войска. Не стану повторять, какого мнения он был о могуществе и возвышении государственных секретарей и других министров и о том, каким образом они управляют; об этом рассказывалось не так давно, и на примере десятины[26] мы видели, что он думал и какие чувства испытывал по поводу финансов и финансистов. Огромное число людей, в чьи обязанности входило взимать и взыскивать налоги, обычные и чрезвычайные, способы их взимания, бесконечное множество судебных должностей и должностных лиц всякого рода, обилие тяжб, кляузных дел, издержек, несправедливость при продлении дел, разорение и жестокости, им сопутствующие, вызывали в нем нетерпеливое желание найти средства поправить положение. Сравнивая те провинции, кои управлялись земским представительством, с прочими, он пришел к мысли, что нужно разделить королевство на части, по возможности равно богатые, и во главе каждой поставить представителей от сословий, упростив управление и изгнав сумятицу и беспорядок; затем, отобрав представителей от каждой провинции, также как можно проще, собирать время от времени Генеральные штаты[27] от всего королевства. Не смею привести здесь до конца его великое изречение — изречение принца, убежденного, что король для подданных, а не подданные для короля, о чем он, не смущаясь, говорил прилюдно чуть ли не в гостиной Марли, изречение воистину достойное отца отечества, которое, однако, везде звучало бы как ужаснейшее богохульство, кроме королевства, во главе коего стоял бы он, чему по воле Божией не суждено было сбыться. Что же до Генеральных штатов, то принц, конечно, не предполагал наделять их властью: при своем блестящем

образовании он прекрасно знал, что такое собрание, каким бы представительным оно ни было, является не более чем собранием податели жалоб и возражений, а если королю будет угодно, то и собранием податели предложений, но принц, который рад был бы сплотить вокруг себя всю нацию, считал, что получит бесконечные преимущества, если будет узнавать о бедах и о возможностях их исправить через депутатов, которые будут осведомлены о первых из опыта, а о вторых будет советоваться с теми, коих они будут касаться; но в составе Штатов принц желал видеть только три сословия и твердо причислял к третьему сословию тех, кои так недавно дали понять, что желают из него выйти.

В отношении рангов, титулов и должностей мы видели, что иностранные или слывшие таковыми ранги были ему не по вкусу, не согласовывались с его принципами и не укладывались, по его мнению, в правила о рангах. Не более благосклонен был он к иностранным титулам. В его планы не входило также умножение высших титулов в королевстве. Однако он намеревался поощрить новую знать новыми знаками отличия; он чувствовал, как невыносимы и обидны существующие с рождения различия между истинными сеньерами, и его возмущало, что их ничем нельзя вознаградить, кроме самых высоких отличий, включающих все остальные. Итак, он по примеру — хотя и не по образцу Англии замышлял ввести титулы, которые во всем уступали бы герцогским; одни — наследственные, разных степеней, со своими рангами и своими собственными различиями, другие — пожизненные, в своем роде по образцу герцогов, возведенных в ранг королевским указом или не могущих подтвердить свой ранг. У военных были бы введены, в том же духе и по тем же соображениям, новые звания ниже маршальского. Орден Св. Людовика раздавался бы куда менее щедро, а орден Св. Михаила[28] был бы поднят из грязи, в которую его втоптали, и вновь приобрел бы цену, зато орден Св. Духа распределяли бы с большей осмотрительностью. Что до должностей, принц не понимал, как может король попустительствовать министрам, по воле которых самые высшие и первые должности три дворе одна за другой достаются самым низким и ничтожным людям. Дофину было бы приятно, чтобы ему служили и его окружали настоящие сеньеры; он возвысил бы самые скромные должности и ввел бы некоторые новые для менее знатных, но благородных особ. Все это вместе украсило бы его двор и государство и вознаградило бы его сторицей; но он не любил, чтобы должности становились постоянными, чтобы один и тот же пост, одно и то же место вечно передавались от отца к сыну, словно родовые имения. Его проект

освободить постепенно все придворные и военные должности, чтобы навсегда избавиться от продажи их, был направлен против указа, по коему лицо, занимающее должность, может уступить ее другому лицу за деньги, и против права на преемственное занятие должностей, которое не давало молодым людям на что-либо притязать и чего-либо добиваться. Что до военного дела, принц терпеть не мог табели о рангах, которую ввел Лувуа своей личной властью, дабы обратить в ничто знатность и заслуги и всех, кто служит, превратить в простой народ. В этом нововведении принц усматривал разрушение соревнования в армии, а значит, желания усердствовать, чему-то учиться, чего-то достигать; он видел в этом причину бесчисленных производств в высшие офицерские чины, которые, как правило, не находят себе ни применения, ни вознаграждения; способные и одаренные люди весьма редки среди таких офицеров, они поднимаются все выше вплоть до маршальского чина, но остальные тоже повышаются в чинах, становятся генералами армий, и плачевные последствия этого не раз испытывало на себе государство, особенно в начале нашего столетия, ибо те, кто был в армии до этого, уже ушли из жизни или состарились.

Великий и святой принцип, гласящий, что короли созданы для своих народов, а не народы для королей и в угоду королям, так глубоко запечатлелся в душе у дофина, что роскошь и война стали ему ненавистны. Это заставляло его подчас с излишней горячностью высказываться по поводу последней войны; он увлекался истиной, звучавшей слишком резко для ушей света, и мрачно говорил, что не любит войны. У его правосудия была на глазах непроницаемая повязка, а потому оно было совершенно надежно. Принц не ленился изучать дела, поступавшие на королевский суд, в финансовом совете и совете по внутренним делам, и, если дела эти оказывались обширны, он работал над ними с теми, кто по профессии мог в них разобраться; принц пользовался знаниями таких людей, однако не следовал рабски их мнениям. Он причащался не реже, чем раз в две недели, с поразительным усердием и смирением, всегда с цепью ордена Св. Духа, в брыжжах и короткой накидке. Со своим духовником-иезуитом он виделся раз или два в неделю и иногда подолгу беседовал с ним; в дальнейшем он значительно сократил эти беседы, но чаще стал ходить к причастию. Его разговор был любезен, основателен, насколько это было в его силах, и приятен; он всегда старался приноровиться к собеседнику. Его любимым отдыхом были прогулки: здесь особенно заметны бывали его достоинства. Если ему было с кем поговорить о науках, он радовался, но это была невинная радость: просто он любил

развлечься и узнать нечто новое, слегка порассуждать, а больше послушать. Но более всего он стремился провести время с пользой: ценил собеседников, с которыми можно было поговорить о войне и должностях, о морском деле и торговле, о чужих краях и иностранных дворах, иногда о частных событиях, получивших, однако, огласку, и об исторических вопросах или о давно минувших войнах. Эти прогулки, обогащавшие его множеством сведений, покоряли ему умы и сердца, доставляли всеобщее восхищение и возбуждали великие надежды на его счет. Вместо спектаклей, кои он давным-давно для себя упразднил, он ввел игру по маленькой, в которой могли участвовать самые скудные кошельки, чтобы все по очереди удостаивались чести играть с ним и показываться в свете. По-прежнему он был неравнодушен к хорошему столу и охоте, причем охота вызывала у него меньше угрызений совести, а вот склонности своей к чревоугодию он побаивался и пировал только в самом избранном обществе.

Короля он знал в совершенстве, почитал его, а под конец и любил как сын, и усердно свидетельствовал ему свою преданность, исполняя все, что положено подданному, хотя и помня о своем высоком ранге. Он ухаживал за г-жой де Ментенон со всей обходительностью, какой требовали отношения между ними. Пока был жив Монсеньер, принц старательно исполнял свой сыновний долг; чувствовалось, что он делает это через силу, а еще больше была заметна принужденность в его обхождении с м-ль Шуэн, да и со всем медонским кругом он общался нехотя. Я так подробно объяснял, какие на то были причины, что теперь не стану повторяться. Принц, так же как и весь свет, удивлялся тому, что Монсеньер, человек по натуре довольно грубый, был весьма горд и так и не сумел свыкнуться с г-жой де Ментенон, виделся с нею не более, чем требовали приличия, и, как мог, редко; а ведь в лице м-ль Шуэн у него была своя Ментенон, так же как у короля своя, и детей своих он точно так же отдал в рабство м-ль Шуэн, как король своих — г-же де Ментенон. Принц нежно любил братьев и обожал жену. Когда он ее потерял, горе пронзило его до мозга костей. Ценой сверхъестественных усилий ему удалось не утратить веры. Он пожертвовал всем, но сам теперь истекал кровью. В его всепоглощающей скорби не было ничего низкого, ничего мелкого, ничего недостойного. Перед нами был человек, обезумевший от горя, но силившийся сохранять наружное спокойствие и изнемогавший от этого гнета. Горе скоро пресекло его дни. В болезни он не переменился: на исцеление он не надеялся и в этом мнении был согласен с врачами, не скрывая, на чем оно основано; об этом уже было рассказано не так давно, и все, что он ощущал с первого дня и до последнего, постоянно

подкрепляло его уверенность. Какой ужас — сознавать, сколь чудовищная причина повлекла за собой смерть жены и убивает его самого! И вместе с тем какой урок явил нам Всевышний! Почему не дано нам до сих пор узнать все тайные, но столь возвышенные подробности этой смерти, кои только Господь может нам открыть и кои лишь Ему дано оценить в полной мере? Принц был подобен Иисусу Христу на кресте. И дело не только в смерти и страданиях — его величие простерлось гораздо выше. Сколько ласки и вместе с тем сколько безмятежности во взоре! Какая все возраставшая отрешенность! Какие горячие порывы к добрым делам, какое стремление уклониться от трона и ответственности, кою он налагает! Какая изумительная покорность! Какая пылкая любовь к Богу! Какой проницательный взгляд на свое ничтожество и на свои грехи! Какая высокая вера в беспредельное милосердие Божие! Какой благочестивый и смиренный трепет! Какая сдержанная твердость в вере! Какое мудрое спокойствие! Какое чтение, какие молитвы ежечасно! Какое пламенное желание принять последнее причастие! Какая глубокая сосредоточенность! Какое незыблемое терпение! Сколько кротости, какая неизменная доброта ко всем, кто оказывался рядом! Какое неземное благочестие, торопившее его ко встрече со Всевышним! Под этим последним ударом Франция наконец пала: Бог явил ей принца, коего она не заслуживала. Земля была недостойна его: он уже созрел для блаженной вечности.

24. 1715. О здоровье короля и его смерти

Уже больше года, как здоровье короля становилось все хуже. Сначала это заметили слуги в королевских покоях, они наблюдали, как ухудшается его здоровье, но ни один даже слова промолвить об этом не смел. Побочные дети короля, а верней будет сказать, герцог Мэнский тоже заметил это и, поддерживаемый г-жой де Ментенон и ее канцлером — государственным секретарем, торопился устроить все свои дела. Фагон, первый лейб-медик, изрядно уже сдавший и телом и разумом, был единственным из внутренней службы, кто ничего не замечал. Марешаль, первый лейб-хирург, много раз говорил с ним о состоянии короля, но Фагон резко обрывал его. В конце концов, подвигнутый чувством долга и преданностью королю, Марешаль перед самой Троицей решился обратиться к г-же де Ментенон. Он рассказал ей обо всем, что заметил, и про то, насколько чудовищно заблуждается Фагон. Он уверял ее, что у короля, чей пульс он часто щупает, уже давно вялая внутренняя лихорадка, но комплекция у него настолько отменная, что при лечении и внимательном отношении в организме достанет сил, но, ежели недуг запустить, ничего сделать не удастся. Г-жа де Ментенон рассердилась, и единственно, чего добился хирург своим рвением, был взрыв ее гнева. Она заявила ему, что он принадлежит к личным врагам Фагона, которые сочиняют все эти небылицы о здоровье короля, меж тем как не может быть никаких сомнений во внимательности, достоинствах и опытности первого лейб-медика. Примечательно, что Марешаль, который некогда извлек камни у Фагона, был назначен им на место первого королевского хирурга и до сих пор они пребывали в полном согласии. Возмущенный Марешаль, который рассказал мне все это, не мог больше ничего предпринять и с той поры заранее начал оплакивать смерть своего государя. По знаниям и опыту Фагон поистине был первым врачом Европы, однако здоровье уже давно не позволяло ему поддерживать в должной мере свое искусство, а высокое положение, куда его вознесли достоинства и удача, окончательно его испортило. Он не принимал ничьих доводов и возражений, продолжал относиться к здоровью короля так, словно тот был не в столь преклонном возрасте, и тем самым медленно убивал его.

У короля случались длительные приступы подагры, и Фагон надумал обкладывать его на ночь кучей пуховых подушек, отчего король так потел, что по утрам, перед приходом обер-шталмейстера и камер-юнкеров, его приходилось обтирать и

переодевать в свежую рубашку.

Уже много лет королю вместо лучшего шампанского вина, которое он всю жизнь пил, подавали за столом бургундское, наполовину разбавленное водой, настолько старое, что оно подрывало его здоровье. Король со смехом иногда говаривал, что он нередко замечал за иностранными государями желание попробовать его вина. Он никогда не пил неразбавленного вина, а также ликеров, чая, кофе и шоколата. Уже давно, встав с постели, он вместо ломтика хлеба, вина и воды выпивал только две чашки настоя шалфея и вероники, а иногда между трапезами и обязательно перед отходом ко сну бокал воды с небольшой добавкой настоя на цветах апельсина, причем вода в любую погоду была со льда; даже в дни приема слабительного он пил ее перед трапезами, в промежутках между которыми ничего не ел, кроме нескольких коричных пастилок, а держал он их в кармане для фруктов вместе с большим количеством бисквитов для своих собак, вечно лежавших у него в кабинете. Поскольку в последний год жизни у короля все чаще и чаще крепило желудок, Фагон велел ему при каждой трапезе в качестве закуски есть много фруктов со льда, а именно тутовых ягод, дынь и фиг, причем перезрелых и подгнивших, а также много других фруктов за десертом, который он, как обычно, завершал большим количеством сладостей. Весь этот год за ужином он съедал неимоверное количество салата. Несколько супов, которые он ел и утром и вечером, каждого столько, что, казалось, для другого и места-то не останется, готовились с большим количеством воды и были очень навариста; в каждый клалось много пряностей — вдвое больше, чем обычно, а то и более того. Фагон был против и супов и сладостей; видя, как король ест их, он строил иногда весьма смешные гримасы, хотя не осмеливался ничего сказать, разве что Ливри и Бенуа, которые отвечали ему, что стоят за эти кушанья, поскольку они очищают его величеству желудок. Теперь король не ел мяса ни крупной дичи, ни водоплавающей птицы, как, впрочем, и никакого другого, ни жирного, ни тощего, хотя прежде оно не сходило у него со стола, за исключением всего нескольких дней поста, который он соблюдал последние двадцать лет. В это лето король еще строже соблюдал свою фруктово-водяную диету.

В конце концов фрукты, которые он ел после супов, испортили ему желудок, расстроили пищеварение и лишили аппетита, на отсутствие какового он прежде никогда не жаловался, так что теперь он не ощущал ни голода, ни желания поесть, даже если иногда по стечению обстоятельств трапеза отодвигалась на более позднее время; однако после нескольких

ложек супа у него всегда снова появлялся аппетит, о чем я неоднократно слышал рассказы, и он ел столь много и плотно, равно как утром, так и вечером, что к этому зрелищу просто невозможно было привыкнуть. Такое количество воды и фруктов, не облагороженных ни каплей спиртного, произвели гангрену в крови короля, ослабив жизненные силы, которые к тому же истощались обильным потом по ночам, так что все это стало причиной его смерти, как в том убедились после вскрытия. Все органы были в столь отличном состоянии и здоровые, что король, судя по всему, мог бы дожить и до ста лет. Особенно поразительны оказались его желудок и кишки, которые объемом и протяженностью вдвое превышали обычные размеры, отчего король и был столь неумеренным чревоугодником. О лекарствах подумали, когда уже было поздно, потому что Фагон не желал считать короля больным и слепота его равнялась слепоте г-жи де Ментенон, хотя она прекраснейшим образом приняла все предосторожности касательно герцога Мэнского и Сен-Сира. Меж тем король прежде них почувствовал свое состояние и несколько раз говорил о нем слугам. Фагон же всегда разубеждал его и ничего не предпринимал. Король удовлетворялся тем, что ему говорил врач, хотя и не особо верил, но его сдерживали дружеские чувства, какие он питал к Фагону, а уж к г-же де Ментенон — тем паче.

В среду 14 августа король в последний раз велел отнести себя к мессе, потом провел государственный совет, отобедал скоромным и послушал у г-жи де Ментенон большой музыкальный концерт. Ужинал он в узком кругу у себя в спальне, где его, как и во время обеда, могли видеть придворные. Очень недолго король провел в кабинете с семьей и почти сразу после десяти лег спать.

В четверг, в успение, он прослушал мессу в постели. Ночь он провел беспокойно и страдал от жажды. Отобедал в присутствии всего двора в постели, встал в пять часов и велел отнести себя в покои г-жи де Ментенон, где был малый музыкальный концерт. Между мессой и обедом говорил поочередно с канцлером, Демаре и Поншартреном. Ужинал и лег спать в то же время, что и вчера. Так было все время, пока он мог вставать.

В пятницу 16 августа ночь прошла не лучше: король испытывал сильную жажду и очень много пил. Позволил войти к себе только в десять, слушал мессу и обедал, как прежде, в постели, дал аудиенцию у себя в кабинете посланцу из Вольфенбюттеля,[29] велел отнести себя к г-же де Ментенон, где играл в карты с приближенными дамами, а потом присутствовал на большом музыкальном концерте.

В субботу 17 августа — ночь, как и предыдущая. Король, оставаясь в постели, провел финансовый совет, видел во время обеда весь двор, сразу после обеда встал, дал у себя в кабинете аудиенцию генералу ордена Сент-Круа де ла Бретоннери,[30] отправился к г-же де Ментенон, где трудился с канцлером. Этой ночью Фагон впервые остался в королевской спальне.

Воскресенье 18 августа прошло, как и предыдущие дни. Фагон утверждал, что никакой горячки у короля нет. Король до и после обеда проводил государственный совет, затем трудился над фортификациями, как обычно, с Пельтье, после чего отправился к г-же де Ментенон, где слушал музыку. В тот же день чрезвычайный посол Португалии граф да Рибейра, чья покойная мать была сестрой принца-кардинала де Рогана, с необычайным великолепием совершил въезд в Париж; при этом он бросал народу множество серебряных и даже несколько золотых медалей. Такое состояние короля, ставшее для всех очевидным, о котором я имел от Марешаля сведения куда более достоверные, нежели те, в каких Фагон пытался убедить себя и других, не могло продлиться долго, и потому я подумал о Шамийаре, который, оставив все должности, получил от короля пенсион в шестьдесят тысяч ливров. Я попросил герцога Орлеанского сохранить и обеспечить его за ним и тут же получил согласие вместе с разрешением сообщить ему о том в Париж. Герцог был крайне взволнован болезнью короля и куда меньше — остальными делами. Шамийар был весьма приятно удивлен моим письмом и тронут моей заботливостью, поскольку сам о подобных вещах заботился куда меньше. Он написал. мне благодарственное письмо, которое я передал герцогу Орлеанскому. Ни один мой поступок не доставлял мне такого удовольствия. Дело это оставалось в тайне до смерти короля; сразу же после установления Регентства я не замедлил его обнародовать. В тот же день в восемь вечера я с нижнего этажа, где жил, поднялся к герцогу де Ноайлю. Он сидел, закрывшись, у себя в кабинете и вышел ко мне в комнату. После длительных разговоров о состоянии здоровья короля и о будущем он завел долгую речь об иезуитах и в заключение предложил мне изгнать их из Франции, отнять первым делом все бенефиции, которые они присоединили к своим конгрегациям, и передать их имущество университетам, где они обосновались. Хотя несуразные предложения герцога де Ноайля, о которых я уже рассказывал выше, должны были бы приучить меня к мысли, что он способен и на куда более сумасбродные, признаюсь, это настолько поразило меня, словно я прежде не знал и не слышал его. Он все понял по моему ошеломленному виду и принялся меня убеждать, а в это время

отворилась дверь кабинета; оттуда вышел и присоединился к нам генеральный прокурор. Много людей из парламента приехало утром узнать о здоровье короля, да и раньше они часто приезжали по воскресеньям, но я-то полагал, что герцог де Ноайль был один в кабинете, а генеральный прокурор[31] еще рано утром вернулся в Париж, как обычно это делали судейские. Не успел он сесть рядом с нами, как герцог де Ноайль сообщил о предмете спора между ним и мной, хотя я слова еще не вымолвил, а лишь непроизвольным жестом выразил удивление, отчего герцог и стал приводить мне свои доводы. Некоторые он повторил и генеральному прокурору, но тот очень скоро прервал его, холодно глянул на меня и объявил, что самым лучшим и полезным актом, который можно совершить в начале Регенства, будет полное, совершенное и окончательное удаление иезуитов из пределов королевства с немедленной передачей их конгрегации и имущества университетам. Не могу даже выразить, что стало со мной после такого высказывания генерального прокурора. Я испугался, как бы и мне не передалось это сумасшествие, столь заразительное, что оно помрачило рассудок даже такого разумного человека, к тому же занимающего должность, на которой невозможно не знать всю механику и последствия подобного деяния. Овладевшее мной изумление заставило меня усомниться, верно ли я их понял; поэтому я попросил их повторить и был еще более поражен. Очень скоро по моему виду они смекнули, что я больше занят своими мыслями, нежели их речами, и попросили меня ответить, как я смотрю на их предложения. Я признался, что считаю их до того невероятными, что даже с трудом верю собственным ушам. Они переглянулись и, перебивая друг друга, принялись — один с жаром, а другой с важностью и основательностью выкладывать мне все, что каждый знал про иезуитов, об их всевластии и опасности для церкви, для государства и частных лиц. В конце концов я не вытерпел и тоже прервал их; похоже, я их этим обрадовал: им не терпелось услышать, что я скажу. Первым делом я объявил, что вовсе не намерен оспаривать доводов, которые они пожелают привести против иезуитов и о преимуществах для Франции в случае избавления от них, более того, я мог бы еще многое сказать на этот предмет, но ограничусь единственно обоснованиями, способом и последствиями; что касается способа, мы живем не на острове вроде Сицилии, внутренние области коего пустынны и где есть только несколько иезуитских конгрегации в двух главных городах, а именно в Палермо и Мессине, находящихся на значительном расстоянии друг от друга по побережью, благодаря чему вице-королю Маффеи[32] было

просто одним махом и в одно время взять их, посадить на корабли и отправить в море, а с их конгрегациями и имуществом поступить так, как повелел ему король Сицилии;[33] монарх же этот имел все основания и полное право обойтись подобным образом с людьми, которые открыто разжигали пламя мятежа против него из-за его разногласий с римской курией, каковая под пустейшим предлогом церковного иммунитета, ни в чем, кстати, не нарушенного, затеяла упразднить королевский трибунал в том виде, в каком он был дарован папами первым норманским герцогам, завоевавшим Сицилию,[34] и без какой-либо необходимости и права пожелала избавить от него пап, притом что без такового трибунала короли Сицилии окажутся лишенными всякой власти; и вот ради упразднения этого трибунала Рим всячески порочил его и при поддержке большинства епископов, кое-кого из белого и почти всего черного духовенства, особливо же иезуитов, возбуждал возмущение и производил смятение в умах; во Франции после смерти Генриха IV вплоть до нынешнего времени не произошло ничего, что позволило бы даже не обвинить, но заподозрить иезуитов в злоумышлении против государства ни при Людовике XIII, ни при Людовике XIV; таким образом, за ними нет никаких преступлений, чтобы обосновать перед темным народом их изгнание; подобное насилие над этим орденом, который оба моих собеседника представляли столь глубоко укоренившимся, могущественным и опасным, придется совершить после двух царствований, во время коих к иезуитам проявлялась неизменная благосклонность, и при переходе к Регентству, начало какового обычно является периодом осмотрительности и слабости, да еще регенту, обвиняемому в неверии, не говоря уже обо всем прочем, регенту, которого его ничуть не скрываемая распутная жизнь и необдуманные высказывания о религии делают совершенно непригодным для осуществления подобного акта, даже если бы оный был справедлив и возможен. Ну, а что до того, как это исполнить, разум мой теряется и не видит ни единого способа, стоит лишь представить безмерное множество иезуитских конгрегации, разбросанных во всех провинциях королевских владений, и бессчетное число иезуитов, населяющих эти конгрегации; сделать это одним махом, как Маффеи, математически невозможно, а если же делать по частям, то какой поднимется крик, какая смута, какое возмущение с первых же шагов! При таком количестве иезуитов, их родственников, их учеников, родственников их учеников, при огромной их пастве, множестве их духовных детей, множестве членов их конгрегации, яро следующих их наставлениям, их личных друзей и

сторонников их доктрины произойдет чудовищный содом, прежде чем удастся очистить первую, с которой начнут, провинцию. А когда и как будут очищены все остальные? И куда выпроваживать изгнанников? Мне ответят, через ближайшую границу. Но кто воспрепятствует им вернуться? Мы не окружены ни морем, как Сицилия, ни великой стеной, как Китай, все везде открыто, да притом изгнанникам будут благоприятствовать огромное множество людей всех состояний и из всех местностей, о коих я только что упоминал. Так что это совершенно неосуществимая фантазия. Но представим ее на миг не только осуществимой, но и осуществленной. Что скажет римская курия? Ведь во Франции иезуиты являются ее самым расхожим орудием, они более, чем кто другой, привержены ее притязаниям и послушны ее приказам. Что скажет король Испании, столь набожный, столь благосклонный к иезуитам, да притом что каждому известно его отношение к герцогу Орлеанскому? Что скажут все католические государи, у которых иезуиты имеют такое влияние и к тому же почти у всех являются исповедниками? А католические народы всей Европы, у которых иезуиты благодаря кафедрам, исповедальням и коллегиям приобрели друзей и сторонников не меньше, чем теми же средствами во Франции? Что скажут монашеские ордена, вплоть до бенедиктинцев, доминиканцев и всевозможных черноризцев-каноников, которые, пожалуй, единственные из монахов враждебны иезуитам? Не стоит ли предположить, что они испугаются, как бы и по ним не нанесли подобный удар, ежели придет такая фантазия, сочтут, что тоже находятся под угрозой, и объединятся со всеми теми, кто возомнит себя по долгу либо из выгоды обязанным воспрепятствовать этому? А ежели они добьются своего, какая это будет глупость, какой позор мы приготовим себе и какую к тому же угрозу, причем угрозу, при которой нет надежды ни на защищенность, ни на покой, поскольку мы сами восстановим против себя и внутри и вне страны всех, кто привержен религии. Наконец, я заключил, что попытка эта при самом умелом ее осуществлении станет катастрофой для герцога Орлеанского и произведет такое смятение, что я даже не представляю, как и когда удастся его успокоить. Речь моя была куда обширней, чем приведенный тут пересказ, и меня ни разу не прервали. Закончив ее, я увидел, что оба моих собеседника поражены и раздосадованы, и все же они, хотя и не смогли ничего противопоставить моим доводам, в один голос заявили, что я их не убедил. Прерывая друг друга, они вновь стали толковать мне об опасности, какую являют собой во Франции иезуиты, во-первых, для государства и церкви, а во-вторых, для частных лиц; я

же повторил им, что речь не об этом, а об основаниях, способах и последствиях и пусть они мне докажут обеспеченность и возможность всех этих трех сторон задачи. Тщетно я повторял им это: они, позволю себе выразиться, продолжали выть на луну. Поскольку они не достигли успеха со мной, а генеральному прокурору подошло время возвращаться в Париж, мы расстались, так ни к чему и не придя. Я вышел вместе с прокурором и отправился к себе, исполненный удивления и пытаясь понять, куда подевались его разум, познания, мудрость; я пришел к выводу, что, судя по той скоропалительности, с какой герцог де Ноайль сделал мне это предложение, они уже обсуждали вопрос до моего прихода и, когда мы оказались втроем, герцог вновь поставил его перед генеральным прокурором. Я так и не смог объяснить себе поведения генерального прокурора, который, безусловно, не имел скрытых целей; просто герцог де Ноайль имел над его умом такую власть, что он стал врагом Общества Иисуса и как приватное лицо, и как член парламента, поддавшись безумию своего друга до такой степени, что его уже не могли привести в разум самые ясные и определенные резоны, хотя ни один из них он не сумел опровергнуть; от этого мое изумление граничило с полной растерянностью.

В понедельник 19 августа ночь была такой же неспокойной, хотя Фагон не желал признать, что у короля лихорадка. Он высказал его величеству пожелание, чтобы тот отправился на воды в Бурбонне. Король занимался делами с Поншартре-ном, прослушал малый музыкальный концерт у г-жи де Ментенон, объявил, что не поедет в Фонтенбло, и сказал, что в среду с балкона будет смотреть тяжелую кавалерию. Он приказал ей прибыть с квартир, дабы устроить смотр; в тот же день он понял, что не сможет принимать смотр с балкона, и ограничился тем, что решил поглядеть на нее из окна в большом дворе Версаля.

Ночь на вторник 20 марта прошла, как все предыдущие. Король утром занимался делами с канцлером; за обедом он изъявил желание видеть лишь немногих приближенных и иностранных посланников: вторник был и до сих пор еще оставался днем, когда они приезжали в Версаль. Он провел финансовый совет, а затем работал вдвоем с Демаре. К г-же де Ментенон король не смог пойти и послал пригласить ее. Чуть позже к ним были допущены г-жа де Данжо и г-жа де Келюс, чтобы помочь беседе. Ужинал король в халате, сидя в своем кресле. Больше он уже не выходил из своих покоев и не переодевался. Вечер, как и предыдущие, кончился очень скоро. Фагон наконец-то предложил королю собрать консилиум из лучших придворных и парижских врачей.

В этот же день г-жа де Сен-Симон, которую я торопил с возвращением, прибыла из Форжа с вод. После ужина король, перебираясь к себе в кабинет, заметил ее. Он велел Блуэну остановиться, сказал г-же де Сен-Симон много любезных слов насчет ее поездки и возвращения, после чего приказал катить себя в кабинет. Из придворных дам она последней беседовала с королем; я не беру в расчет г-жи де Леви, г-жи Данжо, г-жи Келюс и г-жи д'О, которые как приближенные г-жи де Ментенон играли с ним в карты и слушали музыку и которые бывали у него в покоях, когда он перестал покидать последние. Вечером г-жа де Сен-Симон призналась мне, что, встреть она его величество не во дворце, она не узнала бы его.

В среду 21 августа у короля были четыре врача, однако они только расхваливали Фагона, каковой принял это как должное. Король постановил в пятницу поглядеть из окна смотр тяжелой кавалерии, провел после обеда государственный совет, а затем занимался делами с канцлером. Вскоре после этого к нему пришла г-жа де Ментенон, затем приближенные дамы, и был большой музыкальный концерт. Ужинал король в халате, сидя в своем кресле. Несколько дней уже стали замечать, что король почти не ест мяса и даже хлеба, которого он всегда ел очень немного, а уже давно — крайне мало, поскольку у него не осталось зубов. Теперь в его меню входили суп во все больших количествах, рубленое, очень мягкое мясо да еще яйца, но ел он весьма умеренно. В четверг 22 августа королю стало еще хуже.

Его смотрели четыре других врача, которые, как и четверо предыдущих, лишь восхитились глубокой ученостью Фагона и методом его лечения, а тот дал вечером королю хину с водой, на ночь назначив молоко ослицы.[35] Уже с вечера понимая, что не сможет посмотреть с балкона на тяжелую кавалерию в версальском дворе, король воспользовался своей крайней слабостью к выгоде герцога Мэнского. Он поручил ему провести вместо себя смотр этой отборной части в качестве ее командира, дабы дать ему впервые показаться перед войсками и приучить их еще при его, короля, жизни относиться к герцогу так, как они относились к нему, а также чтобы он в соответствии с заслугами выказал им благосклонность и одобрение. С этим сей потомок Гизов и Кромвеля[36] мог справиться, но, поскольку он был лишен их храбрости, он перепугался, что станется с ним, имея в виду близкую кончину короля, ежели герцог Орлеанский осознает свою естественную силу и вздумает воспользоваться ею. И вот он стал искать щит, которым мог бы прикрыться, и с легкостью нашел его в лице г-жи де Ментенон. Г-жа де Вантадур, подзуживаемая бывшим своим любовником и задушевным другом маршалом де

Вильруа, который отлично знал, что делал, внушила дофину желание пойти на этот смотр. Он уже начал ездить верхом на маленькой лошадке и попросил у короля разрешения пойти на смотр. Всем было ясно, что разыгрывается комедия, потому как для дофина был уже готов мундир капитана тяжелой кавалерии, хотя он только-только начал носить штаны. Такое желание ребенка было весьма по сердцу королю, и он позволил ему пойти на смотр.

Состояние здоровья короля ни для кого уже не было тайной, и пустота в покоях герцога Орлеанского сменилась нашествием. Я порекомендовал ему пойти на смотр и под предлогом, что он желает почтить власть короля в лице герцога Мэнского, которого тот облек полномочиями на время смотра, следовать в его свите, как он следовал бы в свите самого короля, и так это все ему и объяснить, если герцог Мэнский станет оправдываться, стараться быть все время рядом с ним, как бы он ни противился этому, демонстративно говорить с ним, сняв шляпу, как если бы то был король, обогнать его на пятьдесят шагов при приближении своих рот тяжелой кавалерии, дабы во главе их приветствовать его, затем присоединиться к нему и в их рядах с непокрытой головой сопровождать его, но при этом почаще бросать взгляды на кавалеристов и свиту, чтобы от них не ускользнул язвительный смысл этой оскорбительной почтительности и чтобы сей поддельный король у всех на глазах изнемогал от замешательства и страха. Кроме удовольствия унизить герцога Мэнского в час его триумфа, герцог Орлеанский должен был многого добиться, обнажив перед всеми трусость незаконнорожденного, продемонстрировать войску и зрителям из придворных и прибывших из города, сколь сила происхождения выше узурпации, а равно и показать, что если при жизни короля, дни которого уже на исходе, он ничему не противодействовал, то впредь не позволит бастарду пользоваться преимуществами, каковых тот сумел добиться во вред ему и вопреки праву и законам. Герцогу Орлеанскому бояться было нечего; в соответствии со своими предрасположениями король сделал все, что мог, в ущерб ему и в пользу своих побочных детей; никто в этом не сомневался, да и не мог сомневаться, тем паче герцог Орлеанский. При таком поведении он ничего не терял бы, поскольку при всей издевательской сущности внешне оно не могло дать никакого повода для жалоб — и притом кому? Что мог бы сделать сей умирающий Юпитер? Зато герцог Орлеанский мог много приобрести, исполнив робостью герцога Мэнского и его сторонников и показав всей Франции, как должно быть; Мне хотелось, чтобы он явился там один, без свиты, чтобы всех, кто

хотел бы присоединиться к нему, отсылал с изъявлениями издевательского почтения к герцогу Мэнскому, чтобы всем, кто прибыл поглядеть на смотр, давал понять, что он тут незначительное частное лицо, для которого слишком много чести, ежели к нему проявляют внимание, и который чувствует себя не вправе отвечать на него; чтобы, отдавая перед своими ротами рапорт герцогу Мэнскому, он изображал из себя этакого офицерика, надеющегося на то, что герцог в своем докладе королю благосклонно о нем отзовется, затем представил бы герцогу офицеров, похвально охарактеризовав каждого, но проделал бы это с оскорбительной и завуалированно угрожающей почтительностью. Признаюсь, в тот день я дорого дал бы, чтобы стать, будь такое возможно, герцогом Орлеанским. Боюсь, что герцог Мэнский при его натуре умер бы тогда от страха. Присутствие пятилетнего дофина ничему бы не помешало. Он в его возрасте мог лишь принимать почести, все прочее предназначалось герцогу Мэнскому, поскольку тот, кроме себя, представлял и короля. Однако по причине своего малодушия герцог Орлеанский оказался не способен на столь тонкую комедию. Он отправился на смотр, проверил свои роты, во главе их приветствовал дофина и почти не подходил к герцогу Мэнскому, который, завидя его, побледнел; замешательство и испуг герцога Мэнского поразили общество, которое оставило его и повсюду сопровождало герцога Орлеанского, хоть тот ничего для этого и не сделал. Все бывшие там выказывали возмущение тем, что в присутствии герцога Орлеанского смотр проводит герцог Мэнский. А то ли еще было бы, если бы герцог Орлеанский повел себя так, как настаивал я! Впоследствии он сам понял это и был весьма сконфужен; я же воспользовался этим, чтобы придать ему отвагу. Даже тяжелая кавалерия негодовала и не скрывала этого, какие старания ни прилагал король в те часы, когда еще мог видеть придворных, рассказывая, дабы сделать это известным офицерам тяжелой кавалерии, какие необыкновенные похвалы расточал этой части герцог Мэнский в своем рапорте. Публика сочла такое поручение крайне странным, и герцог Мэнский ничего не выиграл от того, что получил его, как бы льстиво он ни высказывался о тяжелой кавалерии во время и после смотра. В крайнем замешательстве, которое было очевидно для всех, находившихся там, он хотел оказать почести герцогу Орлеанскому, однако тот ограничился ответом, что находится здесь в качестве капитана тяжелой кавалерии, не принял оных и ушел после того, как повидал свои роты и во главе их приветствовал дофина. Вскоре после этого тяжелая кавалерия была отправлена к себе в казармы. Именно на этом смотре герцог

Орлеанский и герцог Мэнский ощутили первые признаки того, что ждет каждого. Все бросились к первому из них, покинув второго, оставшегося в полном смущении; даже кавалерия была потрясена таким контрастом. Публика высказывалась обо всем этом весьма сурово и откровенно, полагая, что принимать смотр, чтобы потом дать отчет королю, должен был герцог Орлеанский, если уже таковую обязанность положено исполнять принцу, либо маршал Франции или прославленный генерал.

Я доставил себе небольшое удовольствие, на которое герцог Орлеанский, как будущий регент королевства, не решился. Я пошел повидать Поншартрена, у которого почти не бывал, и упал туда, как бомба, что оказывается крайне печальным и досадным и для бомбы, и для тех, на кого она падает, однако на сей раз так было лишь для них, а мне доставило двойное удовольствие. Министры были весьма обеспокоены своей судьбой. Их все еще сдерживал страх перед королем: ни один из них не смел пока перекинуться к герцогу Орлеанскому; бдительность герцога Мэнского и боязнь г-жи де Ментенон держали их на коротком поводке, потому что у короля осталось достаточно сил, чтобы прогнать их, и в таком случае они не могли бы льстить себя надеждой, что герцог Орлеанский сочтет их пострадавшими из-за него, а были бы лишь жертвами собственной нерешительной и мешкотной политики. Я же хотел насладиться замешательством Поншартрена и доставить себе удовольствие поиграть с этим гнусным циклопом.[37] Он сидел, запершись, с Бэзоном и д'Эффиа, однако слуги его после секундной нерешительности не посмели не впустить меня. Итак, я вошел в кабинет, и моему взору открылись три человека, так близко сидевшие друг к другу, что головы их соприкасались; при моем появлении они словно внезапно пробудились, и от меня не ускользнуло выражение досады на лицах, которое мгновенно сменилось любезным с примесью замешательства, вызванного моим докучным присутствием. Я видел, что прервал их совещание и мешаю им, это меня весьма развеселило, и потому я отнюдь не собирался уходить, как сделал бы в любое другое время. Они же надеялись на это, однако, видя, что я завел разговор о всяких пустяках, как человек, не понимающий, что его присутствие нежелательно, Эффиа сухо откланялся, Безон следом за ним, и они ушли. Поншартрен до сей поры не принимал и не придавал значения Безону, но, как только ощутил потребность в герцоге Орлеанском, объявил, что он с Безоном в родстве. Он сделался его покровителем, а Безон, который благодаря своей преданности герцогу Орлеанскому вошел в его окружение и подружился с д'Эффиа, привлек последнего на сторону Поншартрена. Как

только они вышли, я позволил себе пошутить, сказав, что, кажется, я им помешал и мне лучше уйти. Рассыпая любезности, Поншартрен наговорил достаточно много такого, чтобы я мог сказать ему, что сейчас у него были люди, которые способны оказаться ему весьма полезными. Мысль об изменяющей ему фортуне до такой степени ослепила его, что он даже не заметил, что я стараюсь разговорить его, чтобы над ним посмеяться; забыв все свои козни и все, что произошло между нами, он весьма обнадежился моим визитом и беседовал со мною со своего рода доверием, смешанным с почтительностью, какая до сей поры была ему неведома. Я даже не дал себе труда завлекать его неопределенными любезностями и придворными речами; он сам пошел на крючок, толковал мне о своих горестях, тревогах, затруднительном положении, наконец произнес целую апологию насчет своего отношения к герцогу Орлеанскому, признался, что прибег к Безону, а через него к д'Эффиа, нахваливал их дружественность и благодеяния — воплощение ничтожества, он унизился до такого слова! — которые они оказали ему, и, все время возвращаясь к своим тревогам, то тут, то там подпускал намеки, как бы он желал моего покровительства и в каком был замешательстве, не осмеливаясь попросить меня о нем. Достаточно натешившись подобным пресмыкательством, я сказал ему, что поражен, как умный человек вроде него, настолько знающий двор и свет, может быть обеспокоен тем, что станется с ним после смерти короля, которому, в сущности, — тут я со значением глянул на него-по всем признакам осталось недолго жить; сказал, что при его таланте и опыте в морских делах он может быть уверен, что никто тут с ним не сравнится, и герцог Орлеанский был бы чрезвычайно счастлив, если бы он продолжал исполнять эту столь необходимую и важную должность, на которой человек, подобный ему, никем, кто имеет хотя бы малейшее представление о ней, не может быть заменен. У меня было ощущение, что я вернул его к жизни, но, будучи крайне многословен, он неоднократно возвращался к своим тревогам, которые я старался рассеивать отнюдь не до конца, с удовольствием наблюдая, как он покрывается бледностью, но затем теми же самыми словами убеждая его, что он незаменим на своем месте, что его невозможно сместить и потому, уверенный в сохранении своей должности, он может спокойно жить, ни в ком не нуждаясь. Эта прелестная комедия заняла у меня добрых три четверти часа. Я всячески старался, чтобы ни одно мое слово не прозвучало намеком на предложение поста, совет или изъявление былой дружбы, лишь время от времени говорил что-нибудь, чтобы поддержать поток его словоизвержения, и узнал, что Безон и

д'Эффиа выказали себя его покровителями. От герцога же Орлеанского я неизменно слышал заверения, что он не оставит его на этом посту и объявит, что сделает выбор из членов совета по морским делам.

Демаре, чувствовавший себя столь же неуверенно, как Поншартрен, вдруг вспомнил о моем существовании. Лувиль, зять брата г-жи Демаре, пришел поговорить со мной насчет него. Он всегда был моим близким другом, и для него не было тайной ни мое поведение по отношению к Демаре, ни то, как тот поступил со мной. Лувиль пересказал мне изъявления почтения Демаре, его сожаления, его пожелания и подкрепил их собственными доводами и красноречием. Я не открыл ему, что удаление Демаре — дело уже решенное, однако сказал, что Демаре, на мой взгляд, слишком поздно раскаялся и что для меня он человек, на которого я до сих пор умел не обращать внимания и о котором не желаю слышать до конца своих дней. Следствием этого отказа было до крайности назойливое письмо герцогини де Бовилье, писавшей также и от имени герцогини де Шеврез, в котором, пытаясь расположить меня в пользу Демаре, в качестве последнего довода приводилось его знание финансов и потребностей государства в этой важнейшей области. Я ответил как можно почтительней, с изъявлениями преданности и покорности, но решительно отказал в помощи Демаре, правда, не объясняя, чего ему опасаться и на что надеяться, и, таким образом, дважды непреклонно отказав, я избавил себя от новых ходатайств и усугубил страх этого грубого и наглого министра, а также его раскаяние в своей глупой неблагодарности по отношению ко мне.

В тот же четверг 22 августа, когда герцог Мэнский принимал вместо короля смотр тяжелой кавалерии, король перед отходом ко сну приказал герцогу де Ларошфуко завтра утром показать ему кафтаны, дабы выбрать, какой прилично надеть по снятии траура по сыну герцогини Лотарингской, принцу Франсуа,[38] умершему в возрасте двадцати шести лет. Из вышенаписанного видно, что король уже не мог сам ходить, в последние дни не одевался и велел относить себя к г-же де Ментенон, что он покидал постель, только чтобы в халате пообедать, что в его спальне и соседних комнатах ночевали врачи и что, наконец, он уже не мог глотать твердой пищи, однако же еще надеялся, как явствует отсюда, выздороветь, поскольку думал, что сможет еще одеться, и собирался выбрать, какой тогда надеть кафтан. Потому-то и следовали, как видно из вышеописанного, друг за другом советы, труды, развлечения, что люди не хотят умирать и, насколько возможно, стараются не думать о надвигающейся смерти.

Пятница 23 августа прошла, как и предыдущие дни. Утром король занимался делами с о. Телье, затем, не надеясь более посмотреть на тяжелую кавалерию, отправил ее в казармы. Необычным в этот день было то, что король ужинал не в постели, а надел халат и встал. После были развлечения, на которых присутствовала г-жа де Ментенон, а затем и ее приближенные дамы. Все эти дни — и это следует помнить — все сколько-нибудь знатные придворные сходились к его трапезам, а те же, кто имел право первого или большого входа, — к мессе, к концу одевания и к началу раздевания; это относилось и к герцогу Орлеанскому; остаток же дня, свободный от советов и трудов с министрами, король посвящал, как и в ту пору, когда был на ногах, побочным детям, причем чаще герцогу Мэнскому, нежели графу Тулузскому; герцог Мэнский нередко оставался у него, когда присутствовала только г-жа де Ментенон, а несколько раз и приближенные дамы, причем входил и выходил он по небольшой лестнице, расположенной за кабинетами, так что никто не видел, когда он приходит и уходит; тем же путем пользовался и граф Тулузский; г-жа де Ментенон и ее дамы проходили только через передние покои. Внутренняя прислуга обыкновенно пребывала при короле, когда он был в одиночестве или с побочными детьми, но почти всегда удалялась, если он оставался с глазу на глаз с герцогом Мэнским.

25. 1715. Продолжение дневника последних дней короля

Ночь на пятницу 23 августа прошла, как и предыдущие, утро тоже. Король занимался делами с о. Телье, который безуспешно убеждал его раздать свободные крупные бенефиции, каковых было немало, а проще сказать, дать ему распорядиться ими, дабы не допустить до них герцога Орлеанского. Надобно тут заметить, что чем хуже становилось королю, тем настоятельней о. Телье убеждал его, не желая упускать столь богатую добычу и возможности наделить ею своих доверенных ставленников, с каковыми он уже столковался, но не о денежном вознаграждении, а о содействии его козням. Но ему так и не удалось преуспеть. Король заявил, что ему и без того в слишком многом должно дать отчет Господу, чтобы отягощать себя в момент, когда скоро предстоит предстать перед Ним, еще и этими назначениями, и запретил впредь заговаривать об этом. Встав с постели, король обедал в домашнем халате у себя в спальне, видел придворных, так же и ужинал; время после обеда он провел с обоими побочными сыновьями, но особенно долго с герцогом Мэнским, с г-жой де Ментенон и приближенными дамами; вечер прошел как обычно. В этот же день он узнал о смерти де Мезона и отдал его должность его сыну по просьбе герцога Мэнского.

Нельзя двигаться дальше, не разъяснив порядки в покоях короля, после того как он перестал выходить. Все придворные круглый день находились на галерее. В переднем зале, смежном с королевской спальней, никто не задерживался, кроме ближайших слуг и аптекарей, которые грели там все, что нужно; через него только проходили, да и то поспешно, из двери в дверь. Имеющие право входа проходили в кабинеты с галереи через зеркальную дверь, которая все время была закрыта и отворялась только на стук и сразу же закрывалась. Министры и государственные секретари тоже входили через эту дверь и пребывали в кабинете, соседствующем с галереей. Принцы крови и принцессы, дочери короля, тоже не проходили дальше этого кабинета, разве только король их требовал к себе, но такого почти не случалось. Маршал де Вильруа, канцлер, оба побочных сына, герцог Орлеанский, о. Телье, приходский священник, а также Марешаль, Фагон и первые королевские лакеи, когда они не находились в спальне короля, ожидали в кабинете государственного совета, который размещается между королевской спальней и кабинетом, отведенным для принцев и принцесс крови, придворных,

имеющих право входа, и министров. Герцог де Трем, бывший в тот год обер-камергером, держался у открытой двери между двумя кабинетами и входил в спальню короля лишь в тех случаях, когда его услуги были совершенно необходимы. — В течение всего дня все проходили в королевскую спальню только через кабинет государственного совета, исключение составляли служба внутренних покоев и аптекари, размещавшиеся в переднем зале, г-жа де Ментенон и ее приближенные дамы, а в обед и ужин те, кто прислуживал за столом, и придворные, которым дозволялось войти. Герцог Орлеанский ограничивался тем, что входил в спальню короля раз, редко два раза в день — и то на миг, когда туда заходил герцог де Трем, — и еще раз в день он на мгновение показывался в дверях, ведущих из кабинета государственного совета в спальню, и король мог видеть его с кровати. Иногда король требовал к себе канцлера, маршала де Вильруа, о. Телье, изредка кого-нибудь из министров, частенько герцога Мэнского, реже графа Тулузско-го, а больше никого, даже кардиналов де Рогана и де Бисси, которые нередко бывали в кабинете для имеющих право входа. Иногда, оставаясь наедине с г-жой де Ментенон, король вызывал маршала де Вильруа или канцлера или обоих вместе, но чаще герцога Мэнского. Мадам и герцогиня Беррийская не заходили в эти кабинеты и почти не виделись с королем во время болезни, а ежели приходили, то через передние покои и почти сразу же уходили.

Суббота 24 августа прошла почти не хуже обычного, потому что все ночи проходили плохо, но вот с ногой стало куда хуже, она очень болела. По обыкновению была отслужена месса, обедал король в постели, и в это время его видели главные придворные без права входа, затем состоялся финансовый совет, потом король вдвоем с канцлером занимался делами, после этого пришла г-жа де Ментенон с приближенными дамами. К ужину король встал и облачился в халат; то был последний раз, когда его видели придворные. Я обратил внимание, что он может есть только жидкую пищу и ему невыносимо, что на него смотрят. Он не смог закончить ужин и сказал придворным, что просит простить его, то есть попросил уйти. После этого он лег в постель; врачи осмотрели его ногу, на которой появились черные пятна. Он послал за о. Телье и исповедался. Врачи были в смятении. Сперва они попробовали лечить его молоком и хиной с водой, потом отменили и то и другое и не знали, что делать. Они признались, что, по их мнению, у короля с Троицы изнурительная лихорадка, но оправдывали свое бездействие тем, что он не желал принимать лекарства, а сами они не представляли, насколько плохи его дела. Исходя из описанного мною разговора между Марешалем и

г-жой де Ментенон, состоявшегося много раньше, видно, насколько можно им верить.

Ночь на воскресенье 25 августа, день св. Людовика, прошла плохо. Опасность перестала быть тайной и сразу же сделалась огромной и неотвратимой. Тем не менее король недвусмысленно пожелал, чтобы в заведенном порядке дня ничто не менялось, то есть чтобы барабанщики и гобоисты, стоявшие у него под окнами, дали, как только он проснется, обычный концерт, а также чтобы во время обеда в передней зале играли двадцать четыре скрипки. Потом он беседовал наедине с г-жой де Ментенон, с канцлером и очень коротко с герцогом Мэнским. Накануне, когда он трудился с канцлером, в спальню принесли бумагу и чернила, все это оставалось там и в этот день, когда в спальне была г-жа де Ментенон, из чего следует, что в один из этих двух дней канцлером была сделана под диктовку короля приписка к завещанию. Г-же де Ментенон и г-ну Мэнскому, неустанно думавшему о себе, казалось, что король недостаточно сделал для него в завещании; они пожелали исправить это в приписке, которая в равной степени показала, как безмерно они злоупотребили слабостью короля перед его смертью и до какой крайности может довести человека безграничное тщеславие. В этой приписке король подчинил все без исключений цивильные и военные службы королевского двора непосредственно герцогу Мэнскому и находящемуся в прямом подчинении герцога маршалу де Вильруа; следственно, при таком положении они оказались бы безраздельными хозяевами особы короля и его резиденции, а также всего Парижа, поскольку командовали бы двумя полками гвардии и двумя ротами мушкетеров, несущими внешнюю и внутреннюю охрану; к ним в ведение перешли бы также все дворцовые службы, покои, королевский гардероб, дворцовая церковь, королевский стол и конюшни, так что у регента не осталось бы и тени самой крошечной власти, он оказался бы в полной зависимости от них, и они могли бы когда угодно по хотению герцога Мэнского подвергнуть его аресту, а то и обойтись с ним куда хуже.

Вскорости после того, как канцлер вышел от короля, г-жа де Ментенон, остававшаяся у него, вызвала приближенных дам, а в семь часов вечера пришли музыканты. Между тем король заснул под разговоры дам, а пробудился с затуманенной головой, отчего они перепугались и решили вызвать врачей. Врачи нашли пульс короля настолько плохим, что решительно посоветовали ему, когда он пришел в себя, не мешкая, приобщиться святых тайн. Послали за о. Телье и предупредили кардинала де Рогана, который, ни о чем не беспокоясь, проводил время у себя в

большом обществе; одновременно отослали музыкантов, уже приготовивших ноты и инструменты; дамы тоже удалились. По случайности я в это время проходил через галерею и передние залы, направляясь из своих покоев в новом крыле дворца в другое крыло к его высочествам герцогине, а затем и герцогу Орлеанскому. Я увидел лишь последних музыкантов и подумал, что большинство их уже прошло. У входа в кордегардию Перно, привратник королевской приемной, спросил меня, знаю ли я, что сейчас произошло, и все рассказал. Герцогиню Орлеанскую я застал в постели: у нее еще не прошла мигрень; она была в окружении дам, и те беззаботно болтали. Я приблизился к постели и сообщил герцогине, что произошло, однако она не желала мне верить и убеждала меня, что у короля сейчас музыкальный концерт и чувствует он себя хорошо; затем, поскольку говорил я тихо, она громко спросила у дам, слыхали ли они что-нибудь. Ни одна из них ничего не слыхала, и герцогиня Орлеанская успокоилась. Я вторично заявил, что уверен в том, что сообщил, и что, по моему мнению, ей следует хотя бы послать разузнать новости, а пока встать с постели. Этим я убедил ее и пошел к герцогу Орлеанскому, которого также оповестил и который совершенно разумно счел, что ему следует оставаться у себя, поскольку за ним не присылали.

Спустя четверть часа после отсылки музыкантов и дам все было сделано. О. Телье исповедал короля, меж тем как кардинал де Роган велел взять в церкви святые дары и послал за священником и елеем. Спешно пришли два придворных капеллана, вызванные кардиналом, дворцовые слуги, два лакея Фагона и один г-жи де Ментенон принесли не то семь, не то восемь канделябров со свечами. Эта небольшая процессия поднялась к королю по маленькой лестнице за кабинетами, через которые прошел в королевскую спальню и кардинал де Роган. О. Телье, г-жа де Ментенон и с дюжину придворных, имевших право входа, старших слуг или просто лакеев встретили и сопроводили святые дары. Кардинал произнес несколько слов о значении этого последнего и великого таинства; король при этом держался очень мужественно и, казалось, проникся важностью совершавшегося. Как только он причастился тела Христова и был помазан святым елеем, все присутствовавшие при этом вышли из спальни, следуя кто впереди, кто позади дароносицы; остались лишь ггжа де Ментенон и канцлер. Сразу же, и эта поспешность выглядела несколько странной, на кровать принесли что-то вроде книги или маленького столика; канцлер подал королю добавление к завещанию, в конце которого тот собственной рукой начертал несколько строчек, после чего возвратил его канцлеру. Король

попросил попить, затем подозвал маршала де Вильруа, стоявшего вместе с несколькими самыми высокопоставленными придворными в дверях между спальней и кабинетом государственного совета, и четверть часа беседовал с ним с глазу на глаз. Затем король послал за герцогом Орлеанским и беседовал с ним также наедине, но несколько дольше, чем с маршалом де Вильруа. Он выказал герцогу большое уважение, говорил о дружбе и доверии, но, что чудовищно, имея в устах еще тело Христово, которого только что причастился, он уверял, что в завещании герцог не найдет ничего, что могло бы вызвать его недовольство, а затем вверил ему заботу о государстве и особе будущего короля. А ведь не прошло еще и получаса между последним причастием, соборованием и этой беседой; король не мог забыть о тех странных распоряжениях, которые у него с таким трудом вырвали, забыть, что в промежутке он внес исправления в недавно составленное добавление к завещанию, каковым добавлением он приставил нож к горлу герцога Орлеанского, вручив рукоять герцогу Мэнскому. Примечательно, что после этой беседы с глазу на глаз, первой, которая была у короля с герцогом Орлеанским, пошел слух, что тот только что объявлен регентом. Как только герцог Орлеанский удалился, король позвал герцога Мэнского, который находился в кабинете. Король говорил с ним около четверти часа, после чего был позван граф Тулузский, также находившийся в кабинете, который пробыл в кабинете с королем и герцогом Мэнским тоже около четверти часа. В спальне в это время были лишь несколько необходимых слуг и г-жа де Ментенон. Пока король разговаривал с герцогом Орлеанским, она не подходила к нему. К этому времени в кабинете собрались трое побочных детей короля, оба сына г-жи герцогини и принц де Конти. По окончании разговора с герцогом Мэнским и графом Тулузским король, заметив в дверях между спальней и кабинетом принцев крови, позвал их и сказал им несколько слов всем вместе, но ни с кем не говорил поодиночке или шепотом. Почти тут же пришли врачи, чтобы перевязать королю ногу, и принцы удалились, остались только те, кто необходим, и г-жа де Ментенон. В это же время канцлер увел герцога Орлеанского в кабинет государственного совета и показал ему приписку к завещанию. Во время перевязки король узнал, что в кабинете находятся принцессы, велел их пригласить и громко сказал им несколько слов; воспользовавшись тем, что они расплакались, он попросил их удалиться, поскольку ему хочется отдохнуть. Они вышли вместе с теми немногими, кто пришел с ними, полог кровати несколько задвинули, и г-жа де Ментенон перешла в задние кабинеты.

Ночь на понедельник 26 августа прошла не лучше. Королю сделали перевязку, потом он слушал мессу. В спальне были только самые необходимые люди, и после мессы они вышли. Король велел остаться кардиналам де Рогану и де Бисси. Как всегда, осталась г-жа де Ментенон, а с нею маршал де Вильруа, о. Телье и канцлер. Король подозвал обоих кардиналов, торжественно объявил, что умирает веруя и покорный церкви, потом, глядя на них, добавил, что огорчен, оставляя дела церкви в том состоянии, в каком они находятся, что он был совершенно несведущ в этих делах и они это знали, он им об этом говорил, что он делал только то, что они хотели, и сделал все, чего они хотели, и это они должны отвечать перед Богом за все, что было сделано лишнего или не сделано, еще раз объявил, что поручает им за это ответить перед Богом, а его совесть чиста, как у человека несведущего, который во всех этих делах всегда целиком полагался на них. О, какой это был ужасный удар грома! Но кардиналы ничуть не испугались: их зачерствевшие сердца способны были вынести и не такое. Отвечая, они лишь защищали себя и расточали лесть королю, и тогда он повторил, что в своем неведении считал, что для его совести наилучшим было во всем довериться им, и потому всю ответственность перед Богом он возлагает на них. И еще он добавил, что к кардиналу де Ноайлю, Бог тому свидетель, он никогда не питал ненависти и его всегда огорчало все то, что он полагал обязанным делать против него. При этих словах Блуэн, Фагон, хоть он и превратился в низкого царедворца, и Марешаль, стоявшие поблизости и в поле зрения короля, переглянулись и принялись вслух и шепотом обсуждать, хорошо ли будет, ежели король умрет, не повидавшись со своим архиепископом и тем самым не примирившись и не простив его, и что такой скандал нужно предотвратить. Король, услыхав их, снова заговорил и объявил, что он не только не против, но даже весьма желает этого. Эти слова смутили обоих кардиналов куда больше, чем известие, что король перекладывает на них ответственность перед Богом. Г-жа де Ментенон испугалась, о. Телье затрясся. Их перепугало, что король вновь обретет доверие к пастырю, а тот выкажет великодушие и справедливость. Они опасались тех мгновений, когда почтение и страх отступают перед гораздо более важными соображениями. Они впали в замешательство, и воцарилось молчание. Его прервал король, велевший канцлеру немедленно послать за кардиналом де Ноайлем, ежели эти господа — тут он взглянул на кардиналов де Рогана и де Бисси — не сочтут это неуместным. Оба они переглянулись и отошли к окну с о. Телье, канцлером и г-жой де Ментенон. О. Телье шепотом выдавил, что это недопустимо, де

Бисси поддержал его, г-жа де Ментенон заявила, что это опасно, Роган же, более миролюбивый или более благоразумный в предвидении будущего, отмолчался, канцлер тоже. В конце концов сцену решили завершить так же, как она была начата, и вести себя как прежде, то есть обмануть короля и обвести его вокруг пальца. Они вновь приблизились к постели и стали превозносить умирающего, давая понять, что нельзя, чтобы доброе дело послужило торжеству их врагов и чтобы те воспользовались этим шагом, единственная причина которого-добрая воля короля и его чрезмерная совестливость, а потому они согласны, чтобы кардинал де Ноайль имел честь повидать его величество, но при условии, что он согласится с папской буллой и даст в том слово. Король без обсуждений принял их совет, и канцлер в соответствии с этим написал послание кардиналу де Ноайлю. Едва король дал согласие, оба кардинала стали превозносить его за то великое деяние, которое он совершит, — так велик был их страх, как бы король не вернулся к намерению встретиться с кардиналом де Ноайлем без всяких условий, поскольку подстроенная ими каверза была совершенно ничтожна и ее легко было обнаружить; они надеялись, что либо король образумит кардинала де Ноайля, либо тот своим отказом и непреодолимо упорным желанием сеять в церкви смуту проявит полнейшую неблагодарность к королю, который, умирая, протянул ему руку. Так и случилось. Кардинал де Ноайль преисполнился горечи от столь беспримерного лукавства. Прав он был или нет в споре насчет буллы, однако в любом случае близящаяся смерть короля не подтверждала ничьей правоты в этом вопросе и соответственно не могла произвести никаких изменений во мнениях.

Обстоятельство это было самое трогательное, оно не имело отношения к делу, а уж каверза была прегнуснейшая, и направлена она была как против короля, чьим состоянием они бесстыдно воспользовались, так и против кардинала де Ноайля, которого они намеревались либо обуздать, либо совершенно очернить. Этот гнусный поступок восстановил против них все общество, возмущение усугубилось еще и тем, что близость кончины короля возвратила всем свободу, которая долго сковывалась страхом перед ним. Когда же стали известны подробности и про обращение короля к обоим кардиналам насчет того, что он возлагает на них ответственность за все, что им сделано в связи с папской буллой, и про то, как затем поступили с кардиналом де Ноайлем, всеобщее негодование прорвало все плотины и стало безудержным; в то же время никто не осудил кардинала де Ноайля, чей немногословный ответ канцлеру являл

собой верх веры, скорби и мудрости.

В тот же понедельник 26 августа после ухода обоих кардиналов король отобедал в постели в присутствии придворных, имевших право входа. Когда убрали со стола, он попросил их приблизиться и сказал слова, запомнившиеся всем: «Господа, прошу простить меня за то, что подавал вам дурной пример. Хочу поблагодарить вас за службу, за верность и преданность, какие вы мне всегда выказывали. Я очень огорчен, что не сделал для вас все то, что хотел бы сделать. Причиной тому скверные времена. Прошу вас служить моему правнуку столь же ревностно и верно, как вы служили мне. На жизненном пути этого ребенка может встать множество препятствий. Так будьте же примером остальным моим подданным. Исполняйте приказания моего племянника. Он будет управлять королевством, и надеюсь, будет это делать хорошо; надеюсь также, что вы будете способствовать единению, а если кто сойдет с этого пути, вы поможете ему вернуться. Я вижу, что я расчувствовался и вы тоже; прошу вас простить меня за это. Прощайте, господа, надеюсь, иногда вы будете вспоминать меня».

Немного спустя, после того как все вышли, король пригласил маршала де Вильруа и сказал ему следующие слова, которые он запомнил и впоследствии пересказывал: «Господин маршал, перед смертью я даю вам новый знак своей дружбы и доверия. Назначаю вас на самую важную должность, какую могу дать, — воспитателем дофина. Из моего завещания вы узнаете, как вам надлежит обращаться с герцогом Мэнским. Не сомневаюсь, что и после моей смерти вы будете служить мне столь же верно, как служили при жизни. Надеюсь, что мой племянник будет относиться к вам с тем уважением и доверием, какое он обязан выказывать человеку, которого я всегда любил. Прощайте, господин маршал, и надеюсь, вы будете вспоминать меня».

После некоторой передышки король велел позвать его высочество герцога и принца де Конти, которые находились в кабинетах, и, не дав даже приблизиться, обратился к ним с советом сохранять желанное единство среди принцев крови и не следовать семейным примерам в возбуждении смут и гражданских войн; более он им ничего не сказал. Затем, услыхав из кабинета женские голоса, понял, кто там, и тотчас велел войти. То были герцогиня Беррийская, Мадам, герцогиня Орлеанская и принцессы крови; они рыдали, и король сказал им, что не стоит так плакать. В немногих словах он выказал им свое расположение, особо выделил Мадам, а под конец призвал герцогиню Орлеанскую и ее высочество герцогиню помириться. Все это заняло очень немного времени, после чего он отпустил их.

Они уходили через кабинеты в слезах и с такими воплями, что снаружи, поскольку окна были открыты, решили, что король умер; слух распространился по Парижу и дошел до провинций.

Чуть позже король попросил герцогиню де Вантандур привести к нему дофина. Он велел мальчику приблизиться и в присутствии г-жи де Ментенон, очень немногих ближайших приближенных и слуг сказал ему следующие слова, запечатлевшиеся в памяти присутствующих: «Дитя мое, вы станете великим королем. Не подражайте мне ни в моей склонности к строительству дворцов, ни в склонности к войне, напротив, старайтесь жить в мире с соседями. Воздавайте должное Богу, сознавайте свои обязанности по отношению к нему, заставляйте своих подданных чтить его. Всегда следуйте добрым советам, постарайтесь облегчить тяготы народа, чего я не смог сделать и потому чувствую себя несчастным. Не забывайте о признательности, какой вы обязаны г-же де Вантандур. Сударыня, — обратился он к ней, — дайте я его поцелую, — и, поцеловав, продолжал:- Дорогое мое дитя, благословляю вас от всего сердца». Когда маленького принца взяли с кровати, король снова попросил поднести его, поцеловал и, воздев руки и глаза к небу, еще раз благословил. То было крайне трогательное зрелище; герцогиня де Вантандур поспешила увести дофина в его покои.

После небольшой передышки король велел позвать герцога Мэнского и графа Тулузского, попросил тех немногих, кто был в спальне, выйти и закрыть двери; этот разговор втроем продолжался довольно долго. Когда он был закончен и все вернулись в спальню, король послал за герцогом Орлеанским, который находился у себя. Говорил он с ним недолго, а когда тот выходил, попросил вернуться и сказал что-то еще, но это заняло совсем мало времени. Тогда же он распорядился, после его смерти перевезти будущего короля в Венсен, где очень хороший воздух, на то время, пока не будут завершены все траурные церемонии и дворец после них не будет очищен, и лишь после этого дофин может вернуться в Версаль, назначенный ему резиденцией. По-видимому, король прежде поговорил об этом с герцогом Мэнским и маршалом де Вильруа, потому что после ухода герцога Орлеанского распорядился обставить Венсенский замок и привести его в порядок, чтобы там незамедлительно смог поселиться его наследник. Герцогиня Мэнская, которая до сей поры не побеспокоилась выехать из Со, где приятно проводила время в обществе, наконец-то прибыла в Версаль и попросила у короля дозволения на миг повидаться с ним, как только он покончит с распоряжениями. Она уже находилась в приемной,

вошла и через минуту вышла.

Во вторник 27 августа в королевскую спальню вошли только о. Телье и г-жа де Ментенон, а во время мессы — кардинал де Роган и два очередных священника. Около двух король послал за канцлером и в присутствии г-жи де Ментенон приказал ему открыть два ларца, полные бумаг, одни из которых велел сжечь, а относительно других дал распоряжения, как с ними поступить. Около шести часов вечера он вновь потребовал к себе канцлера. Г-жа де Ментенон в течение всего дня не выходила из спальни, а входили туда лишь лакеи да временами слуги, в которых была необходимость. К вечеру король велел позвать о. Телье и почти сразу после беседы с ним послал за Поншартреном, которому отдал распоряжение перенести его сердце сразу же после смерти в церковь иезуитской конгрегации в Париже, поместив оное рядом с сердцем короля, его отца, и точно таким же образом. Чуть погодя он вспомнил, что Кавуа, обер-гофмаршал, никогда не распределял комнаты придворным в Венсене, потому что вот уже пятьдесят лет двор ни разу не находился там; он указал шкатулку, в которой лежал план Венсен-ского замка, велел взять ее и отнести Кавуа. Немного спустя после этих распоряжений король сказал г-же де Ментенон, что он слышал, будто трудно примириться со своей смертью, а вот он в сей роковой для человека час видит, что это, оказывается, не так уж и страшно. Она ему ответила, что умирать страшно, когда либо чувствуешь в душе привязанность или ненависть к людям, либо чего-то не сделал. Король заметил: «Никому из людей я уже ничего не должен, а относительно же того, что я должен сделать для государства, надеюсь на милосердие Господне». Ночь была очень неспокойная. Слуги видели, как король то и дело складывал руки, и слышали, что он читает молитвы, которые обыкновенно читал, когда был здоров, и, произнося «Confiteor»,[39] ударяет себя в грудь.

В среду 28 августа король дружески разговаривал с г-жой де Ментенон, но ей его слова не слишком понравились, и она ничего на них не ответила. Он сказал ей, что, оставляя ее, утешается тем, что ввиду ее возраста они скоро встретятся. Около семи утра он призвал о. Телье, и, когда тот толковал ему о Боге, король увидел в каминном зеркале, что в ногах у него на постели сидят двое слуг и плачут. Он обратился к ним: «Почему вы плачете? Неужели вы считали, что я бессмертен? Я-то так никогда не думал, и вы, зная, в каком я возрасте, должны были бы приготовиться к тому, что меня не станет».

Некий неотесанный мужлан-провансалец по пути из Марселя в Париж услыхал, что король при смерти, и в это утро явился в

Версаль со снадобьем, которое, по его словам, вылечивает гангрену. Королю было до того плохо, а врачи совершенно не знали, как ему помочь, и потому без сопротивления в присутствии г-жи де Ментенон и герцога Мэнского согласились испробовать снадобье; Фагон пытался что-то сказать, но этот мужлан, именовавшийся Лебреном, грубо отбрил его, отчего Фагон, привычный обрывать других врачей, встречая в ответ лишь почтение, граничащее с трепетом, даже обомлел. И вот около одиннадцати часов утра королю дали десять капель этого эликсира в вине из Аликанте. Какое-то время он чувствовал себя гораздо лучше, но потом пульс замедлился и стал весьма слабым; около четырех ему вторично дали это снадобье, сказав, что оно должно вернуть его к жизни. На что, принимая бокал с лекарством, он ответил: «К жизни или к смерти, как будет угодно Господу». Г-жа де Ментенон вышла от короля с опущенной вуалью в сопровождении маршала де Вильруа, который шел впереди нее, и, не заходя к себе, спустилась по большой лестнице, после чего подняла вуаль. Не проронив ни слезинки, она поцеловала маршала, сказав: «Прощайте, господин маршал», села в королевскую карету, которой всегда пользовалась, где ее ждала одна г-жа де Келюс, и поехала в Сен-Сир, а следом покатила ее собственная карета, в которой сидели ее служанки. Вечером у себя герцог Мэнский открыто потешался над столкновением Фагона с Лебреном; все только и говорили о его поведении, обсуждали также поведение г-жи де Ментенон и о. Телье в эти последние дни короля. Эликсир Лебрена продолжали давать королю, и он сам наблюдал, как король принимает его. Когда же короля спросили, не хочет ли он бульона, он ответил, что с ним уже пора говорить не так, как с другими людьми, и нужен ему не бульон, а духовник, и велел позвать о. Телье. А однажды, очнувшись после беспамятства, он попросил о. Телье дать ему полное отпущение грехов, и тот спросил, очень ли ему больно. «Нет, — ответил король, — и это-то меня огорчает. Мне хотелось бы, чтобы боль была сильней и искупила мои грехи».

В четверг 29 августа после тяжелой ночи и тяжелого предыдущего дня лица, охранявшие вход в спальню, ушли, сочтя, что в них теперь уже нету нужды, и это дало возможность более свободного доступа высшим офицерам, которых до сих пор туда не допускали. Уже накануне мессу не служили и полагали, что больше не придется ее служить. Герцог де Шаро, капитан гвардии, проскользнувший в спальню, через одного из слуг спросил у короля, не хотел бы он послушать мессу. Король ответил, что хотел бы; тотчас послали за необходимыми для этого людьми и утварью, и все последующие дни уже служили мессу.

Этим утром у короля вроде бы прибавилось сил и появился проблеск улучшения. Он даже съел, чуть ли не с аппетитом, два бисквита, смоченных в аликанте. В тот же день около двух часов пополудни я зашел к герцогу Орлеанскому, в покоях которого всю неделю в любое время теснилась такая толпа, что яблоку негде было упасть. Но сейчас я не нашел ни одного человека. Увидя меня, герцог рассмеялся и сказал, что я первый, кто сегодня пришел к нему; в его покоях до самого вечера было пусто. Таков свет.

Я воспользовался этим безлюдьем, чтобы о многом поговорить с ним. Тогда-то я и узнал, что он уже не за созыв Генеральных штатов и что после нашего недавнего разговора о составе советов он больше об этом не думал, равно как и о многих других вещах, каковым его поведением я позволил себе открыто выразить недовольство. Я узнал, что он не изменил решения удалить Демаре и Поншартрена, однако снисходительность его высказываний о канцлере вынудила меня проявить упорство и заставить герцога объясниться. В конце концов он с крайним смущением признался, что герцогиня Орлеанская, которую тайком ото всех и даже от него посетил маршал де Виль-руа, крайне настаивала, чтобы он встретился с маршалом и переговорил с ним о весьма важных вещах, которые тот хотел сохранить в строжайшей тайне; герцогиня предупредила, что ежели он откажется от встречи, то поставит себя в затруднительное и даже опасное положение, и извинялась, что не может раскрыть ему предмет переговоров, поскольку дала маршалу слово хранить его в секрете, без чего тот не открылся бы ей; он сперва противился этому свиданию, но потом согласился, и вот дней пять назад маршал тайно пришел к нему и в обмен на сведения, которые собирался раскрыть, и на будущее содействие попросил дать обещание сохранить за Вуазеном его должности канцлера и хранителя печати, а за это маршал получит слово канцлера уйти в отставку с поста государственного секретаря, как только ему будут полностью возвращены заплаченные за этот пост деньги, и гарантирует, что оно будет выполнено; после сильных препирательств и данного герцогом обещания относительно канцлера маршал сообщил ему, что герцог Мэнский назначен руководителем воспитания нового короля, а сам он — воспитателем со всеми полномочиями, затем рассказал о приписке к завещанию и о ее содержании и заверил, что не намерен воспользоваться ею в полном объеме; это опять вызвало жаркий спор, в котором так и не пришли к соглашению касательно маршала, а договорились лишь в отношении канцлера, каковой в кабинете короля поблагодарил герцога

Орлеанского, подтвердил свое обещание уйти в отставку с поста государственного секретаря на вышеуказанных условиях и в знак признательности тут же показал ему самое приписку к завещанию. Признаюсь, я был вне себя от столь бесхарактерного и ошибочного начала дел, чего не стал скрывать от герцога Орлеанского, пребывавшего в крайнем смущении. Я спросил, куда подевался его здравый смысл; ведь он же сам не делал различия между герцогом Мэнским и герцогиней Орлеанской и сам неоднократно советовал мне опасаться и не откровенничать с нею, повторяя, что тут надо держать ухо востро, как среди разбойников; неужели он не догадался, что герцог Мэнский и герцогиня Орлеанская сговорились запугать его с помощью маршала де Вильруа и решить, как им действовать, в зависимости от того, как он воспримет предложение и тайное сообщение о мерах, которые поистине направлены на то, чтобы погубить его; при этом они, ничем не рискуя, пытались такой малой ценой спасти своего пособника, предназначенного к отставке, злокозненный инструмент, посредством которого они причинили столько зла герцогу Орлеанскому, и сохранить его на столь важном при регентском правлении посту, твердо намереваясь оставить регенту только видимость власти. Мы с герцогом долго спорили на эту тему, но слово уже было дано. Герцог не нашел в себе сил противиться и, при всем своем уме, дал себя провести, решив, что совершает выгодную сделку, согласившись на отставку и пообещав заплатить за нее, меж тем как в выгоде остался канцлер, обеспечив себе полную компенсацию за должность, которую, как он чувствовал, ему ни за что не удастся сохранить и отказ от которой позволял остаться на куда более важной; а ведь достаточно было бы простого указа, чтобы принудить его отдать государственную печать, выслать куда заблагорассудится и тем самым лишить должности, которая, как известно, уже ничего ему не стоила, потому что король вернул ему все, что он за нее заплатил; у канцлера же, понимавшего, чего он заслужил от герцога Орлеанского, и стяжавшего вполне справедливые презрение и ненависть двора и армии, после смерти короля не оставалось ни защитника, ни покровителя, если королевское завещание с общего молчаливого согласия не станет исполняться, в чем он не сомневался. Но что сделано, то сделано, и я лишь заклинал герцога Орлеанского научиться на этом горестном уроке держаться отныне настороже по отношению к врагам всех мастей, избегать подвохов, слабости, сговорчивости, а главное, понять, каким бесчестьем и угрозой чревато для него добавление к завещанию, если он допустит хоть в малой степени исполнение его. Он так и не смог мне сказать, о чем они договорились с

маршалом де Вильруа. Он только подтвердил, что вопрос о герцоге Мэнском не поднимался и, следственно, тот рассчитывал стать полным и ни от кого не зависимым хозяином и королевского дворца, и гвардии, а при таком положении вещей вся болтовня маршала де Вильруа не имела никакого значения, разве что для него самого, и герцог Мэнский превращался во всесильного майордома, а герцог Орлеанский-в бессильную и нелепую видимость регента, который в любой момент мог стать жертвой кинжала майордома. Но герцог Орлеанский, при всем его уме, не разглядел этой опасности. Я ушел от него в большой задумчивости и очень огорченный столь грубой ошибкой. Он весьма резко поговорил с герцогиней Орлеанской, так что все они перепугались, как бы он, надавав столько обещаний, не отказался их исполнить. Она вызвала к себе маршала де Вильруа, и тот мигом присмирел, думая лишь о том, как бы удержать достигнутое, и дав понять, что сам он не намерен протестовать против чего бы то ни было, могущего вызвать опасения герцога Орлеанского, однако королю оставалось уже так мало жить, что он легко сумел избежать объяснения; судя же по тому, что произошло в королевском кабинете между канцлером и герцогом Орлеанским, последнего облапошили, если мне будет дозволено использовать столь грубое слово.

Поздний вечер не подтвердил радостных надежд, которые, казалось бы, обещал день, когда король сказал кюре дворцовой церкви, воспользовавшемуся возможностью войти в спальню, что речь идет не о его жизни, о сохранении коей, по словам кюре, все молятся, а о спасении его души и надо молиться об этом. В тот же день, отдавая распоряжения, он оговорился, назвав дофина молодым королем. Заметив смущение присутствующих, король промолвил: «Ну что вы, меня это нисколько не огорчило». Около восьми он принял эликсир провансальца. Кажется, соображал он плохо и сам сказал, что чувствует себя скверно. Около одиннадцати врачи осмотрели его ногу. Гангрена распространилась на всю ступню и голень, бедро тоже распухло. Во время осмотра король потерял сознание. Он с огорчением заметил отсутствие г-жи де Ментенон, которая уже не собиралась возвращаться сюда. В течение дня он несколько раз спрашивал ее, так что пришлось сообщить ему об ее отъезде. Он послал за нею в Сен-Сир, и вечером она приехала.

Пятница 30 августа была такой же тяжелой, как ночь; король испытывал сильную сонливость, а подчас впадал в забытье. Время от времени он съедал ложечку желе и выпивал воды, поскольку уже не мог пить вина. В спальне находились только самые необходимые слуги, врачи, г-жа де Ментенон, да несколько раз

заходил о. Телье, за которым посылали Блуэн и Марешаль. Он очень ненадолго задерживался в кабинетах, точно так же, как герцог Мэнский. Король охотно обращался к благочестивым мыслям, когда г-жа де Ментенон или о. Телье видели, что голова у него проясняется, но такое случалось редко и ненадолго. Около пяти часов вечера г-жа де Ментенон ушла к себе и раздала всю мебель из своих покоев прислуге, после чего уехала в Сен-Сир и больше оттуда не выезжала.

В субботу 31 августа и ночь, и день прошли ужасно: король приходил в себя лишь изредка и ненадолго. Гангрена распространилась на колено и на все бедро. Ему дали снадобье покойного аббата Эньяна,[40] прекрасное лекарство от оспы, которое прислала и предложила попробовать герцогиня Мэнская. Врачи соглашались на все, поскольку утратили всякую надежду. Около одиннадцати вечера король был так плох, что над ним стали читать отходную. От этого он очнулся. Он так громко повторял слова молитв, что перекрывал голоса многочисленных священнослужителей и всех, кто был в спальне. Кончив молиться, он узнал кардинала де Рогана и молвил ему: «Вот последняя благодать, даруемая церковью». Кардинал был последним, к кому он обратился. Несколько раз он повторил: «Nunc et in hora mortis», [41] после чего произнес: «Господи, поспеши мне на помощь, спаси меня». То были его последние слова. Всю ночь он не приходил в сознание и скончался после длительной агонии в четверть девятого утра 1 сентября 1715 года, за три дня до своего семидесятишестилетия и на семьдесят втором году царствования.

Он сочетался браком в двадцатидвухлетнем возрасте в 1660 году, заключив знаменитый Пиренейский мир. Ему было двадцать три, когда смерть избавила Францию от кардинала Мазари-ни, и двадцать семь, когда в 1666 году он потерял королеву-мать. Овдовел он в сорок четыре, в 1683 году, в шестьдесят три, в 1701-м, потерял Месье и пережил всех сыновей и внуков, кроме своего наследника, короля Испании, и детей этого монарха.[42] Европа доселе не знала столь долгого царствования, а Франция — короля столь преклонного возраста.

При вскрытии, которое произвел его первый лейб-хирург Марешаль в присутствии всех положенных лиц и с соблюдением всех положенных формальностей, выяснилось, что внутренние органы короля не разрушены, настолько здоровы и совершенно устроены, что он явно мог бы прожить больше ста лет, если бы не те ошибки, о коих уже говорилось и из-за коих у него в крови началась гангрена. Обнаружилось также, что объем его желудка и кишок чуть ли не вдвое больше, чем у людей его комплекции, по каковой причине он был столь великим и беспримерным

чревоугодником.

То был государь, которому нельзя отказать во многих достоинствах и даже величии, но следует признать, что преобладали в нем мелочные и дурные страсти, среди коих невозможно различить, какие присущи ему от природы, а какие благоприобретены, и чрезвычайно редки писатели, которые были бы в равной мере хорошо осведомлены о тех и других его свойствах, а еще труднее сейчас найти людей, которые сами знали его и притом способны были настолько смирить себя, чтобы писать о том, что было в нем дурного и хорошего, без ненависти или подобострастия, а одну только чистую правду. Что касается знания короля, на эти воспоминания можно положиться, касательно же второго, то есть нелицеприятности, я попытаюсь достичь ее, самым искренним образом отринув всякую пристрастность.

Здесь нет резона говорить о первых годах его царствования. Король чуть ли не с рождения был обезволен коварством матери, которая сама хотела править, а еще более — своекорыстными интересами злокозненного министра,[43] тысячекратно рисковавшего благом государства ради собственной власти; до конца жизни своего первого министра король повиновался ему, и посему эти годы должно вычеркнуть из царствования этого монарха. Однако и под таким ярмом он проявлял свою натуру. Он испытал любовь, понял, что праздность- враг славы, простер слабые еще руки и к той, и к другой; оказался достаточно сообразительным, чтобы понять, что смерть Мазарини дала ему свободу, раз уж он не нашел в себе достаточно силы, чтобы освободиться раньше. То был один из самых прекрасных периодов его жизни, и плодом его стало правило, которое впоследствии ничто не могло поколебать: ненавидеть своих первых министров, а также духовных лиц, членов своего совета. Тогда же он принял и другое правило, но не смог держаться его с той же неколебимостью, поскольку не замечал, что, в сущности, непрестанно забывает о нем, а правило это было: править самому; и это более всего он ставил себе в заслугу, за это более всего его прославляли и льстили, хотя это меньше всего ему удавалось.

Будучи одарен от природы даже менее чем посредственным умом, но способным развиваться, шлифоваться, утончаться, без стеснения перенимать чужие мысли, не впадая в подражание, он извлекал величайшую пользу из того, что всю жизнь прожил среди знаменитых людей, бывших куда умнее, чем он, людей самых разнообразных, мужчин и женщин разного возраста, разного происхождения и положения. Его вступление в жизнь, если можно так говорить о двадцатитрехлетнем короле, было

счастливым, так как то время изобиловало замечательными умами. Его министры и посланники были тогда самыми искусными в Европе, генералы — великими полководцами, их помощники, ставшие, пройдя их школу, выдающимися военачальниками, — превосходными; имена тех и других единодушно чтут потомки. Волнения, которые после смерти Людовика XIII изнутри и извне неистово потрясали государство, вызвали к жизни плеяду талантливых, прославленных людей и таких царедворцев, которые и составили двор.

Апартаменты графини де Суассон, которая как обер-гофмейстерина двора королевы жила в Париже, во дворце Тюильри,[44] где пребывал двор, и блистала там благодаря остаткам великолепия после покойного кардинала Мазарини, ее дяди, а еще более благодаря собственному уму и хитрости, стали центром самого изысканного общества. Именно там собирались самые замечательные мужчины и женщины, превратившие ее апартаменты в средоточие придворной галантности, интриг и честолюбивых происков, в которых имели большое значение родственные связи, кои в те поры столь же учитывались, ценились и почитались, сколь ныне пребывают в забвении. В этот могучий, блистательный вихрь и ринулся поначалу король, там он приобрел те галантные, учтивые манеры, которые сумел сохранить на всю жизнь, всегда великолепно сочетая их с благопристойностью и величием. Он, можно сказать, был рожден, чтобы стать олицетворением величия, и среди остальных людей все в нем — рост, осанка, изящество, красота лица, сменившаяся с годами важностью выражения, вплоть до звучания голоса, тонкости, прирожденной приятности и величавости облика-до последнего дня выделяло его среди них, как выделяется матка среди пчел, и, даже не будь он королем, он все равно проявил бы тот же дар к празднествам, наслаждениям, покорению женских сердец и самым безрассудным любовным приключениям. Он был счастлив, если бы все его любовницы были подобны м-ль де Лавальер, которая, полюбив его прежде, чем он стал ее домогаться, стыдилась своего положения любовницы, а еще более стыдилась того, что плоды их любви узаконены и возвышены вопреки ее желанию; скромная, бескорыстная, кроткая, бесконечно добрая, она непрестанно боролась с собой, жестоко терзаемая любовью и ревностью, которые были для нее одновременно пыткой и источником жизни, но в конце концов победила, сумела в страданиях сделать выбор, порвала эту связь, чтобы предаться суровейшему покаянию в монастыре. Надо признать, король гораздо более достоин сожаления, чем порицания, за то, что был так привержен радостям любви, но

заслуживает похвалы за то, что временами умел порывать с ними ради славы.

Интриги и приключения, в которые он, несмотря на свой королевский сан, был вовлечен вихрем, кружившим вокруг графини де Суассон, произвели на него впечатление, ставшее пагубным, так как оно оказалось сильней его. Он стал испытывать подозрение, а вскоре и ненависть к любым проявлениям ума, благородства чувств, независимости, самоуважения, высокой души, образованности. С годами он все больше укреплялся в этой своей неприязни. Он распространял ее даже на своих генералов и министров, и тут, как будет видно из дальнейшего, смиряла ее только потребность в них. Он хотел править сам, и здесь его подозрительность неизменно граничила со слабостью. Он действительно правил, но в малом, в большом же не мог этого достичь, но, даже когда он правил в малом, его зачастую направляли другие. Взяв впервые бразды правления, он выказал и крайнюю суровость, и крайнюю доверчивость.

Несчастный Фуке пал жертвой первой, Кольбер стал министром, воспользовавшись второй: он целиком захватил управление финансами, сумев заставить короля поверить, будто все проходит через него, поскольку давал ему на подпись множество бумаг, прежде подписывавшихся суперинтендантом финансов, чью должность Кольбер упразднил, поскольку сам не мог претендовать на нее.

Право на почетное первенство, уступленное Испанией, и полное удовлетворение,[45] которое та дала Франции за оскорбление, нанесенное в споре по этому поводу испанским послом в Лондоне бароном де Ватвилем послу Франции графу, а впоследствии маршалу д'Эстраду, и блистательное удовлетворение,[46] полученное за оскорбление, которое нанесли французскому послу герцогу де Креки губернатор Рима, родственники папы и корсиканцы из его гвардии, стали первыми результатами самостоятельного правления короля.

Вскоре смерть короля Испании[47] дала юному государю, жаждущему славы, повод к войне, от которой его не смогло удержать отречение от прав на испанский престол,[48] столь тщательно сформулированное в совсем еще недавнем брачном контракте королевы. Он двинулся во Фландрию и одержал мгновенные победы, было объявлено о переходе через Рейн,[49] тройственный союз Англии, Швеции и Голландии лишь раззадорил короля. Среди зимы он захватил всю Франш-Конте, что позволило ему ценой ее возвращения сохранить по Аахенскому миру[50] завоевания Франции во Фландрии.

Государство процветало и богатело. Кольбер поднял

финансы, морской флот, торговлю, мануфактуры и даже литературу на высочайший уровень, и в сей век, сравнимый с веком Августа,[51] во всех областях в изобилии явились великие люди, в том числе и такие, которые хороши только для увеселений. Летелье и сын его Лувуа, стоявшие во главе военного ведомства, опасаясь успехов и влияния Кольбера, легко внушили королю мысль о новой войне, протекавшей столь успешно, что Европа исполнилась ужасом, от которого она не смогла избавиться, и, хоть думали, что он давно прошел, тягостные и бедственные последствия его Франция ощущала еще очень долго.

Такова была истинная причина пресловутой войны с Голландией,[52] в которую король позволил себя втянуть и которая из-за его любви к г-же де Монтеспан оказалась пагубной и для государства, и для его славы. Все было завоевано, все крепости взяты, Амстердам собирался уже прислать ему ключи от ворот, как вдруг король, подстрекаемый любовным нетерпением, оставляет армию,[53] мчится в Версаль и в один миг губит все, чего добились его войска. Он искупил это бесчестье, самолично вновь завоевав Франш-Конте,[54] и отныне эти земли стали принадлежать Франции.

В 1676 году король снова вернулся во Фландрию, взяв крепость Конде, а Месье взял Бушен. Неожиданно армии короля и принца Оранского сошлись и оказались, не имея укрепленных позиций, друг против друга у деревушки Уртебиз. Надо было решать, и притом немедленно, вступать или нет в сражение. Месье еще не подошел из-под Бушена, но и без него армия короля превосходила числом неприятельскую. Маршалы Шенберг, Юмьер, Лафейад, Лорж и другие, а также несколько главнейших генералов и важнейших придворных собрались верхом вокруг короля на своего рода военный совет. Армия требовала сражения, и все собравшиеся понимали, что его придется дать, но их стесняло присутствие короля, а паче Лувуа, который, прекрасно зная своего повелителя, уже в течение двух часов, как только смекнул, к чему клонится дело, вел свою интригу. Чтобы внушить робость собравшимся, он докладывал первым и отговаривал от сражения. Маршал д'Юмьер, его близкий друг, к тому же весьма зависевший от него, а также маршал Шенберг, подстраивавшийся под Лувуа, согласились с его мнением. Маршал де Лафейад, не связанный с Лувуа, но бывший любимцем короля и прекрасно понимавший, какого мнения надо держаться, высказал некоторые сомнения, но в заключение согласился с ними. Маршал де Лорж, несгибаемый поборник истины, ревнитель славы короля и блага государства, к которому Лувуа относился крайне скверно, поскольку он был любимым племянником погибшего в прошлом

году де Тюренна, и который совсем недавно вопреки желанию министра стал маршалом Франции и капитаном личной гвардии короля, изо всех сил стоял за сражение; он привел столь неколебимые доводы, что ни сам Лувуа, ни маршалы не смогли их опровергнуть. Немногие выступившие после этого генералы и вовсе не посмели навлечь на себя неудовольствие Лувуа, но, поскольку не могли поколебать доводов де Лоржа, бормотали что-то невнятное. Выслушав всех, король вновь собрал мнения, а верней сказать, голоса присутствующих, прося не повторять обоснования, затем в нескольких словах выразил сожаление, что принужден покориться столь основательным суждениям и пожертвовать своими желаниями ради блага государства, повернул коня, и речи о сражении больше не было. На другой день — а я сам неоднократно слышал, как маршал де Лорж, подлинное воплощение правдивости, с негодованием рассказывал про этот случай, — так вот, на другой день ему случилось послать парламентера к уже начавшему ретираду противнику. В неприятельской армии его задержали не то на день, не то на два. Принц Оранский пожелал повидаться с ним и очень интересовался, что помешало королю атаковать его, имея превосходящие силы, тем паче что обе армии стояли в чистом поле в виду друг у друга и ничто их не разделяло. Выслушав в присутствии своего окружения рассказ парламентера, принц хитро усмехнулся и, дабы показать, что он был заранее оповещен, и уязвить короля, сказал, что парламентер непременно должен сообщить маршалу де Лоржу, что тот был совершенно прав, стремясь и так упорно настаивая на сражении, и что сам он никогда еще не был в таком безвыходном положении и никогда еще так не радовался, избежав битвы; если бы его атаковали, то разбили бы наголову и никаких возможностей избежать разгрома для него не было; после чего принц в нескольких словах привел доводы, почему так случилось бы. Парламентер, весьма гордый тем, что имел с принцем Оранским столь долгую и интересную беседу, пересказал ее не только маршалу де Лоржу, но и королю, который немедленно пожелал его повидать, а также маршалам, генералам и вообще всем, кто хотел его слушать, и это еще усугубило возмущение армии и вызвало большое неудовольствие Лувуа. Эта ошибка, и сам ее характер, произвела большое впечатление в войсках, а по всей Франции, во всем мире и при иностранных дворах дала повод для язвительных насмешек. После этого король больше не оставался при армии и, хотя еще был только май, уехал к своей любовнице.

На следующий год он вернулся во Фландрию, взял Камбре, а Месье в это время осаждал Сент-Омер. Принц Оранский пошел на

выручку этой крепости, Месье выступил ему навстречу, дал у Касселя сражение и одержал полную победу,[55] затем сразу же взял Сент-Омер, после чего соединился с королем. Несравнимость успехов оказалась столь болезненной для монарха, что он больше никогда не поручал Месье командование армией. Внешне все было соблюдено, однако принятое тогда решение больше уже не менялось. Год спустя король самолично предпринял осаду Гента, [56] план и проведение которой были образцом искусства Лувуа. В этом же году война с Голландией, Испанией и др. закончилась Нимвегенским миром, а в начале следующего года завершилась война с императором и империей.[57] Америка, Африка, Архипелаг, Сицилия ощутили на себе могущество Франции,[58] а в 1684 году Испания за свою медлительность в выполнении условий мира заплатила герцогством Люксембургским.[59] В начале следующего года дож Генуи, подвергнутой бомбардировке,[60] вынужден был со свитой из четырех сенаторов отправиться просить мира. С той поры и до 1688 года король замкнулся у себя в кабине те, предаваясь не столько увеселениям, сколько молитвам и воздержанию. Его царствование достигло вершины славы и процветания, а дальше пошел уже закат. Великих полководцев, министров и дипломатов не осталось, но были еще их ученики. Далее мы увидим, что следующий период царствования не был похож на первый, но еще сильнее отличался последний.

У войны 1688[61] года была забавная причина, и тут к месту будет связанный с этим анекдот, равно достоверный и курьезный, который очень точно характеризует и короля, и его министра Лувуа. После смерти Кольбера Лувуа стал суперинтендантом, дворцовых строений. Крохотный фарфоровый Трианон,[62] некогда построенный для г-жи де Монтеспан, надоел королю, который хотел всюду иметь дворцы. Он много занимался строительством. У короля был хороший глаз, он верно оценивал соразмерность, пропорции, симметричность, однако ему недоставало вкуса, как, впрочем, явствует из дальнейшего. Стены дворца только-только начали подниматься над землей, когда король заметил неправильность одного из окон первого этажа, которое уже заканчивали. Лувуа, грубый по природе, да к тому же настолько избалованный, что с трудом переносил замечания даже своего монарха, заспорил и упрямо твердил, что окно сделано правильно. Король отвернулся от него и пошел дальше по зданию. На следующий день он встретил Ленотра, хорошего архитектора, прославившегося, однако, планировкой садов, который начал вводить свой стиль во Франции и довел его до высочайшего совершенства. Король спросил, не был ли он в

Трианоне. Ленотр ответил, что нет. Король рассказал, что его так неприятно задело, и велел съездить туда. На следующий день он задал тот же вопрос, и ответ был точно такой же. На третий день все повторилось. Король понял: Ленотр боится, что ему придется подтвердить либо его ошибку, либо ошибку Лувуа. Он разгневался и приказал Ленотру завтра быть в Трианоне в то время, когда он сам туда приедет и велит приехать Лувуа. Отступать Ленотру было некуда. И вот на следующий день король собрал их обоих в Трианоне. Первым делом встал вопрос насчет окна. Лувуа стоял на своем, Ленотр отмалчивался. В конце концов король приказал ему промерить стену и окно и сообщить, что он обнаружил. Пока Ленотр занимался этим, Лувуа, взъяренный проверкой, громко ворчал и раздраженно доказывал, что это окно в точности такое же, как другие. Король молча ждал, но был уязвлен. Когда промеры были завершены, король спросил у Ленотра, что он обнаружил, и тот начал что-то невразумительно бормотать. Король разгневался и приказал говорить ясней. Тогда Ленотр признал, что король прав, и объяснил, в чем состояла ошибка. Не успел он еще договорить, а король уже повернулся к Лувуа и заявил ему, что его упрямство несносно и что, если бы он уступил ему, дворец выстроили бы кривым и пришлось бы его ломать сразу после окончания строительства, короче, устроил Лувуа головомойку. Лувуа, озлобленный выговором, а паче тем, что свидетелями этого были придворные, строители и слуги, в ярости отправился к себе. Там он застал Сен-Пуанжа, Вилласера, шевалье де Ножана, обоих Тийаде и еще нескольких ближайших друзей, которые встревожились, увидев его в таком состоянии. «Все, — сказал он им, — судя по тому, как король разговаривал со мной из-за этого окна, я утратил его благоволение. У меня есть единственный способ отвлечь его от своих дворцов и снова стать необходимым ему-война. И черт меня возьми, он ее получит!» Действительно, через несколько месяцев он сдержал слово и вопреки желанию короля и других монархов вызвал всеобщую войну. Она, несмотря на успехи французских армий, разорила Францию, не расширила ее пределов и, более того, стала причиной постыдных событий.

Наибольшая ответственность лежит на короле за последнюю кампанию,[63] которая не продлилась и месяца. У него во Фландрии были две огромные армии, по численности чуть ли не вдвое превышающие единственную армию неприятеля. Принц Оранский стоял лагерем в аббатстве Парк, король — всего лишь в лье от него, а герцог Люксембургский со своей армией — примерно в полулье от короля, и между тремя этими армиями не было никаких преград. Принц Оранский был полностью окружен

и видел, что укрепления, которые он приказал спешно возвести вокруг лагеря, ему не помогут; он понимал, что погиб, и неоднократно сообщал о том в Брюссель своему близкому другу Водемону, не видя даже тени надежды на возможность вырваться и спасти армию. От армии короля его защищали лишь наспех укрепленные позиции, и самое простое и верное было взять их силами одной армии штурмом, а затем уж завершить победу посредством другой, свежей, притом что каждая из них в избытке имела собственные запасы провианта и артиллерийских припасов. Дело было в первых числах июня, и можно себе представить, что дала бы такая победа в самом начале кампании! Какое же безмерное изумление испытали все три армии, узнав, что король ретировался и разделил почти всю армию, которой командовал, на два больших отряда для посылки одного в Италию, а второго, под командованием Монсеньера, в Германию. Герцог Люксембургский, которого король утром накануне отъезда известил об этой новой диспозиции, кинулся на колени и долго обнимал ноги короля, умоляя отменить приказ, указывая на легкость, несомненность и огромность победы, которую можно одержать, атаковаЁ принца Оранского. В результате он лишь вызвал недовольство короля, тем более чувствительное, что тот ничего не мог ему ответить. Растерянность, охватившую обе армии, невозможно описать. Как ясно из предыдущего, я в это время был в армии. Даже придворные, которые обычно радуются, возвращаясь домой, не могли скрыть огорчения. Все, не таясь, высказывали его, равно как и недоумение, а за подобными высказываниями следовали неодобрительные выводы. На следующий день король уехал,[64] встретился с г-жой де Ментенон и дамами и возвратился вместе с ними в Версаль; с тех пор он ни разу не пересекал границу и не бывал в армии, разве что для развлечения, и то в дни мира. Победа под Неервинденом, одержанная герцогом Люксембургским полтора месяца спустя над принцем Оранским, который всего за одну ночь сумел возвести необычайно сильные укрепления благодаря условиям местности и собственному искусству, возобновила толки и чувство горечи, тем более сильной, что нашей позиции под Неервинденом было далеко до той, которую занимал король у аббатства Парк; и хоть мы имели примерно такие же силы, однако недостаток провианта и артиллерийских припасов не позволил развить победу. В довершение сразу добавлю: принц Оранский, оповещенный об отъезде короля, сообщил Воде-мону, что получил это известие от весьма верного человека, который никогда не давал ему ложных сведений, однако не может ни верить, ни надеяться на это; со вторым курьером принц уже

сообщал, что сведения оказались верны, король уезжает и что лишь его ослеплению и помрачению рассудка он обязан столь нежданным избавлением. Примечательно, что Водемон, впоследствии долго пребывавший при нашем дворе, неоднократно о том рассказывал друзьям и даже в обществе, в частности в салоне Марли.

Завершивший эту войну постыдный мир[65] заставил еще долго отчаянно вздыхать и короля, и государство. Пришлось пойти на все, чего потребовал герцог Савойский,[66] лишь бы оторвать его от союзников, и наконец после долгого сопротивления и несмотря на ненависть и презрение к принцу Оранскому признать его королем Англии, а вдобавок еще принимать его посланника Портленда,[67] словно некое божество. Наша торопливость стоила нам герцогства Люксембургского,[68] а невежество в военных делах наших уполномоченных на переговорах, которых кабинет не снабдил инструкциями, дало нашим противникам большие преимущества при установлении границ. Таков был Рисвикский мир, заключенный в сентябре 1697 года. Мирная передышка продлилась всего три года, и все это время страна испытывала горечь из-за возврата земель и крепостей, которые мы завоевали, и тягостно ощущала, чего стоила нам эта война. На сем кончается второй период царствования.

Третий начался великой славой[69] и небывалым успехом. Но кончилось это очень скоро. Подобное начало всем вскружило головы и подготовило неслыханные беды, избавление от которых было поистине счастьем. Короля преследовали и сопровождали до могилы и другие невзгоды, и он мог бы почитаться счастливцем, если бы лишь на несколько месяцев пережил вступление своего внука на трон испанского королевства, который поначалу получил без всякого сопротивления. То время еще слишком близко к нам, так что нет надобности распространяться о нем. Но то немногое, что было сказано о царствовании покойного короля, совершенно необходимо, чтобы лучше понять и то, что будет сказано о его личности; при этом следует помнить всевозможные эпизоды, разбросанные по этим мемуарам, не негодуя на случающиеся иногда повторения, так как они необходимы, дабы объединить и создать нечто целостное.

Следует еще раз повторить: король обладал умом более чем посредственным, однако способным к развитию. Он любил славу, хотел порядка и соблюдения законов. Он был от природы благоразумен, сдержан, скрытен, умел властвовать над движениями души и языком; поэтому можно ли сомневаться, что рожден он был добрым и справедливым и Бог одарил его вполне

достаточно, чтобы он стал неплохим, а то и великим королем?

Все скверное пришло к нему со стороны. В раннем детстве он был настолько заброшен, что никто не осмеливался приблизиться к его покоям. Он часто с горечью вспоминал о тех временах и даже рассказывал, как однажды вечером в Пале-Рояле, в Париже, где пребывал тогда двор, его обнаружили в бассейне, куда он упал. В дальнейшем он попал буквально в подневольное положение. Он едва научился читать и писать и остался совершенным невеждой, не зная самых общеизвестных сведений из истории, не зная о родственных связях, состояниях, деятельности, происхождении знатных лиц, не зная законов и так ничего обо всем этом и не узнав. По причине своего невежества он неоднократно и нередко прилюдно попадал в самые нелепые положения. Однажды г-н де Лафейад высказал в его присутствии сожаление, что маркиз де Ренель, который впоследствии был убит в чине генерал-лейтенанта и должности командующего кавалерией, не стал в 1661 году кавалером ордена Св. Духа, на что король сперва промолчал, а после с неудовольствием заметил, что надо же придерживаться правил. Ренель был из Клермон-Гальрандов, то есть д'Амбуазов, а король счел его выскочкой, хотя впоследствии перестал так щепетильничать в этих вопросах. Из этого же рода происходил Монгла, королевский гардеробмейстер, к которому король хорошо относился, которого в том же 1661 году пожаловал в кавалеры ордена Св. Духа и который оставил интересные мемуары. Монгла женился на дочери сына канцлера де Шеверни. Их единственный сын всю жизнь носил фамилию де Шеверни, поскольку владел землями этого рода. Он провел жизнь при дворе, в связи с чем я несколько раз упоминал о нем, или же исполнял дипломатические миссии. Фамилия де Шеверни сбила с толку короля, который полагал, что он не принадлежит к знати и потому не может иметь придворного звания и стать кавалером ордена Св. Духа. Лишь к концу жизни, и то случайно, король узнал, что он заблуждался. Сент-Эрем, который сперва был обер-егермейстером, а затем губернатором и комендантом Фонтенбло, не смог стать кавалером ордена Св. Духа; король знал его как зятя де Куртена, государственного советника, прекрасно ему известного, и считал незнатным. А он был из Монморенов,[70] о чем король узнал, но слишком поздно от г-на де Ларошфуко. При этом ему пришлось растолковывать, что это за роды, так как их фамилии ему ничего не говорили. Могло показаться, что король отличал старинную знать и не желал никого к ней приравнивать; ничего подобного. Он был далек от подобных чувств и питал слабость к своим министрам, которые, стремясь возвыситься, ненавидели и принижали всех, с

кем не могли сравняться и кем не могли стать, и потому был крайне холоден к родовитой знати. Он боялся родовитости так же, как боялся ума, а ежели два этих качества соединялись в одном человеке и королю становилось это известно, тому не на что было надеяться.

Очень скоро после того, как он стал править самостоятельно, его министры, военачальники, фаворитки, придворные поняли, что тщеславия в нем куда больше, чем славолюбия. Они стали непомерно восхвалять его и тем развратили. Хвала, а верней сказать лесть, нравилась ему, и чем грубей она была, тем охотней принималась, а более всего ему по вкусу была лесть самая низменная. Только так можно было приблизиться к нему, и все, кого он любил, были обязаны этой любовью тому, что удачно нащупали этот путь и никогда не сходили с него. Это-то и было причиной огромной власти его министров, которые при каждом удобном случае неизменно кадили ему, а паче приписывали ему все решения и уверяли, что все исходит от него. Изворотливость, низость, изъявления восторга и покорности, раболепство, а еще верней, умение показать свою ничтожность перед ним, были наилучшим средством завоевать его благоволение. Стоило чуть уклониться от этого пути, и прощения уже не было; именно это и довершило падение Лувуа. Действие этого яда все усиливалось. В сем государе, не лишенном ума и обладавшем опытом, оно дошло до крайнего предела. Не имея ни голоса, ни слуха, он любил в домашней обстановке напевать самые льстивые места из оперных прологов; он словно купался в лести, и даже во время многолюдных парадных ужинов, на которых иногда исполнялась скрипичная музыка, присутствующие слышали, как он негромко напевает те же хвалы себе, когда игрались сочиненные на подобные слова мелодии.

В этом причина той жажды славы, что время от времени отрывала его от любви, и того, с какой легкостью Лувуа втягивал его в большие войны, имея целью то свалить Кольбера, то укрепить и усилить собственное положение, неизменно убеждая короля, что как полководец тот превосходит в разработке и осуществлении планов всех своих генералов, в чем они сами, стремясь угодить королю, способствовали Лувуа. Я говорю о Конде и Тюренне и уж подавно о тех, кто пришел им на смену. С легкостью, самодовольством и самолюбованием он присваивал все услуги себе, веря, что он действительно таков, каким его изображают в хвалебных речах. В этом же причина его любви к парадам, дошедшая до такой степени, что его враги называли его королем парадов, и причина любви к осадам, при которых он мог проявить не многого стоившую храбрость, делать вид, будто его

удерживают силой, выказывать свои способности, предусмотрительность, неусыпность, нечувствительность к тяготам, к которым благодаря превосходному, могучему телосложению он был весьма приспособлен, не страдая ни от голода, ни от жажды, ни от стужи и жары, ни от дождя и непогоды. Пребывая в армии, он очень любил слушать слова восхищения его величественной осанкой и внешностью, тем, как он искусен в верховой езде и во всех трудах. Фавориткам, а нередко и придворным он больше всего любил повествовать о войсках и военных кампаниях. Говорить он умел, находя красивые и точные слова, а рассказывал и сочинял получше, чем многие люди из общества. Даже самым обычным его речам всегда была присуща явная и неизгладимая величавость.

Его уму, от природы склонному к мелочности, особое наслаждение доставляли всевозможные пустяки. В военных делах он неизменно вникал во все подробности касательно мундиров, вооружения, построений, учений, дисциплины, короче, во всевозможную ерунду. Точно так же он занимался своими дворцами, дворцовым ведомством, особыми яствами, подававшимися к его столу, и всегда был уверен, что может тут чему-то научить людей, которые в этих делах понимали куда больше, но, словно неискушенные новички, внимали его наставлениям, хотя давным-давно наизусть знали все, чему он их учил. Подобная пустая трата времени, свидетельствовавшая, по мнению короля, о его повседневном неусыпном внимании, была только в радость министрам, которые даже при небольшом искусстве и опыте вертели им, как хотели, внушая ему, что поступают в точности так, как задумано им, а меж тем обделывали важные дела в зависимости от своих видов и, слишком даже часто, в соответствии с собственными интересами и притом ликовали, видя, как он погрязает во всяких мелочах. Именно постоянно возраставшие тщеславие и гордыня, которые незаметно для него самого непрерывно питали в нем и взращивали, доходя даже до того, что проповедники в его присутствии с кафедр пели ему хвалы, а вовсе не какие-то там дарования были основой возвышения его министров. Он уверился, поскольку они хитро внушали ему это, что все их величие от него и они отнюдь не могут равняться с ним, достигшим вершин величия, но от него оно переходит и на них; а так как сами по себе они ничто, весьма полезно, чтобы их чтили как исполнителей его повелений: ведь благодаря этому почтению последние будут лучше исполняться. Таким образом, государственные секретари и министры сперва скинули мантии, затем брыжжи, потом перестали носить черную, а затем и

простую, скромную одноцветную одежду, а кончилось тем, что они стали одеваться как дворяне; они переняли манеры, а затем приобрели привилегии дворянства и постепенно были допущены до участия в королевских трапезах; их жены сперва по личному соизволению короля, как, скажем, г-жа Кольбер, а много позже нее и г-жа Лувуа, и наконец через несколько лет все остальные, пользуясь положением своих мужей, присутствовали на королевских трапезах и ездили в королевских каретах, ничем уже не отличаясь от знатных дам.

Постепенно под разными предлогами Лувуа отнял цивильные и гражданские знаки почета в крепостях и провинциях у тех, у кого их никто и никогда не оспаривал, и перестал обращаться к ним в письмах «монсеньер», как всегда было заведено. По случайности у меня сохранились три письма г-на Кольбера, в ту пору генерального контролера финансов, государственного министра и государственного советника, к моему отцу в Блай, в которых он и в адресе, и в тексте именует отца «монсеньер», что с большим удовольствием отметил герцог Бургундский, когда я показал ему эти письма. Де Тюренн, находившийся тогда в зените славы, отстоял для себя, то есть для своего рода, право, дарованное ему кардиналом Мазарини, титуловаться в переписке принцем, тем самым сохранив это право и для Лотарингского и Савойского домов; а вот Роганы так и не смогли его добиться, и это, пожалуй, единственный случай, когда красота г-жи де Субиз оказалась бессильной. Впоследствии они оказались удачливей. Де Тюренн спас и маршалов Франции, добившись сохранения за ними воинских почестей, так что для себя он сохранил обе привилегии. Сразу же после этого Лувуа присвоил себе все то, что недавно отнял у более высокородных людей, и распространил эти отличия на остальных государственных секретарей. Он посягнул на воинские почести, отказать в которых ни армия, ни кто другой ему не посмели, поскольку он обладал властью возвышать и низвергать кого заблагорассудится; еще он потребовал, чтобы все, не являющиеся герцогами, государственными сановниками или не имеющие титула иностранного принца и не обладающие правом табурета,[71] обращались к нему в письмах «монсеньер», а он бы, отвечая им, подписывался «покорнейший и искреннейший слуга», меж тем как даже последний докладчик в государственном совете или советник парламента писал ему «сударь» — и он никогда не пытался изменить этот порядок. Поначалу это вызвало большое возмущение; вся знать, кавалеры ордена Св. Духа, губернаторы и генерал-лейтенанты провинций, а следом и лица менее значительные, равно как армейские генерал-лейтенанты, сочли для себя крайне оскорбительным столь

неожиданное и странное новшество. Министрам удалось убедить короля в необходимости унизить всех, кто был возвышен, и в том, что всякий, кто отказывает им в таковом обращении, пренебрегает властью короля и службой ему, поскольку они лишь исполняют ее, а сами по себе — никто. Король, прельщенный отблеском этого мнимого величия, падающего на него, столь безоговорочно высказался на сей счет, что оставалось либо принять новый стиль, либо оставить службу и тем самым навлечь на себя явную немилость короля, что и почувствовали ушедшие в отставку и даже никогда не служившие, и преследования министров, поводы для которых можно было легко сыскать когда и в чем угодно. Многие знатные дворяне, не находившиеся на службе, и многие заслуженные военные, имевшие высокие чины, предпочли от всего отказаться и погубить свою карьеру; они и вправду погубили ее, а со многими вышло еще хуже того, так что через некоторое время никто уже не сопротивлялся этому порядку. В этом причина доселе небывалой, безграничной власти министров, которые уже не обращали внимания ни на титулы, ни на положение на королевской службе под предлогом, что это они ее олицетворяют, и тех огромных полномочий, которые они присвоили, их безмерного богатства и тех брачных союзов, что они заключали по собственному выбору.

Кое в чем они враждовали друг с другом, однако общий интерес тесно сплачивал их, и такое их процветание, похищенное у остального государства, продолжалось, пока длилось царствование Людовика XIV. Это льстило его тщеславию; не менее своих министров он был ревнив к чужому величию и желал, чтобы любое величие проистекало от его собственного. Всякое иное было ему ненавистно. В этом было некое непонятное противоречие, как будто любой сан, пост, должность, со всеми их функциями, отличиями, прерогативами, не восходили к нему в той же мере, как посты министров и должности государственных секретарей, каковые он почитал единственно происходящими от себя и потому возносил как можно выше, бросая все прочие им под ноги.

К подобному поведению его побуждало и тщеславие иного рода. Он прекрасно понимал, что бремя его опалы может удручить сеньера, но не уничтожить вместе со всей его семьей, зато, смещая государственного секретаря или иного чиновника того же ранга, он вновь погружает его самого и его близких в бездну ничтожества, откуда сам извлек; даже богатства, которые, вполне возможно, остались у отставленного, не способны извлечь из подобного небытия. Потому-то ему и доставляла такое удовольствие мысль, что министры благодаря своей власти

господствовали над самыми высокородными его подданными, над принцами крови, равно как над всеми прочими, кто не имел положения и коронной должности, превышающей значением и властью министерскую должность. Потому-то он никогда не допускал в министры людей, которые могли внести что-то свое, чего король оказался бы не в силах уничтожить или сохранить; подобный министр был бы для короля неизменно подозрителен и тягостен; исключением за все время его царствования оказался лишь герцог де Бовилье; как уже отмечалось, когда говорилось о нем, он был единственный представитель родовитой знати, который входил в состав государственного совета со смерти кардинала Мазарини и до собственной кончины, то есть в течение пятидесяти четырех лет; те же несколько месяцев от смерти герцога де Бовилье до смерти короля, когда в совет входил маршал де Вильруа, можно вообще не брать в расчет: не говоря уже о том, что можно было бы сказать о нем самом, отец его никогда не был членом государственного совета.

Отсюда же происходят и ревнивые меры предосторожности министров, препятствовавшие королю выслушивать кого-нибудь, кроме них, хотя он и хвалился своей доступностью, но вместе с тем полагал, что, ежели он позволит говорить с собой иначе, чем на ходу, это умалит его величие, а также преклонение и страх, которые ему нравилось вызывать даже у самых знатных. Действительно, и вельможа, и самые ничтожные представители всех сословий свободно могли обратиться к королю, когда он направлялся к мессе или возвращался после нее, переходил из покоя в покой или садился в карету; самые знатные могли поджидать короля у двери в его кабинет, но проследовать за ним туда не смели. В этом и проявлялась его доступность. Поэтому изложить ему свое дело можно было лишь в нескольких словах, да и то с большими неудобствами, поскольку разговор слышало множество людей, окружавших его; особо хорошо знакомые ему могли пошептать на ухо, но и это не давало почти никаких преимуществ. Ответ был известный: «Я посмотрю»-по правде сказать, весьма удобный для короля, поскольку давал ему время разобраться, но редко удовлетворявший просителя по той причине, что дело все равно проходило через министров, а сам он не мог дать разъяснений, так что решали все они, и это или вполне устраивало короля, или он не замечал этого. Надеяться на аудиенцию в его кабинете можно было лишь в редких случаях, даже если речь шла о людях, исполняющих королевскую службу. К примеру, она никогда не давалась тем, кто отъезжал за границу с дипломатическим поручением или возвращался оттуда, не давалась и генералам, разве что в исключительных случаях, или

же, но также крайне редко, если кто-то получал поручение касательно мелочных подробностей армейских дел, весьма интересовавших короля; аудиенции генералам, отъезжающим в армию, были чрезвычайно краткими и всегда в присутствии государственного секретаря по военным делам, по возвращении же еще короче, а порой вообще не давались ни в том, ни в другом случае. Письма военачальников, адресованные непосредственно королю, всегда, если не принимать во внимание несколько крайне редких и недолговечных исключений, проходили через министра; один лишь г-н де Тюренн в конце жизни, когда он в сиянии славы и почестей открыто рассорился с Лувуа, направлял свои депеши кардиналу Буйонскому, который передавал их в собственные руки королю, но и последний все равно их рассматривал после того, как они пройдут через министра, и с ним согласовывал приказания и ответы. Нужно, правда, отдать справедливость, как бы ни был король развращен величием и властью, которые заглушили в нем все прочие соображения, при аудиенции можно было многого достичь; главное было суметь добиться ее и знать, что вести себя следует со всей почтительностью, которой требует обычай по отношению к королевскому сану. Кроме того, что я узнал от других, я могу говорить об этом и на основании собственного опыта. Здесь в свое время я уже упоминал, что добивался, а вернее, насильно вырывал аудиенции у короля,[72] который поначалу всякий раз был на меня в гневе, но уходил переубежденный и довольный мною, о чем потом говорил и мне, и другим. Словом, я по собственному опыту могу сказать, что иной раз такие аудиенции бывали. На них король, как бы ни был он предубежден, какое бы ни питал, как ему казалось, законное недовольство, выслушивал просителя терпеливо, благосклонно, с желанием уяснить и понять дело и только с этим намерением прерывал его. В нем пробуждалось чувство справедливости, стремление узнать истину, даже если он был разгневан, и так было до конца его жизни. И тут уж можно было говорить все, лишь бы, повторю еще раз, говорилось это с почтительным, покорным, смиренным видом, иначе можно было окончательно погубить себя; при таком же поведении возможно было, если говорить честно, прерывать короля, решительно отрицать факты, которые он приводил, повышать голос, стараясь переговорить его, и это не казалось ему неподобающим; напротив, после он хорошо отзывался и об аудиенции, и о том, кому ее дал, поскольку избавлялся и от имевшихся предвзятостей, и от ложных представлений, которые ему внушили, что и доказывал своим последующим отношением. Поэтому министры старательно убеждали его, что он должен

избегать подобных аудиенций, в чем, как и во всем прочем, весьма преуспели. Это и делало должности, приближавшие к особе короля, столь важными, а тех, кто их занимал, столь осторожными; ведь сами-то министры имели возможность ежедневно говорить с королем наедине, не пугая его просьбой об аудиенции, которую — и явную и тайную — они всегда могли получить, как только у них возникала в ней нужда. По этой же причине право большого входа оказывалось поистине наивысшей милостью, куда более важной, чем знатность, и именно оно одно из всех высоких наград, дарованных маршалам де Буффлеру и де Вилару, сравняло их с пэрами и дало право после смерти передать по наследству свои губернаторства совсем еще юным детям, хотя в то время король никому такого права уже не давал.

Все это дает полное право горько оплакивать ужасное воспитание, направленное лишь на подавление ума и души сего монарха, гнусную отраву неслыханной лести, что обожествляло его в самом лоне христианства, убийственную политику его министров, которые ограждали его стеной и ради собственного возвышения, власти и обогащения туманили ему голову властью, величием, славой, окончательно испортив его, если уж не до конца убили, то почти полностью задавили доброту стремление к справедливости и правде, дарованные ему от Бога, неизменно и всячески мешая ему проявить эти добродетели, жертвами чего стали его королевство и он сам. Из этих чуждых, отравленных источников произошло его тщеславие, с которым — и эти слова не будут преувеличением — он заставлял бы себя боготворить и нашел бы идолопоклонников, не бойся он дьявола, каковой страх Господь сохранял в нем и в пору величайших его безумств; свидетельство тому — излишне величественные, сдержанно выражаясь, памятники ему и в их числе его статуя на площади Побед, а также совершенно уж языческое ее освящение, на котором я присутствовал и которое доставило ему живейшее удовольствие; из этого тщеславия проистекло и все прочее, что погубило его; о многих гибельных результатах здесь уже говорилось, а об остальных, еще более пагубных, пойдет речь дальше.

Тщеславие это, которым так умело пользовался Лувуа, истощило королевство войнами и строительством бесчисленных крепостей. Нидерландская война, вызванная смертью Филиппа IV и восстановлением прав королевы, его дочери,[73] привела к созданию Тройственного союза. Война с Голландией 1670 года, когда король покинул армию ради любви, навсегда напугала Европу одержанными им победами. Она возродила партию принца Оранского, ослабила республиканскую партию и дала

Соединенным провинциям главу, который был чрезвычайно опасен для Франции благодаря его дарованиям, поставленным целям, упорству в их достижении, а также родственным связям и который так глубоко уязвил короля своим высокомерным отказом от руки его наименее постыдной побочной дочери,[74] что тот никогда не простил ему этого, хотя впоследствии принц неоднократно выказывал ему знаки почтения и делал попытки примириться: приведенный в отчаяние подобной враждебностью, принц Оранский стал личным и наиболее опасным врагом короля и сумел извлечь из этой вражды поразительные выгоды, хотя, воюя, всегда терпел неудачи.

Его первым шагом была знаменитая Аугсбургская лига, которую он создал на страхе перед могуществом Франции, вскормившей у себя на груди куда более грозного врага. То был Лувуа, зачинатель и душа всех этих войн, потому что он был главой военного ведомства и потому что, завидуя Кольберу, хотел погубить его, истощив финансы и тем самым поставив в безвыходное положение. Кольбер же, не будучи в силах отвратить войну, хотел избежать падения; лишившись возможности разумного, но твердого управления финансами и всех мыслимых средств поступления их, он в конце концов разрушил древние и почитаемые преграды между сословиями, ниспровержение которых неизбежно привело к разорению государства и мало-помалу навлекло на него беды, которые многократно ввергали подданных в нищету, разорив предварительно королевство. Вот к чему привели все эти крепости и бесчисленные армии, которые поначалу побеждали врагов, но впоследствии те взяли с нас пример, создав такие же армии, как наши, тем паче что Германия и Север были густо населены, тогда как Франция совершенно обезлюдела.

Та же зависть погубила в нашем королевстве, омываемом двумя морями, мореплавание лишь оттого, что оно процветало при Кольбере и его сыне, а зависть воспротивилась мудрому проекту строительства порта в Оге, который стал бы местом стоянки для наших кораблей в Ла-Манше, и это было величайшей ошибкой: из-за нее Франция несколько лет спустя в том же Оге лишилась многочисленного флота,[75] воссозданного с такими расходами; гибель его уничтожила нашу морскую мощь и не дала возможности после стольких затраченных трудов и средств восстановить нашу морскую торговлю, первым же делом задушенную Лувуа, хотя она является источником богатства и, если можно так выразиться, душой государства, так удачно выходящего к двум морям. Та же зависть Лувуа к Кольберу отвратила короля от переговоров, ведение которых кардинал

Ришелье считал столь же необходимым, сколь и поддержку мореплавания и торговли, но все три эти ведомства были в руках Кольбера и его брата де Круасси, а Лувуа вовсе не для них предназначал эти трофеи, отнятые у мудрого и умелого Помпонна, хотя, чтобы удалить его, временно стакнулся с Кольбером.[76]

При столь печальном внутреннем положении королевства окно Трианонского дворца стало причиной войны 1688 г.; первым делом Лувуа убедил короля не верить донесениям посланника в Голландии д'Аво и других лиц, которые сообщали из Гааги и прочих городов о планах и приготовлениях к революции в Англии, не позволил направить наши войска через Фландрию к Соединенным провинциям, что воспрепятствовало бы исполнению этих планов, а передислоцировал их на Рейн, и это неизбежно привело к войне. В своих личных видах Лувуа одним ударом убивал двух зайцев: этой преднамеренной неосторожностью он обеспечил долгую и тяжелую войну с Голландией и Англией, зная, что король при своей закоренелой ненависти к принцу Оранскому ни за что не потерпит, чтобы тот возвысился и укрепился на развалинах католической веры. и трона короля Иакова II, его личного друга, покуда будет хоть какая-то надежда свергнуть первого и вернуть престол второму; одновременно с этим Лувуа воспользовался смертью курфюрста-архиепископа Кельнского и борьбой за избрание на это место, начавшейся между его племянником принцем Клементом Баварским и его коадъютором кардиналом Фюрстенбергом, один из которых открыто поддерживался императором, а другой-Францией, и под этим предлогом убедил короля совершить нападение на императора и империю, осадив Филиппсбург, а чтобы сделать войну ожесточенней и длительней, приказал спалить Вормс, Шпейер и опустошить весь Пфальц,[77] за исключением Майнца, который он велел королевской армии захватить. Уверенный после столь неожиданной для всех завязки, что начнется жесточайшая война с императором, империей и Голландией, он, преследуя личный интерес затянуть ее как можно дольше, приказал сменить театр военных действий.

Направь он удар на не имевшую крепостей Германию, многочисленные князья маленьких слабосильных государств не выдержали бы, но это было чревато слишком скорым миром, несмотря даже на ярость, которую он возбудил там безжалостным опустошением. Фландрия же, напротив, изобиловала крепостями, войти в которые после объявления войны было нелегко. Так вот, Лувуа убедил короля сделать Фландрию главным театром военных действий и сосредоточить там главные силы, а в

Германии вести военные действия предупредительного характера и для реквизиций провианта. Он соблазнил короля возможностью самому взять эти крепости и вновь покарать голландцев, которые только что посадили принца Оранского на трон короля Иакова II, укрывшегося вместе с семьей во Франции, и тем самым втянул его в бесконечную войну, меж тем как она закончилась бы весьма быстро, по крайней мере с императором и империей, перенеси он стремительно военные действия в центр Германии, придерживаясь оборонительной тактики во Фландрии: голландцы, удовлетворенные своим успехом в Англии, не смели бы и надеяться на успешное продвижение в стране со столькими крепостями. Но это еще не все. Лувуа хотел вполне сдержать свое слово; война, которую он разжег, не устраивала его, он жаждал вести ее против всей Европы. Испания, по причине своих владений во Фландрии бывшая в тесном союзе с императором и даже с голландцами, тоже вступила в войну, а это дало Лувуа повод для осуществления его планов насчет Ломбардии, продолжением каковых было намерение вынудить герцога Савойского объявить Франции войну. Государь этот мечтал только о нейтралитете и, будучи слабее, соглашался пропускать за плату через свою страну французские войска небольшими отрядами установленной численности и с соблюдением определенных правил. С этим трудно было не согласиться, поэтому Катина, уже стоявший на границе с войсками, назначенными для похода в Ломбардию, получил приказ вступить в переговоры. Однако по мере того, как они продвигались, Лувуа выдвигал все большие требования и слал курьера за курьером со столь противоречивыми распоряжениями, что и герцог Савойский, и Катина перестали что-либо понимать. Герцог Савойский решил написать королю, дабы узнать, чего он требует, и с тем сообразовываться. Но это не соответствовало намерениям Лувуа, стремившегося толкнуть этого государя на объявление войны. Он посмел перехватить письмо к королю и без его ведома предъявить такие непомерные требования, что исполнение их означало бы для Савойского герцогства сдаться на милость Франции. Герцог Савойский, не получив ответа на свое письмо и обиженный презрительным молчанием короля, выразил протест и весьма резкое недовольство. Лувуа воспринял это как повод трактовать его дерзко и высокомерно и многочисленными афронтами подвигнуть больше чем к недовольству, а для того приказал Катина враждебно обращаться с ним, хотя тот не мог взять в толк подобной тактики министра, который, не находясь с Савойей в состоянии войны, добивался от нее большего, чем предполагалось. А покуда шли эти странные переговоры,

император, принц Оранский и голландцы, совершенно разумно считавшие крайне важным перетянуть Савойю на свою сторону, сумели воспользоваться положением. Герцог Савойский вопреки собственному желанию был вынужден вступить с ними в союз и стал благодаря пограничному положению своего герцогства самым опасным и грозным противником Франции, чего как раз добивался и добился Лувуа.

Вот какова была слепота короля и хитрость, дерзостность, чудовищная власть министра, непревзойденного в разработке и исполнении диспозиций, но бесконечно пагубного для Франции, когда он стал править ею, словно первый министр; не будучи таковым, он сумел низвергнуть всех остальных министров, толкал короля, куда и как хотел, и поистине стал властелином королевства. Ему повезло пережить Кольбера и Сеньеле, своих давних врагов и соперников. Но радость его была недолгой.

История с опалой и концом этого прославленного министра слишком интересна, чтобы забыть о ней, и здесь весьма уместно привести ее. Хоть я был еще отрок, когда она произошла, и жил в родительском доме, однако впоследствии узнал ее во всех подробностях и не боюсь рассказывать о ней, поскольку все сведения получил из источников, заслуживающих совершеннейшего доверия по причине их полной беспристрастности.

Эпизод с окном Трианонского дворца показывает, каков был характер Лувуа. Этот характер, который он не мог сдержать, сочетался с пламенным стремлением к величию, благоденствию и славе короля, что было основой и надежнейшей опорой его собственного благополучия и огромной власти. Он обрел такое доверие государя, что стал поверенным его невероятного решения жениться на г-же де Ментенон и был одним из двух свидетелей на этом чудовищном бракосочетании. Однако у него достало мужества достойно повести себя, доказать королю, какому бесчестью он подвергнет себя, ежели когда-либо открыто объявит об этом браке, и вырвать его королевское слово до конца жизни не объявлять о нем, а равно убедить короля повторить свое обещание Парижскому архиепископу Арле, который как глава диоцеза вынужден был присутствовать на бракосочетании, дабы сделать оглашение и совершить прочие положенные формальности.

Через много лет Лувуа, всегда отлично осведомленный о самых тайных деталях домашней жизни короля, поскольку не скупился, лишь бы поскорей добыть наивернейшие сведения, узнал об интригах г-жи де Ментенон, требующей объявления их брака, и о том, что король имел слабость обещать ей это и что объявления ждать недолго.

Лувуа пригласил архиепископа Парижского в Версаль, а сам после обеда взял бумаги, направился к королю и, как обычно, прошел к нему в кабинет. Король, собиравшийся на прогулку, только что встал со стульчака и как раз натягивал штаны. Увидев Лувуа в неурочный час, он поинтересовался, что его привело. «Некое неотложное и важное дело», — отвечает Лувуа со скорбным видом, удивившим короля и вынудившим его приказать слугам, которые всегда находились в том кабинете, выйти. Они вышли, но оставили двери открытыми, так что могли все слышать, а в зеркале и все видеть, в чем и состояла величайшая опасность королевских кабинетов. Как только они вышли, Лувуа тут же выложил королю, что его привело. Этот монарх нередко притворялся, но никогда не опускался до лжи. Пораженный тем, что все раскрылось, он запутался в неубедительных и явных увертках, но, поскольку министр не отставал, пошел в направлении кабинета, где были слуги, чтобы тем самым избавиться от него; однако Лувуа, понявший это, бросившись на колени, задержал короля, вытащил из ножен ни на что не годную шпажонку, которую носил, и, протягивая ее эфесом королю, стал умолять тут же прикончить его, если король не откажется от намерения объявить о своем браке, нарушит слово, данное ему, а вернее, самому себе, и покроет себя в глазах всей

Европы позором, до которого он, Лувуа, не хочет дожить. Король топает ногами, гневается, кричит Лувуа, чтобы тот отпустил его. Но Лувуа все крепче сжимает колени короля, боясь, что тот вырвется, и доказывает, как чудовищно не сочетаются его королевский сан и слава, которую он соединил с этим саном, с постыдностью того, что король намерен совершить и что впоследствии убьет его стыдом и раскаянием; одним словом, Лувуа вторично вырывает у него слово никогда не объявлять об этом браке. Вечером приезжает архиепископ Парижский, и Лувуа рассказывает ему, что совершил. Прелат-царедворец на такое не был бы способен, так что поистине поступок Лувуа можно назвать благородным, с какой стороны на него не гляди, тем паче для всемогущего министра, который изо всех сил цепляется за свою власть и пост и который, решаясь на подобный поступок, представляет все могущество г-жи де Ментенон, а следовательно, и ненависть, какую она обрушит на него, если этот поступок откроется, а он при своей осведомленности даже не льстил себя надеждой, что это останется тайной. Архиепископ, которому оставалось лишь утвердить короля в слове, некогда данном ему и Лувуа, а теперь вторично подтвержденном министру, не посмел отказаться от этого почетного и безопасного поручения. На следующее утро он беседовал с королем и легко добился от него возобновления клятвы. Однако обещание, данное королем г-же де Ментенон, предполагало незамедлительное его выполнение, и она со дня на день ждала, что ее объявят супругой короля. Через несколько дней, обеспокоенная молчанием короля, она рискнула в разговоре коснуться этого вопроса. Замешательство, в которое пришел король, крайне встревожило ее. Она попыталась настаивать; король, уже все обдумавший, оборвал ее: он, насколько мог, подсластил пилюлю, однако попросил не мечтать более об этом объявлении и никогда с ним не заговаривать о нем. После первого приступа отчаяния, вызванного крушением надежд, которые, казалось, были близки к воплощению, первейшей ее заботой стало разузнать, кому она этим обязана. Осведомленность ее ничуть не уступала осведомленности Лувуа. Словом, в конце концов ей стало известно, что и в какой день произошло между королем и министром.

Не стоит поэтому удивляться, что она поклялась добиться опалы Лувуа и всячески подготавливала ее, пока не достигла цели, однако тогда время для этого было не самое подходящее. При подозрительности, присущей королю, нужно было выждать, пока дело забудется, и дождаться условий, чтобы постепенно подкопаться под врага, пользующегося совершенным доверием своего властелина и ввиду войны крайне ему необходимого. Роль,

какую сыграл архиепископ Парижский, сколь бы ни была она незначительна, тем паче что дело уже было сделано, тоже не ушла от внимания г-жи де Ментенон, и это, скажем походя, исподволь привело его ко все возрастающей немилости; вполне возможно, неудовольствие короля, пришедшее на смену столь длительной и нескрываемой благосклонности, сократило его дни, хотя прожил он на три года дольше, чем Лувуа.

Что же касается министра, несостоявшаяся султанша спешила избавиться от него и не упускала ни единой возможности подготовить пути для этого. Блестящим тому поводом стали опустошения, произведенные в Пфальце. Г-жа де Ментенон не преминула живописать королю всю их жестокость и не упустила случая возбудить в нем сильнейшие угрызения совести, на которые в ту пору он был куда более способен, чем в последующем. Воздействовала она также и утверждениями, что жесточайшую ненависть за это питают не к министру, а к самому королю, и указывала на опаснейшие последствия, которые могут из этого проистечь. В конце концов она восстановила короля против Лувуа и вызвала в нем сильнейшее недовольство министров. А тот, неудовлетворенной жестокостями, произведенными в Пфальце, захотел сжечь Трир. Он доказывал королю, что это еще необходимей, чем в случае с Вормсом и Шпейером, где неприятель мог бы создать себе плацдарм, а теперь он создаст его в Трире, что для нас окажется куда опаснее. Разгорелся спор, но король не дал или не захотел дать себя убедить. Надо полагать, что г-жа Ментенон не пыталась после смягчить разногласия. Через несколько дней Лувуа, обладавший среди прочих недостатков упрямством и вдобавок по опыту не сомневавшийся, что сможет принудить короля, к чему хочет, как обычно, занимался с королем делами в покоях г-жи де Ментенон. Под конец он сказал, что, чувствуя, что единственной причиной, удерживающей его величество от сталь необходимого для его же пользы предания Трира огню, являются тревоги совести, он счел необходимым избавить короля от принятия решения и взял его на себя, а для этого, не оповещая его, послал курьера с приказом немедленно сжечь Трир. Король вопреки своему характеру тут же вспыхнул таким гневом, что кинулся на Лувуа с каминными щипцами и ударил бы его, не бросься между ним г-жа де Ментенон с криком: «Что вы делаете, государь!» Король велел Лувуа вернуться и с пылающим взором сказал ему: «Тотчас же пошлите второго курьера с приказом, отменяющим первый, да постарайтесь, чтобы он прибыл вовремя. Помните, вы ответите головой, если там сгорит хоть один дом». Лувуа, полуживой от страха, мигом исчез. Но не потому, что торопился отослать

приказ: он предусмотрительно не отправил первого курьера. Он вручил ему пакет с приказанием сжечь Трир, но велел в полной готовности ждать, пока он не вернется от короля. Не отваживаясь самовольно отдать такое приказание, после того как король выразил отвращение и несогласие, он пошел на хитрость, полагая, что государь рассердится, но на этом все и кончится. Если бы дело пошло так, как он предполагал, то, возвратясь, он отослал бы курьера. Но Лувуа был достаточно благоразумен, чтобы не торопиться с отправлением курьера, и в этом его счастье. Теперь ему осталось забрать у курьера пакет и велеть снять сапоги для верховой езды. Король же пребывал в уверенности, что курьер был отправлен, а второй прибыл вовремя, чтобы остановить исполнение приказа.

После столь странного и неожиданного для короля происшествия у г-жи де Ментенон появились сильные козыри против министра. Другой столь же похвальный поступок завершил его падение. Зимой 1691/92 года Лувуа разработал план взятия Бергена[78] в начале весны, а то и раньше. Поскольку все познается в сравнении, скажем, что состояние финансов тогда было куда лучшим, чем впоследствии, но продолжалось это крайне недолго из-за взятой недавно привычки безжалостно транжирить их; и такое положение побудило Лувуа предложить королю отправиться в Берген, не беря туда дам. Шанле, посвященный во все военные секреты, посоветовал Лувуа поостеречься с предложением, которое может раздражить г-жу де Ментенон; та и без того терпеть его не может и обладает достаточным влиянием, чтобы его погубить. Лувуа же, предвидя, каковы будут расходы и сколько затруднений принесет участие дам в походе, предпочел благо государства и славу короля собственной безопасности, и в результате тот сам провел осаду, взял крепость, а дамы оставались в Версале, куда король вернулся сразу после взятия Бергена. Но так же, как последняя капля переполняет чашу, совершеннейший пустяк, случившийся во время этой осады, довершил падение Лувуа. Король, тщеславившийся тем, что лучше всех знает военное дело до самых последних мелочей, объезжая как-то вокруг лагеря, нашел, что один кавалерийский дозор выставлен не там, где следует, и сам переставил его на другое место. В тот же день после обеда король опять совершал прогулку вокруг лагеря и получилось так, что он снова наткнулся на тот же дозор, стоящий не там, куда он его поставил. Король был поражен и возмущен. Он спросил у капитана, кто его поставил здесь, и тот ответил, что Лувуа, проезжавший мимо. «А вы ему сказали, что это я вас переставил?»- поинтересовался король. «Да, государь», — ответил

капитан. Уязвленный король обернулся к свите и бросил: «Ну, как вам нравится этот Лувуа? Он мнит себя великим полководцем, который никогда не ошибается», после чего переставил капитана с караулом туда же, куда утром.

Поступок Лувуа был глупым и дерзким, и король совершенно справедливо оценил его. Однако он был настолько уязвлен, что так и не смог простить, и уже после смерти Лувуа, вновь призвав Помпонна в государственный совет, вспоминал тому об этом происшествии, все еще досадуя на бывшего министра за его самонадеянность. Об этом мне рассказал сам аббат Помпонн.

После возвращения из Бергена холодность короля к Лувуа лишь усилилась, причем до такой степени, что надменный министр, считавший, что во время такой большой войны он совершенно незаменим, стал всего опасаться. Супруга маршала де Рошфора, бывшая с ним в большой дружбе, как-то вместе со своей дочерью г-жой де Бланзак приехала к Лувуа в Медон на обед, и он повез их на прогулку, о чем они мне обе и рассказывали. Они ехали в маленькой легкой коляске, которой правил сам Лувуа. И они слышали, как он, глубоко задумавшись, говорил сам с собой: «Решится ли он?.. Но, может, его вынудят это сделать?.. Нет… И все-таки… Нет, он не отважится…» Пока продолжался этот монолог, коляска катилась, а мать и дочь молча подталкивали друг друга локтями, как вдруг г-жа де Рошфор увидела, что лошади на самом берегу у воды, и едва успела, наклонясь вперед, схватиться за вожжи и дернуть их, крича Лувуа, что сейчас он всех утопит. От крика Лувуа словно пробудился из глубокого сна, остановил лошадей, повернул их и. признался, что он вправду задумался и совсем забыл о коляске. Пребывая в подобном замешательстве, он стал пить по утрам воды в Трианоне.[79] 16 июля я был в Версале по одному достаточно неприятному делу: мой отец, находившийся с моей матушкой в Блае, судился с Сурди, командующим войсками в Гиени, которого безуспешно поддерживал Лувуа, а король соблаговолил решить дело в пользу моего отца. Несмотря ни на что, мне посоветовали пойти поблагодарить Лувуа, и он был так обходителен, так поздравлял меня, словно все время старался ради моего отца. Таковы нравы при дворе. Прежде я никогда с ним не говорил. Выйдя в тот же день после обеда короля, я встретил Лувуа в одной из комнаток, расположенных между кордегардией и большой залой, смежной с двориком принцев; он о чем-то беседовал с г-ном де Марсаном, направляясь в покои г-жи де Ментенон, чтобы заняться делами с королем, который после этого собирался прогуляться пешком по Версальскому парку, причем придворные могли сопровождать его во время этой прогулки. В тот же день около четырех часов

пополудни я пришел к г-ну де Шатонефу и узнал, что у г-жи де Менте-нон Лувуа почувствовал себя нехорошо и король отослал его домой; он пешком вернулся к себе, и там министру сразу стало настолько хуже, что ему сделали клизму, которая тут же подействовала; сразу после этого он скончался, призывая своего сына Барбезье, который так и не успел повидаться с ним, хотя немедленно прибежал к нему. Можно представить, как поражен был двор. Хоть мне было всего пятнадцать лет, я решил посмотреть, как станет вести себя король после столь серьезного события. Я дождался его и сопровождал в продолжение всей прогулки. Мне показалось, что король держится со своей обычной величественностью, но в то же время в нем ощущаются некое облегчение и раскованность, что меня изрядно удивило, чтоб, не сказать больше; в ту пору и долго еще после того я не знал всех тех обстоятельств, о которых сейчас повествую. И еще я обратил внимание, что вместо того, чтобы пойти полюбоваться фонтанами и вообще, как обычно, прогуливаться по парку, король ходил туда-сюда по балюстраде оранжереи, откуда, когда он шел в сторону дворца, видно помещение суперинтендантства, где только что скончался Лу-вуа; оно замыкало старое крыло дворца сбоку от оранжереи, и король все время обращал к нему взоры. Имя Лувуа не было ни разу произнесено, никто словом не обмолвился об этой неожиданной, скоропостижной смерти, пока от короля Английского из Сен-Жермена не прибыл посланец, который, найдя его величество на террасе, передал ему соболезнования по случаю постигшей его утраты. «Сударь, — ничуть не огорченно отвечал ему король, — передайте королю и королеве Англии мои изъявления почтения и благодарность, а также скажите им, что ни мои, ни их дела от этого не пойдут хуже». Посланец отдал поклон и удалился, лицо его и весь вид свидетельствовали о крайнем изумлении. Я с любопытством наблюдал и за этим, и за тем, как вельможи, сопровождавшие короля на прогулке, молча переглядывались между собой.

Барбезье получил право наследовать Лувуа в должности государственного секретаря в 1685 году, когда ему еще не исполнилось восемнадцати и отец его отнял это право у своего старшего сына Куртанво, сочтя его неспособным. Таким образом, Барбезье в течение шести лет состоял при Лувуа до самой его смерти в качестве ученика, и ему было двадцать четыре года, когда тот умер в самое время, чтобы избежать величайшей беды. К моменту смерти низвержение Лувуа было предрешено, и на следующий день его должны были арестовать и заключить в Бастилию. Какие последствия проистекли бы из этого? Смерть Лувуа сокрыла их во мраке, однако то, что король принял

решение арестовать его, несомненно; я впоследствии узнал об этом от весьма осведомленных людей, самым же главным доказательством является то, что король сам сказал это Шамийару, а тот уже потом рассказал мне. Этим-то, я думаю, и объясняется хорошее настроение короля в день смерти министра: он испытал облегчение, что не придется завтра исполнять принятое решение и тем самым он избавлялся от всяких неприятных последствий.

Король, возвратясь к себе после прогулки, послал за Шанле; он собирался отдать ему пост государственного секретаря, управляющего военным ведомством, который занимал Лувуа. Шанле поблагодарил и решительно отказался. Он сказал королю, что слишком обязан Лувуа, его дружбе, его доверию, чтобы обойти его сына и отнять место, на которое у того наследственное право. Он изо всех сил стоял за Барбезье, предложил исполнять под началом Барбезье все, что ему соблаговолят поручить, обещал передать ему весь накопленный опыт, а в заключение сказал, что он предпочтет, чтобы на него назначили кого угодно, только не его, и что он никогда не согласится занять должность, принадлежащую Лувуа и его сыну.

Шанле был толст, белокур, невысок ростом, имел вид грубого и даже неотесанного мужика, каким и был по происхождению, однако обладал умом, хорошими манерами, и ему свойственно было великое и важное умение жить в ладу со всеми; к тому же он был добр, мягок, приветлив, при-дупредителен, бескорыстен, здравомыслящ, имел поразительный топографический дар и доподлинно помнил местоположение самых крохотных селений, течение и истоки ничтожнейших ручейков. Он долго служил в разных армиях генерал-квартирмейстером, был ценим генералами и всеми любим. Весьма похвально характеризует его то, что- г-н де Тюренн до самой смерти не мог, да и не хотел, обходиться без него, равно как и то, что, хоть он и сохранил преданность памяти Тю-ренна, Лувуа ему полностью доверял. Тюренн и представил его с великими похвалами королю. Шанле был посящен во все военные тайны, Лувуа ничего не скрывал от него и при составлении тайных планов, которые намеревался исполнить, пользовался его помощью для подготовки диспозиций и перемещения войск. Его способности, сочетающиеся с безукоризненностью и быстротой исполнения, изворотливостью и изобретательностью, весьма нравились королю, и он даже поручал ему секретные переговоры и конфиденциальные миссии. Король осыпал его благодеяниями и пожаловал большой крест ордена Св. Людовика. Однако он оставался по-прежнему скромен и потому был удивлен и сконфужен похвалами, какими его

осыпали за совершенный им благородный поступок; король не держал его в тайне, а Барбезье, обязанный Шанле своей должностью, с удовольствием рассказывал о нем. Впоследствии, когда мною более подробно будут представлены намерения короля и г-жи де Ментенон, уже не будет выглядеть столь странным их решение доверить такой важный пост, да еще во время войны со всей Европой, молодому человеку двадцати четырех лет, и притом сыну министра, которого они заключили бы в Бастилию, не опереди их смерть. Я соединяю здесь короля и г-жу де Ментенон, потому что именно она погубила отца и она же отдала пост сыну. Король после разговора с Шанле по своему обыкновению пошел к ней, и в тот же вечер было принято решение в пользу Барбезье.

Внезапность болезни и смерти Лувуа возбудила много толков, и они еще усилились, когда вскрытие показало, что он был отравлен.[80] Он пил много воды, и в его кабинете на камине всегда стоял кувшин, из которого он наливал себе воду. Стало известно, что он пил из него, направляясь работать с королем, а также что между его выходом вместе с другими придворными с королевского обеда и возвращением в свой кабинет, где он взял необходимые для работы с королем бумаги, туда заходил полотер и несколько минут оставался там в полном одиночестве. Полотера арестовали, бросили в тюрьму, началось следствие, но он просидел там всего четыре дня и по приказу короля был освобожден, все имевшиеся уже протоколы сожгли и. запретили проводить дальнейшее расследование. Даже говорить об этом было опасно, семья Лувуа всячески пресекала подобные слухи, и, таким образом, ни у кого не было сомнений, что на этот счет отданы совершенно точные распоряжения. Так же старательно замяли историю с врачом, случившуюся несколькими месяцами позже, хотя первые толки о ней пригасить сразу не удалось. По случайности я знаю ее совершенно достоверно; она слишком необычна, если можно так выразиться, и потому заслуживает, чтобы завершить ею все те любопытные и интересные сведения, которые тут были рассказаны о столь значительном министре, каким был г-н де Лувуа. У моего отца много лет служил конюшим перигорский дворянин хорошего рода, приятной внешности, строгих правил, имеющий высокопоставленных родственников; фамилия его была Клеран. Этˆт Клеран решил искать удачи на службе у Лувуа; он сообщил об этом моему отцу, который, желая ему добра, счел правильным его решение оставить нас и перейти в конюшие к г-же де Лувуа; было это года за два-три до смерти министра. Клеран навсегда сохранил привязанность к нашей семье, мы же отвечали ему дружбой, и он посещал наш дом так

часто, как ему удавалось. Он остался на службе у г-жи Лувуа и после смерти ее мужа и рассказал мне, что Серон, домашний врач министра, ставший врачом и г-на де Бар-безье, продолжал жить в своей комнате в помещениях суперинтендантства в Версальском дворце, каковые помещения Барбезье сохранил за собой, хотя и не унаследовал ведомства дворцовых строений; и вот через несколько месяцев после смерти Лувуа этот Серон забаррикадировался у себя в комнате и так кричал, что на его крики сбежался народ, но он не открывал дверь и продолжал кричать почти весь день, не желая слушать ни о какой помощи ни от мирян, ни от духовных лиц; дверь его так и не смогли открыть, а под конец услыхали, как он кричит, что получил по заслугам за то, что сделал со своим хозяином, что он злодей, недостойный жалости; часов через десять, исполненный отчаяния, он умер, но так ни с кем и не стал говорить и не назвал ни одного имени. Слухи после этого происшествия возобновились, но передавали их шепотом, так как громко говорить было небезопасно. Кто приказал нанести удар? Это окутано густым мраком. Друзья Лувуа, полагая, что тем самым почтят его, подозревали иностранные державы. Но отчего же они так долго медлили, ежели какая-нибудь из держав и вправду задумала столь мерзкое дело? Несомненно одно: король на такое был совершенно не способен, и никому не пришло бы в голову заподозрить его. Вернемся же, однако, к нему.

Рисвикский мир, столь дорого купленный, столь необходимый и желанный после огромного и долгого напряжения сил, казалось, принесет наконец-то Франции передышку. Королю было шестьдесят лет, и он полагал, что достиг всех вершин славы. Его великие министры умерли, не оставив после себя учеников. Ушли не только великие полководцы, но даже многие из тех, кого они взрастили, а на остальных нельзя было рассчитывать в случае новой войны либо из-за возраста, либо из-за состояния здоровья, и Лувуа, который выл от ярости под гнетом былых военачальников, установил такой порядок, чтобы в будущем не могли появиться новые, кто своими талантами сумел бы затмить его. Он давал продвигаться лишь тем, кто постоянно нуждался бы в его поддержке. Плодами этих своих трудов он не успел воспользоваться, но государство тяжело поплатилось за них и до сих пор еще продолжает страдать. Не успели заключить мир, не успели насладиться им, а король в своем тщеславии пожелал удивить Европу демонстрацией своей мощи, которую почитали уже сокрушенной, и поистине удивил. Такова была причина устройства пресловутого Компьеньского лагеря, где, желая якобы показать своим внукам, принцам, картины войны, король явил

такое великолепие и двора, и всех многочисленных войск, какого не знали ни знаменитейшие турниры, ни славнейшие встречи государей. Это привело к новым расходам сразу после окончания долгой и тяжелой войны. Все полки еще долгие годы испытывали тяготы после него, а иные и через два десятка лет не смогли расквитаться с долгами. Здесь мы лишь бегло коснемся этого слишком хорошо известного смотра: ранее о нем было рассказано достаточно подробно. Очень скоро пришла пора пожалеть о столь безумных и неуместных тратах, предпринятых после только что кончившейся войны 1688 года, вместо того чтобы дать стране передышку, оправиться и восстановить население, понемножку снова наполнить королевские сундуки и всяческие склады, восстановить военный и торговый флот, позволить в течение нескольких лет утихнуть ненависти и страхам, потихоньку разъединить тесно сплотившихся созников, грозных именно своим единством и, действуя предусмотрительно, используя всевозможные разногласия между ними, довести до полного распада лигу, которая была столь пагубной, а в дальнейшем могла стать и гибельной для Франции. К тому же настоятельно призывало и состояние здоровья двух монархов, один из которых[81] благодаря безмерной мудрости, умелой политике и образу действий достиг такой власти и влияния в Европе, что мог все в ней привести в движение, а другой,[82] владыка самой огромной монархии, не имел ни дядьев, ни теток, ни братьев, ни сестер, ни потомства. И действительно, не прошло и четырех лет после заключения Рисвикского мира, как умер король Испании, а король Вильгельм не намного пережил его. И тут-то тщеславие короля, следствием которого стало известное событие, заставившее взяться за оружие всю Европу, привело наше великое и прекрасное королевство на край гибели. Но тут следует вернуться назад.

Уже говорилось, что король боялся ума, талантов и благородства чувств даже у своих генералов и министров. Это добавило к власти Лувуа весьма удобное средство препятствовать повышению по службе любому заслуженному человеку, который покажется ему опасным, а также с ловкостью, о которой будет рассказано ниже, мешать подготовке офицеров для замещения генеральских должностей. Если рассмотреть окружение короля с той поры, как он при обстоятельствах, о которых уже говорилось, стал ревновать к уму и заслугам, то найдется лишь очень небольшое число придворных, которым ум не стал препятствием к карьере; при этом следует исключить сановников и простых придворных, с которыми он мирился из-за их возраста или же по привычке, поскольку сам не выбирал и не приближал их, а

достались они ему от первых лет самостоятельного правления, начавшегося со смерти кардинала Мазарини. Г-н де Вивонн, обладавший бездной остроумия, развлекал его, но опасений не внушал: король с удовольствием пересказывал его забавные истории. Притом он был братом г-жи де Монтеспан, а это было немало, хотя, кажется, как брат не одобрял поведения сестры; кроме того, король застал его в звании обер-камергера. Г-на де Креки король застал в той же должности, которая весьма помогала ему; к тому же вся жизнь его была заполнена наслаждениями, чревоугодием, игрой в карты по крупной, и это успокаивало короля, с юности привыкшего к нему. Герцог дю Люд, также бывший камергером в те первые годы, удерживался благодаря знанию моды, красивой внешности, галантности и страсти к охоте; в сущности говоря, хоть все трое и были весьма умны, но направление их ума не могло внушить опасений, поскольку оно было таким, каким и должно быть у истинных царедворцев. Катастрофа, случившаяся с герцогом де Лозеном,[83] чей ум был совершенно иного свойства, стала отместкой короля за его непохожесть, и даже небывалое и блистательное его возвращение к власти сблизило его с королем лишь внешне, о чем свидетельствуют слова, сказанные королем во время свадьбы герцога маршалу де Лоржу. О герцогах де Шеврезе и де Бовильe говорилось в своем месте. Что же касается остальных, то под конец они так тяготили его, что он давал это почувствовать большинству из них и радовался смерти каждого, как избавлению. Он не смог удержаться и высказал свою радость по случаю кончины г-на де Лафейада и парижского архиепископа Арле и, при всей своей сдержанности и осмотрительности, в Марли за столом, где присутствовали герцогини де Шеврез и де Бовильe, громогласно заявил, что никогда в жизни не испытывал такого облегчения, как от смерти Лувуа и брата его де Сеньеле. После всех вышепоименованных лиц рядом с ним были только двое, отличавшиеся незаурядным умом: канцлер Поншартрен, которого король едва терпел еще задолго до его отставки и, по правде сказать, с удовольствием отделался от него, хотя и пытался это скрыть, а также Барбезье, о чьей ранней смерти в цвете лет и на вершине карьеры сожалели все. В своем месте рассказано, что в тот день за ужином в Марли король не мог скрыть свою радость.[84]

Его раздражало превосходство ума и талантов бывших министров и генералов, а также немногочисленных фаворитов, щедро одаренных этими достоинствами. Он желал первенствовать духом и умом на заседаниях кабинета и в военных делах точно так же, как был первым почти везде. Но он чувствовал, что с

вышеназванными лицами у него так не получается, и этого было вполне достаточно, чтобы испытать величайшее облегчение, оттого что их больше нет в живых, и в дальнейшем остерегаться выбора таких преемников им, какие смогли бы вновь возбудить в нем подобную ревность. Этим и объясняется, почему он так легко соглашался на передачу места государственного секретаря по наследству, хотя поставил себе законом не давать согласия на наследование любой другой должности; сколько раз случалось, что новички, чуть ли не дети, исполняли, порой в качестве главного лица, важнейшие функции, тогда как занять таким образом куда более мелкий пост, а то и чисто номинальный, нечего было и надеяться. Поэтому при назначении на посты государственных секретарей и министров король брал в расчет только свои вкусы и выбирал крайне посредственных людей. Его это устраивало до такой степени, что порой ему случалось проговариваться, что, дескать, он намеренно выбирает таких, чтобы их воспитывать, и он действительно ставил себе это в заслугу. Новички эти нравились ему как раз своим невежеством и тем успешней вкрадывались к нему в доверие, чем чаще признавались в этом, дабы он получал удовольствие, наставляя их во всяких мелочах. Именно так завоевал его еердце Шамийар, и понадобились все беды государства и самые рискованные интриги, чтобы вынудить короля отставить его, однако король продолжал его любить и до конца жизни при каждой удобной оказии выказывал ему свое благоволение. С выбором генералов было точно так же, как с министрами. Король кичился тем, что управляет ими из своего кабинета, и хотел, чтобы все верили, будто он из кабинета командует своими войсками. Он твердо держался этого дорогого ему обыкновения, на которое, как мы вскоре увидим, натолкнул его Лувуа, и посему лишь в редчайших случаях жертвовал своим тщеславием, чтобы устранить продолжительные помехи, бросавшиеся уже всем в глаза.

Таковы были большинство министров и все генералы, когда началась война за испанское наследство. Возраст короля, его опыт, превосходство, но не ума, не талантов, не ясности взгляда, а его мнения, причем превосходство чудовищное, над мнениями советников и исполнителей подобного рода, привычка к смертоноснейшему яду лести — все это уже в самом начале погубило все чудеса, дарованные нам судьбой. Вся испанская монархия без сопротивления предалась его внуку, а Пюисегюр, так поздно, лишь в 1735 году, ставший маршалом Франции, прославился планом занятия и самим занятием всех испанских крепостей в Нидерландах; он занял их все одновременно, без единого выстрела, захватив врасплох и обезоружив отряды голландцев,

составлявших гарнизоны почти всех крепостей. Король, опьяненный столь поразительным успехом, весьма не ко времени вспомнил про упреки, каковые он навлек на себя несправедливостью своих войн, и про то, что страх, который он нагнал на Европу, привел к созданию могущественных коалиций, едва не погубивших его. Он решил избежать подобных неприятностей, но вместо того, чтобы воспользоваться ошеломлением, в какое это величайшее событие привело все державы, лишить голландцев войск, составлявших многочисленные гарнизоны, содержа их в плену, оружием принудить пока еще безоружные и не объединившиеся государства признать в безусловных договорах герцога Анжуйского законным наследником всех земель, какими владел почивший испанский король, тем паче что новый король уже полностью вступил во владение ими, он, кичась безумным великодушием, отпустил эти голландские войска и льстил себя бессмысленной надеждой на надежность договоров, не поддержанных силой оружия. Он тешился этим на радость своим врагам, дав им время вооружиться и тесно сплотиться, после чего война стала неизбежной и король, пораженный тем, как грубо он просчитался, обнаружил, что окружен со всех сторон.

С самого начала он совершил еще один промах, какого не сделал бы даже младенец. Им он обязан Шамийару, маршалу де Вильруа и разветвленной интриге двух дочерей г-жи де Лиль-бон. А заключался этот промах в полном доверии к их дядюшке Водемону, личному врагу короля, если можно так говорить при столь огромной разнице в их положении, поскольку король в свое время соблаговолил весьма ясно выразить недовольство наглым его поведением в Испании и Италии и вынудил выслать его оттуда; Водемон был доверенным другом короля Вильгельма, самого непримиримого личного врага Людовика XIV, и губернатором Милана, а получил он этот пост благодаря тому же королю Вильгельму и настоятельнейшим ходатайствам императора Леопольда перед испанским королем Карлом II; наконец, его единственный сын[85] с самого начала военных действий в Италии стал вторым лицом в имперской армии, в рядах которой и погиб. Не существовало людей, которые не видели бы самым счастливым образом, что Водемон обо всем оповещает сына. Изменнические действия, причем ведшиеся чрезвычайно грубо, продолжались и после смерти сына, пока это было выгодно Водемону. Король, его министр, его главнокомандующий Вильруа никогда ни в чем не заподозрили Водемона, все так же выказывая ему благоволение и доверие и всячески отличая его; так и не нашлось достаточно отважного

человека, который решился бы открыть глаза королю и его министру. Из-за измены Водемона и герцога Савойского увяли лавры Катина, и маршал де Вильруа, отправленный, как античный герой, исправлять его ошибки, попался в их сети. Герцог Вандомский, прибывший туда спасать положение, покарал герцога Савойского, однако у него были весьма серьезные резоны не затрагивать Водемона: то ли он не хотел этого, то ли его одурачили, а возможно, и то и другое вместе, но он явно не желал ничего видеть.

Король по своей слабости, желая сделать приятное Шамийару, назначил его зятя Лафейада, которого раньше не приближал к себе и даже намеревался воспротивиться его браку, сразу командующим армии, доверив ему осаду Турина,[86] то есть самое важное дело для государства. Талар, рожденный быть царедворцем и не годный ни на что, кроме ничтожных интриг, был разбит при Гохштедте,[87] почти не понеся потерь, кроме тех, кто решился сдаться. Одна наша армия целиком и три четверти другой были отброшены из глубин империи за Рейн, и тут же у них на глазах неприятель взял Ландау. Это несчастье произошло перед освобождением из плена маршала де Вильруа,[88] которому король упорно желал вернуть воинскую славу. Он был разбит при Рамильи, потеряв не более двух тысяч человек, после чего был отброшен из глубины Нидерландов в наши пределы, и ничто не могло остановить его отступление. Оставалась единственная надежда на Италию, где герцог Орлеанский наконец сменил герцога Вандомского, которого потребовали во Фландрию для спасения остатков нашей армии. Но к королевскому племяннику был приставлен опекун,[89] без позволения которого он ничего не мог делать, да только этот опекун был настолько бестолков, что сам нуждался в няньке. Более всего он думал, как бы не прогневать де Лафейада и его тестя. В своем месте было рассказано, к каким горестным последствиям привели эти предосторожности; как молодой герцог предвидел и предсказывал грозящие беды, как в конце концов, раздосадованный, решил ни во что не вмешиваться и какая последовала вскорости катастрофа.[90]

И вот после всевозможных небывалых успехов неизменная благосклонность к Вильруа, а также к Таяару, непрекращающееся доверие к Водемону, безумное и невежественное упрямство де Лафейада, всегдашнее боязливое почтение к нему Марсена стоили нам Германии, Нидерландов, Италии, утраченных в результате трех сражений, каковые все три обошлись нам в четыре тысячи убитых. Пристрастие к герцогу Вандомскому и его неразумным планам привело к тому, что мы окончательно

потеряли Фландрию. Тессе, снявший в 1706 году, то есть в год поражений под Рамильи и Турином, осаду Барселоны, вынудил испанского короля пробираться из Руссильона в Наварру через Францию и увидеть, как в Мадриде провозглашают королем эрцгерцога Карла.[91] Правда, сперва герцог де Бервик, а затем герцог Орлеанский поправили дела в Испании.[92] Однако они вскоре снова ухудшились из-за поражения под Сарагосой,[93] которое вторично пошатнуло трон Филиппа V, а в это время у нас отнимали крепости во Фландрии и граница с нею становилась беззащитна. Как при таком чудовищном положении было далеко до ворот Амстердама и завоеваний в голландских и испанских Нидерландах!

Подобно больному, меняющему врачей, король сменил министров, отдав финансы Демаре, а военные дела Вуазену, однако, как этот больной, он не почувствовал себя лучше. Положение было настолько отчаянным, что король больше не мог ни вести войну, ни добиться заключения мира. Он готов был на все: уйти из Испании, отдать на границах все, что потребуют. Враги радовались его поражению и вели переговоры лишь затем, чтобы поиздеваться над ним. Наконец на заседании совета короля увидели в слезах, и Торси весьма легкомысленно отправился в Гаагу[94] разведать, можно ли на что-нибудь надеяться. Мы уже знаем горестные и постыдные последствия этого предприятия и позор последовавших за ним переговоров в Гертрудьенберге,[95] где, не говоря уже о более чем странных требованиях о возмещении ущерба, от короля потребовали ни больше ни меньше как дать пройти вражеским армиям через Францию, чтобы изгнать его внука из Испании, а также передать союзникам четыре главнейшие твердыни Франции: Камбре, Мец, Ла-Рошель и, кажется, Байонну, ежели только король не предпочтет сам силой оружия отнять у внука престол, и притом в весьма определенные сроки. Вот к чему приводит слепота при выборе, горделивое желание все делать самому, зависть к былым министрам и полководцам, продиктованное тщеславием стремление назначать своими помощниками таких людей, которым невозможно будет приписать заслуги, дабы ни с кем не делить славу великого, желание все вопросы обсуждать в тесном кругу советников, которое, сделав короля для всех недоступным, толкнуло его в ужасные тенета Водемона, а после — герцога Вандомского, и наконец вся эта прискорбная система управления, приведшая государство к очевидной опасности окончательной катастрофы и ввергшая в крайнее отчаяние сего владыку мира и войны, сего каравшего народы раздавателя корон, сего завоевателя, сего величайшего из великих, сего бессмертного, на

памятники которому извели всю бронзу и мрамор и для которого уже не хватало фимиама.

Он уже стоял на самом краю бездны и имел страшную возможность измерить всю ее глубину, как вдруг всемогущая длань, которая способна из нескольких зернышек песка воздвигнуть преграду для самой свирепой морской бури, удержала сего самонадеянного и высокомерного монарха от окончательной гибели, заставив его испить до конца чашу бессилия, несчастий и ничтожности. Это великое дело сотворили песчинки иного свойства, но тем не менее песчинки по причине своей незначительности. Сперва ничтожная женская ссора у королевы Английской[96] и последовавшая из этого интрига, а затем и смутное, неопределенное влечение к кровному родичу[97] оторвали Англию от могучей коалиции. Непомерное презрение принца Евгения к нашим генералам привело к тому, что Франция могла бы назвать спасением под Дененом,[98] и это не столь уж жестокое сражение имело такие последствия, что в конце концов привела к миру, но к миру совершенно иному, нежели тот, что был бы с радостью заключен, согласись враги на него до этого события, в котором нельзя не усмотреть десницы всемогущего Бога, что возвышает, низвергает, избавляет, когда хочет. Тем не менее этот мир, так дорого обошедшийся Франции, а Испании стоивший половины ее владений, был плодом всего вышеизложенного, а кроме того, нашего всегдашнего неумения здраво оценивать себя, когда дела начинают ухудшаться, неизменной надежды поправить их, а равно как я уже сообщал в своем месте, и от нашего упорного нежелания поступиться хотя бы пядью испанских владений, иначе говоря, еще одного безумства, в котором нам очень скоро пришлось раскаяться, стеная под бременем его последствий, каковые ощущаются до сих пор и будут ощущаться еще долго.

Этим кратким обращением к истории царствования столь длительного, полного событий и к тому же связанного с личностью короля, невозможно пренебречь, ежели желаешь представить сего монарха таким, каким он действительно был. А был он богатым, великим, победоносным вершителем судеб Европы, внушавшим страх и восхищение, пока были живы министры и полководцы, поистине достойные своих должностей. Когда же они ушли, механизм еще некоторое время вращался, поскольку они дали ему толчок. Но вскоре обнаружился истинный характер происходящего, умножились ошибки и заблуждения, стал надвигаться упадок, однако это не открыло глаза деспотическому властелину, ревниво желавшему все делать и всем управлять самому; похоже было, что пренебрежение, с

каким относились к нему за границей, он возмещал удвоенным трепетом и страхом перед собой внутри королевства.

Сей государь был счастлив — если только он действительно был счастлив — во всем: наделенный крепким здоровьем, почти незнакомый с недугами, он был счастлив в своем веке, столь плодотворном и щедром во всех отношениях, что его в этом смысле можно бы сравнить с веком Августа; был счастлив в своих подданных, обожавших его и жертвовавших ради него своим достоянием, своей кровью, своими талантами, иногда — добрым именем, а подчас даже честью; немало людей жертвовали и совестью, и верой, лишь бы служить ему, причем нередко из одного только желания ему угодить. Особливо счастлив он был бы в семье, будь у него только одна, законная; мать его довольствовалась изъявляемым ей почтением и оказываемым доверием; брат, чья жизнь была загублена достойными сожаления склонностями и который погряз в ничтожестве, стремился только к деньгам, трепетал перед королем за себя и своих фаворитов и был почти таким же низменным царедворцем, как все те, кто стремился сделать карьеру; добродетельная супруга, влюбленная в него и бесконечно терпеливая, хотя, впрочем, совершенно бездарная, стала истинной француженкой; единственный сын, которого он всегда водил на помочах и который в пятьдесят лет мог только стенать под бременем притеснений и немилости, который, окруженный со всех сторон соглядатаями, осмеливался делать лишь то, что ему дозволялось, и, приверженный к земным радостям, не решался даже на малейший протест; внуки, которые благодаря возрасту и примеру отца, а также помочам, на коих их держали, не вызывали беспокойства, невзирая на большие дарования старшего, на величие среднего, не вышедшего из совершенного повиновения деду, даже когда он унаследовал престол, на порывы, проявлявшиеся в детстве у младшего, но впоследствии не оправдавшие вызванных ими опасений; племянник, который при всей приверженности к распутству трепетал перед ним, и от одного слова, а то и взгляда короля в нем замирало все — ум, таланты, легкомысленные поползновения и безрассудные слова, перенятые им у каких-нибудь развратников; ежели перейти на более отдаленную степень родства, то принцы крови были того же склада, начиная с Великого Конде, который после возвращения с Пиренейским миром[99] стал трусом и низкопоклонствовал даже перед министрами; его высочество Принц, его сын, самый гнусный, самый презренный из всех царедворцев; его высочество Герцог при всем его благородном мужестве был угрюм, свиреп и уже поэтому никак не мог внушать опасений, да к тому же при таком

характере еще более, чем все его родственники, робел перед королем и правительством; оба принца де Конти[100] были весьма любезны, но старший слишком рано умер, а младший при всем уме, отваге, изяществе, знаниях, нескрываемой к нему всеобщей симпатии даже при дворе был до смерти перепуган, раздавлен ненавистью короля, неприязнь которого в конце концов свела его в могилу; знать, обессиленная и разоренная долгими смутами, неизбежно попала в зависимость от короля; их наследники,[101] разобщенные, пребывающие в разладе между собой, погрязли в невежестве, легкомыслии, наслаждениях, безумных тратах, те же, кто был не столь испорчен, устремлялись к карьере и, движимые лишь честолюбивыми помыслами продвинуться при дворе, становились рабами; парламенты, укрощенные рядом усиливавшихся ударов, оскудели, былое судейское сословие с его взглядами и суровыми нравами мало-помалу сошло на нет, а вместо него в изобилии появились сынки деловых людей, величественные глупцы или невежественные педанты, лихоимцы, думающие лишь о кошельке и зачастую торгующие правосудием, да несколько президентов, кичливых до наглости, а впрочем, людей пустейших; это уже не была корпорация, и со временем не осталось почти никого, кто решался бы даже про себя строить какие-то замыслы, а уж тем паче кому бы то ни было доверить "их; наконец дошло до разделения самых близкими самых значительных домов, до полного забвения уз родства и родственников, если не считать траура по самым далеким, и постепенно все обязанности неизбежно свелись к одной — трепетать и стараться угодить. В этом была причина внутреннего спокойствия, ничем не нарушаемого, кроме внезапного безумия шевалье де Рогана,[102] брата отца герцога де Субиза, тотчас же поплатившегося за это головой, и возмущения севен-нских фанатиков,[103] которое возбудило гораздо большую тревогу, чем того заслуживало, длил ось недолго и не имело никаких последствий, хотя случилось в разгар тяжелой войны против всей Европы. Отсюда безмерная власть, которая могла делать все, что, хотела, и слишком часто делала все, что могла, никогда не встречая даже малейшего сопротивления, если не считать даже не сопротивления, а скорее видимости его из-за отношений с Римом, а в последнее время из-за буллы. Вот это и называется жить и царить, хотя надо признать, что, даже оставляя в стороне управление министрами и армией, никогда ни один государь не обладал столь высоким искусством править. Давний двор королевы-матери, содержавшийся ею с великолепным умением, внушил королю изысканную учтивость, величественность даже в любовных делах, достоинство, царственность во всем, которую он

умел сохранять всю жизнь и даже в конце ее, когда довел двор до полнейшего оскудения. Однако он хотел, чтобы достоинство это было только для него и исходило от него, однако и такое, весьма относительное, достоинство он почти окончательно подорвал, дабы успешней прикончить и уничтожить всякое иное и постепенно заменить его единообразием, что он и сделал, упразднив, насколько возможно, всякий церемониал и отличия, от которых сохранил только тень да те, что были слишком очевидны, чтобы их отменять, но и в них он посеял плевелы, сделавшие их отчасти тягостными, отчасти нелепыми. Такая политика помогала ему разделять, разъединять, укреплять зависимость от него, многократно ее усиливать, пользуясь бесчисленными и весьма любопытными поводами, которые, не будь такого коварства, оставались бы в порядке вещей, не вызывали бы споров и не вынуждали бы прибегать за их разрешением к королю. Его правилом было предупреждать их, а — за исключением самых очевидных — не решать; он умело старался не уменьшать число подобных случаев, считая их крайне выгодными для себя. Так же он действовал и в отношении провинций; при нем все там стало спорным и противозаконным, из чего он извлекал такие же выгоды.

Постепенно он добился, чтобы все, даже те, кого он мало ценил, служили и увеличивали собой число придворных. Всякий, достигший возраста службы, не смел опаздывать со вступлением в нее. То была еще одна хитрость, дабы погубить знать, приучить ее к равенству и перемешать с остальными сословиями. Этим изобретением мы обязаны королю и Лувуа, который жаждал главенствовать над знатью и сделать ее зависимой от себя, чтобы люди, рожденные повелевать другими, существовали бы лишь в идеале, а на самом бы деле их не было. Под предлогом, что любая военная служба почетна и что прежде, чем командовать, следует научиться подчиняться, он заставил всех, исключая лишь принцев крови, начинать ее с самых низших чинов в гвардии и нести ее, как простые гвардейцы, в наружных и внутренних караулах, зимою и летом, а равно и в армии. Впоследствии это так называемое обучение он заменил службой в мушкетерах, но и оно оказалось столь же бесполезным, так как по-настоящему эта служба ничему не учила, а лишь баловала и была пустой тратой времени, однако там принудительно и преднамеренно смешивали людей разного рода и происхождения; именно этого и хотел король от подобного ученичества, которое следовало проходить в течение целого года, со всей покорностью и старательностью исполняя бессмысленную службу; после этого нужно было претерпеть еще одну школу, но она хоть могла считаться таковой.

Для тех, кто изъявлял желание служить в кавалерии, то была кавалерийская рота, а для тех, кто выбирал пехоту, чин лейтенанта в королевском полку, и король как полковник этого полка самолично занимался им и особо отличал его среди других. То была вторая ступень службы в малых чинах, на которой король удерживал более или менее долго, прежде чем дозволял купить полк; такой порядок давал возможность королю и его министру выказать благосклонность или суровость в зависимости от того, как они намеревались обойтись с молодыми людьми, основываясь либо на аттестациях, полученных чаще всего тайным образом, либо на отношении короля или министра к родителям, что было важнее всего. Служба в младших чинах, кроме скуки и отвращения, а также естественной зависти к тем, кто раньше вышел из нее, нечего не давала, поскольку не больно-то учитывалась при получении полка, не ограничивалась во времени и не засчитывалась при продвижении; было установлено, что датой, от которой ведется отсчет для повышения, является день получения чина полковника кавалерии или пехоты.

По этому правилу для всех, находящихся в службе, кто бы они ни были, устанавливалось полное равенство в части продвижения и чинов, кроме редких и исключительных случаев вроде отличия в сражении или доставки важного донесения с поля боя. Следовательно, любое ускорение или задержка в получении полка становились весьма чувствительны: ведь от этого зависели все последующие повышения, которые теперь производились лишь по старшинству, что именовалось порядком производства в чин; поэтому знать растворилась среди офицеров самого разного происхождения, какового смешения и желал король; от этого постепенно произошло полное забвение всех и вся, любых различий личных и родословных, и все равно состояли на военной службе, ставшей доступной каждому и находившейся полностью в руках короля, а еще вернее, министра и даже его чиновников, и министр этот неизменно находил поводы, кому хотел, оказать предпочтение в производстве, а кого хотел, унизить и никогда не упускал возможности устроить так, чтобы продвинуть своих протеже вопреки порядку, а кого заблагорассудится, придержать. Ежели кто, наскучив, с досады или же по какому-нибудь неудовольствию бросал службу, его ждала верная опала, и было чудо, если после годов повторяющихся отказов ему удавалось вновь вынырнуть на поверхность. Тех же, кто не состоял при дворе и нигде не служил, мало того, что сам король не выпускал из виду, держал под особым надзором военный министр, и всякий оставивший службу мог быть уверен, что сам он и его семья подвергнутся в

провинции или в городе всевозможным унижениям, а зачастую и преследованиям, какие только вздумаются интендантам провинций, осуществлявшим их, и которые касались владений и состояния этих лиц.

Великие и малые, славные и безвестные вынуждены были вступать в службу и нести ее тяготы наравне с простым народом, находясь в покорной зависимости от военного министра и даже его чиновников. Ле Гершуа, умерший государственным советником, а тогда бывший интендантом Алансона, показал мне в Ла Ферте приказ о розыске в его податном округе дворян с совершеннолетними детьми, не вступившими в службу, и о принуждении их вступить под угрозой удвоения и утроения подушной подати тем, кто не подчинится, а также чинения им всяких притеснений. Было это в связи с одним дворянином, в котором я принимал участие, и, узнав про приказ, я тут же послал за ним, чтобы склонить подчиниться. Ле Гершуа потом был интендантом в Безансоне, а государственным советником стал в начале Регентства.

Прежде чем покончить с военной политикой, следует показать, до какой степени Лувуа, дабы подчинить все собственной власти, злоупотреблял презренной ревностью короля и его стремлением все делать самому, держать все в непосредственной зависимости от себя, и как пагубное это честолюбие иссушило источник, дающий полководцев, довело Францию до того, что теперь у нее нет ни их, ни даже надежды на их появление: ведь ученик может научиться только от учителя, и нужно, чтобы такая преемственность не прерывалась и продолжалась от одного к другому, ввиду того что дарования не создаются людьми.

Мы уже видели, какими бедами обязана Франция этому вредоносному министру: бесконечными войнами, которые он затевал, чтобы быть необходимым, ради собственного возвышения, собственной власти, собственного всемогущества; бесчисленными армиями, научившими наших врагов создавать такие же, но только у них население неисчерпаемо, а наше королевство обезлюдело; наконец, упадком мореплавания, торговли, наших мануфактур и колоний из-за зависти Лувуа к Кольберу, к его брату и его сыну,[104] которые управляли этими ведомствами, а также превосходно исполненным замыслом разорить богатую и процветающую Францию, чтобы сбросить Кольбера.

Остается только показать, как он, чтобы стать полным хозяином, искоренил во Франции полководцев и довел ее до такого состояния, что появиться им решительно невозможно.

Лувуа, отчаявшийся под игом Принца и г-на де Тюренна и столь же раздраженно относившийся к гнету их учеников, решил обезопасить себя от появления у них преемников, а также ослабить самих учеников. Он внушил королю, что опасно давать волю генералам, командующим армиями, так как они, не зная тайных решений кабинета и превыше всего ставя собственную славу, могут не держаться плана кампании, разработанного с ними перед их отъездом в армию, воспользоваться случаем и произвести действия, успех которых помешает тайным переговорам, а неудача будет иметь еще более печальные последствия; лишь король с его опытом и талантом должен не только разрабатывать планы кампаний для всех своих армий, но и руководить их ходом из своего кабинета, не вверяя их судьбы фантазиям генералов, из коих ни один не обладает ни талантом, ни знаниями, ни славой своих учителей его высочества Принца и г-на де Тюренна. Так Лувуа польстил тщеславию короля и под предлогом облегчения его трудов составлял планы различных кампаний, которые становились законом для командующих армий и которые они постепенно стали принимать, ни в чем не оспаривая. Благодаря такой хитрости он держал их на помочах в течение всей кампании; они даже не смели воспользоваться благоприятным случаем, не послав гонца с просьбой о разрешении на это, причем почти всегда случай этот исчезал еще до получения ответа. Таким образом, Лувуа мог перемещать войска, куда хотел, усиливать или ослаблять их по своему усмотрению, держать генералов в узде, иначе говоря, по прихоти поддерживать их или принижать. Такое стеснение вызывало справедливое недовольство командующих армиями, приводило к утрате великолепных и по большей части вернейших возможностей и к упущениям, из-за которых мы лишились многих удобных случаев.

Сделав сей шаг, Лувуа надоумил короля ввести тот самый пагубный порядок повышения и производства по старшинству, что льстило кичливым намерениям короля свести все состояния до простонародья, но также надолго свело на нет всякое соперничество: уж коль повыситься в чине можно, лишь когда придет черед или в совершенно исключительных случаях, да еще надо быть в фаворе, никто больше не утруждал себя, не приобретал знаний, уверенный, что раньше срока все равно не повысят, а придет черед-получишь новый чин, лишь бы не попасть в немилость, чего очень легко можно избежать.

Но порядком повышения в чинах, введенным, как уже сказано, по вполне объяснимым причинам, дело не ограничилось. Под предлогом, что в армии генералы дежурят по очереди, г-н

Лувуа, желавший все захватить и закрыть любой путь к повышению, кроме как через него, распространил этот порядок и на генералов, командующих армиями. До той поры они были вольны и привыкли отдавать крупные и мелкие корпуса под командование тем, кому считали нужным. В зависимости от численности и назначения корпуса они выбирали для командования им, кого хотели, и ни один генерал, ни один цивильный был не вправе препятствовать этому. Если корпус был большой, командующий назначал на него того из своих генералов, кого считал лучшим, а ежели небольшим, то выбирал офицера в меньшем чине. Из числа последних командующие обыкновенно выбирали для испытания молодых людей, о которых точно знали, что они усердны и стремятся чему-то научиться. Генералы смотрели, как они начинают командовать, давали им более или менее крупные корпуса, более или менее легкие задания, в зависимости от того, в какой мере они уже проявили свои способности. Г-н де Тюренн говаривал, что он не теряет уважения к тем, кто был разбит; напротив, только так научаются верно действовать в следующий раз; нужно быть несколько раз побиту, чтобы чего-то достигнуть. Если благодаря подобным испытаниям командующие армиями находили, что подчиненный не обладает способностями, его потихоньку отстраняли, но если видели талант и способности, продвигали. Так они получали умелых помощников; генералы же и офицеры понимали, что их репутация и судьба зависят от их умелости, их поведения и действий, что с назначением или неназначением связаны виды на повышение; все это вынуждало их соперничать в усердии, в учении, в обретении знаний; при этом молодежь искала благосклонности тех, кого назначали чаще, чтобы те приняли их иод свое крыло и взяли к себе в корпус для наблюдения за их действиями и обучения. Такой была эта школа, в которой ученики, получая все более крупные корпуса и все более важные задания, поднимались все выше и которая в зависимости от способностей воспитала множество превосходных генералов и несколько великих военачальников.

Командующие армиями в своих донесениях посылали о них отзывы, а по возвращении из похода составляли более пространный отчет. Все понимали, сколь необходимы для их репутации и карьеры подобные отзывы, все старались заслужить как можно лучшие, снискать похвалу, то есть старались показать себя и по мере возможности помогать и содействовать командующему армией, у которого служили, или генералу, в корпус которого были назначены. Это вырабатывало волю, усердие, неусыпность, и все это вместе было весьма на пользу

командиру и успеху кампании. Отличившиеся успешнее продвигались по службе соответственно их заслугам; они вскоре становились генерал-лейтенантами, и почти все получившие жезл маршала Франции, до того как их стал раздавать Лувуа, удостоились его до сорока лет. Опыт показал, что это пошло им только на пользу, и они, в соответствии с законами природы, еще двадцать пять-тридцать лет могли проявлять свои таланты, командуя армиями. Эти заслуженные воины неохотно подчинялись Лувуа, и он вывел их под корень, а заодно и питомник, из которого они выходили, и все это — введением рокового порядка повышения в чинах.

Он довел дело даже до того, что командующие армиями принимали из его рук планы кампаний, якобы исходящие от короля. Он запретил им разрабатывать планы без него, а беседовать с королем перед отъездом в армию или по возвращении они могли только в его присутствии, равно и король только так мог беседовать с ними; в конце концов он стал водить их на помочах, все больше растягивая оные, так что они и шагу не могли сделать без его разрешения и почти никогда не осмеливались воспользоваться рискованной возможностью без приказа или дозволения; они целиком зависели от прибытия курьеров. Но Лувуа пошел еще дальше.

Он внушил королю, что должность командующего армией сама по себе весьма значительна и нельзя давать полководцам еще больше усиливаться, позволяя окружать себя своими ставленниками или даже родичами этих ставленников, на которых командующие могли опереться; право продвигать у себя в армии, кого они хотели, было обязательным до мудрого введения порядка производства, который все теперь отдает на благоусмотрение его величества, и введенный отныне порядок должен распространяться на все и не оставлять за командующими права выбора, которое становится даже несправедливым по отношению к генералам и офицерам, поскольку такой выбор является выражением предпочтения, свидетельствующего о большем доверии, а следовательно, уважении к одним по сравнению с другими; он нередко является следствием неприязни или мимолетного недовольства одним и дружеской приязни или личных связей с другим; посему необходимо, чтобы генералы и офицеры в одинаковых чинах, которых назначают на дежурства или в караулы в очередности, определяющейся старшинством, так же назначались бы и на командование частями и чтобы командующие по своему произволу не вмешивались в оный порядок; такое единообразие не даст поводов для зависти, а генералам возможности продвигать или придерживать, кого им

хочется. Вкусы короля вполне соответствовали целям его министра, хоть он их и не понял, и предложение было тут же одобрено. Он сделал его правилом, которое мы наблюдаем до сих пор, так что, ежели у командующего армии имеется корпус, предназначенный для важного задания, он вынужден отдавать его тупице, чья очередь подошла, а ежели таких у него оказывается много, как случается весьма часто, полагаться на волю случая или же подвергать свои войска без всякой нужды разделению на столько отрядов, сколько у него имеется тупиц, ждущих повышения по старшинству, пока не дойдет до того, кому он хочет поручить этот важный корпус, но и тут, если он станет повторять подобное, чуть только это заметят, начнутся жалобы, вопли об ущемлении чести, о несправедливости. Мы уже неоднократно видели, насколько это серьезная помеха в армии, но главное в том, что этот порядок погубил военную школу, всякое обучение, всякое соперничество. Уже негде и не у кого учиться, нет больше интереса к тому, чтобы снискать одобрение генералов или быть им полезными своим усердием и неусыпностью. При производстве по старшинству и соответственном порядке повышения в чинах все безразлично. Как говорится, можно спокойно спать да лишь исправно нести службу, высматривая в списке, кто старше кого, так как каждый получает повышение лишь в свой черед, а потому нужно спокойно и терпеливо ждать, не будучи ничем обязанным ни себе, ни кому другому. Вот чем наградил Францию Лувуа, который подвел мину под воспитание полководцев, чтобы не считаться более с заслугами и потому что бездарность всегда нуждается в протекции; вот что принесла королевству слепая гордыня Людовика XIV.

Введенный порядок повышения окончательно все искорежил, окончательно все перемешал — заслуги, подвиги, происхождение, поскольку все это противоречит производству в порядке старшинства и тем редким исключениям, которые умел делать Лувуа для тех, кого хотел продвинуть, равно как и для тех, кого хотел придержать или отвратить от службы. Огромное количество войск, с которыми король вел кампании, привело к увеличению и учащению производства, а это производство, становившееся со временем все более частым, обременило армию бесчисленными офицерами во всяких чинах. Результатом этого стало еще одно неудобство: из-за переизбытка генералов и бригадиров они только чудом могли получить командование раза три-четыре за всю кампанию, обычно же получали не больше раза-двух. Но без наставлений, без школы какое остается средство научиться и набраться опыта, кроме как возможно чаще бывать в деле, дабы

обучаться уже в самом сражении, наблюдая и действуя? А офицеры никогда в них не бывали, да и не могли бывать.

И еще одно довело до крайности всю эту неразбериху и невежество в военном деле: привилегированные войска. Я называю ими в пехоте полки французской и швейцарской гвардии и королевский пехотный полк, а в коннице — королевский кавалерийский полк и тяжелую кавалерию. Желая их выделить, король перемешал в них все чины, и почти при каждом производстве эти полки кишмя кишели новоиспеченными генералами. Офицеры в этих полках не могли научиться даже тому немногому, что удавалось другим, поскольку, каков бы ни был их чин, они исполняли службу, какую исполняют в остальных пехотных и кавалерийских полках лейтенанты и капитаны. А ежели их назначали на генеральскую должность, они попадали на нее, ничего не повидав, ничему не научившись, не зная даже службы в промежуточных чинах. Можно представить, на что они годны и какую сумятицу производит в армии такое множество, можно даже сказать — такая толпа, генералов с их обозами. Нечего поэтому и удивляться, что у нас так много маршалов Франции, но так мало таких, кто соответствует этому званию, и что среди бессчетного множества генералов очень немногие на что-то годны, а среди них нельзя найти такого, кого можно было бы назначить командующим или удостоить маршальского жезла по соображениям иным, кроме старшинства. Отсюда — неудачи наших армий и постыдная необходимость призывать командовать ими совершенно неопытных иноземцев,[105] поскольку у нас нет даже надежды воспитать своих военачальников. Нет больше учителей, школы угасли, ученики исчезли, а с ними и все средства обучения новых. Безграничная же власть государственных секретарей по военным делам, которые все сплошь держатся заблуждений Лувуа, является вознаграждением, представляющимся, очевидно, вполне достаточным всякому, кто на первых порах пытается улучшить дело. Король боялся знати и предпочитал приказчиков, но кто из знати ради своих интересов и собственного возвышения мог бы нанести Франции такой смертельный удар?

После того как под гнетом Лувуа столько вершин превратились в долы, он отыскал холмы, которые следовало сровнять, и совершал это одним своим словом. Ранее в пехотных, кавалерийских, драгунских полках всем распоряжались полковники. Судьба полковников зависела от укомплектованности, хорошего состояния и неукоснительного несения службы полками; делом их чести было поддерживать боеспособность и полноту состава; уважение они снискивали

справедливостью и бескорыстием, являясь как бы отцами своих полков; офицеры же стремились добиться их одобрения и уважения, поскольку и продвижение, и вся жизнь в полку зависели от его командира. Полковники всецело отвечали за свои полки, и с них взыскивали за всякие упущения и несправедливости, ежели таковые обнаруживались. Но власть сия, столь необходимая для блага службы, столь незначительная и, можно даже сказать, столь подначальная, оказалась не по нраву Лувуа; он решил отнять ее у полковников и сосредоточить в своих руках. Для этого он воспользовался склонностью короля входить во всякие мелочи. Лувуа подробно рассказывал королю про устройство полков, про то, что, по его мнению, неразумно отдавать полки в полную волю полковникам, которых слишком много, чтобы иметь за ними надлежащий неусыпный и строгий надзор; наконец, он предложил королю учредить инспекторов, выбираемых из числа наиболее усердных и знающих все мелочи устройства войск полковников, которые будут осуществлять надзор во вверенных им округах, следить за поведением полковников и офицеров, рассматривать их жалобы, а также жалобы рядовых пехотинцев, кавалеристов и драгун, будут обладать властью входить в денежные вопросы, оценивать заслуги и упущения по службе всех и каждого, заниматься предварительным рассмотрением и решением всяких споров, а также проверять состояние экипировки и вооружения, главное же, укомплектованность полков людьми, лошадьми и повозками; обо всем этом два-три раза в год они будут давать полные отчеты королю, то есть Лувуа, на основании каковых отчетов можно будет решать все вопросы с полным знанием состояния полков и иметь совершенную осведомленность о службе, делах, достоинствах и даже настроении полков, офицеров, служащих в них, и полковников, дабы с открытыми глазами решать вопросы о повышениях, взысканиях и награждениях. Король, прельщенный столь легкой возможностью узнать новые сведения об огромном числе офицеров, служивших в его войсках, попался в ловушку и сделал Лувуа прямым и деспотическим владыкой армии. А тот не преминул подобрать подходящих инспекторов, превратив назначение на эти должности в выражение милости. Отчеты тех немногих инспекторов, коих он допускал до короля, чтобы развлечь его, он предварительно просматривал сам и всегда заранее встречался с инспекторами, давая наставления, которые им приходилось исполнять тем более буквально, что сам он всегда присутствовал при этих отчетах.

В то же время Лувуа применил еще одну хитрость, дабы не дать инспекторам выйти из-под его власти. Под предлогом

протяженности границ и обширности провинций, где войска стояли на квартирах зимой, и удаленности армий друг от друга летом он проводил постоянную смену инспекторов, чтобы они не проверяли много раз подряд одни и те же полки: он боялся, как бы инспектора не обрели слишком много власти, так как они нужны ему были только затем, чтобы лишить всякой власти полковых командиров, а во всем остальном были бесполезны, даже в исполнении собственных распоряжений и назначенных изменений: они не могли их ни провести, ни проследите за ними, поскольку об исполнении докладывали уже совсем другому инспектору, чаще всего обманывая его, а он ни в чем не мог разобраться и отдавал совершенно противоположные приказания.

В войсках раздавались всеобщие стенания. Генералы, шефы, командиры пехотных, кавалерийских и драгунских полков, а особенно генеральный комиссар кавалерии, притязавший на должность ее главного инспектора, потеряли те крупицы власти, которые им удалось спасти от Лувуа, власти, ранее уже почти полностью отнятой у них, и в результате этого последнего удара превратились в совершеннейшие призраки; командиры полков ничуть не отличались от них. Здравомыслящие офицеры были недовольны зависимостью от этих наезжих гостей, которые не могли их знать, зато другие по разным соображениям весьма радовались, что теперь они не зависят от своих полковников. Никто не посмел протестовать против нововведения, поскольку Лувуа с кнутом в руке зорко высматривал и жестоко карал всякую видимость ропота, не говоря уже о недовольстве. Но после него в войсках начали ощущать всю ошибочность учреждения должности инспектора, которую занимало все больше народу при том, что значение ее все падало. Исправить положение надеялись назначением генералов-инспекторов кавалерии и инфантерии и отдачей инспекторов под их начало. Из этого произошла еще большая путаница в приказах и во всем прочем, еще большие интриги в полках, еще большее небрежение службой. С полковниками, лишившимися возможности повредить или помочь, перестали, можно сказать, считаться в полках, и они оказались уже не в состоянии заставить исправно нести службу, а самые уважаемые из них не имели охоты брать на себя неприятный и не приносящий пользы труд. Основываясь якобы на мнениях инспекторов, военное ведомство, то есть военный министр, а точней, его высокопоставленные чиновники, постепенно стали распоряжаться назначением офицеров в полки, не принимая во внимание предложений полковников; в итоге в войска проникли неудовольствие, неразбериха, разгильдяйство, беспорядок, а отсюда — происки, низкопоклонство, частые ссоры,

пререкания вместе с неизменным недовольством и отвращением к службе. И это довершило наши бедствия от последних войн, однако интересы и власть военного ведомства препятствовали единственному спасительному средству, а именно возврату к положению, существовавшему до введения этой разрушительной выдумки. Но ведь благодаря ей все оказалось в личной и даже, лучше сказать, семейной власти Лувуа. И он все слишком хорошо знал, чтобы не понимать гибельных ее последствий, однако думал лишь о себе и вскоре прекратил непосредственные отчеты инспекторов королю; через некоторое время он стал отчитываться за них, а его преемники сумели сохранить это его наследие, если не принимать во внимание крайне редких и преходящих исключений, да и то лишь в их присутствии.

Лувуа придумал еще одно новшество, чтобы стать еще могущественней и совершенно держать в руках карьеру военных: то был чин бригадира, доселе неизвестный в нашей армии, без знакомства с которым можно было бы с успехом обойтись. В других армиях Европы его ввели совсем недавно. Прежде каждой бригадой командовал самый старший из полковников, и в корпусах самые старшие по выслуге полковники исполняли должности, которые потом предназначались для этого нового чина. Он бесполезен и излишен, но служит для задержки производства в чин, следующий за полковничьим, то есть Лувуа получил еще одну возможность повышать или придерживать, кого ему хочется, и при существующей системе чинов затруднить и удлинить путь продвижения, чтобы чина генерал-лейтенанта достигали как можно позже, а маршальский жезл получали уже после шестидесяти, когда у человека больше нет ни желания, ни сил бороться с государственным секретарем и он не может вызвать на этот счет ни малейших опасений. После этого единственными исключениями были на флоте последний маршал д'Эстре,[106] которому посчастливилось рано получить после своего отца вице-адмиральскую должность, а в сухопутных войсках герцог Бервик,[107] который по личным заслугам никогда бы так не продвинулся, не будь он побочным сыном короля Иакова II. Мы уже ощутили и еще долго будем ощущать, чего стоят эти шестидесятилетние генералы и войска, предоставленные самим себе и якобы находящиеся под надзором инспекторов и в полном подчинении военного ведомства, то есть под невежественной, корыстной и деспотической властью государственного секретаря по военным делам и короля, у которого поистине заткнут рот. А теперь перейдем к другой стороне политики Людовика XIV.

Двор был другим поприщем политики деспотизма. Только

что мы видели, как она разобщала, унижала, уравнивала до общего уровня самых выдающихся людей, возвышала надо всеми министров, наделяя их властью и могуществом превыше принцев крови, а положением — выше самых высокородных особ, после того как совершенно переменила их состояние. Надлежит с той же точки зрения показать успехи во всех сферах установленной таким образом линии поведения.

Многие причины привели к перенесению навсегда двора из Парижа и к непрерывному пребыванию его вне города. Смуты, ареной которых был Париж в дни детства короля, внушили ему неприязнь к столице, уверенность, что пребывание в ней опасно, меж тем как перенесение двора в другое место сделает крамолы, замышляемые в Париже, не столь успешными благодаря удаленности, как бы невелика она ни была, и в то же время их будет труднее скрывать, поскольку отсутствие замешанных в них придворных можно будет легко заметить. Он не мог простить Парижу ни своего недолгого бегства из него накануне Крещения в 1649 году,[108] ни того, что этот город невольно видел его слезы, когда г-жа де Лавальер впервые оставила его.[109] Затруднительные положения, связанные с любовницами, и опасность возникновения скандалов в столь многолюдной столице, переполненной людьми самых разных настроений, сыграло тоже немалую роль в решении удалиться из нее. Королю докучали народные толпы всякий раз, когда он выезжал, возвращался или показывался на улицах, не меньше надоедали ему и депутации городских властей, которые не могли бы столь усердно домогаться приема, будь он далеко от города. Вспомним еще его подозрительность, очень скоро замеченную ближайшими его приближенными, которым была поручена его охрана, — стариком Ноайлем, герцогом де Лозеном и несколькими их подчиненными; они всячески преувеличивали свою бдительность, их обвиняли, что они намеренно множат ложные предупреждения, чтобы вынудить короля ценить их и иметь возможность для частых доверительных бесед с ним; вспомним его любовь к прогулкам и охоте, которую легче было удовлетворить вне Парижа, удаленного от лесов и лишенного мест для прогулок; вспомним страсть к строительству, вспыхнувшую позже, но все более усиливавшуюся, которой нельзя было предаваться в городе, где король не мог спрятаться от множества наблюдающих за ним глаз; вспомним его идею усилить поклонение себе, укрывшись от глаз толпы, дабы она отвыкла от привычки ежедневно лицезреть его, — все эти соображения вынудили короля вскоре после смерти королевы-матери обосноваться в Сен-Жермене.[110] Туда празднествами и

обходительностью он стал привлекать общество, давая почувствовать, что хотел бы чаще видеть его у себя. Любовь к г-же де Лавальер, поначалу бывшая тайной, дала повод для частых поездок в Версаль, в ту пору совершенно крохотный замок, поистине карточный домик, построенный Людовиком XIII, которому — а еще более его свите — надоело ночевать на дрянном постоялом дворе для возчиков и на ветряной мельнице после долгих охот в лесу Сен-Леже, а то и дальше; причем происходило это задолго до того времени, как стал охотиться его сын, когда превосходные дороги, стремительность собак и множество доезжачих и ловчих сделали охоту весьма необременительной и непродолжительной. Людовик XIII никогда, или почти никогда, не проводил в Версале больше одной ночи, да и то лишь по необходимости; король, его сын, уединялся там с возлюбленной, каковое удовольствие было чуждо строителю того крохотного Версаля, праведнику, герою, достойному потомку Людовика Святого. Эти увеселительные поездки Людовика XIV постепенно привели к строительству более обширных и удобных зданий для размещения многочисленного двора, весьма отличавшихся от покоев в Сен-Жермене, так что незадолго до смерти королевы[111] король окончательно перенес туда свою резиденцию. В отличие от Сен-Жермена, неудобством которого была необходимость для большинства придворных проживать в Париже, так что лишь немногие жили в самом замке, причем в чудовищной тесноте, в Версале комнат было без счету, и все придворные стелились перед королем, вымаливая их для себя.

Частые празднества, прогулки по Версалю в узком кругу, поездки давали королю средство отличить или унизить, поскольку он всякий раз называл тех, кто должен в них участвовать, а также вынуждали каждого постоянно и усердно угождать ему. Он понимал, что располагает не таким уж большим количеством милостей, чтобы, одаривая ими, неизменно воздействовать на придворных. Поэтому действительные милости он подменил воображаемыми, возбуждающими зависть, мелкими преимуществами, которые со свойственным ему величайшим искусством придумывал ежедневно и, даже можно сказать, ежеминутно. Эти ничтожные преимущества, эти отличия возбуждали надежды, на их основе строились какие-то соображения, и не было никого в мире находчивей его в изобретении всего этого. Впоследствии он весьма использовал в этом смысле Марли, а также Трианон, куда действительно всякий мог приехать для выражения верноподданнических чувств и где дамам дарована была честь трапезовать с ним, но на каждую такую трапезу их выбирали особо; отличием было держать

подсвечник при раздевании, и король, придя с молитвы, каждый вечер громко называл имя придворного, обыкновенно из самых высокопоставленных, которого хотел отличить. Еще одной такой выдумкой были жалованные камзолы; они были голубые на красной подкладке, с красными манжетами и отворотами, украшенными великолепным золотым и чуть-чуть серебряным шитьем, присвоенным только этим одеяниям. Таких камзолов было очень немного, и носили их король, члены его семейства и принцы крови, однако последние, равно как и остальные придворные, получали их лишь тогда, когда такой камзол оказывался вакантным. То была милость, которой добивались, и самые высокопоставленные по происхождению или положению придворные выпрашивали ее у короля. Государственный секретарь,[112] возглавлявший придворное ведомство, давал на камзол грамоту, и никто другой не мог носить его. Они были придуманы нарочно для тех немногих особ, что могли сопровождать короля в его поездках из Сен-Жермена в Версаль без именного приглашения, а когда поездки эти прекратились, такой камзол не давал уже никакой привилегии, кроме права носить его во время траура, даже если последний был при дворе или в семье, лишь бы только он не был всеобщим или не близился к концу, а также права надевать его в те дни, когда запрещалось ношение золота и серебра. Я никогда не видел такого камзола на короле, Монсеньере или Месье, но весьма часто на трех сыновьях Монсеньера и на других принцах; до самой смерти короля, как только такой камзол освобождался, все придворные стремились его заполучить, и если его жаловали кому-нибудь из молодых, то это было величайшее отличие. Подобным уловкам, сменявшим друг друга, по мере того как король старел, а празднества менялись и становились реже, и знакам внимания, которыми он отмечал людей, чтобы всегда иметь многочисленный двор, не было конца, и все их не пересказать.

Король не только следил за тем, чтобы его постоянно окружали все самые знатнейшие лица, но был внимателен и к низкопоставленным. При одевании, при раздевании, при трапезах, проходя через свои покои или прогуливаясь в садах Версаля, где сопровождать его имели право только придворные, он посматривал налево, направо, все видел, всех замечал, никто не ускользал от его глаз, даже те, кто не надеялся быть замеченным. Он отмечал про себя отсутствие тех, кто постоянно пребывал при дворе, и тех, кто более или менее часто приезжал ко двору, сопоставлял общие и частные причины таких отлучек и при малейшей возможности соответственно поступал в

отношении этих людей. Для самых высокопоставленных считалось проступком, если они не жили постоянно при дворе, для других — если они изредка не приезжали туда, ну а для тех, кто никогда или почти никогда не бывал там, немилость была обеспечена. Когда решалось дело такого человека, король отрезал: «Я его не знаю»; о человеке, бывавшем редко, говорил: «Я его никогда не вижу»; и это были окончательные приговоры. Еще вменялось в виду непосещение Фонтенбло, который король приравнивал к Версалю, а некоторым людям — если они не просили у короля позволения сопровождать его в Марли, одни — всякий раз, другие — часто, пусть даже он не имел намерения брать их с собой; для имевших же право всегда ездить туда с ним требовалась весьма основательная причина, дабы уклониться от поездки. Особенно же он не терпел тех, кому нравился Париж. Довольно спокойно он относился к тем, кто любил жить в своих владениях, однако и здесь либо нужна была мера, либо приходилось принимать изрядные предосторожности, прежде чем уехать на достаточно длительный срок. И это не ограничивалось особами, исполнявшими какие-то должности, приближенными лицами, пользовавшимися его благосклонностью, или людьми, которые благодаря своему возрасту или положению значили больше, чем остальные. Само назначение ко двору считалось достаточным основанием для постоянного там пребывания. В своем месте[113] было уже рассказано, как я, совсем еще молодой человек, уехал в Руан для участия в одном процессе, и король, заметив мое отсутствие, велел Поншартрену письменно запросить меня о причинах отъезда.

Людовик XIV весьма стремился быть точно осведомленным обо всем, что происходит всюду — в общественных местах, частных домах, в свете, о семейных тайнах и любовных связях. Шпионам и доносчикам не было числа. И были они всякого рода: многие даже не знали, что их доносы доходят до короля, другие это знали, некоторые писали прямо ему и отсылали свои послания тем путем, который он им сам указал, и эти письма читал только он самолично, и притом прежде всех, а имелись и такие, кто лично отчитывался перед ним в кабинете, приходя туда с заднего хода. Из-за этой тайной слежки сломали шею множество людей всех состояний и очень часто совершенно безвинно, причем они так никогда и не узнали причин; король же, однажды настроившись предубежденно, никогда или крайне редко — почти никогда — не менял своего мнения.

Был у него еще один недостаток, весьма опасный для других, а часто и для него самого, потому что он лишал его добрых подданных. У него была великолепная память, и он через

двадцать лет мог узнать человека, даже из простонародья, которого видел всего один раз; такая же память у него была на события, и он никогда их не путал, однако же помнить то бесконечное множество сведений, которые ежедневно сообщали ему, невозможно. Ежели он что-то припоминал о каком-нибудь человеке, но не помнил точно, что именно связано с ним, он внушал себе, что это сведения против этого человека, и этого было достаточно, чтобы восстановить короля против последнего. И тогда не помогали ходатайства ни министра, ни генерала, ни даже королевского духовника, в зависимости от рода дела или характера людей, о которых шла речь. Король отвечал, что не помнит, что именно связано с этим человеком, но надежней будет взять другого, с которым у него не связано никаких воспоминаний.

Именно его любознательности мы обязаны учреждением грозной должности начальника полиции. С той поры значение ее все возрастало. Этих чиновников, подчинявшихся непосредственно королю, все боялись, им угождали и выказывали почтения больше, чем даже министрам, да и сами министры вели себя точно так же, и не было во Франции человека, не исключая принцев крови, у кого не оказывалось бы оснований подлещиваться к ним. Король получал от них донесения обо всех важных событиях, но заодно развлекался, узнавая о любовных историях и всяких глупостях, происходящих в Париже. Поншартрен, к ведомству которого относились Париж и двор, очень часто угождал королю таким презренным способом, на что сердился его отец, однако монарх поддерживал его в этом и защищал от жестоких нападок, без каковой поддержки он, по свидетельству самого короля, давно бы уже пал, о чем неоднократно становилось известно от г-жи де Менте-нон, герцогини Бургундской, графа Тулузского и личных лакеев короля.

Но самым опасным из всех способов, какими король долгие годы, прежде чем это стало известно, получал сведения и каким из-за неосведомленности и беспечности многих людей и в дальнейшем продолжал получать их, была перлюстрация писем. Именно это придало такое влияние семействам Пажо и Руйе,[114] державшим почту на откупе, именно по этой, столь долго остававшейся неведомой, причине у них невозможно было ни отнять, ни повысить за него цену, благодаря чему они чудовищно обогатились в ущерб обществу и самому королю. Невозможно даже представить, с какой быстротой и ловкостью совершалось вскрытие писем. Королю предъявляли выдержки из всех писем, где находились сведения, которые начальники почт, а затем

министр, ведавший ими, почитали необходимым довести до него, иные письма- целиком, ежели они стоили того по причине своего содержания либо положения особ, состоявших в переписке. Благодаря этому люди, ведавшие почтой, и служащие их могли измыслить что угодно и о ком угодно, а поскольку достаточно было самой малости, чтобы бесповоротно погубить человека, им даже не было нужды выдумывать и пускать в ход интригу. Презрительное замечание о короле или правительстве, насмешка, короче, какое-нибудь слово или место, вырванное из письма и соответствующим образом поданное, губило человека без суда и следствия, и это средство неизменно находилось в их руках. Просто невероятно, сколько самых разных людей было погублено или пострадало по вине или безвинно таким вот образом. Хранилось это в глубочайшей тайне, и королю ничего не стоило молчать и притворяться, будто ничего подобного не существует. Дар притворства он нередко доводил до лицемерия, правда никогда — до лжи, и гордился тем, что всегда держит слово. Однако он почти никогда не давал его. Чужие секреты он хранил так же свято, как свои. Ему были даже лестны такие исповеди, откровения, признания, и ни любовница, ни министр, ни фаворит не могли вынудить его выдать тайну, пусть даже она касалась их. Среди многих других известна знаменитая история одной дамы, имени которой до сих пор так никто и не знает, даже не догадывается; она целый год была в разлуке с мужем и вдруг понесла, причем тогда, когда он собирался возвратиться из армии; не видя выхода, она попросила короля соблаговолить дать ей секретную аудиенцию по важнейшему в мире делу, но так, чтобы никто о ней не узнал. Аудиенция была дана. Она призналась королю, в каких крайних обстоятельствах оказалась, прибавив, что обратилась к нему как к самому порядочному человеку в королевстве. Король посоветовал ей извлечь урок из этого величайшего несчастья и в будущем вести себя благоразумней, но заодно пообещал задержать ее мужа на границе под предлогом служебной надобности столько, сколько будет необходимо, чтобы у него не возникло и тени подозрения. Действительно, в тот же день он отдал Лувуа приказ не только не давать этому мужу отпуска, но и проследить, чтобы тот ни на день не покидал гарнизона, которым он назначен командовать в течение всей зимы. И заслуженный офицер, который ничуть не желал, более того, не просил назначать его на зиму на границу, и Лувуа, не собиравшийся этого делать, были в равной мере поражены и раздосадованы. Однако обоим пришлось подчиниться, не спрашивая причин, и король рассказал эту историю только много лет спустя, будучи совершенно уверен, что

уже невозможно будет определить людей, в ней замешанных; так оно и оказалось, и не возникло даже самых приблизительных, самых сомнительных догадок.

Никто никогда не умел лучше жаловать своей милостью и тем самым повышать цену благодеяний, никто никогда не продавал дороже свои слова, улыбки и даже благосклонные взгляды. Благодаря своей разборчивости и величию король делал из них постине драгоценности, чему весьма способствовала редкость и краткость его речей. Если он обращался к кому-либо с вопросом или просто заговаривал о чем-нибудь, взоры всех присутствующих обращались к этому человеку: то было отличие, которое потом обсуждали и которое повышало уважение к удостоившемуся его. То же было со словами внимания, отличия или предпочтения, которые король высказывал в своих речах. Ни разу никому он не сказал чего-нибудь обидного, и если ему приходилось сделать замечание, выговор или взыскать, что бывало крайне редко, это всегда произносилось достаточно благосклонным тоном, очень редко — сухим, никогда — гневным, хотя королю не была чужда гневливость, и всего несколько раз — суровым; единственным исключением явилась история с Куртанво,[115] о которой было рассказано в своем месте. Не было человека, более учтивого по самой своей природе, умевшего лучше соизмерить учтивость с рангом других, подчеркивая тем самым их возраст, достоинства, сан; то же можно сказать и о его ответах, если исключить «Я посмотрю», и о его манерах. Это различие очень тонко проявлялось и в том, как он здоровался и принимал поклоны входящих или выходящих придворных. Он был великолепен, когда совершенно по-разному принимал приветствия на театре военных действий и на смотрах. Но совершенно несравненен он бывал, встречаясь с женщинами. Не было ни разу, чтобы, завидев чепец, он не приподнял бы шляпу; я имею в виду горничных, о которых он знал, кто они такие, и это неоднократно случалось в Марли. Перед дамами он сразу же снимал шляпу, но только на большем или меньшем расстоянии; перед титулованными особами приподнимал ее на несколько секунд; с простыми дворянами, кем бы они ни были, довольствовался тем, что подносил руку к ней; при встрече с принцами крови он снимал ее, как перед дамами; при беседах с дамами всегда оставался с непокрытой головой и надевал шляпу, лишь расставшись с ними. Но так он вел себя только на улице, поскольку во дворце никогда не носил шляпы. Его всегда подчеркнутые, но легкие поклоны были ни с чем не сравнимы по изяществу и величественности; то же можно сказать и о его манере чуть привставать во время трапез всякий раз, когда

входила дама, имеющая право сидеть в его присутствии,[116] чего он не делал для всех прочих дам и даже для принцев крови; однако под конец жизни это стало для него затруднительно, и, хотя он продолжал привставать, дамы, обладающие правом табурета, избегали входить после начала ужина. С такой же изысканностью он принимал службу Месье, герцога Орлеанского, принцев крови; всех их он благодарил непринужденным кивком, равно как Монсеньера и троих его сыновей, высокопоставленным же сановникам высказывал благодарность благосклонным и признательным тоном. Когда при его одевании с чем-нибудь задерживались, он терпеливо ждал. Назначая разные дела на определенные часы, он очень точно соблюдал время, был чрезвычайно четок и краток, отдавая распоряжения. Если зимой в дурную погоду он не мог пойти на прогулку и приходил к г-же де Ментенон на пятнадцать минут раньше, чем назначал, что случалось крайне редко, а дежурный капитан гвардии не встречал его, король всякий раз потом говорил, что это его вина, поскольку он пришел раньше времени, капитан же ничуть не виноват, что отсутствовал. Это неизменное правило быть точным бесконечно облегчало службу придворным.

Очень хорошо он обращался со своими слугами, особенно из внутренней службы. Как раз с ними он чувствовал себя непринужденней всего и разговаривал совершенно свободно, особенно со старшими лакеями. Их расположение или недоброжелательство нередко приводили к серьезным последствиям. Они всегда могли оказать услугу или навредить и весьма напоминали могущественных вольноотпущенников римских императоров, перед которыми заискивали и раболепствовали сенат и сановники. Точно так же во все время царствования считались с королевскими лакеями и угождали им. Министры, даже самые могущественные, не скрываясь, прибегали к их покровительству; точно так же поступали принцы крови и даже побочные королевские дети, не говоря уже о не столь высокопоставленных особах. Должность камергера меркла в сравнении со старшими королевскими лакеями, и вообще крупные должности можно было сохранить лишь благодаря хорошим отношениям с лакеями или мелкими, незначительными служителями, находившимися по роду своих обязанностей в непосредственной близости к королю. Их дерзость была столь непомерна, что приходилось либо не давать поводов проявить ее, либо покорно сносить. Король всем им покровительствовал и неоднократно с удовольствием рассказывал, как однажды в юности послал — не знаю, по какому поводу, — лакея с письмом к герцогу де Монбазону,[117] тогдашнему парижскому

губернатору, который пребывал в одном из своих загородных домов неподалеку от города; герцог де Монбазон, который только что сел обедать, усадил этого лакея с собой за стол, хоть тот и сопротивлялся, а отправляя обратно, проводил во двор, поскольку он был посланцем короля. Вот так же он почти никогда не упускал спросить у своих простых дворян, которых посылал передать поздравления либо выразить соболезнования титулованным особам, мужчинам и дамам, но более никому, как их приняли, и бывал весьма недоволен, если им не предложили сесть, а потом не проводили до самой кареты.

Ему не было равных на смотрах, на празднествах и вообще всюду, где присутствие дам создавало атмосферу галантности. Уже было сказано, что все это он почерпнул при дворе королевы-матери и у графини де Суассон;[118] общество его любовниц еще более приучило его к галантности; однако он всегда держался величественно, хотя порой и не без веселости, и никогда не позволял себе в обществе никакого неуместного или легкомысленного поступка; поступь его, осанка, все поведение вплоть до малейшего жеста были обдуманны, благопристойны, благородны, возвышенны, величавы, чему весьма способствовали и несравненные преимущества, какие давала ему внешность. Поэтому не было доселе в мире человека, который внушал бы такое почтение на церемониях, при приеме посланников, и тем, кто обращался к нему с речью, следовало прежде освоиться с его видом, иначе они рисковали смешаться. Его ответы в таких случаях были всегда короткими, четкими, полными, и очень редко обходилось без того, чтобы он не сказал какую-нибудь любезность, а то и несколько лестных слов, если речь того заслуживала. Где бы он ни был, его присутствие вызывало почтение, вынуждало к молчанию и даже известной робости.

Он очень любил свежий воздух и всякие телесные упражнения, пока был в состоянии заниматься ими. Превосходно танцевал, играл в шары, в мяч. Даже в пожилом возрасте оставался великолепным наездником. Очень любил, когда все эти вещи проделывались с ловкостью и изяществом. Исполнить их на его глазах хорошо или плохо значило засвидетельствовать свои достоинства или недостатки. Он говаривал, что всеми этими упражнениями, не являющимися необходимыми, не стоит заниматься, если делаешь их плохо. Очень любил стрелять, и не было никого, кто стрелял бы так метко и с таким изяществом. Из собак предпочитал породистых легавых, и шесть-семь псов вечно торчали у него в кабинетах; ему нравилось самому кормить их, чтобы приучить к себе. Он также любил травить оленей, но с тех пор, как сразу после смерти королевы сломал себе руку, скача во

весь опор в лесу Фонтенбло, охотился он в коляске. Он ехал один в открытой коля-ске, запряженной четверкой небольших лошадок, имея несколько подстав, и сам на всем скаку правил ими со свойственным ему неизменным изяществом, превосходя умением и ловкостью даже лучших кучеров. Форейторами у него были мальчики от девяти до пятнадцати лет, и он сам обучал их.

Во всем он любил пышность, великолепие, изобилие. Из политических соображений эти свои вкусы он сделал правилом и привил их всему двору. Чтобы снискать его благосклонность, следовало без счету тратиться на стол, наряды, выезды, дворцы, безрассудно играть в карты. Это давало возможность обратить на себя внимание. Суть же была в том, чтобы попытаться истощить средства всех представителей общества, в чем он и преуспел, превратив роскошь в достоинство, а для некоторых даже в необходимость и доведя всех до полной зависимости от его благодеяний, дабы иметь средства к существованию. Кроме того, он тешил свою гордыню тем, что имеет великолепнейший двор, при котором происходит всеобщее смешение, все более стирающее родовые отличия. Единожды нанесенная, эта рана превратилась в язву, изнутри разъедавшую всех, поскольку со двора она немедленно перекинулась на Париж, провинции и армии, и повсюду люди, какое бы место они ни занимали, стали оцениваться по богатству их стола и роскоши; эта язва разъедала всех и каждого, вынуждая тех, чья должность давала возможность воровать, в большинстве случаев делать это из необходимости увеличивать расходы; наряду со смешением сословий, которое поддерживалось тщеславием и особыми видами короля, эта язва благодаря всеобщему безумию все расширялась, и ее бесчисленные последствия несут не более и не менее, как всеобщее разорение и беспорядок.

Никто никогда не мог сравниться с ним в количестве и великолепии его экипажей для охоты и прочего назначения. А кто сочтет его дворцы? И в то же время кто не пожалеет об их чрезмерной пышности, вычурности, дурном вкусе? Он покинул Сен-Жермен и никогда ничего не сделал для украшения и благоустройства Парижа, кроме Королевского моста, да и то построенного из чистой необходимости, отчего этот город при всей его исключительной обширности весьма уступает стольким городам во всех странах Европы. Когда строили Вандомскую площадь, она была квадратной. При г-не де Лувуа уже началось возведение всех четырех ее сторон. По его плану там должны были располагаться Королевская библиотека, Медальный двор, Монетный двор, все академии и Большой совет, который до сих пор еще заседает в арендуемом доме. В день смерти Лувуа король

первым делом велел остановить работы и приказал срезать углы площади, тем самым уменьшив ее, не размещать на ней ничего из того, что было прежде предусмотрено, и застроить ее одними частными домами, что мы и видим на ней сейчас.

Сен-Жермен был единственным местом, соединившим в себе чудесные пейзажи и обширную равнину, поросшую лесом, который был к тому же совсем рядом, местом, несравненным по красоте деревьев и всего пейзажа, по своему расположению, изобилию и доступности источников воды на такой возвышенности, по великолепной красоте садов, холмов и террас, которые можно было размещать друг за другом на любом желаемом протяжении, по живописному и удобному течению Сены и, наконец, благодаря тому, что там имелся город, само положение которого давало возможность для его поддержания; однако король покинул его ради Версаля, самого унылого и неприятного места, безжизненного, безводного, безлесного, даже не имеющего порядочной почвы, поскольку там только зыбучие пески либо болота, а следовательно, не могло быть и хорошего воздуха. Королю нравилось насиловать природу, покорять ее силой искусства и богатства. Он строил там здание за зданием, не имея даже общего плана; там сошлись вместе красота и уродство, обширность и теснота. И его покои, и покои королевы крайне неудобны; кабинеты и все помещения на задах имеют вид самый мрачный, они тесны и смрадны. Сады поражают своим великолепием, но тоже выдержаны в дурном вкусе, и даже незначительное соприкосновение с ними вызывает отвращение. В тенистую прохладу можно попасть только через широкое знойное пространство, когда же дойдешь, все время приходится то подниматься, то спускаться, аза небольшим холмом сады кончаются. Щебень на дорожках жжет ноги, однако без этого щебня все здесь утопали бы в песке и чернейшей грязи. Насилие, произведенное там над природой, невольно отталкивает и становится неприятным. Вода, выбрасываемая водометами и повсюду растекающаяся, цветет, застаивается, мутнеет; она становится причиной нездоровой и весьма ощутимой сырости и еще более ощутимого зловония. Фонтаны эти, за которыми, впрочем, нужно очень следить, производят несравненное впечатление, а в результате ими восхищаются и тут же бегут от них. Со стороны двора душит теснота, а крылья дворца неудержимо разбегаются в разные стороны. Со стороны садов наслаждаешься красотой всего ансамбля, но тут же закрадывается мысль, что перед тобой дворец после пожара, с уничтоженными верхним этажом и крышей. Церковь, подавляющая все, так как Мансар собирался убедить короля поднять дворец еще на один

этаж, производит, откуда ни глянь, унылое впечатление гигантского катафалка. Работа во всех частностях превосходна, соразмерности же частей нет, потому что все делалось для обзора с галереи, поскольку король почти никогда не ходил по низу, а галереи крыльев недоступны, ибо на каждую из них имеется только один узенький проход. Можно было бы бесконечно перечислять все чудовищные пороки этого, стоившего к тому же безмерно дорого,[119] огромного дворца вместе с принадлежащими к нему строениями, у которых огрехов еще больше, — оранжереей, теплицами для овощей, псарнями, большой и малой конюшнями, совершенно подобными друг другу, несметными службами и, наконец, целым городом, выросшим на месте жалкого постоялого двора, ветряной мельницы и крохотного замка, который Людовик XIII построил, чтобы не ночевать на соломе; замок этот представлял собой невысокое, тесное здание с двумя небольшими короткими крыльями, окружавшими мощенный мрамором двор. Мой отец видел его и неоднократно в нем ночевал. До сих пор Версаль Людовика XIV, это разорительное и безвкусное творение, никак не могут достроить, и одна переделка прудов и бо-скетон поглотила столько золота, что даже невозможно себе представить; среди теснящих друг друга салонов нет ни зала для театральных представлений, ни пиршественного, ни бального зала; и внутри, и снаружи многое еще не доделано. Парки и аллеи до сих пор разбивают и никак не могут довести до конца. Приходится выпускать все новую и новую дичь; не закончены бесчисленные водоотводные каналы в несколько лье длиной и даже бесконечные каменные стены, как бы замыкающие в себе некую небольшую часть самой унылой и отвратительной на свете местности.

Трианон, расположенный в том же парке возле ворот Версаля, поначалу был фарфоровым домиком, где устраивали ужины, потом его расширили, чтобы там можно было спать, и наконец выстроили дворец из мрамора, яшмы и порфира; напротив него, по другую сторону Версальского канала, находится зверинец, изящнейшая безделушка, где содержатся всевозможные редкостные животные, четвероногие и двуногие; наконец, на краю Версаля располагается великолепный замок Кланьи со своими прудами, садами и парком, построенный для г-жи де Монтеспан и перешедший к герцогу Мэнскому; акведуки во всех отношениях достойны римлян; ни Азия, ни древность не могут похвастаться ничем, столь огромным, столь многообразным, столь тщательно отделанным и великолепным, изобилующим редчайшими памятниками всех времен, мрамором самых наилучших сортов,

бронзой, картинами и совершеннейшими изваяниями.

Но, что бы ни делали, воды не хватало, и фонтаны, эти чудеса искусства, иссякали, как мы неизменно видим это и сейчас, несмотря на подобные морям резервуары, устройство которых и подведение к ним воды через зыбучие пески и топи обошлось в столько миллионов. Кто бы мог подумать, что недостаток воды приведет к гибели нашей пехоты? В ту пору царствовала г-жа де Ментенон, речь о которой впереди. Г-н де Лувуа был тогда в добрых отношениях с нею, между ними царил мир. Он придумал повернуть реку Эр между Шартром и Ментеноном и направить ее к Версалю. Кто сможет сказать, во сколько золота и человеческих жизней обошлась эта затея, упорно исполнявшаяся долгие годы? В лагере, который был там устроен и просуществовал очень долго, дошло до того, что под страхом суровой кары запретили говорить о заболевших, а особенно об умерших, которых убила непосильная работа, а еще более — испарения развороченной земли. А сколько людей многие годы не могли исцелиться от хворей, вызванных этими испарениями!

Сколькие так и не выздоровели до конца жизни! Тем не менее не только обычные офицеры, но и полковники, бригадиры и генералы, привлеченные к этим работам, не имели права даже на четверть часа отлучиться оттуда и прервать надзор за исполнением их. Наконец в 1688 г. их прекратила война, и они так и не возобновились; только бесформенные кучи земли остались памятниками, увековечивающими это жестокое безумство.

Под конец жизни король, устав от прекрасного и от многолюдия, внушил себе, что иногда его тянет к уединению в какой-нибудь маленькой обители. Он стал искать в окрестностях Версаля, где удовлетворить эту новую прихоть. Он посетил многие места, объездил холмы, откуда открывается вид на Сен-Жермен и широкую равнину внизу, по которой, покинув Париж, извивается Сена, омывая плодородные и богатые земли. Его убеждали остановиться на Люсьене, где Кавуа впоследствии построил дом, из которого открывается прелестный вид, но король ответил, что такое прекрасное место его разорит и что поскольку он задумал построить совсем крохотный домик, то ищет такое место, расположение которого не позволило бы и думать о том, чтобы сделать что-то еще.

За Люсьеном он отыскал чрезвычайно узкую и глубокую ложбину с крутыми склонами, болотистую и оттого недоступную, всякий вид из которой со всех сторон закрывался холмами; на склоне одного из них была нищая деревушка, называвшаяся Марли. Замкнутость, отсутствие всякого вида и возможности создать его составляли единственное достоинство этого места;

лощина была настолько тесной, что там невозможно было размахнуться и распространяться в стороны. Король выбрал ее, как выбирал бы министра, фаворита, командующего армией. Осушить эту свалку, куда со всей окрестности сбрасывали мусор, навезти туда земли стоило огромных трудов. И вот уединенный приют был готов. Предполагалось, что в нем два-три раза в год король будет проводить три ночи, со среды до субботы, и сопровождать его будет примерно дюжина придворных, без которых невозможно обойтись. Постепенно эта обитель отшельника стала разрастаться, воздвигались все новые и новые здания, холмы срезались, чтобы освободить место для строительства, а самый крайний был срыт, чтобы открылся хоть какой-то, пусть даже не самый лучший, вид. И вот в конце концов со всеми возведенными дворцами, водоемами, садами, акведуками, знаменитым и прелюбопытным устройством, именуемым мар-лийской машиной, парками, ухоженным и огороженным лесом, статуями, драгоценной мебелью Марли стал таким, каким мы его видим сейчас, хоть после смерти короля он и обобран; его великолепные густые леса были насажены из высоких деревьев, перевезенных сюда из Компьеня и более отдаленных мест, и, хотя три четверти из них не приживалось, их тут же заменяли новыми; обширные пространства дубрав и тенистые аллеи здесь сменяются неожиданно широкими прудами, по которым катались в гондолах, а потом вновь переходят в леса, в которые со дня их посадки не проникал солнечный свет, и я говорю так, потому что сам убедился в этом через полтора месяца; стократно переделывавшиеся водоемы и каскады, обретавшие всякий раз совершенно другой облик; садки для карпов, украшенные позолотой и изысканнейшей росписью, которые сразу же по завершении наново переделывались теми же самыми мастерами, — и так несчетное число раз; поразительная машина, о которой только что упоминалось, с ее грандиозными акведуками, водоводами и чудовищными резервуарами, предназначенная единственно для Марли и уже не подводящая воду в Версаль, — даже всего этого достаточно, чтобы утверждать, что Версаль, каким он предстает нам, обошелся дешевле Марли. А если добавить к этому расходы на постоянные переезды, притом нередко с весьма многолюдной свитой, поскольку кончилось тем, что пребывание в Марли почти сравнялось с пребыванием в Версале и к концу жизни короля стало обычным делом, то не будет преувеличением сказать, что Марли встал в миллиарды. Такова была судьба свалки, обители змей, лягушек и жаб, выбранной единственно ради того, чтобы уменьшить расходы. Таков был дурной вкус короля во всем и надменное

стремление насиловать природу, которого не смогли подавить ни самая обременительная война, ни набожность.

Не следует ли от сих неразумных злоупотреблений короля своим могуществом перейти к другим, более свойственным человеческой природе, но ставшим в некотором роде еще более пагубными? Я имею в виду любовные связи короля. Скандальные слухи о них разносились по всей Европе, позорили Францию, расшатывали государство; они, вне всякого сомнения, навлекли на него все те беды, под гнетом которых оно очутилось на самом краю гибели, и привели к тому, что законная династия во Франции оказалась на волосок от пресечения.[120] Эти бедствия обратились во всевозможные язвы, которые будут еще долго ощущаться. Людовик XIV, с юных лет более, чем кто-либо из его подданных, созданный для радостей любви, наскучив порхать и срывать мимолетные доказательства благосклонности, наконец остановился на Лавальер. Известно, как развивалась эта история и какие принесла плоды.

Следующей была г-жа де Монтеспан, чья необыкновенная красота поразила его еще в царствование г-жи де Лавальер. Г-жа де Монтеспан очень скоро это заметила и тщетно умоляла мужа увезти ее в Гиень, но он в своем неразумном доверии не желал ее слушать. А она тогда была вполне чистосердечна с ним. В конце концов она вняла королю, и тот отнял ее у мужа с чудовищным скандалом, отозвавшимся у всех народов ужасом и явившим миру невиданное зрелище двух любовниц одновременно. Король возил обеих в карете королевы к границам, в военные лагеря, иногда в армии. Простой народ, сбегавшийся со всех сторон, лицезрел трех королев сразу, и каждый в простоте душевной спрашивал у соседа, видел ли он их. Наконец г-жа де Монтеспан одержала победу и стала единственной владычицей и короля, и его двора, причем это уже никак не скрывалось; для полноты же распущенности нравов г-н де Монтеспан, дабы он тоже не остался ни при чем, был посажен в Бастилию,[121] затем сослан в Гиень, а его супруга сменила графиню де Суассон, которая, впав в немилость, была вынуждена уйти с созданной нарочно для нее должности обер-гофмейстерины двора королевы; обладательнице этой должности предоставлялось право табурета: ведь г-жа де Монтеспан, будучи замужем, не могла быть пожалована титулом герцогини.

После этого покинула свой монастырь Фонтевро «королева аббатисс», сохранив, правда, верность монашеским обетам; превосходя красотой и умом свою сестру г-жу де Монтеспан, она благодаря остроумию и веселому характеру славилась как новая Никея[122] и вместе со своей второй сестрой г-жой де Тианж

почиталась самой очаровательной из приближенных к королю женщин и украшением всех придворных дам. Беременность и роды г-жи де Монтеспан не скрывались. Двор г-жи де Монтеспан сделался средоточием придворного общества, развлечений, карьер, надежд, опасений министров и полководцев и унижения для всей Франции. Он стал и средоточием умственной жизни, а также образа мыслей и поведения, настолько особенного, изысканного, утонченного, но всегда естественного и приятного, что его невозможно было ни с чем спутать. Он в бесконечной степени был свойствен всем трем сестрам, умевшим привить его другим. Еще и посейчас с удовольствием ощущаешь эту приятную и простую манеру у немногих до сих пор живых людей, приближенных к ним и получивших у них воспитание; в самом обычном разговоре их отличаешь среди тысяч других.

Настоятельнице Фонтевро из всех трех эта манера была присуща в наибольшей степени, и, пожалуй, она была самой красивой. С этим еще соединялась редкостная и весьма глубокая ученость; она знала богословие и творения отцов церкви, была сильна в Священном писании, владела многими языками и, говоря на любую тему, восхищала и захватывала слушателей. Ум невозможно скрыть и в обычной жизни, и нет никаких сомнений, что знала она гораздо больше представительниц своего пола. Она великолепно владела пером. У нее были особые способности к управлению, и этим она стяжала любовь всего своего ордена, хотя управляла им в строгом соответствии с уставом. Хоть пострижена она была без особой охоты, но у себя в аббатстве жила по уставу. Ее пребывание при дворе, где она не покидала апартаментов своих сестер, не бросило ни малейшей тени на ее репутацию; правда, странно было видеть особу в монашеском одеянии, пользующуюся благосклонностью подобного рода, но если благопристойность может существовать сама по себе, то следует утверждать, что даже при этом дворе г-жа де Фонтевро ни в чем не погрешила против нее.

Г-жа де Тианж имела влияние на обеих своих сестер и даже на короля, который беседовал с нею охотнее, чем с ними. Она не утратила этого влияния на него до конца жизни, и даже после удаления г-жи де Монтеспан от двора король сохранил к ней благорасположение и весьма выделял ее.

Что же касается г-жи де Монтеспан, она была зла, капризна, часто впадала в дурное настроение и со всеми, не исключая короля, держала себя непомерно надменно. Придворные избегали проходить мимо ее окон, особенно когда у нее бывал король; они говорили, что это все равно, что пройти под обстрелом, и это выражение стало при дворе поговоркой. Она и вправду никого не

щадила, часто с единственной целью развлечь короля, а поскольку была бесконечно остроумна и умела тонко высмеивать, не было ничего опасней ее насмешек, которыми она одаривала всех и каждого. При всем том она любила своих родственников и родителей и никогда не упускала возможности услужить людям, к которым испытывала дружеские чувства. Королева с трудом выносила высокомерное отношение к ней г-жи де Монтеспан, так отличавшееся от церемонности и почтительности герцогини де Лавальер, которую она любила, тогда как при разговорах о Монтеспан у нее часто вырывалось: «Эта шлюха меня убьет». В своем месте[123] уже было рассказано об удалении г-жи де Монтеспан, о ее жестоком раскаянии и благочестивой кончине.

Во время ее царствования у нее всегда были поводы для ревности. М-ль де Фонтанж понравилась королю в достаточной мере, чтобы стать официальной любовницей. Как ни странен такой дублет, в нем не было ничего нового: та же история происходила с г-жой де Лавальер и г-жой де Монтеспан, только теперь последняя испытала то же, что заставила испытать первую. Но м-ль де Фонтанж не была столь счастлива ни в пороке, ни в удаче, ни в раскаянии. Некоторое время она держалась благодаря красоте, но ум ее не соответствовал внешности. А ум был необходим, чтобы развлекать и удерживать короля. Но король не успел окончательно разочароваться в ней: внезапная смерть, так всех поразившая, положила конец его новой любви. Все остальные его связи были недолговечны.

Только одна длилась долго[124] и перешла в привязанность, сохранившуюся до смерти прелестницы, которая до самой могилы умела извлекать из нее чрезвычайные выгоды и оставила двум своим сыновьям постыдное, но неслыханное наследство, каковое они сумели оценить. Муж ее, а для таких, как он, в Испании существует название «добровольный рогоносец» и поведение их почитается непростительным, вел себя подло, с удовольствием мирился с этой связью, пожиная ее обильные плоды; в Париже он жил уединенно, служил в армии, почти не бывал при дворе и потихоньку сколачивал состояние, разделяя в полном согласии со своей лучшей половиной те выгоды, что она извлекала. Часа любовного свидания она дожидалась у супруги маршала де Рошфора, которая отвозила ее на него и впоследствии неоднократно рассказывала мне про все это, равно как о случавшихся препятствиях, каковые не бывали непреодолимы и никогда их причиной не был муж; он сидел у себя дома, все знал и все устраивал, однако весьма старательно изображал полное неведение, в результате чего впоследствии сменил свой тесный дом на Королевской площади на дворец Гизов, который те не

смогли бы узнать таким тот стал просторным и роскошным, после того как достался ему и двум его сыновьям. Такая политика позволяла прикрывать эту любовь флером тайны, хотя тайной она была только по названию, а флер был весьма прозрачен. Тайна обеспечивала ее продолжительность, умение вести себя подкупило наиболее заинтересованных лиц,[125] и на этом было стремительно создано огромнейшее состояние. То же умение вести себя способствовало все большему усилению этой любви, а затем, когда еще было время, превращению ее в дружбу и самое глубокое уважение. До самой смерти этой рыжей прелестницы король давал возможность ее детям, а также родственникам богатеть и возноситься до самых вершин благоденствия и карьеры, так что ныне они уже в третьем поколении в полном составе, включая даже самых неспособных и самых сомнительных по происхождению, наслаждаются роскошью и великолепием. Вот что значит уметь извлекать пользу изо всего: жена — из своей красоты, муж — из своего поведения и бесчестья, дети — из всех созданных для них родителями возможностей и только потому, что они были сыновьями этой прелестницы. Еще одна[126] тоже многое получала в течение всей жизни из того же источника, но поскольку не обладала ни красотой, ни ловкостью, ни положением вышеназванной прелестницы и не имела такого сообщника, как ее паяц-супруг, то и не добилась ни продолжительности и постоянства чувств, ни великолепия, которого достигла первая, сумевшая сохранить и передать его своим детям, внукам и почти всем родственникам. Ведь ей стоило только пожелать, и, хотя связь давно уже прекратилась, а внешние предосторожности строжайше соблюдались, все при дворе знали о ее могуществе и выказывали ей почтение; никто — ни министры, ни принцы крови — не смел противиться ее желаниям. Ее записки шли прямиком к королю, а ответы короля мигом доставлялись ей, да так, что никто этого не замечал. Если же, несмотря на столь исключительную легкость переписки, ей нужно было переговорить с королем, чего она по возможности избегала, он тотчас же принимал ее, стоило ей только захотеть. Это происходило всегда в часы общих приемов, но в переднем королевском кабинете, где происходили и по сю пору еще происходят заседания государственного совета; оба сидели в глубине комнаты, но двери с обеих сторон оставались распахнуты, причем это делалось столь демонстративно, только когда она беседовала наедине с королем, а приемная, смежная с кабинетом, была полна придворными. Если же ей нужно было сказать всего несколько слов, она говорила прилюдно, стоя в дверях, не заходя в кабинет, и придворные по манере короля

разговаривать с нею, слушать и прощаться без труда замечали, что он был неравнодушен к ней до конца ее жизни, пресекшейся за много лет до его смерти. Она оставалась красива до самого последнего дня. Раз в три года она ненадолго ездила в Марли, но ни разу не бывала там наедине с королем и даже в обществе его приближенных дам; она тщательнейшим образом следила за тем, чтобы не отличаться от остальных придворных. При дворе она бывала постоянно и очень часто на ужинах у короля, который ничем не выделял ее среди других. Таков был ее уговор с г-жой де Ментенон, которая взамен содействовала ей во всем, чего она просила. Муж, переживший ее на несколько лет, почти не бывал при дворе, а, наезжая в Париж, сидел сиднем у себя дома, всецело поглощенный делами, которые он великолепно умел вести, и радовался собственному благоразумию, принесшему ему такое богатство, положение и великолепие при содействии супруги под прикрытием занавеса из газа, который, будучи занавесом, тем не менее остается прозрачным.

Не следует также забывать про фрейлину Мадам, прекрасную Людр, девицу де Лоррен, которую король некоторое время любил, не скрывая этого, но увлечение это промелькнуло с быстротой молнии: над ним взяла верх любовь к г-же де Ментенон.

Теперь должно перейти к любви иного свойства, которая изумила все народы ничуть не меньше, чем предыдущая привела в негодование, и которую король унес неприкосновенной с собой в могилу. Кто по этим нескольким словам не распознает знаменитую Франсуазу д'Обинье, маркизу де Ментенон, чье непрерывное царствование продолжалось целых тридцать два года! Рожденная на одном из островов Америки,[127] куда ее отец, возможно дворянин по происхождению, отправился вместе с ее матерью в поисках пропитания, она, задыхаясь там в безвестности, на авось возвратилась во Францию, прибыла в Ла-Рошель, и ее как соседку приютила из жалости г-жа де Нейан, мать супруги маршала и герцога де Навайля; там по причине собственной бедности и скупости этой старой дамы ей пришлось быть ключницей при хлебных амбарах и ежедневно следить, как лошадям отмеряют овес; в свите г-жи де Нейан она прибыла в Париж, юная, ловкая, умная, не имеющая ни средств, ни родственников, и там ей повезло познакомиться со знаменитым Скарроном. Он нашел ее привлекательной, его друзья — возможно, и более того. Ей показалось большой и совершенно нежданной удачей выйти за этого жизнерадостного и ученого обезножившего калеку,[128] а люди, которым женитьба Скаррона нужна была, видимо, больше, чем ему, старательно принуждали его к этому браку и убедили спасти таким образом прелестную и

несчастную девушку от нищеты. Брак был заключен, новобрачная понравилась всем представителям весьма разнообразного общества, бывавшего у Скаррона. Он тоже нашел, что она хороша во всех отношениях; сам он был лишен возможности выходить из дому, но в ту пору было модно навещать его, и всех придворных и городских остроумцев, всех лучших и достойнейших людей неизменно собирала у него в доме притягательная сила его ума, учености, воображения, бесподобная при всех недугах и ничуть не однообразная веселость, редкостная плодовитость пера и насмешки его, выдержанные в самом лучшем вкусе, которыми до сих пор восхищаются в его творениях.

Г-жа Скаррон приобрела там знакомства самого разного рода, что не избавило ее после смерти мужа от необходимости прибегнуть к благотворительности прихода церкви св. Евстафия. Ей предоставили комнатку на лестнице в бедном доме, где она в большом стеснении жила со своей служанкой. Благодаря ее прелестям положение у нее понемножку поправилось: Вилар, отец маршала, Беврон, отец д'Аркура, Вилярсо, все трое, бывшие ее покровителями, и еще многие помогали ей. Это удержало ее на плаву и помогло проникнуть в особняк д'Альбре, оттуда — в особняк де Ришелье, а затем и в другие. В этих домах г-жа Скаррон была отнюдь не на равной ноге: к ней прибегали для всяких услуг, вроде велеть принести дров, узнать, скоро ли накроют стол, а иногда осведомиться, подана ли карета такого-то или такой-то, и еще для тысячи мелких поручений, необходимость в которых отпала, когда стали пользоваться колокольчиками, введенными много позже.

В этих домах, главным образом особняке Ришелье, а еще более у маршала д'Альбре, который держал дом на широкую ногу, г-жа Скаррон и свела большинство своих знакомств, одни из которых весьма помогли ей, другие же оказаись весьма полезны для ее приятелей. Маршалы де Вилар и д'Аркур благодаря своим отцам, а прежде них отец маршала де Вилара сделали на этом себе карьеру; герцогиня д'Арпажон, сестра Беврона, стала, даже не смея мечтать об этом, статс-дамой дофины после смерти герцогини де Ришелье, которая по той же причине была сделана статс-дамой королевы, а затем — дофины;[129] герцог же Ришелье за совершенный пустяк стал камергером, перепродав потом эту должность за пятьсот тысяч ливров Данжо и сделав на этом себе состояние. Принцесса д'Аркур, дочь де Бранкаса, прославившегося своим остроумием и необыкновенной рассеянностью, которая была в добрых отношениях с г-жой Скаррон, Вилярсо и Моншеврей-лем, оба кавалеры ордена Св. Духа, первый из которых в тридцать пять лет получил от отца

пожалованную тому орденскую цепь, и множество других первое время чувствовали себя весьма плохо. Но прежде, чем идти дальше, следует сказать несколько слов о маршале д'Альбре.

Маршал д'Альбре, весьма преуспевший в светской жизни и придворных интригах, получил роту гвардейской тяжелой кавалерии, и кардинал Мазарини поручил ему препроводить принца Конде, принца Конти и г-на де Лонгвиля из Пале-Рояля, где те были арестованы,[130] в Венсенский замок, за что ему был обещан маршальский жезл, но получил он его только в 1653 году и то после угроз. В 1661 году он был пожалован кавалером ордена Св. Духа, а в конце 1670 года стал губернатором Гиени. Служил он не очень долго и ни разу не командовал армией, но по причине ума, ловкости, дерзости и щедрости был человеком, заставлявшим считаться с собой. Женился он на дочери де Генего, королевского казначея и брата государственного секретаря, которая родила ему единственную дочь. Он выдал ее за единственного сына своего старшего брата и герцогини де Ришелье, который в 1678 г. был убит на дуэли из-за любовной истории и не оставил потомства, а его вдова, бывшая придворной дамой королевы, стала первой женой графа де Марсана, в которого без памяти влюбилась и которому вручила все свое состояние. Маршал д'Альбре и герцог и герцогиня де Ришелье всегда жили в дружбе и поддерживали самые близкие отношения. Такие же отношения у него были с г-ном де Монтеспаном, его двоюродным братом, и г-жой де Монтеспан. Но когда та стала любовницей короля, он сделался ее советчиком и отошел от г-на де Монтеспана, благодаря чему пользовался большим весом вплоть до самой своей смерти в возрасте шестидесяти двух лет, случившейся 3 сентября 1676 г., вскоре после прибытия в Бордо. Как уже рассказывалось выше, он выдал замуж двух своих двоюродных племянниц де Пон: одну — за своего младшего брата, впоследствии убитого на дуэли, а вторую, необыкновенную красавицу, — за Эдикура, для которого откупил у Сен-Эрема должность обер-егермейстера королевской волчьей охоты с тем, чтобы он пообтесался при дворе и чтобы его жена могла там появляться; она долго прожила там, пользуясь до самой своей смерти доверием и благосклонностью г-жи де Ментенон и короля, и совершенно неожиданно для всех после свадьбы герцогини Бургундской сделала свою дочь, графиню де Монгон, придворной дамой; эта ее дочка в раннем детстве воспитывалась и жила вместе с герцогом Мэнским и герцогиней Бурбонской, когда те были укрыты в Париже на попечении их гувернантки г-жи Скаррон; она взяла эту девочку, чтобы помочь своей приятельнице г-же д'Эдикур, которая и в девичестве, и после

замужества не вылезала из особняка д'Альбре, где г-жа Скаррон всячески увивалась вокруг нее и где установились их близкие отношения. А теперь вернемся к г-же Скаррон.

Близкому родству между маршалом д'Альбре и маркизом и маркизой де Монтеспан она обязана окончательным поворотом к невероятному возвышению, которого достигла через четырнадцать или пятнадцать лет. Г-н и г-жа де Монтеспан были завсегдатаями у маршала д'Альбре, державшего свой парижский дом на самую широкую и роскошную ногу, где собиралось обширное общество, в котором было представлено все самое лучшее и достойное, что только имелось при дворе и в городе. Почтительностью, старанием угодить, умом и приятностью г-жа Скаррон сумела весьма понравиться г-же де Монтеспан. Та исполнилась к г-же Скаррон симпатией, и, когда у нее родились от короля первые дети, герцог Мэнский и герцогиня Бурбонская, и было решено их скрывать, г-жа де Монтеспан предложила доверить их попечению г-жи Скаррон, которой был предоставлен дом на Болоте, а также средства, чтобы содержать их и воспитывать в глубочайшей тайне. Впоследствии эти дети были перевезены к г-же де Монтеспан, потом показаны королю, и так постепенно их существование перестали скрывать и они были признаны. Вместе с ними при дворе обосновалась и гувернантка, и она все больше и больше нравилась г-же де Монтеспан, которая вынуждала короля делать ей всякие подачки. Он же, напротив, не выносил ее и когда что-то жаловал ей, но, как правило, не очень щедро, то делал это по усиленному настоянию г-жи де Монтеспан и всегда с нескрываемым сожалением. Имение Ментенон пошло в продажу, близость от Версаля так соблазнила г-жу де Монтеспан приобрести его для г-жи Скаррон, что она приставала к королю до тех пор, пока не вытянула из него денег на покупку этих земель для этой женщины, которая то ли сразу, то ли немного спустя взяла фамилию де Ментенон. Г-жа де Монтеспан получила также средства на ремонт замка и долго добивалась у короля, чтобы он дал денег на приведение в порядок сада, поскольку гг. Анженны очень запустили его. Происходило это во время туалета г-жи де Монтеспан, когда короля сопровождал только дежурный капитан гвардии. Им был маршал де Лорж, правдивейший на свете человек, неоднократно пересказывавший мне произошедшую тогда сцену, которой он был свидетелем. Сперва король отмалчивался, потом отказал. Г-жа де Монтеспан не успокаивалась и продолжала настаивать, и тогда король, выведенный из терпения, раздраженно сказал, что он и так уже сделал слишком много для этой особы и что он не понимает пристрастия г-жи де Монтеспан к ней и упрямства, с каким та

цепляется за нее, несмотря на все его просьбы от нее избавиться; ведь он уже говорил, что терпеть ее не может, но, если ему пообещают, что он никогда больше не увидит и не услышит о ней, он, так и быть, еще раз ее одарит, хотя, сказать по совести, для подобной особы он уже и так слишком много сделал. Г-н маршал де Лорж навсегда запомнил эти слова и всякий раз, пересказывая их мне и другим лицам, повторял их без всяких изменений и в одном и том же порядке, настолько они тогда его поразили, тем паче что впоследствии он был свидетелем поразительных событий, совершенно противоречащих этим словам. Г-жа де Монтеспан тут же умолкла, обеспокоенная своей неумеренной настойчивостью.

Герцог Мэнский сильно хромал, говорят, будто бы оттого, что его уронила кормилица. Никакое лечение не помогало, и тогда решили свозить его к разным костоправам и хирургам во Фландрию и разные города королевства, а потом на воды, между прочим, и в Бареж. Письма, которые гувернантка писала г-же де Монтеспан с отчетом о поездке, показывались королю, и он нашел, что они написаны в хорошем стиле, они ему понравились, и от этого его неприязнь стала ослабевать. Остальное довершил скверный характер г-жи де Монтеспан. Она часто раздражалась и не привыкла сдерживаться. Чаще всего предметом ее раздражения был король, который очень страдал от этого — он еще любил ее. Г-жа де Ментенон корила г-жу де Монтеспан за такое поведение, и та оказала ей добрую услугу, поведав об этом королю. До него дошло и из других источников об ее стараниях укротить его любовницу, и он постепенно привык иногда беседовать с г-жой де Ментенон; он признался ей, что ему хотелось бы, чтобы она урезонивала г-жу де Монтеспан, стал рассказывать об огорчениях, какие та ему доставляет, и советоваться с нею. Став постепенно поверенной и любовника и любовницы, пользуясь доверенностью самого короля, ловкая компаньонка сумела ее углубить и благодаря своей изворотливости в конце концов оттеснила г-жу де Монтеспан, которая слишком поздно заметила, что та стала необходима королю. Достигнув этого, г-жа де Ментенон стала в свою очередь жаловаться королю на все, что ей приходится терпеть от его любовницы, которая так же мало щадит и его самого, и вот так с помощью этих взаимных жалоб она полностью заняла ее место и весьма прочно закрепилась на нем. Фортуна, поскольку я не смею произнести здесь слово «Провидение», готовившая самому надменному из королей самое глубокое, публичное, долгое и неслыханное унижение, все более усиливала его склонность к знающей свое дело ловкачке, а укрепляло его в ней постоянная ревность г-жи де Монтеспан, устраивавшей

частые сцены, при которых она, не сдерживаясь, изливала свое раздражение на короля и на нее; и это прелестно сумела живописать под вымышленными именами г-жа де Севинье в письмах к г-же де Гриньян, рассказывая о волнении, охватившем двор, поскольку г-жа де Ментенон достаточно близко соприкасалась в Париже с обществом г-жи де Севинье, г-жи де Куланж и г-жи де Лафайет и уже давала им почувствовать свое растущее значение. Там есть также очаровательные и очень меткие высказывания, написанные в том же стиле, о скрытых, но блистательных успехах г-жи де Су-биз. То же Провидение, самодержавный владыка времени и событий, все устроило так, что королева прожила достаточно долго, чтобы помочь довести это новое чувство короля до предела, и недостаточно, чтобы способствовать его охлаждению. Величайшим несчастьем, которое произошло с королем и которое впоследствии неизбежно сказалось на государстве, была внезапная кончина " королевы из-за глубочайшего невежества и упрямства первого лейб-медика д'Акена в момент самого расцвета нового чувства, усиленного неприязнью к любовнице, характер которой стал совершенно невыносим и его уже невозможно было обуздать никакими мерами. Эта деспотичная красавица, привыкшая к обожанию, не могла сдержать отчаяния, всегда присущего утрате власти, но более и сверх всякой меры ее выводило из себя сознание, что подлая соперница — это та, кому она давала пропитание и кто до сих пор еще имеет его только благодаря ей, та, которая ей более всего обязана чувством короля и которая теперь оказалась ее палачом, а ведь она так любила эту дрянь, что столько раз отказывалась прогнать ее, хоть король настаивал на этом; ко всему прочему, соперница весьма уступает ей красотой и на несколько лет старше; выводило из себя сознание, что король приходит к ней ради этой компаньонки, чтобы не сказать — служанки, ищет только ее, чтобы беседовать с ней наедине, а не найдя, чаще всего уходит, не в силах скрыть своего неудовольствия; но горше всего г-же де Монтеспан было понимать, что она сама ежеминутно нуждается в сопернице, чтобы привлечь короля, мириться с ним после ссор и получать от него милости, которая та для нее испрашивает. И вот в столь удобное для этой обольстительницы время король обретает свободу. Первые дни траура он провел у Месье в Сен-Клу, оттуда переехал в Фонтенбло, где провел всю осень. И как раз там для его чувства, обостренного разлукой, последняя стала невыносима. Всегда, конечно, необходимо различать достоверное и то, что не является таковым, но утверждают, что именно после возвращения король более откровенно заговорил о своих чувствах с г-жой де

Ментенон, но она, решив испытать свою силу, хитро прикрылась благочестием и своей добродетельной жизнью в последние годы; король, однако, не отступался, а она стала читать ему проповеди и пугать дьяволом, воздействуя то на чувство любви, то на религиозное чувство с поразительным искусством, пока не достигла того, что мы видели воочию и чему потомки откажутся верить. Достоверно и истинно одно: через известное время после смерти королевы и возвращения короля из Фонтенбло в середине зимы произошло событие, в которое потомки с трудом смогут поверить, хотя оно совершенно доподлинно и удостоверено свидетельствами: в одном из версальских кабинетов глубокой ночью о. де Лашез, королевский духовник, отслужил мессу. Бонтан, управляющий Версальским дворцом и старший, самый доверенный, лакей из четверки ближайших королевских слуг, прислуживал на этой мессе, где государь и г-жа де Ментенон были обвенчаны в присутствии Парижского архиепископа д'Арле как главы диоцеза и Лувуа, вынудивших короля, как уже рассказывалось, дать слово, что он никогда не объявит об этом браке; присутствовал там еще в качестве третьего свидетеля Моншеврейль, друг и родственник Вилардо, поскольку он принадлежит к тому же роду де Морне; когда-то он каждое лето предоставлял свой дом в Моншеврейле Вилардо, хотя сам с женой не выезжал из него, и тот, как и в Париже, содержал там сию королеву, оплачивая все расходы, поскольку родственник был весьма беден; сожительствовать же с нею у себя в Вилардо в присутствии жены, чье терпение и добродетель весьма уважал, он стыдился.

Г-жа де Ментенон не осмеливалась носить герб нового супруга, но и от прежнего герба тоже отказалась, равно как от шейного вдовьего шнурка, сохранив только собственный, в лучшем виде подражая тем самым г-же де Монтеспан времен ее связи с королем и даже г-же де Тианж, которые обе при живых мужьях отказались от их гербов и цветов и с тех пор носили только герб и цвета Рошешуаров. Ранее, в рассказе о смерти герцога Креки, уже сообщалось о поразительном предсказании сей ошеломляющей судьбы.[131]

Пресыщение браком, обыкновенно особенно роковое для браков подобного рода, на сей раз только укрепило положение г-жи де Ментенон. Доказательством этого вскорости стало предоставление ей покоев в Версальском дворце по парадной лестнице на том же этаже, где покои короля, и даже напротив них. С той поры король всю жизнь каждодневно проводил у нее по многу часов и в Версале, и в остальных дворцах, где он бывал, и повсюду ей отводились покои как можно ближе к его покоям, а

по возможности и на том же этаже. Посетители, успехи, полное доверие и небывалая зависимость короля от нее, всемогущество, всеобщее нескрываемое поклонение; министры, командующие армиями, ближайшие к королю члены королевского семейства, словом, все были у ее ног; что она одобряла, одобрялось, что отвергала, отвергалось; люди, дела, вещи, назначения на должности, правосудие, милость, церковь- все без исключения оказалось в ее руках, король и государство стали жертвами этой соблазнительницы; она беспрепятственно, непрерывно, без каких-либо, даже самых ничтожных, сомнений управляла ими более тридцати лет, а точнее, тридцать два года, и теперь следует описать это зрелище, явленное взорам всей Европы.

Г-жа де Ментенон была женщина большого ума, который она отшлифовала и обогатила знанием света под влиянием лучшего общества, где сперва ее только терпели, но вскоре стали находить в ней удовольствие; любовные приключения добавили ей привлекательности. Жизнь ставила ее в самые разные положения, и это развило в ней льстивость, умение втираться, услужливость и стремление всем понравиться. Необходимость интриговать, все виденные ею интриги, а еще более те, которые она без конца вела то ли ради своей пользы, то ли для того, чтобы услужить другим, обучили ее этому искусству, выработали вкус и привычку к нему, научили всем хитростям.

Несравненная ласковость со всеми, непринужденные и в то же время почтительные и сдержанные манеры, приобретенные за долгие годы унижений, а также мягкая, точная, правильная речь, безыскусно красноречивая и немногословная, великолепно подкрепляли ее таланты. Она была старше короля не то на три, не то на четыре года, и лучший ее возраст пришелся на ту пору, когда царила изысканная, галантная манера выражаться, одним словом, то, что мы сейчас называем жеманным стилем, и она настолько прониклась его духом, что всегда сохраняла к нему вкус и сильный его налет. К жеманству и напыщенности, вообще свойственным тому времени, добавился наружный блеск значительности, а потом внешние проявления ханжества, которое стало основной ее чертой и, похоже, подавило все остальное: оно было главным ее средством удержаться на той высоте, куда она вознеслась, и орудием, с помощью которого она управляла. Эта черта стала самой ее сутью, все прочее было безжалостно принесено в жертву ханжеству. Прямота и откровенность слишком не сочетались с ее намерениями и с последующей ее судьбой, чтобы на мысль не пришло, будто благочестие у нее было только видимостью. Она была не настолько лицемерна, чтобы ханжество стало ее действительной склонностью, но нужда

с давних пор выработала в ней привычку к нему, и она по природному легкомыслию с излишним рвением напяливала на себя личину благочестивости. Она была чужда последовательности во всем, что требовало напряжения и усилий. Более всего по вкусу ей было порхать по знакомым и друзьям, а также развлекаться; исключением были несколько верных друзей из давнего времени, о которых уже было говорено и к которым она не изменилась, и несколько новых, последних лет, которые были ей необходимы. Что же касается развлечений, то с тех пор, как она почувствовала себя королевой, она почти не могла их разнообразить. Непостоянство ее целиком обратилось на важные дела и стало причиной больших бед. Легко увлекаясь, она доводила свои увлечения до крайностей и, столь же быстро разочаровываясь, не знала границ в пренебрежении, причем и то и другое — без всяких причин и оснований. Отверженность и нужда, в которой она так долго жила, ограничили ее ум, принизили душу и чувства. Ее мысли и чувства по любому поводу были столь мелочны, что она навсегда осталась всего лишь г-жой Скаррон и всегда и во всем обнаруживала это. Не было ничего отвратительней, чем низость, сочетавшаяся со столь блистательным положением, не было более сокрушительной и опасной помехи добру, чем легкость, с какой она изменяла дружбе и привязанностям.

Была у нее еще одна обманчиво привлекательная черта. Перед теми немногими, кто мог получить у нее аудиенцию и у кого она обнаруживала нечто, что ей нравилось, она прямо-таки рассыпалась и откровенничала, поражая собеседника и внушая ему самые большие надежды; в следующий же раз этот человек ей уже надоедал и она становилась суха и немногословна. Люди ломали себе голову над причиной перехода внезапной милости в неожиданную немилость и только зря теряли время. Единственной причиной было легкомыслие, которое просто невозможно себе представить. Лишь немногие избежали такой перемены, но они оказались всего-навсего исключением, подтверждающим правило, да и то ее милости бывали затянуты темными тучами, тем паче что после своего второго замужества приближала она к себе со всевозможными предосторожностями и недоверчивостью.

Итак, нетрудно себе представить, каким тернием зарос ее двор, впрочем, крайне недоступный, поскольку таковы были и ее желание, и склонность короля, а также по причине расписания дня короля, хотя двор этот принимал большое и скрытое участие во всех делах и почти всегда влиял на них.

Была у нее слабость: она поддавалась и позволяла вертеть

собой людям, которые откровенничали с нею, а еще лучше, если они прямо-таки исповедовались перед ней, и по причине своего затворничества она часто бывала обманута ими. А еще у нее была болезненная страсть направлять, и это занимало весь ее небольшой досуг. Трудно даже вообразить, сколько времени она таким образом потратила на Сен-Сир, да и множество других монастырей отнимало его не меньше. Она считала себя настоятельницей их всех, особенно в том, что касалось духовного наставления, и влезала во все мелочи жизни епархий; то было ее излюбленное занятие. Она воображала, будто она мать церкви, и потому притесняла в первую очередь высшее духовенство, ректоров семинарий, религиозные общины, монастыри, их аббатисс и наиболее влиятельных монахинь. Отсюда и пошла бездна пустых, призрачных и неизменно обманчивых занятий, бесконечное количество писем и ответов, наставлений избранным душам, всевозможные пустяки, обычно кончавшиеся ничем, но иногда приводившие к серьезным последствиям и плачевным ошибкам в решениях, ведении дел и выборе лиц на должности.

Набожность, благодаря которой она вознеслась и удерживалась, обратила ее по причине хитрости и страсти всем распоряжаться, сочетавшейся с желанием господствовать, к деятельности подобного рода, а самомнение, встречавшее одних только льстецов, питалось этим. Она нашла в короле человека, всю жизнь считавшего своей апостольской миссией преследование янсенизма или того, что в его глазах выглядело таковым. Поприще это показалось г-же де Ментенон подходящим для того, чтобы поддержать монарха своим рвением и во все вмешиваться. Глубочайшее невежество во всех областях, в котором заботливо воспитывали короля и которое из разных соображений старательно в нем поддерживали, привитое ему с ранних лет недоверие ко всем и вся, полнейшая замкнутость, в которой он жил, наглухо огражденный от всех своими министрами, а в остальных отношениях своим духовником и теми, кому выгодно было ее сохранять, сыздавна привили ему пагубную привычку выносить с их слов решения в вопросах богословия, в спорах между разными направлениями в католической церкви и даже представлять их в Риме как свои.

Королева-мать, а впоследствии и король, причем еще в большей степени, нежели она, обольщенные иезуитами, дали убедить себя в том, что совершенно и полностью противоречило истине: якобы, за исключением их доктрины, любая другая направлена против королевской власти и заражена независимым и республиканским духом. В этом вопросе, как и в прочих, король смыслил не больше младенца. Иезуиты прекрасно понимали, с

кем имеют дело. Они получали места королевского духовника, ведали распределением бенефиций, и у них имелся их список; честолюбие придворных и страх, внушаемый членами этого ордена министрам, давали иезуитам полную свободу действий. Неусыпное стремление короля отгородиться в делах от всего мира являлось для них прочной опорой, давало им уверенность, что они всегда будут приняты им, а в делах, касающихся веры, он будет слушаться только их. Поэтому они легко" внушили ему предубеждение, граничившее с совершеннейшей предвзятостью, будто всякий, мыслящий не так, как они, является янсенистом, всякий же янсенист — враг короля и его власти, а власть была самым слабым местом короля, относился он к ней невероятно ревниво. Им удалось настроить короля и по причине его убеждений, и по причине боязни за власть полностью в их пользу — как в этом вопросе, так и во всем связанном с ним, то есть касательно дел и людей, которых им было выгодно представить с этой стороны.

Так иезуиты разогнали прославленных святых отшельников, [132] которые соединились в Пор-Рояле для занятия науками и покаяния, воспитав стольких великих учеников, и которым христианство вечно будет благодарно за знаменитые творения, пролившие живой и ясный свет на различия между истиной и видимостью ее, предопределением и кажимостью, позволившие прикоснуться ко всеобщей истине, столь мало познанной, столь затемненной и в то же время столь искажаемой, осветившие проблемы веры, возжегшие пламя милосердия, развивавшие сердце человека, усмирившие его страсти, давшие ему необманное зеркало и ведущие его по верному пути между праведным страхом и благоразумной надеждой. И вот благочестие короля проявилось в преследовании их всюду, вплоть до самых безобидных проявлений; на то же направлялось и благочестие г-жи де Ментенон, во всем подобное королевскому, покуда иезуиты не сочли, что выгоднее указать королю новое поприще. Янсенизм, похоже, уже утратил свои позиции и казался иезуитам подходящим предметом гонений лишь за неимением лучшего; они были уверены, что, отложив его на потом, они всегда будут иметь возможность вновь приняться за него, снова обретя после известного перерыва в этом занятии прелесть новизны. После таких первых шагов иезуитам, убежденным в своем праве руководить душами людей, потребовалось совсем немного, чтобы распалить рвение короля против религии, которая была торжественно заклеймлена громоноснейшими анафемами вселенской церкви, но прежде заклеймила сама себя, отойдя от древнейших и основополагающих догматов веры.

Король стал набожен, но остался крайне невежествен. С набожностью соединились политические расчеты. Желая ему угодить, сыграли на самых чувствительных его струнах — набожности и властолюбии. Ему представили гугенотов в самом черном свете: дескать, это государство в государстве, добившееся беспредельной вольности благодаря беспорядкам, мятежам, гражданским войнам, союзам с иностранными государствами, открытому сопротивлению его царственным предшественникам; даже он вынужден сосуществовать с ними на условиях договора. Но ему не открыли источник всех этих зол, корни и постепенное нарастание успехов гугенотов, не сказали, кем и почему гугеноты были первоначально вооружены, а впоследствии поддерживались, но главное, ни словом не обмолвились о давних замыслах, об ужасных злодеяниях Лиги[133] и покушениях ее на королевскую корону, на царствующую династию, на его отца, деда и их родственников. Столь же заботливо от него скрыли, чему учат Евангелие и, следуя сему божественному завету, апостолы, а вслед за ними отцы церкви относительно того, как проповедовать слово Христово, обращать неверующих и еретиков и вообще как себя вести во всем, что касается религиозных вопросов. Иезуиты обольстили ханжу возможностью легкого искупления грехов за чужой счет, что ему якобы обязательно зачтется на том свете. Они сыграли на его королевской гордыне, указав ему деяние, оказавшееся не под силу всем его предшественникам, но скрыли от него великие подвиги и доблестные воинские деяния, задуманные и разработанные его героическим отцом, свершенные им во главе своих войск, которым он часто придавал мужество и воодушевлял на победу, когда не было надежды на нее, и величайшие опасности, каковым он подвергался, ведя их в сражение; они умолчали о политике этого великого государя, окончательно разгромившего могущественную гугенотскую партию, которая с успехом вела борьбу со времен Франциска I и, не понеси она поражения от ума и десницы Людовика Справедливого,[134] не покорилась бы власти Людовика XIV. Но сей монарх был далек от того, чтобы обращать внимание на столь прочную основу. Его, так кичившегося тем, что он правит самостоятельно, вынудили совершить деяние, якобы непревзойденное и в религиозном, и в политическом отношении, деяние, которое позволит истинной вере восторжествовать благодаря уничтожению иной, сделает короля абсолютным властелином, позволив сбросить ему гугенотские оковы, и навсегда уничтожит этих мятежников, готовых использовать любую возможность, чтобы восстать и вновь диктовать королям свои законы.

Великих министров тогда уже не было. Ле Те-лье лежал на смертном одре, оставался только его зловещий сын; Сеньеле только-только начал восходить. Лувуа, алкавший войны, поверженный только что заключенным перемирием на двадцать лет, надеялся, что удар, нанесенный гугенотам, возмутит всех протестантов в Европе, и в ожидании ликовал, понимая, что ударить по ним король сможет, только используя войска, так что он станет главным исполнителем и тем самым еще усилит свое влияние. Г-жа де Ментенон, об уме и душе которой весьма полно рассказано выше, была не годна и не способна ни на что, кроме интриг. Ни по рождению, ни по воспитанию она не была в состоянии заглянуть в этом деле дальше того, что ей представили, и с тем большим жаром ухватилась за возможность угодить королю, высказать ему свой восторг и благочестием еще более укрепить свое положение. Да, впрочем, кто мог тогда знать хоть что-то о том, что обсуждалось только с духовником, одним-единственным министром и новой, обожаемой супругой, и кто тем более посмел бы сказать слово против? Так всегда тем или иным способом управляют королями, которые по надменности, по подозрительности, по тому, что они полагаются на тех, кто ими вертит, по лени или гордыни имеют только двух-трех советников, а то и вообще одного и воздвигают между собой и остальными подданными непреодолимую преграду.

Отмена Нантского эдикта без всякой причины и необходимости и последовавшие за этим действия, которые скорей следует назвать проскрипциями,[135] — вот плоды этого чудовищного заговора, который на четверть уменьшил население королевства, привел в упадок торговлю, ослабил его во всех отношениях, на долгий срок обрек на дозволенное и узаконенное разграбление драгунами, разрешил пытки и казни, от которых погибли тысячи невинных людей обоего пола, привел многих в нищенское состояние, вверг в раздор множество семейств, натравил одних родичей на других, чтобы отнять у них имущество и обречь на голодную смерть, привел к переходу наших мануфактур в руки иностранцев, благодаря чему их государства расцвели, разбогатели и выстроили новые города за наш счет; весь мир узрел некогда величайший народ в облике изгнанников, ограбленных беглецов, скитающихся по свету без всякой вины, ищущих прибежища вдали от родины; богатые, знатные, старики, люди, нередко глубоко чтимые за их благочестие, ученость, добродетели, привыкшие к удобствам, слабые, утонченные, были осуждены на галеры, под бичи надсмотрщиков только за свою веру; в довершение же ужасов во всех провинциях стало обычным делом клятвопреступление и

святотатство, всюду раздавались вопли несчастных жертв заблуждения, меж тем как другие жертвовали своей совестью ради сохранения имущества и покоя, покупая их притворным отречением, после чего их тут же волокли поклоняться тому, во что они не верили, и вкушать святыню из святынь, божественное тело Господа нашего, хотя они пребывали в уверенности, что едят простой хлеб, который, ко всему прочему, должно быть, вызывал у них ненависть. Такая мерзость, порожденная лестью и жестокостью, царила повсюду. Между пыткой и отречением, а между ним и приятием святого причастия зачастую не проходило и суток, и палачи несчастных становились их путеводителями и удостоверителями обращения. Те же, кто потом изображал, будто отреклись по доброй воле, не замедлили бегством либо поведением опровергнуть свое мнимое обращение.

Почти все епископы действовали таким скоропалительным и кощунственным образом. Многие побуждали к нему, большинство воодушевляло палачей, принуждало к обращению и заставляло псевдообращенных тут же принимать святое причастие, дабы тем самым умножить число своих успехов, донесения о которых посылались ко двору, чтобы поскорей снискать похвалу и получить награду.

Интенданты провинций старались превзойти друг друга, оказывая содействие священникам и драгунам, и посылали списки новообращенных, дабы выслужиться перед двором. Среди немногочисленных губернаторов и наместников провинций, а также немногих сеньеров, сидевших в своих поместьях, не было недостатка в желающих выслужиться подобным образом перед двором через епископов и интендантов.

Король со всех сторон получал подробнейшие донесения об этих преследованиях и обращениях. Отрекшихся и принявших причастие считали на тысячи: две тысячи в одном месте, шесть тысяч в другом, и все сразу, и все мгновенно. Король был в восторге от своего могущества и благочестивости. Ему мнились времена, когда проповедовали апостолы, и он полагал, что сравнялся с ними славой. Епископы слали ему панегирики, иезуиты возглашали хвалу с церковных кафедр и у себя в миссиях.[136] Вся Франция исполнилась ужаса и смятения, но никогда еще не было такого торжества и ликования, столь неумеренного славословия. Монарх ни капли не сомневался в искренности этих толп обращенных: те, кто занимался обращением, позаботились убедить его в этом и заранее причисляли его к лику святых. А он с радостью пил этот яд. Он верил, что, как никогда, возвысился над людьми и приблизился к богу во искупление своих грехов и постыдной жизни. Он слышал

одни славословия, меж тем как добрые и истинные католики, а также святые епископы искренне сокрушались, видя, как люди, исповедующие истинную веру, поступают с заблуждающимися и еретиками точно так же, как языческие тираны и еретики поступали с глашатаями истины — проповедниками и святыми мучениками. Они не могли утешиться, зная о великом множестве клятвопреступников и святотатцев. Они горько плакали оттого, что столь гнусные средства вызывают прочное и неистребимое отвращение к истинной вере, что наши соседи ликовали, видя, как мы ослабляем и губим сами себя, и пользовались нашим безумием, строя свои планы на ненависти, кою мы возбудили во всех протестантских державах. Но король был глух к вопиющим истинам. Ему не смогло открыть глаза даже мнение на этот счет Рима, той самой курии, что в свое время не постыдилась выразить радость по поводу Варфоломеевской ночи[137] вплоть до того, что устраивала крестные ходы, дабы возблагодарить Бога, и заказывала величайшим живописцам для украшения Ватикана картины, изображающие это отвратительное событие. Папский престол занимал Одескальки, принявший имя Иннокентия XI. Он был хороший епископ, но крайне неспособный правитель, во всем поддерживавший австрийцев; таковы же были его министры. Уже при вступлении на престол он поссорился с королем из-за регалий.[138] Еще более разгневали его четыре статьи собора галликанского духовенства[139] в 1682 году. Насилия над гугенотами не нашли у него ни малейшего одобрения. Он всегда полагал, что они вызваны политическими соображениями, чтобы уничтожить партию, которая долго потрясала Францию мятежами; до крайнего же обострения отношения между обоими дворами дошли позже, когда возникло дело о вольностях галликанской церкви.[140]

Торжественное основание Сен-Сира произошло вскоре после отмены Нантского эдикта. Г-жа де Монтеспан построила в Париже прекрасный Дом дев Св. Иосифа, в котором основала учебное заведение для девиц, где их обучали различным рукоделиям; оттуда вышли великолепно изготовленные церковные украшения, а равно другие превосходные вещи для короля и для всех, кто пожелал их заказать; в этом же доме поселилась г-жа де Монтеспан, когда была вынуждена окончательно удалиться от двора. Соперничество с нею подвигло г-жу де Ментенон к гораздо более высоким и обширным замыслам, а именно: благодетельствуя обедневшее дворянство, добиться, чтобы оно считало ее своей покровительницей, и тем самым завоевать симпатии дворянства в целом. Она надеялась устранить препятствия к обнародованию своего брака, прославив себя

учреждением подобного заведения, которое могло бы дать занятие и развлечение королю, да и ей самой, а также стать для нее прибежищем, если она, к несчастью, утратит короля, как и произошло в действительности. Она добилась передачи богатых доходов настоятеля аббатства Сен-Дени на нужды Сен-Сира, и это в глазах короля и общества уменьшило затраты на учреждение столь значительного заведения, которое само по себе было настолько полезным, что заслуживало лишь искреннего одобрения.

Самым пламенным ее желанием было обнародование ее брака с королем. Сопротивление, которое героически оказал Лувуа, когда решение об этом уже было принято, вскоре, как мы уже видели, погубило его, а также и присоединившегося к нему архиепископа Парижского. Но и это не угасило ее надежд. Она подбадривала себя тем, что заложила основы для брака, еще когда мечтать о нем не смела; еще при жизни королевы г-жа де Ментенон, дабы сокрыть и предать забвению свое прошлое, скромно напомнила королю, что она благородного происхождения, затем во время брака Монсеньера сказала, как важно окружить дофину верными людьми, и предложила дать ей при дофине должность, которая предоставит ей право и средства следить за нею. Это привело, как мы видели, к назначению герцогини де Ришелье придворной дамой королевы посредством назначения мужа ее на должность почетного кавалера, чтобы он исполнял последнюю, а потом продал, за сколько сможет, хотя получил бесплатно; оба они принадлежали к давним и близким друзьям г-жи де Ментенон, которая вместе с супругой маршала де Рошфора была сделана второй гардеробмей-стериной дофины. Непонятно было различие между обеими дамами, ведающими гардеробом; достаточно было одной, и назначение второй вызвало всеобщее возмущение. Другая гардеробмейстерина издавна привыкла заискивать перед министрами и королевскими любовницами и теперь думала лишь о том, как бы угодить новому светилу, взошедшему в пору своей осени. Она льстила себя надеждой занять место герцогини де Ришелье, которая была гораздо старше ее и к тому же болела, однако обманулась: король предпочел герцогиню. Мы уже видели, как и почему г-жа де Ментенон произвела в эту должность г-жу д'Арпажон, к великому удивлению двора и еще большему изумлению самой г-жи д'Арпажон.

Невзирая на все это окружение, в душе и помыслах дофины взыграла немецкая надменность. Монсеньер, недолюбливавший г-жу де Ментенон, не препятствовал супруге. В ту пору он был близок с принцессой де Конти, которая во всем направляла его и,

как дочь г-жи де Лавальер, не имела ничего общего ни с детьми г-жи де Монтеспан, ни с их гувернанткой и держалась ото всех них в стороне. Но она не любила и дофину,[141] опасалась ее соперничества, а паче того — доверия, что ей оказывал Монсеньер. Поэтому она ничуть не огорчалась, видя, что та недружелюбна с г-жой де Ментенон и таким своим поведением и манерами восстанавливает против себя короля, рискуя утратить всякое значение, что и произошло. С ней совершенно перестали считаться. Поговаривают, будто принцесса де Конти, надушенная сверх всякой меры, долго сидела совсем рядом с дофиной, когда та разрешилась герцогом Беррийским. Но, как бы то ни было, после этого недолгая жизнь дофины была одной сплошной болезнью, то усиливавшейся, то ослабевавшей, а смерть ее принесла облегчение мужу, свекру, а более всех свекрови, которая через четырнадцать месяцев избавилась и от Лувуа. Тут-то у г-жи де Ментенон с новой силой возродились надежды на обнародование ее брака с королем. Этому могли бы препятствовать Монсеньер и Месье, но они находились в такой зависимости от короля, что их мнения на этот предмет совершенно не брались в расчет. При дворе шли, как уже сообщалось выше, весьма упорные слухи, что признание брака неминуемо, и связывалось это с тем, что покои королевы, оставшиеся запертыми со дня смерти дофины, открыли якобы для того, чтобы показать двору великолепные облачения, вышитые в четыре литургических цвета, которые король посылал страсбургской церкви; рассказывали и о странных словах, которые прилюдно во время малого ужина высказал в глаза королю об объявлении брака Тоннер, граф-епископ Нуайонский.

Тогда все уже было готово, чтобы объявить о браке. Но король, помня еще обо всем происшедшем ранее, посоветовался с прославленным Боссюэ, епископом Мо, и Фенелоном, архиепископом Камбре; оба они отговаривали его и вторично, на сей раз окончательно, удержали от неразумного поступка. Архиепископ уже был в скверных отношениях с г-жой де Ментенон из-за дела г-жи Гийон и не имел надежды поправить их из-за епископа Шартрского Годе, как о том рассказывалось в свое время, но был еще в достаточном доверии у короля, каковое вскоре окончательно утратил. Боссюэ избежал немилости, да и г-жа де Ментенон по многим причинам не интриговала против него. Годе, полностью державшему ее в руках, нужны были имя и перо Боссюэ, чтобы расправиться с Фенелоном. Король не отдалял от себя Боссюэ по привычке и из уважения, а равно и по глубокому доверию, которое тот сразу по возведении в епископский сан приобрел у короля, посвящавшего его во многие

свои тайны во времена распутной жизни; кроме того, он оказал г-же де Ментенон весьма значительную услугу,[142] хотя не ставил себе это целью. То был человек, которому честь, добродетель и прямота были столь же присущи, как ученость и широкая эрудиция. Должность воспитателя наследника престола сблизила его с королем, который неоднократно обращался к нему, когда терзался узрызениями совести по поводу своей жизни. Боссюэ нередко выговаривал ему с откровенностью, достойной первых веков христианства и первых епископов. Не раз он прерывал позорную связь короля, имея смелость не отставать от него, хотя тот его избегал. В конце концов он добился прекращения этого предосудительного сожительства и увенчал свои старания последним ударом, который навсегда удалил г-жу де Монтеспан от двора.[143] Г-жа де Ментенон, хоть и достигнув вершины успеха, не могла чувствовать себя спокойной, видя, что ее бывшая покровительница остается при дворе и что король ежедневно навещает ее. Г-же де Ментенон казалось, что это не только сокращает время пребывания короля с ней, но и урезает ее власть. Более того, она не могла избежать выражения г-же де Монтеспан если уж не прежней почтительности, то хотя бы общепринятых знаков внимания и уважения. К тому же г-жа де Монтеспан напоминала ей о былом униженном положении, горькие и выразительные свидетельства которого та без всяких церемоний частенько давала ей. Ежедневные публичные визиты короля к своей бывшей любовнице, всегда происходившие между мессой и обедом, чтобы сократить их, насколько возможно, но в то же время соблюсти приличия, являли собой весьма забавный контраст с долгими часами, которые он каждый день проводил у той, кто некогда была служительницей первой, а теперь, не будучи названа ни любовницей, ни супругой, стала средоточием двора и государства. Уход г-жи де Монтеспан, которая никогда уже не вернулась ко двору, был великим облегчением для г-жи де Ментенон, и для нее не было тайной, что этим она целиком обязана епископу Мо, которого под конец неоднократно призывала для этого ко двору.

То было время полнейшего и теснейшего единения г-жи де Ментенон и герцога Мэнского; она тогда как бы усыновила его, и с тех пор их союз все более укреплялся и усиливался, открыв ему дорогу к небывалым почестям, которых он достигал одна за другой, и привел бы его в конце концов на престол, если бы только это было в силах его давней сторонницы. Герцог Мэнский слишком давно был приближен к королю, чтобы уже в самом начале не заметить нарождающийся фавор г-жи де Ментенон, его стремительное развитие и не понять, что самыми первыми

следствиями его станет опала г-жи де Монтеспан. Не было человека, который равнялся бы герцогу Мэнскому умом, а также хитростью, прикрываемой самыми чарующими манерами, сочетавшимися с самым естественным, простым, а то и простоватым видом: никто с такой легкостью не менял манеру поведения; никто лучше его не умел знакомиться с людьми, знакомство с которыми было ему выгодно; ни у кого в запасе не было больше уловок, приемов, ходов, чтобы втереться к ним в доверие; ни один человек не скрывал столь честолюбивых и всеобъемлющих замыслов под личиной святоши, отшельника, философа, нелюдима, тем паче что скрывать их помогала его крайняя трусость, проявлявшаяся во многом. В своем месте его характер уже был описан,[144] и здесь мы касаемся его лишь в связи с событиями, о которых идет рассказ, без намерения останавливаться более подробно. Герцог Мэнский рано понял щекотливость своего положения между матерью и гувернанткой, непримиримо соперничающими за сердце короля. В то же время он понял, что мать будет для него тяжкой обузой, тогда как от гувернантки он может ожидать всевозможных благодеяний. Он тут же пожертвовал матерью. Он вошел в сношения с епископом Мо, чтобы ускорить удаление своей матери, ставил себе в заслугу перед г-жой де Ментенон, что торопил г-жу де Монтеспан выехать в Париж, дабы никогда больше не появляться при дворе; он даже взял на себя обязанность передать матери приказ короля, причем совершенно недвусмысленный, и без всяких церемоний выполнил эту обязанность, заставив г-жу де Монтеспан подчиниться, чем выказал безмерную преданность г-же де Ментенон. После этого мать долго не хотела его видеть, их отношения совершенно испортились и никогда уже не стали по-настоящему добрыми. Но он крайне мало этим огорчался. За него стояла та, кто царствовала до смерти короля; он мог пользоваться ее благорасположением всю жизнь, и она всю жизнь была беспредельно привязана к нему.

После этого решительного события — окончательного изгнания г-жи де Монтеспан — судьба г-жи де Ментенон исполнилась нового блеска. Вторично потерпев провал с признанием своего брака, она поняла, что возвращаться к этому больше не стоит, и нашла в себе достаточно сил, чтобы спокойно снести неудачу и не готовить себе опалу, настаивая на объявлении себя королевой. Почувствовавший облегчение король был признателен ей за такое поведение, удвоившее его привязанность, расположение и доверие к ней. Вполне возможно, она рухнула бы под бременем величия, которое хотела присвоить себе; теперь же она все более усиливалась благодаря сохранению

своей весьма прозрачной тайны.

Не следует, однако, думать, будто ей не требовалось исхитряться, чтобы пользоваться своим положением и поддерживать его. Напротив, ее царствование было цепью сплошных уловок, царствование же короля — цепью постоянных одурачиваний. Она никогда не принимала у себя и никому не отдавала визитов; исключений было крайне мало. Так, она навещала английскую королеву и принимала ее у себя, несколько раз бывала у своей ближайшей подруги г-жи де Монше-врейль, которая беспрепятственно проходила к ней. После ее смерти г-жа де Ментенон навещала г-на де Моншеврейля, но всего несколько раз; он же мог приходить к ней, когда пожелает, но ненадолго. Герцог де Ришелье всю жизнь имел такую же привилегию. Иногда она бывала также у г-жи де Келюс, своей племянницы, а та часто навещала ее. Если же раз в два года она приезжала к герцогине дю Люд или другой столь же высокопоставленной даме, а таких было три-четыре, не больше, то это уже рассматривалось как отличие и об этом шли разговоры, хотя это был обычный визит. Г-жа д'Эдикур, ее старинная приятельница, тоже могла приходить к ней почти всегда, когда хотела, а в последнее время — маршал де Вильруа, иногда д'Аркур, более же никто. Принцесса дез Юрсен во время своего блистательного приезда в Париж часто бывала у нее, особенно в Марли, и г-жа де Ментенон однажды сделала ей визит. Ни одну принцессу крови и даже Мадам она ни разу не посетила. Ни одна из названных дам не навещала ее, за исключением аудиенций, каковые бывали крайне редко и всегда бурно обсуждались. Когда же ей случалась необходимость побеседовать с дочерьми короля, что бывало нечасто и обыкновенно только для того, чтобы устроить им выволочку, она посылала за ними; они приезжали к ней, трепеща, а выходили в слезах. Для герцога Мэнского двери у нее всегда были открыты, где бы это ни происходило; герцог де Ноайль после женитьбы тоже приходил к ней, когда хотел, его отец — с соблюдением всяческих церемоний, мать же — весьма редко и только когда позволят: король и г-жа де Ментенон ее не любили и побаивались. Кардинал де Ноайль до ссоры из-за буллы виделся с нею регулярно раз в неделю, как правило, в тот день, когда у него была аудиенция у короля; впоследствии кардинал де Бисси встречался с нею, когда хотел, а кардинал де Роган достаточно редко. Брат,[145] пока он был жив, весьма огорчал г-жу де Ментенон. Он мог прийти к ней в любое время, донимал ее разговорами о загробной жизни и нередко позволял себе всякие выходки. На нее он имел влияние, в обществе же — совершенно никакого. Ее невестка[146] никогда не появлялась ни при дворе,

ни в свете; г-жа де Ментенон общалась с ней скорей из жалости, но отношений между ними почти никаких не было: изредка она обедала с невесткой и позволяла той приехать в Версаль, но не чаще двух-трех раз в год и ночевать не больше одной ночи. Епископ Шартрский Годе и архиепископ Руанский Обиньи встречались с нею только в Сен-Сире.

Получить у нее аудиенцию было почти столь же трудно, как у короля, и те немногие аудиенции, которые она соглашалась дать, почти всегда проходили в Сен-Сире, куда к ней являлись в назначенный день и час. Люди незначительные и даже бедняки, равно как сановники, желая поговорить с ней, подкарауливали ее в Версале при выходе или при возвращении в ее покои. Но тут у них было не более минуты, и ее еще надо было поймать. Маршалы де Вильруа, Аркур, частенько Тессе, а в последнее время и Водемон разговаривали с нею именно таким образом, и, если это происходило, когда она возвращалась к себе, они провожали ее только до ее приемной, где она резко обрывала разговор. Так говорили с нею очень многие, я же — никогда, кроме тех случаев, о которых уже упоминал. Очень немногие дамы, к которым король привык и которые были приближены к нему, виделись с нею в часы, когда у нее не было короля, и только некоторые из них, причем крайне редко, обедали с нею.

Утро ее начиналось очень рано и всегда было заполнено таинственными аудиенциями по делам благотворительности или духовного наставничества; иногда она принимала какого-нибудь министра, много реже — кого-нибудь из командующих армиями, причем последних лишь в том случае, если они хотели что-то ей сообщить частным образом, как это делали маршалы де Вилар, де Вильруа, Аркур, а иногда Тессе. Довольно часто часов в восемь, а то и раньше она делала визит какому-нибудь министру. Изредка обедала у него с его женой в особо избранном обществе. То была великая милость и повод для пересудов, хотя не влекло за собой никаких последствий, кроме зависти и почтения. Г-н де Бовилье с самых первых дней очень долго принимал ее на таких обедах чаще всех, покуда епископ Шартрский Годе не подставил ему ножку и не положил конец успехам Фе-нелона, который был оракулом у Бовилье. Больше всего дел у г-жи де Ментенон было с министрами, возглавлявшими военное, а особенно финансовое ведомство,[147] и с ними она поддерживала самые тесные отношения. К другим же министрам она ездила редко и даже более чем редко, причем только по делам, в том числе государственным, и только утром, никогда не оставаясь у них обедать.

Обыкновенно, встав, она уезжала в Сен-Сир, где обедала в

своих покоях с какой-нибудь из тамошних своих фавориток либо в одиночестве давала аудиенции, но как можно реже, занималась делами этого заведения, а также отдавала распоряжения по руководству галликанской церковью, читала письма и отвечала на них, занималась управлением женскими монастырями по всей стране, принимала устные и письменные донесения от шпионов, а затем возвращалась к тому часу, когда к ней приходил король. Когда же она состарилась и здоровье ее ухудшилось, то, приезжая между семью и восемью утра в Сен-Сир, г-жа де Ментенон первым делом ложилась в постель, что бы отдохнуть или принять лекарство. В Фонтенбло у нее был дом в городе, куда она часто наезжала для тех же дел, что и в Сен-Сире. В Марли она устроила себе небольшие апартаменты, одно из окон которых выходило на дворцовую церковь; назначение апартаментов было обыкновенно такое же, что и в Сен-Сире, но в Марли они назывались «Репо»[148] и были недоступны для всех, за исключением одной лишь герцогини Бургундской.

В Марли, в Трианоне, в Фонтенбло король приходил к ней утром в те дни, когда у него не было государственного совета или она не уезжала в Сен-Сир; в Фонтенбло он бывал у нее от мессы до обеда, за исключением тех случаев, когда уезжал на оленью охоту и обед подавался сразу после окончания мессы; тогда он проводил с нею часа полтора, а иногда чуть больше. В Трианоне и Марли его визиты были куда короче, потому что, выйдя от нее, он шел прогуляться в сад. Утренние визиты почти всегда проходили наедине в отличие от послеобеденных; на них они оставались вдвоем очень редко, и то ненадолго, поскольку в это время поочередно приходили министры, чтобы работать с королем. По пятницам очень часто встреч с министрами не было, и тогда общество им составляли приближенные дамы, с которыми король играл в карты или слушал музыку; под конец его жизни такие развлечения устраивались вдвое или втрое чаще.

В девять вечера входили две камеристки раздеть г-жу де Ментенон. Тотчас же после этого дворецкий и лакей приносили прибор, суп и какое-нибудь легкое блюдо. Как только она кончала ужинать, горничные укладывали ее в постель, причем все это происходило в присутствии короля и министра, которые не прерывали работу и даже не старались говорить тише, а если министра не было, то в присутствии приближенных дам. Когда било десять, король отправлялся ужинать, а у кровати г-жи де Ментенон задергивали полог.

Во время путешествий все происходило точно так же. Ранним утром она выезжала вместе с какой-нибудь своей фавориткой вроде г-жи де Мон-шеврейль, пока та была жива, г-жой д'Эдикур,

де Данжо или де Келюс. Она пользовалась предназначенной для нее королевской каретой, даже когда отправлялась из Версаля и т. п. в Сен-Сир; дез Эпине, шталмейстер малой конюшни, усаживал ее в карету и сопровождал верхом; это была его повседневная обязанность. В ее же личной карете во время поездок ехали горничные, и она следовала за королевской, в которой находилась сама г-жа де Ментенон. Она устраивала так, чтобы, когда приезжал король и приходил к ней, в покоях у нее был полный порядок. Отчасти благодаря ее влиянию, отчасти благодаря придуманной для нее должности второй гардеробмейстерины дофины ее карету и портшез с носильщиками, одетыми в ее ливреи, пропускали всюду точно так же, как кареты и портшезы титулованных особ.

Необъявленная королева, она и внешне обладала всеми преимуществами, полагающимися носительнице этого титула, — и в отношении к ней, и в праве сидеть в присутствии короля, Монсеньера, Месье, членов английского королевского дома и вообще кого бы то ни было, однако вела себя на людях как простая придворная дама и всегда занимала последние места. Я наблюдал такое тонкое ее поведение на обедах у короля, когда присутствовали другие дамы, и в Фонтенбло на парадном обеде у королевы Английской, о котором я уже писал;[149] она всегда уступала место высокотитулованным и даже просто знатным дамам, никогда не позволяла себе проходить прежде высокотитулованных, даже когда они настаивали, а уступала настояниям только простых придворных дам, но со смущенным видом и крайней учтивостью; при всех подобных случаях она бывала вежлива, приветлива, разговорчива, как человек ни на что не притязающий и ничем себя не возвышающий, но внушающий большое почтение всем, кто находится вокруг.

Одевалась она всегда очень хорошо, достойно, опрятно, со вкусом, но крайне скромно, несколько более по-старушечьи, чем требовал ее возраст. А с тех пор, как она перестала показываться на людях, ее видели только случайно и всегда в черном чепце и черном шарфе.

К королю она приходила, только когда он был болен или утром в те дни, когда он принимал слабительное, то же — к герцогине Бургундской, а более ни к кому и ни по какому поводу.

Когда король был у нее, они сидели каждый в своем кресле по обе стороны камина, она — ближе к кровати, он — спиной к боковой стене с дверью в приемную; у каждого был свой стол, и у королевского стола стояли два табурета: один для министра, с которым предстояло работать, второй для его портфеля с бумагами. В дни, когда король занимался делами, наедине они

оставались очень недолго, пока не придет министр, и обыкновенно еще меньше после его ухода. Король сразу же шел на стульчак, потом возвращался к постели г-жи де Ментенон, желал ей спокойной ночи и отправлялся ужинать.

Пока король занимался делами, г-жа де Ментенон читала либо вышивала. Она слышала все, о чем говорили король с министром, поскольку те не снижали голоса. Изредка она тоже вставляла слово, и еще реже ее замечание приводило к каким-либо последствиям. Король часто спрашивал ее мнение, и ответы ее всегда были очень взвешенными; Никогда, или почти никогда, она не выказывала заинтересованности ни в ком, но на самом деле заранее уговаривалась обо всем с министром, и тот никогда не осмеливался в беседе с глазу на глаз высказаться против того, что она требовала, а уж тем паче противоречить, говоря при ней с королем. Так что, когда речь шла о какой-нибудь милости или должности, между ними все было условлено заранее, до совета с королем, когда должно было принимать решение, и потому иногда принятие решения задерживалось, но ни король, ни кто другой не ведал об истинной причине задержки. Она извещала министра, что хочет с ним предварительно поговорить, и он не смел предложить королю на рассмотрение какой-то вопрос, не получив прежде ее распоряжений, а переговорить с нею можно было, только когда у нее выдавался досуг от ежедневных занятий и дел. Сговорившись с нею, министр вносил предложение и представлял королю список. Ежели по случайности король останавливался на том кандидате, которого хотела г-жа де Ментенон, министр тут же прекращал читать список. Ежели на ком-то другом — министр предлагал рассмотреть и других кандидатов, давал королю высказывать о них мнения и пользовался этим, чтобы вычеркивать неугодных. Крайне редко он предлагал только того, кого хотел протащить, выдвигая обыкновенно нескольких и уравнивая их достоинства, чтобы затруднить королю выбор. В таких случаях король спрашивал его мнение. Он представлял тогда доводы в пользу каждого кандидата, но особенно упирал на того, кого хотел продвинуть. Король, как правило, колебался и спрашивал у г-жи де Ментенон, что думает она. Она улыбалась, делала вид, будто ничего в этом не понимает, иногда говорила несколько слов о каком-нибудь другом кандидате, но тут же возвращалась, если только не начинала с него, к тому, кого поддерживал министр, и на этом дело решалось; таким образом, в ее руках оказывались три четверти награждений и должностей и три четверти из оставшейся четверти, которые министры обсуждали с королем в ее покоях. Бывало, она не выказывала заинтересованности в

какой-либо должности, тогда министр давал предложение от себя, но при ее одобрении и поддержке, о чем король, разумеется, и не подозревал. Он-то верил, что все решает сам, хотя на деле решал лишь ничтожную часть дел, да и то порой по случайности, если не считать редких исключений, когда ему взбредала фантазия кого-то облагодетельствовать или когда кто-то, кому он хотел выказать благосклонность, ходатайствовал за определенного человека. Если г-жа де Ментенон желала решить, провалить или повернуть по-другому иные дела, не имевшие касательства к назначениям на должности или к награждениям, что случалось гораздо реже, она точно так же входила в сношения с министром и действовала примерно таким же способом. Из вышеизложенного видно, что сия ловкачка почти всегда добивалась исполнения своих намерений, но не всякий раз, и не тогда, и не так, как ей хотелось.

Когда же король упрямился, использовалась другая хитрость: решение оттягивали, стараясь запутать и затянуть дело или подменяя его другим, как бы возникшим в связи с этим, и тем самым-уводя в сторону, или предлагая дать по нему разъяснения. Это давало возможность затуманить первоначальные идеи, а затем снова вернуться к нему, используя те же хитрые подходы, очень часто достигавшие цели. То же самое делалось, чтобы преувеличить или преуменьшить какие-то недостатки, высоко оценить чьи-то труды и службу или пренебрежительно отмахнуться от них и тем самым подготовить падение либо взлет. Это-то и делало совещания в покоях г-жи де Мен-тенон такими важными в глазах всех, а ей давало средство добиваться необходимой ей цели — иметь зависимых от себя министров. Им же это позволяло безмерно возвыситься над всеми и без конца увеличивать свое влияние и власть на благо себе и своим сторонникам, поскольку г-жа де Ментенон шла на все, чтобы крепче привязать их к себе.

Она употребляла время перед их приходом или после ухода на то, чтобы выведать у короля мнение о них, чтобы оправдывать их или хвалить, сокрушаться о том, какой непосильный труд они вершат, превозносить их достоинства, а ежели речь шла о чем-то направленном к их выгоде, подготавливала путь для устройства этого дела, иногда делала первый шаг, упирая на их скромность и на то, что их надо поощрять в службе королю, дабы они еще лучше исполняли ее. Короче, у них существовали круговая порука и система взаимных услуг, о чем король даже не подозревал. И они неизменно помогали и способствовали друг другу. Но если г-жа де Ментенон часто не могла обходиться без них в делах, которые через них проходили, они также не могли удержаться без

ее поддержки, а тем паче если действовали наперекор ей. Как только она видела, что уже не может склонить их к своей позиции, как только они начинали отходить от нее или попадали в немилость к ней, их падение было предрешено, и она добивалась его. Тут требовалось время для очернения и козней, подчас длительное, как было, когда она погубила Шамийара.[150] До него пал Лувуа. Поншартрен уцелел только благодаря своему остроумию, которое нравилось королю, да финансовым затруднениям из-за войны, а также благодаря изворотливости и чутью его жены, которая оставалась в хороших отношениях с г-жой де Ментенон еще долго после того, как та стала враждебна к ее мужу, и еще благодаря позолоченной двери канцлерства, весьма кстати открывшейся ему. Герцог де Бовилье дважды думал, что погиб, и оба раза спасло его, можно сказать, чудо, о чем в свое время уже рассказывалось.[151] Если уж министры, даже пользовавшиеся наибольшим доверием короля, так зависели от г-жи де Ментенон, нетрудно себе представить, каковы были ее возможности в отношении других лиц, имевших куда меньше средств для защиты от этой опасности и даже неспособных обнаружить ее. У стольких людей рухнули планы, а они даже не могли угадать причину этого, делали все, чтобы обнаружить ее и как-то исправить дело, но, увы, тщетно.

Короткие и редкие совещания с командующими армиями происходили обыкновенно вечером в присутствии г-жи де Ментенон и государственного секретаря по военным делам. Поншартрен докладывал донесения шпионов и о разных происшествиях при дворе и в Париже, и благодаря этому она была в состоянии делать много доброго и скверного. Торси не работал у нее в апартаментах и почти никогда не виделся с нею. Поэтому она не терпела его, а еще менее — его жену, чья девичья фамилия Арну[152] перечеркивала для нее все достоинства супругов. Торси ведал почтой, и от него в докладах наедине король узнавал секреты, почерпнутые из писем; иногда он приносил отдельные выписки для прочтения г-же де Ментенон, но никаких последствий это не имело, так как она знала лишь обрывки, смотря по тому, что королю вздумалось рассказать ей или дать прочесть.

Все иностранные дела рассматривались на государственном совете, а ежели появлялось какое-то спешное дело, Торси тут же в любое время шел с этим к королю, поскольку у него не было установлено определенных часов для работы с государем. Г-же де Ментенон очень хотелось, чтобы этими делами занимались регулярно и у нее, дабы иметь на иностранные дела и людей, занимающихся ими, такое же влияние, каким она обладала во

всех прочих сферах. Однако Торси благоразумно сумел избежать этой опасной западни. Он всегда оправдывался, скромно говоря, что его дела не требуют такого рода совещаний. Это не значит, что король не рассказывал ей про иностранные дела, однако она понимала, сколь велика разница между присутствием на регулярных совещаниях, позволявшим ей действовать загодя, используя хитрости и заранее принимая меры, и необходимостью решать вопросы при беседах с глазу на глаз с королем, основываясь лишь на том, что он ей сообщит, и, не имея никого рядом в помощь и поддержку, настаивать на своем, когда ей желательно было добиться определенного решения, а также открыто вредить или оказывать услуги каким-то людям. В таких случаях король всегда бывал настороже. Неоднократно случалось, что, когда дело вели недостаточно тонко и деликатно и становилось заметно, что министр или командующий армией покровительствует родственнику или протеже г-жи де Ментенон, он только поэтому и высказывался против, а потом полурассерженно-полунасмешливо замечал: «Такой-то весьма услужлив: уж так он старается поспособствовать такому-то, потому что тот — родственник или протеже г-жи де Ментенон». Щелчки подобного рода вызывали в ней неуверенность и сдержанность, когда приходилось открыто выражать свое отношение к какому-нибудь предмету или человеку. Потому, если кто-то обращался к ней за содействием даже в пустяковом деле, она отвечала, что ни во что не вмешивается; в тех же редких случаях, когда она позволяла себе быть более откровенной и дело зависело от министра, на которого она рассчитывала, она отсылала просителя к нему, пообещав замолвить словечко перед последним, но, повторяю, такое случалось крайне редко. Тем не менее к ней обращались, опасаясь, что, ежели не исполнить сего долга, она станет противодействовать, а также в надежде, что, невзирая на ее обычный ответ, она, может быть, сделает то, о чем просят, и порой так и было. Имелось не больше пяти-шести человек разных состояний, в основном старых ее друзей, которым она отвечала определеннее, хотя всегда сдержанно и не обнадеживая, и которым, насколько возможно, старалась способствовать; тем не менее это по, большей части ей удавалось, хотя и не всякий раз. По причине непреодолимого желания участвовать в иностранных делах, как она участвовала во всех прочих, а также из-за невозможности перенести обсуждение их к себе в покои г-жа де Ментенон всякими хитростями, о чем подробно рассказывалось в своем месте, сделала принцессу дез Юрсен полной владычицей Испании[153] и поддерживала ее вплоть до заключения Утрехтского мира[154] в ущерб де Торси и

французским посланникам в Испании, а следственно, как о том уже говорилось, в ущерб Франции и Испании, потому что принцесса весьма искусно пропускала все дела через руки г-жи де Ментенон и сумела ее убедить, будто правит испанским двором и государственными делами только по ее приказам и по ее воле. Но вернемся к тем щелчкам, о которых только что шла речь.

Ле Телье уже давно и задолго до того, как стал канцлером, прекрасно знал эту особенность короля. Один из его лучших друзей, а у него они были, потому что он умел их приобретать, как-то попросил его о чем-то, в чем был весьма заинтересован, и потребовал у Ле Телье обещания, что он испросит это у короля, когда будет заниматься с ним делами. Ле Телье уверил приятеля, что сделает все от него зависящее. Приятель не удовлетворился таким ответом и прямо сказал Ле Телье, что при его положении и влиянии, каким он пользуется, он должен был бы ответить не так. «Вы не знаете обстановки, — возразил Ле Телье. — Мы точно знаем, что из двадцати дел, которые мы приносим королю, девятнадцать будут решены так, как мы хотим, двадцатое же будет решено наперекор нам. Но вот какое из двадцати будет решено вопреки нашему мнению и нашему желанию, мы никогда не знаем, и очень часто оказывается, что это именно то, в котором мы больше всего заинтересованы. Король это делает для острастки, чтобы дать нам почувствовать, что он владыка и он правит; когда же по случайности он заупрямится в деле настолько важном, что и мы вынуждены стоять на своем то ли по сути самого дела, то ли из-за нашего стремления решить его так, как хотим мы, пусть такое и случается крайне редко, добиться желаемого нам почти никогда не удается; правда, стоит нам потерпеть такую неудачу, король, довольный, что продемонстрировал нам, насколько мы бессильны, и огорченный тем, что раздосадовал нас, становится мягок и податлив, и вот тут-то мы делаем все, что хотим». И вправду, король всю жизнь так вел себя с министрами, а они вечно вертели им, даже самые молодые и посредственные, даже те, кому он меньше всего доверял и кого меньше всего ценил, притом что он вечно держался настороже, как бы не подпасть под их влияние, и был совершенно уверен, что преуспел в этом и все решает сам.

Так же он вел себя и с г-жой де Ментенон, коей время от времени давал жестокую острастку, чему страшно радовался. Иногда она даже рыдала при нем, а потом несколько дней была как на иголках. Некогда она приставила к королю Фагона, сместив д'Акена, поскольку он был ставленником г-жи де Монтеспан, а ей нужен был человек, всецело преданный ей и к тому же умный; с Фаго-ном она вошла в приязненные отношения, когда тот сопровождал герцога Мэнского на воды, и теперь он был ей крайне полезен, так как оказался весьма близок к королю по своей должности первого лейб-медика, и она каждое утро виделась с ним, так что в дни, когда происходили такие сцены, она притворялась больной и благодаря этому выходила из подобных огорчений с вящей для себя пользой.

Правда, случалось, что ни эта уловка, ни самая настоящая болезнь не могли переубедить короля в чем бы то ни было. Он отличался исключительным себялюбием и других, кем бы они ни были, воспринимал только в той мере, в какой это затрагивало его. Черствость его не ведала границ. В пору самой пылкой его страсти к любовницам никакие недомогания не могли избавить их от поездок и ношения парадных придворных туалетов, поскольку самые привилегированные дамы не могли появляться иначе, как в каретах, и не смели носить других нарядов при дворе, пока порядки, заведенные в Марли, несколько не смягчили требования этикета. Брюхатые, больные, уже через полтора месяца после родов, а также и в другие тягостные периоды они обязаны были надевать парадные туалеты, наряжаться, затягиваться, отправляться во Фландрию, а то и дальше, танцевать, не спать по ночам, участвовать в празднествах, объедаться, быть веселыми, учтивыми, срываться с места и куда-то ехать, ни в коем случае не подавать вида, что они боятся или что им несносны зной, стужа, сквозняки, пыль, и притом строго придерживаться назначенных часов, ни на минуту не нарушая распорядка. Король и к своим дочерям относился точно так же. Как рассказывалось в своем месте, он ничуть не больше церемонился с герцогиней Беррийской[155] и с герцогиней Бургундской, что бы там ни толковали и ни делали Фагон, г-жа де Ментенон и др., хотя любил герцогиню Бургундскую со всей нежностью, на какую был способен; у обеих из-за этого были выкидыши, о чем он говорил с облегчением, несмотря на то что ни та, ни другая еще не имели детей.

В поездках его карета была заполнена женщинами- сперва любовницами, потом его побочными дочерьми, невестками, иногда в ней ехала Мадам и другие дамы, если было свободное место. Так было и при поездках на большие охоты, в Фонтенбло, в Шантийи, в Компьень и в дальних путешествиях. Отправляясь пострелять дичь, на прогулку или ночевать в Марли либо в Медон, он ехал один в открытой коляске. Он опасался разговоров, какие могли бы вести генералы, если бы ехали с ним в карете; говорят, будто к этой предосторожности вынудил его прибегнуть более сорока лет назад старик Шаро, который с удовольствием воспользовался поездкой, чтобы высказаться по всевозможным поводам. Это вполне устраивало и министров, у которых иначе была бы причина для постоянных тревог, так что он неуклонно придерживался строжайшей обособленности, которую установил для себя, кстати, и ради их блага. Что же касается женщин, сперва любовниц, потом дочерей и нескольких дам, которые могли ехать в его карете, тут уж делать было нечего, к тому же случаи такие

становились все реже, да и женской болтовни можно было не опасаться. Во время поездок в королевской карете всегда было в изобилии всевозможное съестное: копчености, пирожные, фрукты. Не успевали еще проехать и четверти лье, как король уже интересовался, не желает ли кто перекусить. Сам он ни крошки не ел между трапезами, даже фруктов, но ему нравилось смотреть, как едят другие, причем даже не едят, а объедаются. Он требовал, чтобы дамы чувствовали голод, радовались, ели с аппетитом и с удовольствием, иначе бывал недоволен и даже резок, говорил, что они деликатничают, жеманятся, притворяются; однако эти дамы или принцессы, ужиная в тот же день вместе с другими лицами за его столом, обязаны были под угрозой нарваться на такие же упреки вести себя так, будто весь день не ели. Об отправлении нужды и говорить было нечего, тем паче что дамам это было крайне затруднительно в присутствии отрядов охраны и гвардии, скачущих впереди и позади кареты, а также офицеров и конюших, державшихся возле ее дверец и поднимавших такую пыль, что внутри невозможно было дышать. Король любил свежий воздух, требовал, чтобы все стекла были опущены, и бывал очень недоволен, если какая-нибудь дама задергивала занавеску, желая защититься от солнца, ветра или холода. Полагалось делать вид, будто не замечаешь всего этого, а также других неудобств, а ездил король всегда быстро и чаще всего с подставами. Если кто-то чувствовал себя дурно, это воспринималось как непростительная провинность.

От герцогини де Шеврез, которую король всегда любил и отличал, требуя, чтобы она обязательно, когда была в состоянии, участвовала в его поездках и интимных собраниях, я слышал рассказ о том, как однажды она ехала с ним в карете из Версаля в Фонтенбло; не успели проехать и двух лье, как она почувствовала в желудке неодолимый позыв к большой нужде. Карета меж тем катила дальше, и король только однажды велел остановиться, чтобы, не выходя, поесть. А позывы все повторялись, хотя иногда прекращались, как, например, во время остановки, когда она могла бы на минутку выйти и зайти в стоящий рядом дом; после еды, хотя г-жа де Шеврез старалась быть умеренной и по возможности не прикасаться к ней, позывы стали просто непереносимыми. Временами ей казалось, что придется попросить остановиться и выйти из кареты, несколько раз она чуть не теряла сознание, и только сила духа помогла ей вытерпеть до Фонтенбло, хотя она уже еле сдерживалась. Выйдя из кареты, она увидела возле дверцы, из которой выходил король, герцога де Бовилье, приехавшего накануне вместе с законным потомством короля. Вместо того чтобы сопровождать государя,

она схватила герцога де Бовилье под руку и сказала ему, что тут же умрет, если не облегчится. Они пересекли Овальный двор и вошли в часовню, находящуюся в этом дворе, в которой по утрам служили мессы и которая, к счастью, оказалась открыта. Для нужды нет закона: г-жа де Шеврез облегчилась в этой часовне, а герцог де Бовилье с другой стороны держал дверь. Я поведал про этот незначительный случай чтобы показать, какие стеснения терпели ежедневно все, кто был приближен к королю и больше других пользовался благосклонностью и милостями, вершины которых как раз и достигла тогда герцогиня де Шеврез. Такие вещи, кажущиеся пустяковыми и действительно являющиеся" таковыми, слишком характерны, чтобы умолчать о них. Король же, когда хотел справить нужду, не стесняясь, выходил из кареты, а дамы оставались в ней.

Г-жа де Ментенон, страшно боявшаяся сквозняков и прочих неудобств, не смогла добиться для себя никакой привилегии. Единственное, чего она достигла под предлогом соблюдения скромности и по прочим соображениям, — это разрешение ездить отдельно, как я несколько выше описывал; однако, в каком бы она ни была состоянии, ей приходилось в назначенное время выезжать и ехать, чтобы прибыть в назначенное место и все привести в порядок, прежде чем к ней пожалует король. Сколько раз она ездила в Марли в таком состоянии, в каком и служанку не заставили бы сдвинуться с места; а однажды при поездке в Фонтенбло боялись, доедет ли она туда живой. Как бы она себя ни чувствовала, король в обычный час приходил к ней и занимался тем, что было назначено на это время, а ей самое большее позволялось лежать в постели. Неоднократно, когда ее била лихорадка и она исходила потом, король, любивший, как уже сообщалось, свежий воздух и боявшийся жары в комнатах, приходя, выражал удивление, почему все наглухо закрыто, приказывал раскрыть окна настежь и не позволял хотя бы чуть-чуть их прикрыть до десяти вечера, когда отправлялся ужинать, невзирая ни на ее состояние, ни на ночную прохладу. Ежели должен был состояться музыкальный концерт, его не могли отменить ни лихорадка, ни головная боль, даже если г-жа де Ментенон света белого не видела. Король всегда жил по своему заведенному распорядку, ни разу не поинтересовавшись, удобно ли это ей.

Прислуга г-жи де Ментенон, ибо все, связанное с ней, представляет интерес, была весьма немногочисленна, редко показывалась на людях, держалась скромно, почтительно, не дерзко, больше помалкивала и никогда не важничала. Таков был тон дома, и слуги не удержались бы там, если бы не

соответствовали ему. Со временем они получали небольшое состояние соразмерно занимаемой должности, поэтому у них не возникало ни желания, ни повода для болтовни; все они доживали свою жизнь в безвестности, но все вполне зажиточно. Служанки ее жили замкнуто, почти не выходя из дому. Г-жа де Ментенон не только запрещала им это, но и не позволяла принимать кого-либо у себя, а дарила деньги скупо и редко. Король знал всех ее слуг, был с ними запросто и частенько беседовал, когда приходил к ней, а она задерживалась с выходом. Из всех них несколько более была известна давняя служанка г-жи де Ментенон еще с тех времен, когда после смерти Скаррона та жила благотворительностью прихода св. Евстафия в комнате под крышей; служанка эта прибирала комнатку и там же готовила скудную пищу. Нанон, как звалась она в ту пору, когда была единственной служанкой г-жи де Ментенон, и как та продолжала ее называть, верно служила своей хозяйке, сопровождала ее при всех переменах судьбы и была того же возраста и такой же святошей, но теперь она сделалась м-ль Бальбьен. Она стала важной особой, тем паче что пользовалась доверием хозяйки, следила за воспитанницами Сен-Сира, которые поочередно прислуживали г-же де Ментенон, следила за ее племянницами и даже за герцогиней Бургундской, для которой это не было тайной и которая, не задаривая, ловко сумела обратить ее в свою почитательницу. Одевалась и причесывалась она, как г-жа де Ментенон, и вообще старательно во всем ей подражала. Не было человека, начиная с законных и побочных детей короля и включая принцев крови и министров, который не подлещивался бы к ней и, даже более того, не относился бы к ней со своеобразным почтением. Кто мог, платил ей за ее услуги, хотя, в сущности, она почти не имела касательства к делам. Была она умеренно глупа, вредничала крайне редко, да и то больше по недомыслию, манеры ее были весьма чопорны и жеманны, но она почти всегда старалась быть в тени. Однако здесь уже рассказывалось о случае, когда герцогиня дю Люд благодаря ей получила место в карете, хотя за четыре часа до того король, мнилось, отказал ей в нем. Протекция, которую оказывала м-ль Бальбьен касательно участия в поездках в Марли, была небезвозмездной. Держалась она тихо, скромно, чопорно, с чувством достоинства и вместе с тем почтительно.

Уже говорилось, что в обществе г-жа де Ментенон вела себя как частное лицо, но в собственных глазах была королевой, а порой даже вела себя как королева и на людях, как было, например, в Компьене при показательном приступе, о котором в свое время уже рассказывалось, и на прогулках в Марли, в

которых она иногда принимала участие либо из любезности, либо когда король желал ей показать какое-нибудь только что завершенное сооружение. Признаюсь, что я все время пребываю в нерешительности, боясь как повториться, так и не изобразить достаточно подробно многие любопытные мелочи, об отсутствии которых во всех историях и почти всех мемуарах разных эпох мы так сожалеем. В них хотелось бы видеть государей, их любовниц и министров в повседневной жизни. Это позволило бы не только удовлетворить вполне понятное любопытство, но и лучше познать нравы времени и характеры монархов, равно как их любовниц, министров, фаворитов и всех, кто был наиболее приближен к ним, а также хитрости, которые те применяли, чтобы управлять королями или достигать поставленных целей. Если такие вещи считаются любопытными и даже поучительными в истории всех царствований, то уж тем паче это справедливо для столь продолжительного и богатого событиями времени, каким было правление Людовика XIV, и для особы, которая, единственная, с тех пор как существует наша монархия, в течение тридцати двух лет являла собой наперсницу, любовницу, супругу, министра и всемогущего вершителя судеб, хотя до того долго пребывала в ничтожестве и, как говорят, не отличалась строгостью нравов, чего в ту пору не скрывала. Все это дает мне смелость не бояться повторений. По зрелом размышлении я счел, что лучше рискнуть иногда повториться, нежели, избегая этого, не представить во всей полноте столь интересную фигуру. Но вернемся к тому, на чем мы остановились.

Будучи королевой в облике частного лица, г-жа де Ментенон всегда сидела в кресле в самом удобном месте своей комнаты и при короле, и при всех членах королевского семейства, и даже при английской королеве. Она вставала, только когда входили Монсбньер или Месье, потому что они редко бывали у нее; перед герцогом Орлеанским и другими принцами крови вставала, только когда давала им аудиенцию, то есть почти никогда; между тем Монсеньер, его сыновья, Месье и герцог Шартрский всегда посещали ее, отправляясь в армию и в тот же вечер, когда прибывали из нее, а если время было позднее, то рано утром на другой день. Более ни перед кем из законных детей потомства короля, их супруг или побочных его отпрысков она не вставала; исключение составляли лица, которые получали у нее аудиенцию и которых она не слишком хорошо знала; при своей сдержанности и учтивости она предпочитала именно такую манеру поведения в подобных случаях. Ее высочество дофину она до самой ее смерти называла обыкновенно «душенькой» даже при короле, приближенных и придворных дамах и, когда говорила о

ней или герцогине Беррийской даже в их присутствии, всегда называла их «герцогиня Бургундская», «герцогиня Беррийская» или «дофина» и исключительно редко «ее высочество дофина»; так же она говорила «герцог Бургундский», «герцог Беррийский». «дофин», чрезвычайно редко присовокупляя к их титулам «его высочество»; можно представить себе, как она именовала всех прочих. Уже рассказывалось, как она призывала к себе законных и побочных принцесс, какие нахлобучки устраивала им, в каком страхе они приходили по ее вызову и в каких слезах уходили, в какой тревоге жили, пока она не прекращала гневаться; одна лишь герцогиня Бургундская благодаря своей несравненной прелести, внимательности и заботливости сумела избежать подобного отношения, о чем уже упоминалось, когда шел о ней рассказ. Она обыкновенно называла г-жу де Ментенон «тетушка».

Поразительней же всего были уже упоминавшиеся прогулки по парку Марли, которые г-жа де Ментенон совершала, только чтобы оказать любезность королю. Даже с королевой он держался бы стократ свободней и выказывал бы меньше галантности. То была подчеркнутая почтительность, хотя дело происходило при дворе и в присутствии всех обитателей Марли, пожелавших присутствовать при сем. Бывая в Марли, король считал, что находится в домашней обстановке. Они двигались рядом, так как г-жа де Ментенон не садилась в открытую коляску, в которой ехал король: ее несли в портшезе. Когда их сопровождали дофина, герцогиня Беррийская или дочери короля, они шли пешком сзади либо по бокам, а если ехали с дамами в экипаже, то следовали за ними на расстоянии, никогда рядом. Часто король шел рядом с портшезом. Ежеминутно, снимая шляпу, он наклонялся, чтобы что-то сказать г-же де Ментенон или ответить ей, когда она обращалась к нему, что она делала куда реже, чем король, у которого всегда было что ей сказать или на что обратить внимание. Боясь сквозняков даже в самую лучшую, тихую погоду, она всякий раз опускала на три пальца стекло боковой дверцы и немедленно закрывала его. То же происходило, когда носилки ставили на землю, чтобы она полюбовалась новым фонтаном. Иногда герцогиня Бургундская присаживалась на переднюю ручку портшеза и вступала в разговор, но переднее стекло в таких случаях никогда не опускалось. К концу прогулки г-жи де Ментенон король провожал ее до дворца, просил позволения покинуть ее и продолжал прогулку. То было зрелище, к которому невозможно привыкнуть. Такие мелочи обычно не попадают в мемуары, а между тем они дают особенно верное понятие о том, чего ищут в мемуарах, а именно о характере происходившего, что естественней всего изображается фактами и подробностями.

В круг занятий г-жи де Ментенон входило все: поведение внучатых невесток короля[156] и его внебрачных дочерей, доведение до их сведения распоряжений в связи с их поведением, любовные приключения, набожность или соблюдение обрядов придворными дамами, всевозможные происшествия, манеры жен министров да и их самих, слежка и наушничество, весьма распространенные при дворе, увеселения, которые устраивали принцессы вместе с молодыми дамами или дамами своего возраста, а равно и все, что происходило на них, наказания, иногда легкие, а иногда заключавшиеся в удалении от двора, награды, единовременные или неоднократно повторяющиеся, отличия в виде позволения участвовать в поездке в Марли или в развлечениях у дофины. Г-жа де Ментенон забавляла всем этим короля, склонного слишком серьезно воспринимать подобные дела; они служили темой для разговора, позволяли кому-то оказать услугу или навредить либо заранее соответственно настроить короля в том или ином деле, поскольку она ловко умела вертеть им так и сяк.

Как уже рассказывалось, всем, кто обращался к ней за помощью, она отвечала, что ни во что не вмешивается; рассказывалось и о том, что все, кто сближался с нею, весьма страдали от поразительного непостоянства ее натуры: она часто без всякой на то причины меняла вкусы, склонности и прихоти. Лекарства, которые пытались изыскать от этого ее непостоянства, оказывались ядами. Единственным средством было не приближаться, но осторожно держаться в отдалении точно так же, как, попав в пути под дождь, лучше свернуть в сторону, дабы окончательно не вымокнуть. Иногда она сама вновь сближалась и раскрывалась так же неожиданно, как прежде отдалялась и замыкалась; на иное средство вернуть ее расположение нечего было и надеяться. Такие перемены в отношении людей и дел были весьма тягостны для министров, для лиц, имевших с нею какие-либо деловые отношения, а равно и для женщин, чье поведение ей взбредало в голову исправить, хотя таковых было очень немного и случалось это редко. То, что ей не далее как вчера еще нравилось, сегодня оказывалось пороком; то, что она недавно одобряла и даже поощряла, вдруг подвергалось поношению, так что никто никогда не был уверен, достоин ли он любви или ненависти. Указать в оправдание на такое ее непостоянство означало погубить себя, а непостоянство это распространялось и на близких к ней людей, и затрагивало все, вплоть до манеры одеваться и причесываться; ни один из тех, кто в разной мере был приближен к ней, не избежал в той или иной степени этой невыносимой ее превратности. Любонача-лие и

властность — вот единственное, в чем она была постоянна.

Уже рассказывалось, с какой ловкостью г-жа де Ментенон воспользовалась принцессой дез Юрсен для вмешательства во все придворные и государственные дела Испании, дабы изъять их, насколько возможно, у де Торси, после того как потерпели неудачу ее попытки вынудить его приходить работать у нее, как делали остальные министры, и какие выгоды сумела извлечь из этого г-жа дез Юрсен. Церковные дела тоже очень долго были предметом ее устремлений. Несколько раз, правда, походя она делала поползновения завладеть ими в связи с янсенистами и отменой Нантского эдикта, но сумела лишь чуть прикоснуться к сей великой цели, что стало причиной предпочтения, оказанного герцогу де Ноайлю, о чем в свое время упоминалось при рассказе о той свадьбе. Теперь пришел черед подробней объяснить, как ей в конце концов удалось так войти в дела церкви и захватить верховенство в этой сфере управления.

Долго и с огорчением она наблюдала, как о. де Ла Шез самовластно управляет этим ведомством, будучи не только независим от нее, но даже почитая это вполне естественным, меж тем как она пребывает в полном неведении по части его дел. Внезапная, после долгой и безграничной благосклонности опала архиепископа Парижского д'Арле, причину которой мы уже знаем, удовлетворила мстительность г-жи де Ментенон, но не ее стремления. В результате этого духовник короля стал полностью распоряжаться раздачей бенефиций и управлять всеми делами, от которых был устранен архиепископ. Поэтому г-же де Ментенон пришелся не по вкусу брак ее племянницы с внуком герцога де Ларошфуко, который хотел устроить король, и предпочтение было отдано представителю рода де Ноайлей. Не стану утверждать, что это было сделано с дальним прицелом, чтобы облегчить ей назначение брата маршала и герцога де Ноайля архиепископом Парижским после смерти Арле в августе 1695 г., поскольку его не любили иезуиты и плохо знал король, так как тот почти не бывал в Париже, а если приезжал, то ненадолго, и его пришлось привезти в Париж без всякого участия о. де Ла Шеза. Назначить его туда без ведома духовника было невозможно, потому что пришлось преодолевать сопротивление сего прелата, который не только противился всеми мыслимыми способами, но и притворялся, будто находится под подозрением по части толкования доктрины. Поначалу он был назначен епископом Кагора, а через несколько месяцев переведен в Шалон. Ни близость к королю, ни достоинство архиепископской кафедры, поскольку занимающий ее является графом и пэром Франции, не могли вынудить его покинуть стезю, к которой он был

предназначен рукоположением в епископы, хоть и не смог ее как следует узнать; потребовалось повеление папы, дабы заставить его подчиниться. В Шалоне он блистал ангельской жизнью, постоянным исполнением своих обязанностей, пастырским служением, кротким, усердным, поучительным, обильным добрыми примерами и полным неучастием во всем, что не имело отношения к его священническим делам. Значение его рода, подкрепленное столь прекрасной репутацией, позволило избежать обычных путей. В Париже он преуспел так же, как в Шалоне, не поддавшись, обольщениям этой огромной сцены; он чрезвычайно понравился королю и г-же Ментенон, и в завершение его характеристики добавим, что он не выглядел ни новичком, ни неумехой в делах, вызывал восхищение своей просвещенностью, ученостью, а также — редкое сочетание! — простотой и величием, достойными соборов галликанской церкви, на которых он председательствовал по воле духовенства и двора. Наконец в 1700 г. он стал кардиналом, хоть отказывался так же, как тогда, когда его принуждали сменить кафедру. Все эти многочисленные добродетели принесли ему в конце концов в награду от общества множество мук и терзаний, которые он ради блага церкви сносил мужественно, с великим смирением, присутствием духа, со строгостью к самому себе, с бережностью и милосердием к тем, кто сполна этим воспользовался и под конец стал почитать его и благоговеть перед ним, не сумев поколебать ни его души, ни чистоты его помыслов и веры; в последние годы жизни разум его ослаб под бременем лет, трудов и преследований. Я был очевидцем всего этого и, если Господь продлит мои дни, не премину описать это в конце своих «Мемуаров», хотя события эти выходят за пределы, которые я себе поставил.

Не станем повторяться, рассказывая о епископе Шартрском Годе и даже о Бисси, ставшем впоследствии кардиналом. Ограничимся только напоминанием, что Ла Шетарди и Бисси не были тогда близки к королю и что Годе, не имея поводов для свободного доступа к государю, мог представать перед ним крайне редко, да и то это требовало подготовки со стороны г-жи де Ментенон; он не мог часто бывать при дворе, и ему был недоступен могучий инструмент намеков, которым последовательно действуют в частых беседах, якобы не имея определенной цели. Отец же Ла Шез обладал этим инструментом и очень опасался, чтобы его не похитили и чтобы оным не воспользовался епископ Шартрский, которому это иногда удавалось, так что каждый такой случай еще усиливал бдительность королевского духовника. Архиепископ Парижский, который обладал привлекательностью новизны- он ведь был

избран и назначен так недавно, а привлекательность эта была подкреплена его репутацией, принадлежностью к столь высокому роду и всем искусством г-жи де Ментенон, каковая поначалу не чаяла в нем души как в творении рук своих, — имел более чем верный инструмент в виде регулярной еженедельной аудиенции у короля, причем у него было чем заполнить время, отведенное для нее, а при желании он всегда мог получить и вторую аудиенцию. Это-то и стало причиной великой благосклонности к нему, все преимущества коей он впоследствии утратил из-за своей прямоты и внутренней мягкости, поскольку всегда был строг к себе, а не к другим; г-жа де Ментенон извлекла из этих достоинств все возможные выгоды для своих людей, дабы войти наконец в церковные дела. Приблизилась она к ним через дело епископа Камбрейского, которое близко свело ее с архиепископом Парижским и епископом Шар-тра. Таким образом, она перехватила у короля ключ к той единственной сфере дел и милостей, которой прежде могла касаться лишь вскользь, что и побудило ее в марте 1698 года предпочесть племянника архиепископа всем прочим женихам. Как уже говорилось, она вынудила короля присоединиться к Риму в споре с епископом Камбрей-ским и даже самому открыто заняться им и тем самым добивалась все большего доверия в вопросах религии, а следственно и неизбежно в раздаче бенефиций и возможностях продвигать либо придерживать, кого ей заблагорассудится.

Уже говорилось, что епископ Шартрский был пламенным сульпицианцем и, приезжая в Париж, всегда жил в этой семинарии, которую воздвиг на развалинах семинарий Иностранных миссий, Сен-Маглуар и отцов ораторианцев; умирая, он передал ее с согласия г-жи де Ментенон Ла Шетарди, кюре церкви св. Сульпиция, чьим был духовным отцом и кому вполне доверял. Надо еще сказать, что сульпицианцы при их вопиющем невежестве, крайней безвкусице и бешеном ультрамонтанстве не могли стать помехой обширным планам иезуитов, но сделали все, чтобы свести на нет благородство, высокую нравственность, вкус к античности и точному и истинному знанию, присущие отцам ораторианцам, весьма далеким от настроений, господствовавших в Обществе Иисуса, и в основном согласных с университетом и с тем немногим и драгоценным, что осталось от Пор-Рояля и что было предметом вражды и преследования со стороны иезуитов. Таким образом, те окончательно разрушили образование, пользуясь твердолобо-стью людей, всецело преданных Риму и почитавших главным исполнение ничтожных, тщетных и нелепых обрядов, которыми они обременяли и отупляли доверенную им молодежь, поскольку

ничему не могли ее обучить, так как сами ничего не знали. До небес взлетела популярность отцов миссионеров, чье заведение готовило разве что для обучения катехизису в деревнях, и отцов из Сен-Сюльпис, соперничавших друг с другом в неотесанности, невежестве и ультрамонтанстве, так как отныне дверь к бенефициям была окончательно закрыта для всех, кто обучался не у них. Г-жа де Ментенон, заманенная Ла Шетарди и Бисси на те дороги, на которые уже давно завлекал ее покойный епископ Шартрский, царила в этих новомодных семинариях. Она была объявлена их покровительницей, после того как коварство иезуитов незаметно рассорило ее с ректорами Иностранных миссий, которых уже давно назначала она, а потом это право назначения было передано епископу Шартрскому; случилось это, когда знаменитое дело об обрядности для китайцев и индийцев привело к раздору между миссионерами и иезуитами, сделав их ярыми и непримиримыми врагами. Это не значит, что иезуиты не завидовали этим тупым попам, приобретшим, по их мнению, слишком большое влияние, а те не испытывали таких же чувств к иезуитам, тем не менее они вынуждены были терпеть и сосуществовать, поскольку нуждались друг в друге в общей ненависти к отцам-ораторианцам и просвещенности, которую на всякий случай именовали янсенизмом. Во главе последних стоял кардинал де Ноайль, который великолепно знал святых отцов, но недостаточно — людей и не смог ни поддержать их, ни сам удержаться: в нем было слишком много прямоты, совести и милосердия, чтобы предвидеть последствия своих действий и исправить положение в час испытаний.

Бисси издалека, из Туля, сумел добиться секретного содействия иезуитов, Сен-Сюльпис и епископа Шартрского, который привязался к нему и оставил его г-же де Ментенон как своего Елисея;[157] он пошел в гору и чувствовал потребность в каком-нибудь большом деле, чтобы, занимаясь им и строя вокруг него интриги, завладеть г-жой де Ментенон, а через нее королем, установить тайное и тесное согласие с иезуитами, действуя заодно с ними к обоюдной пользе — они бы старались для него при г-же де Ментенон, а он для них в Риме, — и таким образом руководить всеми церковными делами. Иезуиты испугались возвышения кардинала де Ноайля, произошедшего без их участия, благосклонности к нему короля, поддержки, которую он получал от своего семейства, и пришли в ярость. О. Телье, тот из них, что заменил о. де Ла Шеза, весьма отличался от своего предшественника. Он не замедлил дать почувствовать свою силу, запутал, словно паук муху, в свои сети кардинала де Ноайля, воздвиг перед ним тысячи препятствий, воспользовался его

добродетелью, чистосердечием, умеренностью и, наконец, даже заставил его уступить в вопросе об окончательном уничтожении остатков прославленного Пор-Рояля, в котором еще теплилась жизнь; варварское изгнание живших еще в этом аббатстве монахинь, разрушение до основания зданий, так что от них камня не осталось, осквернение могил, надругательство над этим святым местом, превращенным в пустыню, вызвало общественное негодование и нанесло непоправимый ущерб кардиналу де Ноайлю. Постепенно с помощью многих интриг завязывалось чудовищное дело с Буллой, погубившее кардинала в глазах г-жи де Ментенон, а еще более — в глазах короля. Эти же интриги вынудили короля и г-жу де Ментенон объявить, на чьей они стороне, и перейти к насильственным мерам, на которых Бисси сделал карьеру и завоевал доверие г-жи де Ментенон, не любивший иезуитов и о. Телье. Таким образом, после многих лет вожделений и козней исполнились все чаяния Бисси, он стал первым лицом и уж тут-то пустился во все тяжкие, поймав г-жуде Ментенон на приманку своего лицемерия. Обманутая его угодливостью, низкопоклонством, восхвалениями, которые он расточал с притворно простецким видом и деланой неуклюжестью, она сочла себя пророчицей, спасающей избранный Богом народ от заблуждений, мятежа и нечестия. Укрепившись в этой мысли, подзуживаемая Бисси, испытывая все более острое желание вмешиваться в церковные дела, она подвигла короля на всевозможные ужасы, насилия, тиранические действия против убеждений и достояния людей, и тюрьмы заполнились. Бисси добивался всего, что бы ни внушал ей. Именно тогда она вполне вошла в управление делами церкви и Бисси вынудил о. Телье, несмотря на все его увертки, считаться с нею во всем, включая и распределение бенефиций. Это ужасно угнетало о. Телье, но восставленные им гонения, главной жертвой которых был кардинал де Ноайль, коего он намеревался лишить не более и не менее как кардинальского пурпура, кафедры и свободы, а также торжество их новейшей школы на развалинах всех прочих оказались для него столь желанными и завлекательными целями, что не было на свете ничего, чем бы он не пожертвовал ради них. Уже сообщалось, что единственное, чего он не мог перенести, был выбор Флери воспитателем будущего короля. Поэтому о. Телье назначили исповедником и младшим воспитателем. Для него же главным было остаться распорядителем, он хотел, чтобы так было во всем, а посему желал назначения воспитателя по своему выбору. Он открыто воспротивился королю и г-же де Мен-тенон в ее комнате и пусть не преуспел в своих усилиях, но тем не менее нагнал страху, чего Флери не забыл ему до конца жизни, а Флери

довольно было даже слегка задеть, чтобы он никогда не простил. Телье недостаточно долго прожил, чтобы воочию узреть или хотя бы вообразить себе вершины успеха, к каким привела Флери та первая ступенька его карьеры. Знай он, откуда пришел успех и до какой степени монарх покорен тем же самым страстям, что полностью владеют нашими душами, пока они пребывают в союзе с телом, он искренне восхитился бы безмерным искусством, с каким иезуиты управляли сим владыкой королевства, несмотря на всю его неприязнь к ним, вертя им, да так, что он и не догадывался, и вынуждая его делать то, что было им на пользу, уничтожать все, что они ненавидели и чего боялись, и заменять уничтоженное тем, что было им выгодно. Но здесь не место и не время распространяться на эту тему. Дело из-за Буллы, последовательно развивавшееся с великим коварством, ожесточением, насилиями и тиранством, было, как ясно из вышеизложенного, горьким плодом настоятельной необходимости для иезуитов, когда им пришлось отступить в китайских и индийских делах, безмерных амбиций Бисси в построении карьеры, стремлений де Рогана ускорить свою, после того как Талар из своекорыстных соображений подтолкнул ее, желания их обоих стать главарями всемогущей партии и, наконец, намерений г-жи де Ментенон управлять церковью так же, как она издавна управляла государством, и уж более не выпускать из рук сию важнейшую сферу. Однажды открывшееся поприще оказалось безграничным. Вследствие интриг де Бисси, сульпицианцев и миссионеров, подстрекаемых и вдохновляемых иезуитами, переменчивая г-жа де Ментенон отвернулась от кардинала де Ноайля. Она больше не нуждалась в нем, чтобы приобщиться к делам церкви; сей мост, которым она воспользовалась с такой пользой для себя, был ей теперь без надобности. Очарованная новизною Бисси, этого Елисея, приставленного к ней покойным епископом Шартрским, и восторгами дурака Ла Шетарди, она каждый свой шаг считала боговдохновенным.

Разрыв с семейством и кардиналом де Ноайль, дружба с которым сменилась озлоблением против него, она превозносила как жертву, принесенную на алтарь истины и покорности церкви.

Варварское обращение, которому подвергались гугеноты после отмены Нантского эдикта, послужило образцом обращения, а иногда и полностью повторялось в отношении тех, кому Булла могла не понравиться. В этом причина бесчисленных интриг, имевших целью запугать и склонить на свою сторону епископов, школы, второе сословие и низшее духовенство, бесконечного и неудержимого потока королевских приказов о заключении в

тюрьму, нападок на парламенты, обращений без числа и меры в разные судебные инстанции, отказов от приема дел во всех судах, наконец, всеобщего и явного неправосудия и невозможности защититься для всякого, чья совесть не склонилась под новым игом, а паче под способами навязывания его; в этом причина неприкрытой инквизиции, распространявшейся даже на простых мирян, и неприкрытых гонений, огромного количества изгнанников и узников, сидящих в тюрьмах, причем многие заключены были без суда и следствия; в этом причина волнения и разброда в монастырях; в этом причина неистощимой клеветы, очернявшей всех, кого заблагорассудится клеветникам, даже людей, которых ни в чем невозможно заподозрить, и порочившей их перед королем, если это касалось придворных и особ из общества; и все это — чтобы устранить и подвергнуть проскрипциям самых разных лиц, а их должности раздавать по усмотрению главарей правящей партии, иезуитов и сен-сюльпицианцев, кои стали всемогущи и получали должности даже без малейшего экзамена; в этом причина того, что без счету людей самого разного состояния и обоего пола вынесли те же муки, которые претерпели христиане при правлении императоров-ариан и особенно при Юлиане Отступнике,[158] чью политику тогда, казалось, переняли и чьи жестокости повторяли; и если в тот раз старались не проливать кровь, то, уверенно скажу, лишь потому, что многие жертвы и без этого заплатили жизнью, а то, что обошлось без кровопролития, отнюдь не заслуга иезуитов, которые в своем рвении перешли все границы разумного и в открытую требовали крови.

Уже рассказывалось, как погубило французский епископат безмерное влияние епископа Шартрского Годе, ставившего на епископские кафедры непросвещенных и безродных педантов из семинарий и их воспитанников, единственными достоинствами коих были невежество и неотесанность, и как Телье довершил гибель епископата, в открытую торгуя епископскими жезлами, но не за деньги, а за поддержку своих планов и на условиях, при которых он со своим гневливым, безжалостным в преследованиях нравом, прозорливостью, коварством и осторожностью мог не бояться обмана; это не могло долго оставаться тайным, но, даже когда все раскрылось, положение, которого он достиг, ничуть не поколебалось. Можно себе представить, а еще лучше увидеть по тому, что мы сейчас имеем, чего можно ждать от выбранных таким образом епископов. Бисси, следуя теми же путями, изо всех сил поддерживал его, а впоследствии извлек много пользы из его уроков. Таковы были пагубные средства, погубившие галликанскую церковь, которая последней из всех национальных

церквей склонилась под иго власти Рима, который, действуя всевозможными путями, уже подавил все остальные.

Таковы были последние годы долгого царствования Людовика XIV, когда на самом деле правил не столько он, сколько, непрерывно сменяя друг друга, правили другие. В эти последние годы, подавленный бременем неудачной войны, ни от кого не получая помощи по причине бездарности министров и генералов, став жертвой невежественного и коварного семейства, терзаясь, но не из-за собственных ошибок, которые он не желал признавать, а из-за бессилия противостоять объединившейся против него Европе, дойдя до самой горестной крайности из-за расстройства финансов и невозможности оборонять границы, он избрал единственное средство — замкнуться в себе и подавить свое семейство, двор, совесть, своих подданных и все несчастное королевство гнетом все более ужесточающейся власти, стремясь с помощью плохо согласованных средств как можно больше расширить ее пределы, чем только выказывал свою слабость, которой с презрением злоупотребляли его враги. Стесненный в средствах, даже в расходах на стол в Марли и на строительство, он, что касается последнего, оказывался жертвой тех же хитростей, с помощью которых им управляли и в крупных начинаниях. Мансар, смотритель его построек, человек бездарный, но обладавший все же лучшим вкусом, чем его господин, одолевал короля новыми проектами, которые раз за разом приводили ко все большим расходам. Все это давало ему возможность обогатиться, в чем Мансар великолепно преуспевал, а кроме того, приближало к королю, так что он стал персоной, перед которой заискивали даже министры, а следом за ними и все придворные. Он исхитрился представить королю такие проекты зданий, несовершенство коих было очень легко увидеть, тем паче что этот бойкий каменщик незаметно наводил на эту мысль. Король тут же указывал на недостаток либо говорил, как его исправить. Мансар всякий раз изумлялся верному глазу короля, рассыпался в восторгах и уверял, что он школяр в сравнении с его величеством и что тот постиг все тонкости архитектуры и разбивки садов столь же глубоко, как и тонкости управления. Король с удовольствием верил ему, и, если, как это часто случалось, настаивал на каком-нибудь безвкусном решении, Мансар так же восхищался им и исполнял его, пока склонность короля к переменам не давала ему возможности исправить это. Постепенно Мансар обнаглел, стал докучать королю просьбами для себя и своих близких, часто весьма странными, и до того надоел, что король почувствовал великое облегчение, когда он умер. Его внезапная смерть положила начало карьере д'Антена,

получившего его должность, правда, весьма урезанную и по названию, и по пределам власти, очевидно, из-за такого своего недостатка, что он не рожден, как Мансар, в подлом звании. Пока была жива г-жа де Монтеспан, г-жа де Ментенон не позволяла отличать его, разве что только в пустяках, но, избавившись от своей бывшей хозяйки, смягчилась к ее сыну, который сумел воспользоваться этим и гигантскими шагами стал выдвигаться в приближенные короля, добился даже известного его доверия и такими же шагами пошел к богатству.

К бедствиям государства присоединились семейные беды, причем весьма чувствительные для короля. Наученный опытом детских лет, он старался держать принцев крови в возможно более униженном состоянии. Их положение улучшалось только для того, чтобы возвысить побочных детей, к тому же законные члены семей бастардов получали преимущества, бесконечно обидные для принцев крови. Они не имели ни губернаторств, ни должностей, кроме тех, что были возвращены великому Конде при заключении Пиренейского мира — и даже не ему, а его сыну — и перешли от этого принца к его сыну, женившемуся на побочной дочери короля, а затем его сыну от этого брака, унаследовавшему их после смерти отца. Принцы крови не входили в число приближенных, не имели права свободного доступа к королю и вообще никаких привилегий, кроме тех, что получали благодаря браку с побочными дочерьми короля, что ничего не дало принцу Конти,[159] и ранее уже рассказывалось, как неуклонно их не подпускали командовать армиями.[160] Потребовались крайние бедствия и все личное влияние Шамийара, чтобы он решился предложить поставить во главе одной из них принца де Конти или хотя бы герцога Орлеанского, к которому король относился чуть терпимее, но не потому, что тот был его племянником, а как к мужу своей побочной дочери; когда же на грани катастрофы король вынужден был дать армию во Фландрии принцу де Конти, было уже поздно, и принц, чья жизнь протекала в немилости, скончался, сожалея, что не может принять назначения, которого так долго и тщетно желал; единственным его утешением явилась мысль, что того же желали двор, армия и Франция, чьим утешением и надеждой он был. В своем месте уже рассказывалось о невзгодах герцога Орлеанского в Италии и о буре, которую подняла против него в Испании г-жа дез Юрсен, безоглядно поддерживаемая во Франции г-жой де Ментенон. С 1709 года домашние беды в королевском семействе с каждым годом усиливались и уже не прекращались. Несчастье, приведшее — но слишком поздно — к опале герцога Вандомского, было тем более жестоким, что почти никому не

открыло глаза. Чуть позже смерть унесла с перерывом в полтора месяца принца де Конти и его высочество Принца. Не прошло и года, как за ними последовал его высочество герцог, так что самому старшему из оставшихся в живых принцев крови было всего семнадцать лет. Следующим умер Монсеньер. А вскоре после этого короля поразили удары еще чудовищней; сердце его, о существовании которого он прежде словно бы не подозревал, было потрясено утратой очаровательной дофины, безмятежность — утратой несравненного дофина, спокойная уверенность в том, что есть кому наследовать его корону, — последовавшей через неделю смертью наследника, а равно возрастом и состоянием здоровья единственного отпрыска царственного рода, которому было всего лишь пять с половиной лет; удары эти обрушились один за другим и почти все еще до заключения мира, когда королевство находалось в страшной опасности. Но кто смог бы рассказать о страхах, сопутствовавших трем последним ударам, об их причинах и вызванных ими подозрениях, в корне противоречивших друг другу, но с таким коварством рассеивавшихся и вбивавшихся в головы; кто смог бы описать их чудовищные последствия, несмотря на всю их шаткость? Перо отказывается от описания глубинных тайн человеческой гнусности. Лучше оплачем их гибельные следствия, ставшие источником новых ужасов, которые породили иные бедствия, не уступающие прежним; оплачем это торжество сил мрака, эту чувствительнейшую утрату, последствия которой Франция будет ощущать на протяжении многих поколений, этот верх злодеяний, этот крайний предел бедствий, обрушившихся на королевство, и пусть каждый француз непрерывно вопиет к Господу об отмщении за это.

Таковы были долгие и тяжкие обстоятельства ужаснейших бед, испытывавшие стойкость короля и все же больше послужившие его славе, чем блеск всех его побед и долгая цепь удач. Несравненно было величие духа, кое неизменно выказывал в столь длительных невзгодах, среди горестных семейных потрясений этот монарх, привычный к безграничной и всеохватывающей власти у себя дома, к блистательным успехам в своих предприятиях и вдруг узревший, что судьба решительно отвернулась от него. Извне он был тесним разъяренными врагами, которые, видя его безвыходное положение, радовались его бессилию и насмехались над его былой славой; он оказался в беспомощном состоянии, без министров, без генералов, потому что выбирал и назначал их по своим склонностям и прихотям, убежденный в гибельной своей гордыне, будто может и способен сам создавать их. У себя же дома, терзаемый самыми

чувствительными и мучительными катастрофами, он ни в ком не находил сочувствия, страдая от собственной слабости; принужденный бороться в одиночестве с мерзостями, тысячекрат более ужасными, чем самые невыносимые его несчастья, с мерзостями, которые непрерывно устраивали ему те, кто был ему ближе и дороже всех, неприкрыто и безудержно злоупотребляя зависимостью, в которую он попал от них, он не мог и не хотел вырваться из нее, хотя и ощущал всю ее тягостность; впрочем, он уже был не способен и по непреодолимой главнейшей склонности и по привычке, ставшей чертой характера, рассуждать об интересе и поведении своих тюремщиков; в сих домашних оковах он сохранил стойкость, твердость духа, внешнюю невозмутимость, стремление всегда, насколько это возможно, держать в руках бразды правления, сохранил надежду в безнадежности благодаря мужеству и мудрости, а не слепоте и держался, как подобает в любых испытаниях держаться королю, на что были бы способны немногие, и именно за это он мог бы удостоиться прозвища Великий, которое дано ему было крайне преждевременно. Именно этим снискал он неподдельное восхищение всей Европы, а равно и тех своих подданных, кто был тому свидетелем; именно этим он вернул себе многие сердца, которые отвратились от него за долгие и тягостные годы его царствования. Он сумел втайне смириться под десницей Господа, признать праведность Его суда, молить Его о милосердии, не унизив ни своего достоинства, ни своей короны в глазах людей, а напротив, тронув их возвышенностью своих чувств. И счастлив был бы он, если бы, любя длань, что насылала на него удары, и принимая их с достоинством, которое безмерно возвышало его смирение, он обратил бы взоры на очевидные и еще устранимые причины, которые были явны всем, кроме стоящих вокруг него, а не занимался бы теми, которые уже невозможно было исправить, а следовало только признать, сокрушаться да предаваться бесполезному раскаянию!

Какое поразительное смешение света и непроницаемой тьмы! Жажда все знать, стремление всего остерегаться, чувство, что у него связаны руки, вызывавшее негодование и приведшее к тому, что он признался в этом, говоря о своем завещании членам парламента и сразу после них королеве Английской;[161] безраздельное сознание собственной несправедливости и бессилия, в чем он сам признался, более того, сказал в лицо своим побочным детям, и вместе с тем полная покорность им и их гувернантке, ставшей гувернанткой для него и для всего государства, причем покорность до того полная, что он даже ни на вот столечко не позволял себе выйти из их воли; уже чуть ли

не с радостью почти отвергнув их, дав им почувствовать свои подозрения и свое недовольство, он пожертвовал ради них всем: своим государством, семейством, единственным наследником, славой, честью, разумом, внутренним побуждением совести, наконец, своей личностью, волей, свободой, всем полностью; о, такая огромная жертва достойна быть принесена только Богу, не будь она сама по себе омерзительна! Он принес им эту жертву, но дал почувствовать, сколь она тщетна, сколь тягостна и чего стоила ему, чтобы получить тем самым хоть какое-то удовлетворение и облегчить свою рабскую зависимость, но только иго, которое он влачил, не стало от этого легче; ведь дети чувствовали свою силу, свою неизменную и настоятельную потребность пользоваться ею и все туже стягивали цепи, которыми сковали отца, терзаясь непреходящим страхом, как бы он не вырвался от них, если они дадут ему чуточку свободы. И он стенал в оковах — он, монарх, который держал в них всю Европу, наложил тяжкие цепи на своих подданных всех состояний, на своих родных всех возрастов, преследовал любое проявление свободы, вплоть до того, что отнял свободу совести у всех — даже у святых и у людей самых чистых помыслов. Он не сумел сдержать душераздирающий стон, и тот вырвался у него. Невозможно было иначе истолковать его слова, что он «купил себе покой», сказанные королеве Английской и членам парламента при передаче им завещания; это он, который всегда говорил лишь то, что хотел сказать, не смог сдержаться и признался им, как уже рассказывалось в своем месте, что «его принудили, заставили сделать то, чего он не хотел и чего, по его убеждению, не должно было делать». Странная принужденность, странная беспомощность, странное признание, вырвавшееся под влиянием чувства и отчаяния! О, что за зрелище — монарх, вполне сознающий свое положение и во всем уступающий! Что за противоречие: сила и непревзойденное величие в бедствиях и ничтожность и слабость перед презренным, подлым и деспотичным домочадцем! Какое потрясающее подтверждение тому, что было изречено Духом Святым в Ветхом завете, в книгах Соломона о тех, кто вверяется любви и предается власти женщин! Какое завершение царствования, столь долго бывшего предметом восхищения, но даже и в злополучные последние годы блиставшего величием, благородством, мужеством и силой! И какую бездну слабости, ничтожности, позора, унижения ощутил, изведал, испил, возненавидел и все же выдержал во всей ее безмерности сей монарх, будучи бессилен ослабить и облегчить гнет сковывающих его цепей! О Навуходоносор,[162] кто сможет измерить всю глубину возмездия Божьего и кто не падет во прах

пред ним!

В своем месте уже рассказывалось, как детей короля и г-жи де Монтеспан постепенно и последовательно извлекали из глубокого и беспросветного ничтожества, положенного плодам двойного прелюбодеяния, и то, как обыкновенно, хитростью, то неприкрытым насилием, то законодательно- с помощью королевских грамот, признания, зарегистрированных эдиктов — возносили выше законного и исключительного, вплоть до признания их правоспособности наследовать трон, положения, какое имели принцы крови. Даже один пересказ всего бесчисленного множества подобных фактов составил бы целый том, а из собрания всех этих чудовищных документов собрался бы еще один, только куда толще. Но самое странное, что король всегда не желал давать им такие привилегии, но всякий раз соглашался на них; он даже не хотел давать им позволения на брак, я имею в виду сыновей, глубоко убежденный в их ничтожности и прирожденной низости и понимая, что вознесены они одной только его безграничной властью и после его смерти обязательно рухнут. Это он неоднократно повторял им, когда кто-нибудь из них заговаривал с ним о женитьбе. Повторял он это им и когда они достигли предела величия, и за полтора месяца до кончины, когда вопреки собственному желанию он нарушил все, вплоть до собственной воли, склонившейся перед его же слабостью. Уже известно, но следует неустанно напоминать о том, что он им сказал и что вырвалось у него в разговоре с королевой Английской и членами парламента. Можно вспомнить и о приказе, какой он недвусмысленно дал маршалу де Тессе, который потом рассказывал о нем мне и другим, а заключался приказ в том, чтобы не уклоняться от руководства герцогом Вандомским, которого посылали тогда в Италию и ставили во главе армии, и о том, как с сокрушенным видом король добавил, что «не следовало приучать этих господ к такой обходительности»; герцог же Вандомский очень скоро, не имея даже патента, стал командовать маршалами Франции, причем такими, кто уже задолго до него командовал армиями. Несчастьем всей жизни короля и все возрастающим бедствием для Франции было возвышение побочных детей, коих перед своей кончиной он неслыханно возвеличил и укреплением положения коих главным образом и занимался в последние дни, сделав их могущественными и опасными. Находившиеся в их руках адмиралтейство, артиллерия, тяжелая конница, отдельные роты ее и полки, швейцарская гвардия, серые мушкетеры, провинции Гиень, Лангедок и Бретань уже вынуждали считаться с ними, а он еще отдал им должность обер-егермейстера, чтобы им было чем

развлечь юного короля и угодить ему. Уравнение их в ранге с принцами крови вынудило короля нарушить все самые древние, святые, основные и неприкосновенные установления, права и законы королевства. Это ему стоило еще и разногласий с иностранными державами, в особенности с Римом, которому пришлось пойти на уступки в важнейших вопросах, и тот лишь после долгой борьбы согласился, чтобы посланники и папские нунции воздавали бастардам те же почести и то же уважение, что принцам крови, и так же обращались к ним.

Те же соображения, как уже говорилось в начале этих «Мемуаров», поставили герцогов Лотарингских выше остальных герцогов при посвящении в кавалеры ордена Св. Духа в 1688 году вопреки склонности короля и в нарушение справедливости, что он сам признавал и в чем признался герцогу де Шеврезу, и вынуждали поддерживать их при всяком удобном случае, чтобы вынудить их пойти на уступки побочным детям короля. Из этих же соображений было сокрыто принесение герцогом Лотарингским клятвы в верности, чем он так странно попытался воспользоваться. Того же преимущества добились архиепископ Кельнский и курфюрст Баварский[163] к позору и умалению величия короны. Чудовищные браки герцога Шартрского, ставшего впоследствии герцогом Орлеанским и регентом, и его высочества герцога, брак дочерей, родившихся от этих браков, с герцогом Беррийским и принцем де Конти привел к последствиям, которые король увидел воочию и которым потворствовал, а именно: кроме его единственного наследника и испанской ветви, лишенной в силу отречения и договоров прав на французский престол, а также мадемуазель де Ла-Рош-сюр-Йон, рожденной от брака принца де Конти и старшей дочери его высочества Принца, не осталось ни одного представителя французского королевского дома ни по мужской, ни по женской линии, не происходящего от связи короля с г-жой де Монтеспан, ни одного, кому бы она не приходилась матерью или бабкой, и если герцогиня Мэнская не происходила от нее, то зато она вышла замуж за ее сына, рожденного от короля. Единственная дочь короля и г-жи де Лавальер вышла за старшего из двух принцев де Конти, но не имела от него детей, однако не вина короля, что эта единственная ветвь принцев крови избегала смешения с кровью бастардов до тех пор, пока в конце концов не запятнала себя ею в следующем поколении. Не забудем также, что именно отказ принца Оранского от руки побочной дочери возбудил в сердце короля ненависть к нему, которую не смогли смягчить ни изъявления почтения, ни неустанные попытки примириться, ни покорность, и вынудил сего прославленного

государя вопреки его желанию стать врагом короля и Франции; что эта ненависть стала поводом и роковой причиной создания всех коалиций и войн, под бременем коих король едва не рухнул; словом, что эта ненависть была тоже плодом незаконной связи, который верней было бы назвать гибельным плодом.

Это смешение чистейшей, можно даже с гордостью сказать-самой чистой в мире, крови наших королей с помоями, отравленными двусторонним прелюбодеянием, стало делом всей жизни короля. Он получал чудовищное удовлетворение, истощая их взаимным перемешиванием, и довел до предела кровосмешение, доселе неведомое миру, после того как первый из людей среди всех наций извлек из ничтожества плоды двойного прелюбодеяния и дал им жизнь, отчего поначалу содрогнулся весь мир-и просвещенные народы, и варвары, — но с чем он заставил их свыкнуться. Фортуна неизменно способствовала и покровительствовала побочным детям, тогда как перед принцами крови, начиная с Месье, всегда воздвигала непреодолимые препятствия. И все это были плоды безмерной гордыни, вынуждавшей короля смотреть разными глазами на своих побочных детей и на принцев крови, на несколько поколений своих потомков, могущих наследовать престол, право на каковой они получали поочередно, и на детей, родившихся от его любовных связей. Первых он рассматривал как детей государства и короны, возвеличенных уже этим и без его участия, вторых же любил как собственных чад, которые по всем законам могли быть только частными лицами, но стали всем как творения его рук и могущества. Гордыня и любовь объединились в нем для их блага; надменная радость от сознания, что он может творить чужие судьбы, беспрестанно разжигаемая ревнивой оглядкой на природную независимость от него величия принцев крови, заставляла его без конца возвышать бастардов. Раздраженный невозможностью сравняться с природой, он пожалованными с самого начала должностями и титулами несколько приблизил побочных детей к принцам крови. Потом он попытался соединить их воедино неслыханными, чудовищными, перекрестными браками, чтобы сделать из них одну и общую семью. Единственный сын его единственного брата с помощью самого откровенного насилия был в конце концов принесен в жертву этому замыслу. Затем, ободренный усиливающейся дерзостью бастардов, король окончательно уравнял их с принцами крови. А перед самой кончиной он совершенно поддался им, даровав им право принадлежности к династии и право наследовать трон, словно в его силах было это устанавливать и делать людей теми, кем они не были по рождению. Но это еще не все. Его последние

заботы и распоряжения были всецело направлены на их благо. Оттолкнув от себя племянника вследствие козней герцога Мэнского и г-жи де Ментенон, старательно укреплявших его в таком отношении к герцогу Орлеанскому, он влек ярмо, которое позволил им надеть на себя, и до дна испил чашу горечи, которую они ему уготовили. Нам уже известно про его попытки воспротивиться, про его мучительные сожаления, — но он не смог восстать против того, что они ему навязывали. Он бесповоротно принес им в жертву своего наследника и, насколько это было в его возможностях, свое королевство. Предварительный выбор воспитателей будущего короля имел единственную цель — интересы бастардов, никакой иной у него не было: Главным воспитателем назначен был герцог Мэнский, а в помощь ему был поставлен маршал де Вильруа, человек, во всей Франции самый неспособный для этой должности; добавим, что в момент назначения ему был семьдесят один год, а принцу, воспитывать которого ему надлежало, — пять с половиной. Сомри, презренный помощник воспитателя герцога Бургундского, отказавшийся сопровождать своего воспитанника во время Лилльской кампании под предлогом, что ему нужно лечиться на водах, самым гнусным образом зарекомендовал себя по возвращении сторонником герцога Вандомского, с камарильей которого был тесно связан. Его продажности и готовности на все оказалось вполне достаточно, чтобы герцог Мэнский выбрал его в помощники воспитателя будущего короля. Не знаю, кто порекомендовал Жоффревиля вторым помощником воспитателя, но он был слишком порядочным человеком, чтобы принять должность, требующую продажности, и потому отказался. Его заменили Рюффе. Он носил фамилию Дамас, не принадлежа к этому роду, был беден, недалек, мечтал лишь о богатстве, а в ожидании его кое-как перебивался; имение его находилось в княжестве Домбском и, значит, под всегдашним покровительством герцога Мэнского, каковой и остановил свой выбор на Рюффе, несмотря на сомнительное его происхождение; сам он даже не представлял всех опасностей, связанных с этой должностью и вообще имел о ней самое приблизительное понятие. Остальных выбирали точно таким же образом; г-жа де Ментенон остановила выбор на Флери, который вполне устраивал ее и который ради этого оставил епископскую кафедру во Фрежюсе. Но и при таком окружении герцог Мэнский еще не чувствовал себя вполне в безопасности. Обеспечивала же ее приписка к завещанию, учиненная всего за несколько дней до смерти короля и ставшая последним делом сего монарха и последней жертвой, принесенной им кумиру, какого он сотворил себе из своих побочных детей. Следует

напомнить: по этому последнему акту дворцовое ведомство и гвардия подчинялись всецело и исключительно герцогу Мэнскому и находящемуся под его началом маршалу де Вильруа, в обход и изъятие их у герцога Орлеанского, так что тот ничем не мог распоряжаться и никто не подчинялся ему, повинуясь во всем лишь обоим воспитателям, становившимся, таким образом, хозяевами двора и Парижа, а регент оказывался полностью в их руках, не имея никаких гарантий безопасности. Но и эти чудовищные предосторожности показались недостаточными, поскольку нельзя было предвидеть все, что может произойти. Потому на случай смерти герцога Мэнского или маршала де Вильруа заменой им во всем и всюду назначались граф Тулузский и маршал д'Аркур, за которого поручилась г-жа де Ментенон, хотя последний по причине апоплексической комплекции был еще менее годен к такой высокой должности, чем маршал де Вильруа, если бы такое оказалось возможным. В завещании были таким образом названы члены и установлены обязанности регентского совета, что герцог Орлеанский как регент лишался всякой власти, а совет почти полностью состоял из людей, преданных герцогу Мэнскому, которых герцог Орлеанский особенно должен был остерегаться. Такими вот были последние заботы короля, последние проявления его предусмотрительности, последние знаки его могущества, а верней сказать, бессилия в плачевном конце жизни; создалось весьма прискорбное положение: король бросал своего наследника и свое королевство на произвол неприкрытого и безграничного властолюбия того, кто должен был бы вечно пребывать в безвестности и кто подвергал государство опасности гибельнейших раздоров, восстанавливая против регента людей, обязанных во всем ему покоряться, и ставя его перед неотложной необходимостью вернуть себе свои права и власть, от которой осталось лишь одно название, избавиться от позорного бессилия, полнейшей беспомощности и неуклонно осязаемых повседневных и доподлинных Опасностей, которые еще более усугублялись возрастом принцев крови. И уж от этого память о короле не может быть отмыта ни перед Богом, ни перед людьми. Вот она последняя пропасть, куда завели его гордыня и слабость, женщина более чем сомнительного происхождения и дети от двойного прелюбодеяния, которым он покорился и из которых сделал своих тиранов, после того как долго тиранил их и многих других, пропасть, куда неосторожно и бесстыдно толкнули его они и тот негодяй, что звался его духовником, — о. Телье. Вот они — раскаяние, кара и публичное искупление двойного прелюбодеяния, которое столь долго вопияло к небу и позорило его перед всей Европой; вот последние чувства

безмерно греховной души, готовой предстать перед Богом и к тому же отягощенной пятидесятишестилетним самостоятельным царствованием, во время которого из-за спеси, роскоши, строительства дворцов, излишеств во всем, непрестанных войн и гордыни, ставшей источником и кормилицей всех этих войн, было пролито столько крови, растрачено столько миллиардов и внутри и вне страны, столько раз возжигалось пламя, охватившее всю Европу, попирались и уничтожались древнейшие и священнейшие установления, правила и законы государства, а королевство было доведено до непоправимых бедствий и чуть ли не до края гибели, от которой оно было спасено лишь чудом всемогущего Господа!

Что же сказать после всего этого о неизменной и умиротворенной стойкости короля, вызывавшей восхищение в последние дни его жизни? Действительно, расставаясь с землей, он ни о чем не сожалел, душа его была спокойна и не испытывала даже малейшего нетерпения, он не раздражался, отдавая распоряжения, он видел, разговаривал, приказывал, предусматривал все, что надо будет сделать, когда он умрет, точь-в-точь как сделал бы это любой человек в трезвой памяти и здравом рассудке, и все это до самого конца делалось с соблюдением тех же внешних приличий, с той же важностью и величественностью, как он действовал всю жизнь; держался он так натурально, с таким естественным видом и простотой, что не возникало даже малейших подозрений в наи-гранности и лицедействе. Время от времени, освободившись от дел — а в последние дни, когда он всецело отстранился от них и прочих забот, и постоянно- он обращал свои помыслы к Богу, думал о спасении души, о своей ничтожности, и у него даже несколько раз вырвалась фраза: «Когда я был королем». Заранее обратившись к грядущей вечной жизни, на пороге которой он уже стоял, отрешившись от всего земного, но без сожалений, смиряясь, но без уничижения, презрев все то, в чем уже не нуждался, с добротой и душевным спокойствием утешая своих плачущих слуг, он являл собой самое трогательное зрелище; наибольшее же восхищение вызывало то, что он все время поддерживал в себе сознание собственной греховности, но без капли боязни, уповая на Господа, уповая, сказал бы я, всецело, не страшась и не сомневаясь, ибо это упование зиждилось на милосердии Господнем и жертвенной крови Иисуса Христа, покорно принимая нынешнее свое состояние, так долго длящееся, и сожалея, что не может страдать. Кто бы не восхитился столь возвышенной и в то же время столь христианской кончиной? И кто бы не содрогнулся, видя ее? Сколь простым и кратким было его прощание с семьей, сколь смиренным, но оттого не перестающим быть

величественным было его прощание с придворными, гораздо более ласковое, чем с родными! Слова, что сказал он будущему королю, достойны того, чтобы все их помнили; жаль только, что их слишком много и льстиво славили, пример чему подал маршал де Вильруа, повесивший их в алькове над своей кроватью; впрочем, это свойственно ему: у него в оружейной комнате стоял под балдахином портрет короля, и он вечно проливал слезы умиления, слушая хвалы, которыми проповедники осыпали короля с кафедр, причем в его присутствии. Король, говоря наследнику о своих дворцах и войнах, умолчал о роскоши и расточительности, ни словом не обмолвился о своих пагубных любовных связях, а уж эта тема была куда уместнее всех прочих. Но как он мог сказать об этом при своих побочных детях, тем паче что своими последними актами он завершил их чудовищное возвышение? Но если отрешиться от этого странного умолчания, а тем более от его ужасной причины, все прочее было достойно восхищения и свидетельствовало о возвышенности, поистине христианской и королевской.

Но что сказать о его словах, обращенных к племяннику, после того как он составил завещание и, более того, сделал к нему приписку, о словах, сказанных уже после принятия последнего причастия; что сказать о его двукратных заверениях, определенных, ясных, четких, что тот не найдет в его распоряжениях ничего такого, что могло бы его огорчить, меж тем как и завещание и приписка были сделаны лишь для того, чтобы племянника обесчестить, ограбить и, будем уж откровенны до конца, погубить? И тем не менее король его убеждает, хвалит, ласкает, поручает ему своего наследника, полностью изъяв того из-под опеки, свое королевство, которым он будет якобы править один, меж тем как король на самом деле лишил его всякой власти и только что с головой выдал врагам, причем обставил все это поразительными предосторожностями, а именно за всеми распоряжениями направлял к племяннику, словно отныне ему одному положено распоряжаться всем и всеми. Что это — коварство? Ложь? Шутка умирающего? Как разгадать эту загадку? Попытаемся убедить себя, что у короля был ответ на эти вопросы. И ответ следующий: он, очевидно, всегда верил в невозможность осуществления того, к чему его вынудили и что по слабости он позволил у себя вырвать. Скажем больше, он не сомневался, может быть, даже надеялся, что беззаконное и возмутительное завещание, способное разжечь пожар в его семействе и королевстве, которое ему пришлось даже хранить в глубокой тайне, не найдет такой поддержки, какую получило завещание короля, его отца, мудрое, разумное, взвешенное, справедливое,

оглашенное им самим при подлинно всеобщем одобрении. Вполне возможно, все-сознание насилия, которому он подвергся, те горькие слова, которые он сказал своим побочным детям, подписав завещание, членам парламента, вручая его, королеве Английской в тот же миг, как только увидел ее. причем заговорил об этом первый и словно бы исполненный огорчения, можно даже добавить-досады на собственную слабость и на безмерное злоупотребление ею самым близким человеком, без которого он не мог обойтись; чудовищное добавление к завещанию, которое у него вырвали, когда он уже принял последнее причастие и готовился к смерти, отчего и был способен понять всю ужас-ность этого акта, но воспротивиться ему оказался не в силах; вся совокупность, все чудовищное сочетание беззаконий, нарушений всяческой справедливости, дабы сделать из своих побочных детей и главным образом из герцога Мэнского безмерно могущественного колосса; попрание всех законов и племянника, а может быть, и погубление государства и своего наследника, преданных во враждебные и, не побоюсь преувеличения, жестокие руки, уже столь близкие к захвату престола, и безмерное нагромождение несправедливостей, весьма между собой согласованных, но настолько скверно замаскированных, что, как ни старайся, они бросались в глаза, — повторяю, вполне возможно, что все это убеждало его в невозможности и неисполнимости того, к чему его принудили. Он ведь никогда не верил — и неоднократно это высказывал — в то, что хотя бы один из актов, которые он подписал или одобрил в последние дни, переживет его. И, разговаривая с герцогом Орлеанским, он, возможно, как никогда, льстил себя этой уверенностью, чтобы успокоить свою совесть, исполненный раскаяния оттого, что всего лишь час назад ему пришлось подписать дополнение к завещанию. Очевидно, он беседовал с племянником до и после подписания добавления, полный таких мыслей, и, следственно, мог всерьез рассматривать его как правителя государства и так и говорить с ним. Во всяком случае, такое вполне можно допустить.

Но кто бы не изумился до крайности — и это нельзя не повторить — умиротворенной и неизменной безмятежностью короля на одре смерти, невозмутимым душевным миром, не смущаемым даже легким проблеском страха, безмерным благочестием, которому он со рвением посвящал каждую минуту? Врачи предполагали, что причина, которая притупляла и даже снимала физические страдания, а именно полное заражение крови, подавляла душевные страдания и умственное возбуждение, а король действительно умирал от этой болезни. Другие, те, кто бывал во время его последней болезни у него в

спальне и неотлучно находился при нем в последние дни, называют другую причину. В Общество Иисуса входят и миряне всех состояний, даже женатые, и это достоверный факт. Нет никаких сомнений, что Нуайе, государственный секретарь при Людовике XIII, принадлежал к ним, равно как многие другие. Приобщенные эти дают те же обеты, что иезуиты, но такие, какие позволяет им их положение, то есть обет безоговорочного подчинения генералу ордена и провинциалам Общества. Обет бедности и целомудрия для них заменяется обязанностью слепо служить и оказывать всемерную помощь Обществу, а главное, быть во всем покорными начальникам по ордену и своим духовникам. Они должны были исполнять несложные религиозные обязанности, которые духовник назначал им сообразно их возрасту и уму и по своему желанию мог даже упрощать. Орден, освободив их от тревог о вечной жизни, имел взамен всемерную поддержку таких вот тайных помощников. Однако они не должны были таить ни одно движение души, ничего из того, что они узнавали, от духовника, а также от начальников, если только это не было тайной их совести и если духовник не почитал это необходимым. И еще они должны были исполнять все приказы своих руководителей и духовника, без возражений повинуясь им. Говорят, будто о. Телье уговорил короля еще задолго до смерти присоединиться к Обществу Иисуса, соблазнив его определенными преимуществами касательно вечного спасения и полного отпущения грехов, необходимого для такового спасения; он убедил короля, что, какие бы грехи тот ни совершил и как ни трудно было бы их искупить, тайный обет, данный ордену, все их смоет и даст верное спасение при условии исполнения этого обета; якобы генерал Общества Иисуса с согласия короля был посвящен в тайну, король принес обет о. Телье, и будто бы один перед кончиной подтвердил свой обет, а второй подтвердил свои обещания; и наконец, якобы король получил последнее благословение Общества как один из его членов и над ним были прочитаны молитвы по особой форме, которые не оставляли в том сомнения, и якобы кто-то их частично подслушал; а еще ему будто бы дано было облачение или секретный знак принадлежности к Обществу, что-то вроде нарамника, и будто бы этот нарамник был обнаружен на короле. Наконец, большинство из тех, кто был тогда при короле, пребывали в убеждении, что именно уверенность в искуплении своих грехов за счет других — гугенотов, янсенистов, врагов иезуитов и просто не сторонников их, защитников прав королей и народов, защитников канонов и иерархии от тирании и ультрамонтанских притязаний, а также

фарисейское пристрастие к букве закона и внешним проявлениям веры дали ему это поразительное хладнокровие в те страшные минуты, когда обыкновенно исчезает даже спокойствие, основывающееся на сознании невинности и подлинном покаянии, которое, казалось бы, должно давать неколебимую уверенность. Вот они, ужасные законы искусства лжи, создающей во всех сословиях тайных иезуитов, чье невежество во всех важных делах служит ордену, который добивается этого, уверяя, что обеспечит вечное спасение без раскаяния, без искупления, без подлинного покаяния, какую бы жизнь ни вел человек; вот она, омерзительная доктрина, что ради земных выгод обманывает грешников до смертного часа и ведет их к могиле по пути, усыпанному цветами. Так умер один из величайших на земле королей, оказавшийся в руках бесчестной и преступной супруги и детей от двойного прелюбодеяния, которым он покорился до полного самозабвения ради них, умер, приняв последнее причастие от сына другой своей возлюбленной, безмерно осыпанного милостями, которых его мать добилась для своей семьи, и получив последнюю помощь лишь от духовника, каковым, как известно, был о. Телье. Эту смерть не назовешь смертью святого: у святых не бывает такого окружения.

Впрочем, те, кто его окружал, не остались с ним до конца. Завладев королем и его спальней, они допускали туда лишь немногих преданных людей, которые были им необходимы, однако перестали ухаживать за ним, как только добились своего. Едва добавление к завещанию было составлено и передано Вуазену, их труды завершились и они без всякого стыда сбежали. После того как они добились от умирающего всего, даже невозможного, он уже ничего больше не мог им дать, и сразу же заботы об умирающем показались им слишком тяжкими и обременительными, чтобы и далее оставаться свидетелями столь горестного и не приносящего никаких выгод зрелища. Здесь уже рассказывалось, что, когда король с нежностью сказал г-же де Ментенон о надежде скоро соединиться с нею, это страшно не понравилось престарелой прелестнице, которая, не довольствуясь тем, что была королевой, видимо, хотела стать бессмертной. Рассказывалось и о том, что в среду, то есть за четыре дня до смерти короля, она навсегда оставила его и что король, узнав об этом, ужасно огорчился и непрестанно звал ее, почему ей и пришлось вернуться из Сен-Сира, однако у нее не хватило терпения дождаться его кончины, она опять уехала, и уже навсегда. Бисси и Роган, радуясь, что смогли отразить удар и не допустить возвращения кардинала де Ноайля, более не утруждали себя никакими заботами, а кардинал де Роган даже

оставил короля без мессы, так что, не окажись там Шаро, о ней и речи бы не могло быть, хотя король оставался в полном сознании, и, когда его спросили, не желает ли он послушать мессу, он ответил согласием: что касается ума и речи, он был как вполне здоровый человек.

Герцог Мэнский также выказал всю доброту души и безмерную признательность отцу, который всем пожертвовал ради него. Он присутствовал, когда тот провансалец, о котором я уже рассказывал, принес королю свой бальзам. Фагон, привыкший деспотически обращаться с врачами, счел метод этого мужика слишком грубым, но тот дерзко оборвал его. Герцог Мэнский, которому больше нечего было вытягивать из короля и который уже считал себя хозяином королевства, в тот же вечер рассказал своим приближенным в столь присущей ему шутливой манере и с тонким остроумием историю про то, как грубиян взял верх над врачом, живописал изумление, возмущение и унижение Фагона, испытанное тем впервые в жизни на закате своей врачебной карьеры и надежд, и о том, как он что-то буркнул, но промолчал, не посмев ответить из боязни нарваться на худший отпор. Сей любящий и нежный сын так весело рассказывал эту историю, что слушатели разразились громким хохотом, которому вторил и он сам, и смех стоял довольно долго. Чрезмер ная радость оттого, что он достиг всемогущества, свободы и предела чуть ли не всех своих желаний, заставила его забыть о непристойности своего поведения, каковое не осталось незамеченным в передних и на галерее, куда выходили его покои, располагавшиеся на одном этаже и рядом с дворцовой церковью: придворные, проходившие по галерее, слышали эти взрывы смеха. Герцог Мэнский прекратил проявлять уже бесполезные заботы. То было для него слишком трогательное зрелище; он предпочел лишь изредка и на миг появляться у умирающего, замкнувшись вместе со своей скорбью у себя в кабинете, где проводил время коленопреклоненным у распятия либо размышлял о будущих своих приказах ради укрепления всего, что ему удалось присвоить.

О. Телье давно уже перестал заниматься умирающим. Он не смог добиться, чтобы ему передали раздачу множества свободных бенефиций; кардинала де Ноайля он уже не опасался, после того как Бисси и он вместе с г-жой де Ментенон предотвратили его возвращение. Теперь ему нечего было ни бояться, ни ждать от короля, и он предался другим занятиям, так что слуги при внутренних покоях и даже при королевских кабинетах возмущались его отсутствием, а некоторые, как, например, Блуэн и Марешаль, принуждали его к исполнению своих обязанностей и

несколько раз посылали его искать. Король часто спрашивал его, но его обычно не было поблизости, а бывало, он и вообще не приходил, поскольку его не удавалось отыскать ни у себя, ни в других местах. К королю он обыкновенно подходил всего на несколько минут и удалялся, когда ему заблагорассудится. В последние дни, когда король был уже при смерти, он приходил еще реже, хотя единственный духовник не должен отходить от ложа умирающего. Но было ясно, что милосердие, заботливость, не говоря уже о преданности и благодарности, не входят в число признанных добродетелей этого величайшего лицемера, которому пороки и коварство не привили склонности, умения и таланта к напутствованию умирающих. Его непрерывно приходилось разыскивать, и так же непрерывно он сбегал; таковым своим недостойным поведением он возмущал всех, кто мог находиться и находился в комнате короля с тех пор, как после исчезновения г-жи де Ментенон и герцога Мэнского вход туда стал и оставался свободным.

Справедливость требует от меня добавить относительно о. Телье следующее: впоследствии из любопытства я поинтересовался у Марешаля его мнением насчет слухов о принятии королем иезуитского обета и вообще обо всем том, о чем я рассказывал выше. Марешаль, человек крайне правдивый и не терпевший о. Телье, заверил меня, что никогда не замечал ничего, что можно было бы истолковать подобным образом, не слышал ни особых молитв, ни особого благословения, не видел на короле ничего похожего на нарамник, и добавил, что, по его убеждению, во всех этих россказнях нет ни капли правды. Но Марешаль при всем его усердии не всегда находился в комнате, а тем паче у постели короля; о. Телье мог остерегаться его и таиться; однако, несмотря на это, я не могу поверить, будто Марешаль, произойди там действительно что-либо подобное, ничего бы об этом не знал и у него не возникло бы даже подозрений на этот счет.

Теперь, представив правдиво и с самой достоверной точностью все, что мне довелось либо самому узнать как свидетелю, либо услышать от тех, кто был очевидцем или принимал участие в делах и событиях в течение двадцати двух последних лет долгого царствования Людовика XIV, и беспристрастно показав его таким, каким он был, хоть я и позволял себе высказывать соображения, естественно вытекающие из самих событий, мне остается лишь описать внешнюю сторону жизни этого монарха, какой я знал ее с тех пор, как постоянно жил при дворе.

Какими бы ничтожными и, возможно, ненужными после всего

рассказанного о внутренней жизни при дворе ни показались подробности, происходившие у всех на глазах, они, быть может, все-таки несут в себе уроки для королей, которые хотели бы достичь уважения и уважать самих себя. И еще меня укрепляет в этом решении то, что, как бы ни скучны, скажу даже больше, как бы ни надоедливы были эти подробности для читателя, знающего о них от тех, кто мог самолично их видеть, они очень скоро забываются и не доходят до потомков; опыт же учит нас, что мы крайне сожалеем, обнаружив, что никто не взял на себя труд, неблагодарный для своего времени, но интересный для потомства, точно и подробно описать государей, вызывавших в мире такие толки, как тот, о котором рассказывается здесь. И хоть не повторяться крайне трудно, я постараюсь, насколько возможно, избегать этого.

Не стану говорить об образе жизни короля, когда он пребывал при армии — его распорядок определялся тогда делами, которыми предстояло заняться, хотя он все равно регулярно проводил советы; скажу только, что обедал и ужинал он тогда только с людьми, кто по достоинству мог получить такую честь. Когда кто-то мог претендовать на нее, у короля испрашивалось позволение через дежурного камер-юнкера. Король давал ответ, и, если он был благоприятным, на следующий день следовало представиться королю, когда он направлялся обедать, и король говорил: «Сударь, приглашаю вас к столу». После этого человек уже навсегда имел привилегию есть за королевским столом, когда хотел, но этим не следовало злоупотреблять. Воинского звания, даже звания генерал-лейтенанта, для этого было недостаточно. Известно, что г-н де Вобан, генерал-лейтенант, уже многие годы удостаивавшийся самых значительных отличий, впервые добился этой чести по окончании осады Намюра и был бесконечно польщен ею, меж тем как многие, имевшие чин полковника, получали ее без всякого труда. В Намюре король оказал такую же честь аббату де Грансе, который, рискуя жизнью, исповедовал раненых и поддерживал в войсках дух. Он был единственным аббатом, взысканным такой честью. Все прочее духовенство, за исключением кардиналов и епископов-пэров, а также священнослужителей, имевших ранг иностранных принцев, никогда ее не имели. Кардинал де Куален, который прежде, чем получить кардинальский пурпур, был епископом Орлеанским, первым королевским капелланом и сопровождал короля во всех походах, и архиепископ Реймсский, [164] тоже всегда сопровождавший короля как священник его походной церкви, наблюдали, как их братья, герцог и шевалье де Куален, едят за королевским столом, но сами никогда на место за

ним не притязали. Несмотря на все предпочтения, какие король оказывал своему конвою, за королевским столом не обедал ни один офицер из этой части, кроме маркиза д'Юрфе, удостоившегося этой чести не знаю за что, поскольку это произошло задолго до меня; из полка королевской гвардии — только полковник, так же как и капитаны личной охраны. Во время этих трапез все были в шляпах, сесть за стол с непокрытой головой означало нарушение приличий, о чем вас тотчас же предупреждали; даже Монсеньер был в шляпе, с непокрытой головой сидел только король. Шляпу снимали лишь тогда, когда к вам обращался король либо вы обращались к нему; ежели после начала обеда кто-нибудь из лиц, достойных занимать место за столом, подходил засвидетельствовать свое почтение, ограничивалось тем, что прибывший просто подносил руку к шляпе. Еще обнажали голову, разговаривая с Монсеньером и Месье или когда они обращались к вам. При обращении же к принцам крови или при их обращении к вам также ограничивались простым поднесением руки к шляпе. Вот что я видел при осаде Намюра и слышал от придворных. Места за столом около короля занимали по титулам, а после по чинам; ежели оставались свободные места, все передвигались ближе к нему. Несмотря на то что это происходило в армии, маршалы Франции не имели преимуществ перед герцогами, и все они, а равно иностранные принцы и титулованные особы, рассаживались как придется, без предварительного распределения мест. Но если случалось, что какой-нибудь герцог, принц или маршал Франции до сих пор еще не сидел за королевским столом, ему следовало обратиться к первому камер-юнкеру. Понятное дело, это было несложно. Не делать этого могли лишь принцы крови. За столом в кресле сидел только король, у всех прочих, включая Монсеньера, были стулья со спинками, обтянутыми черным сафьяном, складывающиеся для удобства перевозки: их называли «попугаями». Более нигде, кроме как в армии, мужчины за королевский стол не допускались, даже принцы крови, за исключением их свадеб, когда король изъявлял согласие устроить ее. А теперь вернемся к жизни двора.

В восемь утра дежурный первый камер-лакей, ночевавший в королевской спальне, одевался и будил короля. Тогда же в спальню входили первый лейб-медик, первый лейб-хирург и кормилица короля, пока она еще была жива. Она подходила поцеловать короля, а врачи обтирали его и иногда меняли рубашку, потому что он был предрасположен к потливости. Через четверть часа вызывали обер-камергера, а в его отсутствие — камер-юнкера, проходившего годовую службу, и вместе с ними

входили те, кто имел право большого входа. Камергер либо камер-юнкер открывал полог и подносил королю чашу со святой водой, стоящую у изголовья. Они находились около кровати буквально несколько секунд, но это была возможность поговорить с королем, если им нужно было что-то ему сообщить или попросить, и остальные в таких случаях удалялись; если же они не обращались к королю, как это и бывало обыкновенно, все оставались. Тот, кто открыл полог и подал святую воду, теперь подавал молитвенник, после чего все переходили в кабинет совета. После короткого чтения молитв король звал их, и все входили снова. Тот же человек подавал ему халат, и тогда входили те, кто имел право второго входа и грамоты на свободный вход к королю; почти сразу после этого — слуги, за ними — наиболее знатные лица, а после них — все остальные, застававшие короля уже за обуванием; он почти полностью одевался сам и проделывал это весьма ловко и изящно. Брили его раз в два дня; всегда и в любую погоду он носил короткий парик, даже в постели в те дни, когда ему делали промывание желудка; без него он на людях не показывался. При одевании и туалете он чаще всего говорил об охоте, иногда обращался к кому-нибудь с несколькими словами. Сидел он не за туалетным столиком, перед ним просто держали зеркало.

Одевшись, он молился в алькове, причем все священнослужители, присутствовавшие при этом, преклоняли колени, кардиналы без подушек, миряне же оставались стоять, а капитан гвардии в это время стоял у колонки балдахина; после молитвы король переходил к себе в кабинет. Там уже находились или следовали за ним все имеющие право на вход туда, каковое давалось обладателям очень многих должностей. Король отдавал каждому распоряжения на этот день, так что становилось известно с точностью до четверти часа, чем король намерен заниматься. После этого все выходили. Оставались лишь побочные дети, гг. де Моншеврейль и д'О как бывшие их воспитатели, Мансар, а после него д'Антен, входившие как раз к этому времени, но не через спальню, а через задний ход, а также слуги. И для тех и'для других это было самое лучшее время, чтобы обсудить планы садов и дворцов, и продолжалось это обсуждение довольно долго, в зависимости от того, какие дела ждали короля. Все придворные в это время находились на галерее, и только капитан гвардии сидел в спальне у двери в кабинет, куда он входил, когда ему сообщали, что король собирается идти к мессе. В Марли придворные ожидали в салоне, в Трианоне, а также в Медоне — в передних комнатах, в Фонтенбло все оставались в спальне и в прихожей.

Этот промежуток времени предназначался для аудиенций, когда король соглашался их давать, а также для бесед, если он с кем-то хотел поговорить; тогда же давались в присутствии Торси тайные аудиенции иностранным посланникам. Они назывались тайными, чтобы отличить их от так называемых частных, которые давались без всякой торжественности в алькове после молитвы, и от официальных аудиенций.

Затем король отправлялся к мессе, во время которой его капелла исполняла какой-нибудь мотет. Вниз с хоров король спускался только в дни больших праздников или при торжественных богослужениях. По пути к мессе и обратно каждый, кто хотел, мог поговорить с ним, только требовалось, если это было не высокопоставленное лицо, предупредить капитана гвардии; король всегда выходил в церковь и возвращался через дверь одного из кабинетов, выходящих на галерею. Пока шла месса, оповещали министров, и они собирались в королевской спальне. После мессы король очень недолго отдыхал и почти сразу же созывал совет. Так завершалось утро.

По воскресеньям, а часто и по понедельникам собирался государственный совет, по вторникам — совет по финансам, по средам — государственный совет, по субботам — совет по финансам. Редко случалось, чтобы в один день созывались два совета, а в четверг и пятницу советов не было. Раз или два в месяц по понедельникам утром происходил совет по внутренним делам, но распоряжения, которые государственные секретари получали ежеутренне между одеванием и мессой, очень сокращали количество дел, рассматривавшихся на этом совете. На заседаниях советов министры сидели в зависимости от своего ранга после канцлера и герцога де Бовилье или маршала де Вильруа, который стал преемником герцога де Бовилье; на совете же по внутренним делам все стояли, пока он не заканчивался, за исключением законных потомков королей Франции, если они на нем присутствовали, канцлера и герцога де Бовилье. Изредка, когда возникало чрезвычайное дело, рассматривавшееся прежде государственными советниками, созывался специальный совет по финансам или по внутренним делам, на котором обсуждалось только это дело и куда приглашались эти государственные советники. На нем все сидели, причем государственные советники — по старшинству в этой должности между государственными секретарями и генеральным контролером; докладчик, облаченный, как и все государственные советники, в мантию, говорил стоя. Утро четверга почти всегда было свободным. То было время для аудиенций лицам, которых король

хотел увидеть, причем лицам, как правило, остававшимся неизвестными и приходившим с заднего входа; и еще это был великий день для побочных детей, для управляющих королевскими строениями и для слуг, потому что королю нечего было делать. В пятницу после мессы к королю приходил духовник, его пребывание ничем не ограничивалось и могло затянуться до обеда. В Фонтенбло в те дни, когда не бывало совета, утром после мессы король обыкновенно приходил к г-же де Ментенон, так же было в Трианоне и в Марли, если только она с утра не уезжала в Сен-Сир. Это время — ав Фонтенбло так даже до обеда- они проводили вдвоем, без министров, и никто им не мешал. Часто в те дни, когда не было совета, обед устраивался несколько раньше, чтобы потом поехать на охоту или пойти на прогулку. Обычно же обедал король в час; если совет затягивался, время обеда сдвигалось, но короля об этом не уведомляли. Нередко после совета по финансам Демаре оставался, и они с королем занимались делами.

Обедал король всегда за малым кувертом, то есть сидя один у себя в спальне за квадратным столом, стоявшим напротив среднего окна. Обед был в большей или меньшей степени плотным в зависимости от того, как распорядился утром король: подавать за малым или за очень малым кувертом; в последнем случае обед состоял из нескольких блюд и трех перемен, не считая фруктов. После того как был накрыт стол, входили главные придворные, за ними все значительные лица, после чего камер-юнкер объявлял королю, что кушать подано; он же и прислуживал ему за столом, если не было обер-камергера. Однажды маркиз де Жевр, ставший впоследствии герцогом де Тре-мом, поспорил с герцогом Буйонским, явившимся после начала обеда, утверждая, что тот не имеет права отстранить от службы за столом, но спор был решен не в его пользу. Я же сам как-то видел, как герцог Буйонский, придя в середине обеда, встал за спиной короля, прислуживавший герцог де Бовилье хотел уступить ему место, но герцог Буйонский учтиво отказался, сказав, что он сильно простужен и кашляет. Так он и остался стоять за креслом короля, а герцог де Бовилье продолжал прислуживать, но после громко заявленного отказа герцога Буйонского. Маркиз де Жевр был не прав: камер-юнкер лишь распоряжается в покоях короля и пр., но не прислуживает, эта привилегия полностью принадлежит камергеру, но зато он не имеет права распоряжаться в покоях; только в случае его отсутствия камер-юнкер прислуживает за столом, но если отсутствуют и дежурный и другие камер-юнкеры, то в покоях короля распоряжается вовсе не обер-камергер, а обер-лакей.

Очень редко видел я во время обеда за малым кувертом Монсеньора и его сыновей, при этом они всегда стояли, и король никогда не предлагал им сесть. Постоянно видел и принцев крови и кардиналов, которые тоже всегда стояли. Частенько видел я Месье, который приезжал из Сен-Клу повидать короля либо оставался после совета по внутренним делам, единственного, на который он был вхож; в начале обеда он стоял и подавал королю салфетку; чуть позже, видя, что он не уходит, король спрашивал, не желает ли он сесть; Месье отвечал поклоном, и король приказывал принести табурет, который ставили у него за спиной. Через несколько секунд король говорил: «Садитесь же, брат». Месье кланялся и садился до конца обеда, когда он вставал и подавал королю салфетку. В иных случаях, когда Месье приезжал из Сен-Клу, король, выйдя к столу, приказывал поставить для него прибор либо спрашивал, не желает ли он отобедать. Если Месье отказывается, то через некоторое время уходил, и вопрос, не желает ли он сесть, не задавался, а если отвечал согласием, то король приказывал принести ему прибор. Стол был квадратный, и Месье усаживался на противоположной — стороне спиной к кабинету. Тогда прислуживающий, обер-камергер либо камер-юнкер, наливал Месье вина, подавал тарелки и забирал те, которые он отставлял, в точности как королю, но, следует отметить. Месье принимал их службу с отменной учтивостью. Ежели же они являлись к одеванию Месье, а такое иногда случалось, то прислуживали ему вместо его камер-юнкера, чем Месье был чрезвычайно доволен. За обедом у короля он вел беседу и весьма развлекал его. При этом он, хоть и сидел за столом, подавал королю салфетку, вставая и снова садясь, а когда передавал ее обер-камергеру, то мыл руки и ею же вытирал их. Обычно за обедом король говорил очень мало, изредка вставляя в разговор слово-другое, но если присутствовали вельможи, близкие ему, он становился несколько разговорчивей; так же было и при одевании.

Парадные обеды устраивались крайне редко: по большим праздникам или иногда в Фонтенбло, когда там бывала королева Английская. На обедах за малым кувертом дамы не присутствовали, лишь изредка я видел на них супругу маршала де Ламотта,[165] которая сохранила это право еще с тех пор, когда была воспитательницей законных детей короля и приводила их к обеду. Как только она входила, ей приносили табурет, и она усаживалась, потому что грамотой была возведена в герцогское достоинство.

Встав из-за стола, король тотчас же уходил к себе в кабинет. И в этот миг высокопоставленные лица могли обратиться к нему.

Он останавливался в дверях, выслушивал и заходил в кабинет, и очень редко заговоривший следовал за ним, испросив позволения, хотя мало кто осмеливался на это. В таких случаях он вместе с последовавшим за ним становился в нишу окна, ближайшего к двери, и штора тотчас же задергивалась; отдергивал ее сам проситель, когда уходил от короля. Это время отводилось также побочным детям, внутренним слугам, а иногда смотрителям строений; все они дожидались в задних кабинетах, кроме первого лейб-медика, который присутствовал при обеде и сопровождал короля, когда тот шел по кабинетам. В это же время короля навещал и Монсеньер, если они не виделись утром; входил и выходил он через дверь, ведущую на галерею.

Король развлекался со своими легавыми, кормил их, потом шел в гардеробную и переодевался в присутствии нескольких высокопоставленных особ, которых камер-юнкер впускал по своему усмотрению, после чего сразу же через заднюю дверь и по собственной малой лестнице спускался в Мраморный двор, где садился в карету; пока он шел от лестницы к карете и по пути от кареты к лестнице по возвращении, с ним мог говорить любой, кто хотел.

Король чрезвычайно любил свежий воздух и, когда был лишен его, очень страдал от головных болей и недомоганий, причиной которых было то, что некогда он злоупотреблял духами и теперь уже много лет не выносил их, кроме запаха флердоранжа; об этом следовало помнить и, ежели надушился, не подходить близко к нему. Он был мало чувствителен к холоду, жаре и даже дождю, так что только очень сильная непогода могла помешать его ежедневным выходам на воздух. Поводов для выхода у него было всего три: раз в неделю, а то и чаще травить оленя в Марли или в Фонтенбло со своими и чужими сворами; стрелять в парках, и никто во Франции не стрелял так метко, так ловко и с таким изяществом, занимался же он этим раз или два в неделю, главным образом по воскресеньям и праздникам, а также в те дни, когда ему не хотелось устраивать большую охоту или заниматься со строителями; во все прочие дни он ходил смотреть, как продвигается строительство, и на прогулку по паркам и постройкам; иногда на прогулку приглашались дамы и устраивалось угощение в лесу Марли или Фонтенбло; в Фонтенбло же устраивались прогулки с участием всего двора вокруг канала, и это было великолепное зрелище, причем некоторые придворные выезжали на нее верхом. На других прогулках его сопровождали только самые высокопоставленные и наиболее приближенные к нему люди; исключение составляли те достаточно редкие прогулки в версальских садах, когда он один

был в шляпе, или прогулки в садах Трианона, но только в тех случаях, когда он приезжал с ночевкой и на несколько дней, а не тогда, когда приезжал из Версаля, чтобы прогуляться, а потом сразу вернуться. То же было и в Марли, но там, если он оставался, все приехавшие с ним вольны были сопровождать его на прогулке, присоединяться, уходить, одним словом, вести себя, как им нравится. Это место давало еще одну привилегию, какую не давало ни одно другое, а именно: выйдя из дворца, король громко произносил: «Шляпы, господа!» — и тотчас все придворные, офицеры гвардии, люди, служившие на строительстве дворца, все, кто шел впереди, позади и рядом с ним, надевали шляпы, причем он был крайне недоволен, ежели кто-то не надевал шляпу или даже мешкал надеть ее; в продолжение прогулки все были в шляпах, а летом или в другое время года, когда он, рано поев в Версале, выезжал в Марли просто ради прогулки, без ночевки, она продолжалась по четыре-пять часов.

Охоты на оленей были гораздо многолюднее. На них в Фонтенбло съезжались, кто хотел; в прочих местах в них участвовали лишь те, кто раз и навсегда получил на них приглашение и форменный специальный кафтан, голубой на красной подкладке с галунами — одним серебряным между двумя золотыми. Таких было довольно много, но никогда не случалось так, чтобы они все собирались одновременно. Король любил, чтобы народу было достаточно, но большое многолюдье раздражало его и мешало охоте. Ему нравились страстные охотники, но он не хотел, чтобы на охоту съезжались те, кто ее не любит; такое поведение он почитал нелепым и никогда не выражал недовольства теми, кто ни разу не участвовал в его охотах. То же можно сказать и о картах; ему нравилось, когда в Марли постоянно и по крупной играли в ландскнехт, но в салоне там стояло множество столов и для других игр. В Фонтенбло в плохую погоду он с удовольствием развлекался, смотря, как сильные игроки играют в мяч, да и сам он когда-то превосходно в него играл; в Марли он часто наблюдал за игрой в шары, в которой тоже был очень силен.

Иногда в дни, которые были свободны от заседаний совета и не были постными, и еще если в эти дни он находился в Версале, он ездил с герцогиней Бургундской, г-жой де Ментенон и дамами обедать в. Марли или в Трианон; это вошло в обыкновение особенно в последние три года его жизни. Летом к выходу короля из-за стола являлся министр, которому было назначено заниматься с ним делами, а после окончания работы король до вечера проводил время в прогулках с дамами, играл с ними в карты и довольно часто устраивал им беспроигрышную лотерею,

ничего не беря за билеты; то был изысканный способ одарить их подарками, всякими полезными вещицами, наподобие тканей, серебряных изделий либо украшений, дорогих или просто изящных, как кто вытянет жребий. Г-жа де Ментенон тянула билеты наравне со всеми и сразу же кому-нибудь дарила свой выигрыш. Король билетов не тянул, и частенько в лотерее на один выигрыш оказывалось несколько билетов. Кроме этих дней, такие лотереи часто устраивались, когда король обедал у г-жи де Ментенон. Он поздно додумался до этих обедов; очень долгое время они бывали крайне редки, а к концу его жизни устраивались раз в неделю, на них присутствовали приближенные дамы, была музыка и играли в карты. В лотереях участвовали придворные и приближенные дамы, но после смерти дофины придворные дамы уже не приглашались, за исключением г-жи де Леви, г-жи Данжо и г-жи д'О, которые входили в число приближенных. Летом, выйдя из-за стола, король работал с министрами у себя, а когда дни становились короче, то вечерами у г-жи де Ментенон.

Когда король откуда-нибудь возвращался, любой желающий мог поговорить с ним, пока он шел от кареты до малой лестницы. Потом король переодевался и оставался у себя в кабинете. И это было "наилучшее время для побочных детей, вну-тренних^слуг и служащих по ведомству построек. В день таких пауз было три, и они предназначались для вышепоименованных, для устных и письменных доносов и докладов, а также для написания писем, если королю нужно было собственноручно написать кому-нибудь. После прогулки король проводил у себя в кабинете час или чуть дольше, а затем шел к г-же де Ментенон, и по дороге к нему опять мог обратиться любой желающий. В десять вечера подавали ужин. Дежурный дворецкий с жезлом в руке шел оповестить дежурного капитана гвардии, который находился в маленькой передней покоев г-жи де Ментенон, куда подходил к этому времени, извещенный дежурным гвардейцем. Лишь капитаны гвардии имели доступ в эту крохотную переднюю, что находилась между комнатой, где сидели король и г-жа де Ментенон, и другой, тоже маленькой передней для офицеров и площадкой лестницы, где собирались придворные. Капитан гвардии становился в дверях, объявлял королю, что кушать подано, и тотчас же возвращался в переднюю. Через четверть часа король отправлялся ужинать, ужин всегда проходил за большим кувертом, и по пути от передней г-жи де Ментенон до стола с королем опять мог заговорить любой, кто хотел. Во время ужина, проходившего всегда за большим кувертом с участием всей королевской семьи, то есть только сыновей и дочерей, внуков и внучек короля,

присутствовало всегда большое количество придворных и дам, как имевших право табурета, так и стоявших, а накануне поездок в Марли — и всех тех, кто хотел туда поехать; это называлось «представиться для Марли». Мужчины испрашивали позволения поехать утром, говоря королю: «Государь, Марли». В последние годы жизни королю это надоело; синеливрейный слуга на галерее записывал имена тех, кто испрашивал позволения поехать; им следовало прийти и внести себя в список. Но дамы по-прежнему представлялись королю.

После ужина король, окруженный придворными, несколько минут стоял, прислонясь спиной к колонне балдахина в изножье кровати, после чего, откланявшись дамам, переходил к себе в кабинет, где отдавал распоряжения на завтра. Там он проводил чуть меньше четверти часа со своими детьми и внуками, законными и побочными, а также их мужьями и женами; они все стояли, король же сидел в кресле, Месье, с которым в приватной обстановке он обращался как с братом, тоже сидел; Монсеньер стоял, равно как и остальные принцы, а принцессы сидели на табуретах. Мадам стали там принимать после смерти дофины. Там же находились те, кто входил через заднюю дверь и был уже поименован выше, а также внутренние слуги вместе с Шамарандом, который был первым личным слугой короля, унаследовав эту должность от своего отца, а после стал первым дворецким баварской дофины и отличился как генерал-лейтенант; он пользовался успехом в свете и, хоть не мог похвастать большим умом, был весьма галантен, и все его с удовольствием принимали. Фрейлины принцесс и дежурные придворные дамы ожидали в кабинете совета, который в Версале и других дворцах располагался перед тем кабинетом, где находился король. В Фонтенбло, где был всего один большой кабинет, фрейлины принцесс, имевшие право сидеть, сидели на таких же табуретах по обе стороны от них, а остальные находились сзади, причем они могли либо стоять, либо садиться на пол, но без подушек, что многие из них и делали. Разговор всегда шел об охоте либо на некоторые другие, столь же нейтральные темы. Перед тем как удалиться, король кормил своих собак, желал доброй ночи и уходил к себе в спальню, где молился, как и утром, в алькове, а затем раздевался. Желал доброй ночи он кивком головы и, пока все выходили, стоял возле камина, отдавая распоряжения полковнику гвардии, после чего происходило малое раздевание, на которое оставались те, кто имел право большого и второго входа, а также жалованные грамоты на вход в королевские покои. Раздевание продолжалось недолго. Никто не выходил, пока король не ложился в постель. В

этот момент кто-нибудь из имеющих эту привилегию заговаривал с ним, и тогда все остальные, видя, что один из них уже завел разговор с королем, выходили, оставляя их наедине. За десять-двенадцать лет до смерти, после длительного приступа подагры король отменил большие раздевания, так что не имеющие права входа уже не следовали за королем в спальню и придворная служба для них завершалась с выходом короля из-за стола.

В дни, когда королю очищали желудок, а происходило это примерно раз в месяц, слабительное он принимал в постели, потом слушал мессу, на которой присутствовали только священники и те, кто имел право входа. Монсеньер и королевское семейство являлись проведать его на несколько секунд, затем приходили занимать его беседой герцог Мэнский, граф Тулузский, который оставался ненадолго, и г-жа де Ментенон. В кабинете, двери которого были открыты, находились только они и внутренние слуги. Г-жа де Ментенон сидела в кресле у изголовья кровати. Месье тоже иногда садился в него, но до прихода г-жи де Ментенон и обычно после того, как она уходила; Монсеньер и остальные члены королевского семейства во время своего краткого визита стояли. Герцог Мэнский, сильно хромавший, проводил там все утро и, когда не было никого, кроме г-жи де Ментенон и его брата, усаживался возле кровати на табурете. Тогда-то он и развлекал их обоих, и часто ему удавалось их рассмешить. Около трех часов король обедал в постели, и при этом присутствовали все придворные, потом вставал, и тогда оставались только имеющие право входа. Затем он переходил в кабинет, проводил совет, после чего обыкновенно шел к г-же де Ментенон, а ужинал в десять при большом куверте.

Мессу король пропустил лишь однажды в жизни, когда был с армией в большом походе, не пропускал он и постов, за исключением тех редких случаев, когда у него случалась серьезная болезнь. За несколько дней до поста он при одевании обращался с речью, в которой говорил, что сочтет крайне предосудительным, если кому-либо под каким угодно предлогом будут подавать скоромное, и поручал великому Прево следить за этим и докладывать о нарушениях. Кроме того, он требовал, чтобы те, кому дозволено в пост скоромное, ели понемножку вареного или жареного мяса, но не смели есть вместе; никто не дерзал нарушать эти запреты, так как сразу же испытал бы последствия этого. Запреты эти распространялись и на Париж, где за соблюдением их следил начальник полиции и отчитывался перед королем. Последние десять-пятнадцать лет своей жизни король не соблюдал пост полностью: он постился сперва четыре, а потом три дня в неделю и четыре последних дня страстной

недели. В те дни поста, когда он ел скоромное, его обед за очень малым кувертом был весьма ограничен, вечером подавался только легкий ужин, а по воскресеньям только рыба; вообще в такие дни подавалось не больше пяти-шести скоромных блюд и ему, и всем, кто ел за его столом. В страстную пятницу за большим кувертом утром и вечером подавались только овощи, не было даже рыбного ни за одним столом. Король редко пропускал проповеди в рождественский и великий пост, говел на страстной неделе, не пропускал служб в большие праздники, всегда участвовал в обоих процессиях со св. дарами, в процессии в день ордена Св. Духа и в успение Богородицы. В церкви он был крайне благочестив. Во время мессы все должны были преклонять колени, когда возглашалось «ЗапсШз», и не вставать, пока священник не примет причастие, и если король слышал во время мессы шум или видел, что кто-нибудь болтает, то бывал очень недоволен. Он почти не пропускал вечерни по воскресеньям, часто бывал на них по четвергам и всегда на неделе, предшествующей причастию. Причащался он пять раз в год, всегда с цепью ордена Св. Духа, в брыжжах и мантии; в страстную субботу — в приходской церкви, а в канун троицы, в успение, после чего слушал большую мессу, в канун дня поминовения и в сочельник — в дворцовой церкви; после причастия он всегда прослушивал малую мессу без музыки, а потом возлагал руки на недужных. В день причастия он ходил к вечерне, а после вечерни занимался у себя в кабинете вместе с духовником распределением свободных бенефиций; крайне редко случалось, чтобы он жаловал бенефиции в какой-нибудь другой день; назавтра же после причастия он ходил к большой мессе и к вечерне. В рождество он ходил к заутрене и к трем полуночным мессам, они служились в придворной церкви с музыкой, и это было великолепное зрелище; на следующий день — к большой мессе, к вечерней мессе и вечерне. В страстной четверг он прислуживал беднякам за обедом, после легкой закуски лишь ненадолго заходил к себе в кабинет и отправлялся поклониться святым дарам, а затем сразу же ложился спать. Во время мессы он перебирал четки, читая «Pater noster»[166] и «Ave»[167] — других молитв он не знал, — и вставал с колен только при чтении из Евангелия; на больших мессах он садился в кресло, только когда было положено сидеть. При отпущении грехов он пешком обходил церкви и ограничивался лишь легкой закуской во все постные дни и в те дни великого поста, когда не ел скоромного.

Кафтаны он носил разных оттенков коричневого цвета с небольшой вышивкой, но никогда они не были расшиты сверху донизу; из украшений — иногда золотые пуговицы, иногда

отделка черным бархатом. Под кафтан всегда надевал суконный или атласный камзол красного либо синего цвета, открытый, с обильной вышивкой. Никогда он не носил перстней и драгоценных камней, кроме как на пряжках башмаков, подвязках и шляпе, отделанной испанскими кружевами и украшенной белым пером. Голубую орденскую ленту всегда носил под кафтаном, за исключением свадеб и тому подобных торжеств, когда надевал поверх кафтана очень длинную ленту, украшенную драгоценными камнями стоимостью миллионов восемь-десять. Он был единственным среди королевского семейства и принцев крови, кто носил орденскую ленту под кафтаном, и очень немногие кавалеры ордена подражали ему в этом; сейчас же мало кто носит ее поверх, а честные кавалеры ордена стесняются ее носить от стыда за своих собратьев. До производства 1661 г. включительно все кавалеры ордена надевали парадное одеяние в каждый из трех торжественных дней ордена, в нем они выходили на раздачу милостыни и причащались. Король упразднил парадное одеяние, раздачу милостыни и причащение. Генрих III установил их из-за Лиги и гугенотов.[168] Правду сказать, общее, публичное и пышное причащение, предписанное придворным, трижды в год по определенным дням превратилось в чудовищный и весьма опасный обряд, и его следовало отменить; но что касается раздачи милости, являвшей собой величественное зрелище, в которой теперь участвует один король, то ее не следовало упразднять, а равно и парадного одеяния ордена, которое теперь надевают лишь в дни приема новых кавалеров, да и то чаще всего только новопринимае-мые; это лишило церемонию всей ее красоты. Относительно же трапез с королем в трапезной уже рассказывалось,[169] что послужило причиной их упразднения.

Даже после смерти Иакова II не проходило двух недель, чтобы король не съездил в Сен-Жермен. Сен-Жерменский двор приезжал и в Версаль, но чаще всего в Марли и обыкновенно к ужину; их приглашали на все торжества и празднества, они не пропускали ни одного, и на каждом их встречали со всеми почестями. Оба короля уговорились, что выходить навстречу и провожать друг друга они будут до середины апартаментов. В Марли король принимал и встречал их в дверях малого салона со стороны Перспективы, при проводах — стоял, пока они не спустятся с лестницы и не рассядутся в портшезы; в Фонтенбло он встречал их наверху подковообразной лестницы, после того как согласился не выезжать им навстречу и не провожать до леса. Ничто не могло сравниться с заботливостью, вниманием и учтивостью, какие король выказывал к ним, с величественным и

галантным видом, с каким он их встречал каждый раз, но об этом, впрочем, уже рассказывалось много выше. В Марли они с четверть часа пребывали в салоне, стоя среди придворных, после чего следовали к королю либо к г-же де Ментенон. Король никогда не заходил в салон, разве только мимоходом, во время балов или на минутку, чтобы взглянуть, как идет игра у молодого английского короля или у курфюрста Баварского. Празднования дней рождения и тезоименитства короля и членов царствующего семейства, свято соблюдаемые при всех европейских дворах, были неведомы при дворе Людовика XIV; их никак не отмечали, и они ничем не отличались от прочих дней в году.

О Людовике XIV сожалели только его внутренние слуги, еще некоторые люди и главари партии, затеявшей дело о Булле. Его наследник был еще слишком мал, Мадам испытывала к нему только страх и чувство почтения, герцогиня Беррийская не любила его и надеялась править, у герцога Орлеанского не было поводов оплакивать его, а те, у кого они были, не сочли себя обязанными это делать. Г-жа де Ментенон после смерти дофины тяготилась королем, не знала, чем с ним заниматься и как его развлекать; эта принужденность еще трикратно усилилась, потому что он стал больше времени проводить у нее или в поездках с нею. Ее здоровье, дела, ухищрения, при помощи которых она сделала, а если выражаться определеннее, вырвала все для герцога Мэнского, неизменно приводили короля в скверное настроение, а иногда вызывали резкости по отношению к ней. Она добилась всего, чего хотела, и потому, что бы она ни теряла, утрачивая короля, она испытывала лишь облегчение и на иные чувства была не способна. Скука и пустота ее последующей жизни породили в ней сожаления, но поскольку в своем уединении она ни на что не влияла, то сейчас не время говорить о ней и о ее занятиях. Читатель уже видел, какую радость испытал, до какого варварского неприличия дошел герцог Мэнский в предвкушении скорого всемогущества. Ледяное спокойствие его брата ничуть не изменилось от смерти короля. Ее высочество герцогиня, освобожденная от всех уз, больше не нуждалась в поддержке короля; перед ним она испытывала лишь страх и стеснение, терпеть не могла г-жу де Ментенон и не питала сомнений насчет расположения короля в пользу герцога Мэнского в их тяжбе о наследстве его высочества Принца; потом ее до конца жизни упрекали, будто у нее вместо сердца кошелек, но в любом случае после смерти короля она почувствовала себя прекрасно и свободно и даже не пыталась притворяться. Удивила меня герцогиня Орлеанская. Я ждал, что- она будет горевать, но заметил лишь несколько слезинок, а их она легко проливала по

любому поводу, тем паче что и они скоро иссякли. Ее кровать, которую она очень любила, и сумрак в спальне, который ей тоже был весьма по нраву, на несколько дней стали ее утешителями, но очень скоро занавеси на ее окнах раздвинулись, и она лишь от случая к случаю при воспоминании о покойном изображала скорбь, отдавая дань приличиям. Ну а принцы крови были еще детьми. Герцогиня де Вантадур и маршал де Вильруа поломали немножко комедию, остальные же не затрудняли себя и этим. Правда, несколько старых и не слишком высокопоставленных придворных наподобие Данжо, Кавуа и некоторых других почувствовали себя лишившимися всего, хотя утрачивали не особо высокое положение, и сожалели, что больше не смогут хвастаться перед глупцами, невеждами и иностранцами, расписывая им глубокомысленные беседы и ежедневные увеселения при дворе, угасшем вместе с королем. Люди же, составлявшие двор, делились на два сорта: одни в надежде занять положение, иметь причастность к делам и продвинуться с восторгом понимали, что кончилось царствование, во время которого им нечего был ждать; другие же, изнеможенные тягостным, всеугнетающим игом, более даже игом министров, нежели короля, ликовали, почувствовав свободу; одним словом, у всех было чувство избавления от постоянного принуждения, все с восторгом принимали всякие новшества. Париж, уставший от сковывавшей всех зависимости, вздохнул в надежде на известную свободу и радуясь концу власти стольких людей, злоупотреблявших ею. Провинции, пребывавшие в отчаянии от разорения и упадка, вздохнули и вздрогнули от радости; парламенты и все судейские, подавленные эдиктами и передачами дел в другие инстанции, льстили себя надеждой: первые — вновь вернуть свое значение, вторые — почувствовать себя свободными от гнета. Разоренный, притесняемый, отчаявшийся народ вызывающе недвусмысленно принялся возносить хвалы Господу, исполнившему его самые пламенные желания. Иностранцы, восхищенные тем, что после столь долгих лет наконец-то избавились от монарха, который долго навязывал им свою волю и чуть ли не чудом ускользнул от них, когда они уже были вполне уверены, что он им попался, сдержались и соблюли приличия лучше, нежели французы. Чудесные успехи первых трех четвертей более чем семидесятилетнего царствования и величественная твердость духа сего монарха, поначалу столь счастливого, но в последней четверти своего правления покинутого судьбой, справедливо восхищали их. Они почли за честь для себя воздать ему после смерти то, в чем отказывали при жизни. Ни один из иностранных дворов не

выказал радости, все состязались между собой, восхваляя его и делая все, чтобы почтить его память. Император[170] надел по нему траур, как по отцу, и, хотя Людовик XIV умер чуть ли не за полгода до карнавала, в Вене были запрещены все карнавальные увеселения, и запрет этот строго соблюдался. Чудовищным исключением стал один-единственный бал,[171] нечто вроде гулянья, который французский посланник граф дю Люк устроил по наущению дам, изнывавших от скуки при столь унылом карнавале. Таковая его снисходительность отнюдь не стяжала ему уважения ни в Вене, ни в других столицах, во Франции же сделали вид, что ничего не заметили. Что же до наших министров и интендантов провинций, наших финансистов и всех, кого можно назвать мерзавцами, то они вполне ощутили всю безмерность утраты. Вскоре мы увидим, право или нет было королевство, выражая чувства, которые оно испытывало, равно как вскорости станет ясно, выиграло оно или проиграло.

26. 1716. Жизнь и времяпрепровождение герцога Орлеанского

Пришло время рассказать немного о государственных и приватных занятиях регента, о его нравах, развлечениях, времяпрепровождении. Утренние его часы были посвящены делам, и каждому роду дел соответствовал свой день и час. Заниматься ими он начинал в одиночестве, еще не одевшись, прежде чем впускали придворных к его одеванию, которое обыкновенно было очень недолгим; до и после него он всегда давал аудиенции, отнимавшие у него много времени; затем лица, имевшие непосредственное касательство к делам, поочередно работали с ним до двух часов пополудни. То были главы советов, [172] Лаврийер, а через некоторое время и Леблан, которого герцог Орлеанский неоднократно использовал для всякого рода слежки, к примеру когда занимался делами, связанными с Буллой, с парламентом, да и другими, что порой возникали; часто он занимался с Торси, разбирая письма, пришедшие по почте, иногда с маршалом Вилъруа, который только пыжился, раз в неделю принимал иностранных послов, случалось, проводил советы; в праздники или по воскресеньям один бывал на мессе у себя в церкви. Поначалу он поднимался рано утром, но мало-помалу перестал принуждать себя, а после стал вставать, когда хотел и даже поздно, смотря по тому, когда лег. В два либо в половине третьего он в присутствии придворных пил шоколад и беседовал с обществом. Продолжительность беседы зависела от того, насколько ему нравилось общество; обыкновенно она затягивалась не более чем на полчаса. Затем герцог давал аудиенцию дамам и мужчинам, шел к герцогине Орлеанской, затем занимался с кем-нибудь делами или отправлялся на регентский совет; порой он делал визит королю, утром редко, но в дни, когда бывал регентский совет, обязательно бывал у него либо до, либо после совета, докладывал и обсуждал с ним дела, а уходил с поклонами и самым почтительным видом, что доставляло королю удовольствие и служило всем примером. После регентского совета, а когда его не было — в пять вечера, дела откладывались в сторону; герцог Орлеанский отправлялся в оперу либо ехал в Люксембургский дворец, ежели не побывал там до шоколада, либо шел к герцогине Орлеанской, где иногда ужинал, либо уходил через задний ход, либо через задний же ход впускал к себе общество, а в летнюю пору уезжал в Сен-Клу или иное загородное поместье; ужинал он или там, или в

Люксембургском дворце, или у себя. Когда Мадам бывала в Париже, он на минутку навещал ее, перед тем как она отправлялась к мессе, а когда она была в Сен-Клу, приходил повидать ее и бывал крайне заботлив и почтителен. Ужинал он обычно в весьма пестрой компании. Ее составляли его любовницы, иной раз какая-нибудь актриса из оперы, герцогиня Беррийская и с десяток мужчин, которые постоянно сменялись и которых он без обиняков именовал не иначе как греховодниками. Это были Бройль, старший сын того Бройля, что скончался маршалом Франции и герцогом, Носе, человек пять дворян, служащих у него, но не самых главных, герцог де Бранкас, Бирон, Канийак, несколько молодых шалопаев, какая-нибудь дама сомнительной добродетели, но из общества и всякие люди без роду, без племени, замечательные своим умом либо распутством. Изысканные кушанья готовились в специальных помещениях, устроенных на том же этаже, вся сервировка была только из серебра; гости нередко участвовали в приготовлении их вместе с поварами. На пиршествах этих все — министры, приближенные, как, впрочем, и остальные гости, — вели себя с полной свободой, смахивающей на разнузданность. Без всяких обиняков говорили про любовные приключения, случавшиеся при дворе или в городе в давние времена и теперь, рассказывали старинные истории, спорили, зубоскалили, насмешничали, короче, не щадили никого и ничего. Герцог Орлеанский, как и прочие, присутствовал при этом, но, сказать по правде, разговоры эти редко производили на него впечатление. При этом пили и, распалившись от вина, орали непристойности и богохульства, стараясь превзойти друг друга; наоравшись и напившись допьяна, расходились спать, а назавтра все начиналось сначала. Как только наступал час ужина, апартаменты наглухо запирались и, какое бы ни возникло дело, нечего было и пробовать прорваться к регенту. Причем я имею в виду не только какие-то неожиданные дела, касавшиеся присутствующих, но и дела, серьезно затрагивавшие интересы государства или регента лично, и до утра двери не отпирались. Регент бездну времени терял со своим семейством, на развлечения и на оргии. Не меньше транжирил он времени и на совершенно пустячные, слишком долгие и многолюдные аудиенции, копаясь на них в тех же мелочах, за которые прежде мы вместе так часто корили покойного короля. Иногда я напоминал ему об этом, он соглашался со мной, но всякий раз снова втягивался в них. Между тем он откладывал и затягивал тысячи дел частных лиц и множество — связанных с управлением государством, одни — по причине слабоволия, другие-из постыдного желания внести раздор, следуя исполненной отравы

максиме «Divide et impera»,[173] которая, как иногда у него вырывалось, была его излюбленным правилом, а большинство — из-за обычного недоверия ко всем и всему, хотя часто было бы достаточно и получаса, чтобы разобраться в любом из них, а затем вынести ясное и четкое решение; вот так ничтожные мелочи превращались в гидр, которые впоследствии причиняли ему массу трудностей. Вольность его обращения и простота доступа к нему всем были весьма по нраву, зато и злоупотребляли этим безмерно. Иной раз дело доходило даже до непочтительности, что в конце концов приводило к неудобствам, тем более опасным, что сам он не мог, даже когда хотел, приструнить людей, которые ставили его в неприятное положение, не испытывая, да и не обладая способностью испытывать от этого стыд. К подобным людям относились Стэр, главари сторонников Буллы, маршал де Вильруа, члены парижского парламента и большинство судейских. Я не раз объяснял ему, когда представлялась возможность, насколько важны эти вещи, иногда чего-то добивался, предотвращал иные неприятные положения, но чаще всего он выскальзывал у меня из рук, когда, казалось, мои слова уже убедили его, и поддавался своей слабости.

Крайне поразительно, что ни его любовницам, ни герцогине Беррийской, ни его греховодникам не удавалось вытянуть из него, даже когда он бывал пьян, ни слова касательно самых маловажных дел, не то что государственных. Он совершенно открыто сожительствовал с г-жой де Парабер и одновременно с другими женщинами, потешаясь над их ревностью и терзаниями, и тем не менее был хорош со всеми; ни для кого не было тайной существование этого сераля, которое и не скрывалось, как непристойности и богохульства на его ежевечерних пиршествах, и это вызывало крайнее возмущение.

Начался пост, и я предвидел чудовищный скандал или какое-нибудь ужасное святотатство перед пасхой, которое могло лишь усилить всеобщее возмущение. Поэтому я решился поговорить об этом с герцогом Орлеанским, хотя давно уже не заговаривал с ним о его распутстве, поскольку потерял всякую надежду на перемены к лучшему. Я сказал ему, что затруднения, в которые он попадет на пасху, представляются мне ужасными в отношении Господа и гибельными в смысле мнения общества, поскольку оно, хоть и само не прочь погрешить, его почитает наихудшим из всех грешников; поэтому вопреки моим правилам и принятому решению я не могу удержаться, чтобы не представить ему все последствия этого; тут я больше говорил о том, что касается общества, так как религию он, к сожалению, вообще не принимал

во внимание. Он достаточно спокойно выслушал меня и с тревогой поинтересовался, что я ему намерен предложить. Я ответил, что есть способ если уж не совсем погасить возмущение, то по крайней мере уменьшить его и воспрепятствовать чрезмерным толкам и тем мнениям, которых следует ожидать, если он не примет моего предложения, и способ этот весьма прост. Ему следует уехать в свои владения в Виллер-Котре на пять последних дней страстной недели и на светлое воскресенье и понедельник, то есть уехать в страстной, а возвратиться в светлый вторник; не следует брать ни дам, ни его греховодников, а нужно пригласить по своему выбору человек пять почтенной репутации и там беседовать с ними, играть, совершать прогулки, развлекаться, есть постное, поскольку и постное можно приготовить не менее вкусно, чем скоромное, не вести за столом срамных речей и вообще не засиживаться за ним; в страстную пятницу надо сходить к службе, а на пасху — к всенощной; вот что я ответил на его вопрос, не требуя слишком многого. Еще я добавил, что с той высоты, на какую вознесены государи, всем видно то, что они делают либо не делают, так что, ежели он не будет причащаться на пасху, это сразу станет известно; однако существует большая разница, когда некто, кем бы он ни был, не причащается с вызывающим или презрительным видом в столице у всех на глазах, с тем, когда этот же некто выезжает из города с видом пристыженным, почтительным и смущенным; в первом случае он пробудит ненависть как дерзостный грешник и вызовет негодование у всех, вплоть до вольнодумцев; во втором — милосердное сожаление у порядочных людей и заставит прикусить языки. Я предложил герцогу Орлеанскому сопровождать его в этой поездке, если мое присутствие будет для него приятным, и пожертвовать ради этого проведением праздников, ставшим для меня привычным за многие годы; еще я обратил его внимание на то, что так поступают многие достаточно заметные лица, считающие обременительным для себя участие в пасхальных праздниках. Я также заверил, что дела ничуть не пострадают от его отсутствия в эти дни, когда ими никто не занимается, напомнил о близости Виллер-Котре, о красоте тамошних мест, о том, что он так давно там не бывал, и о приятности этой поездки. Он счел предложение чудесным и почувствовал облегчение: он ведь не знал, что я ему предложу, и решил, что оно прекрасно и даже восхитительно, и очень благодарил меня за то, что я придумал этот способ и готов поехать с ним. Мы потолковали, кого можно будет взять с собой, сочли, что найти спутников не составит труда, и на том покончили. Мы оба, он и я, решили, что не стоит заранее

объявлять о поездке — вполне достаточно будет, если он распорядится на страстной неделе. Раза два мы еще говорили на этот предмет, и он был совершенно убежден, что уехать будет проявлением благоразумия и что он просто обязан это сделать. Беда заключалась в том, что его благие намерения редко осуществлялись из-за множества негодяев, что вились вокруг него и препятствовали исполнению подобных намерений либо из корысти, либо желая угодить ему, либо от нежелания выпустить его, а то и по куда более гнусным соображениям. Так случилось и с этой поездкой. Когда за день-другой до страстной недели я снова заговорил с ним, передо мной был смущенный, скованный человек, не знавший, что мне ответить. Я сразу почувствовал, в чем дело, и удвоил усилия, не отступал от него, упирая на согласие, которое он мне дал, просил сказать, какие у него возражения против поездки, бил на толки, которые он возбудит, ежели в Париже дерзко пренебрежет причастием, на скуку, которую он неизбежно почувствует, если решит сохранять некоторую умеренность, и на то, что будут говорить о нем, если в страстную неделю он будет вести себя как обычно; наконец, собрав все силы, изобразил всю мерзостность кощунственного поведения, отвращение, какое общество станет испытывать к нему, и что оно будет вправе говорить о нем, сказал, что он даст повод всем, даже отъявленным вольнодумцам, чесать о нем языки, оттолкнет от себя всех, кто чванится благочестием или действительно благочестив и, наконец, порядочных людей. Но что бы я ни говорил, ответом мне было либо молчание, либо жалкие, унылые и ничтожные доводы, которые я тут же разбивал, да всякие пустяковые отговорки, на которые я даже не буду тратить бумагу; короче, как я мог понять из его слов, это сразу принятое решение вызвало тревогу у его любовниц и греховодников. Пусть никого не удивляет, что я часто использую это слово. И герцог Орлеанский, и герцогиня Беррийская иначе их не называли; герцогиня Орлеанская, говоря о своем супруге, так же именовала его, и вообще все трое, с кем-нибудь говоря о них, именовали их только так. Это послужило примером, и весь свет без исключения в разговорах о них использовал это имя. Они перепугались, как бы герцог Орлеанский не привык общаться с порядочными людьми и не перестал по возвращении принимать их, оставив их в одиночестве. Любовницы перепугались не меньше, и вся эта прелестная компания так надавила на слабовольного герцога, чуть только он заикнулся о поездке, что ему пришлось ее отменить. Прежде чем откланяться и уехать к себе, я стал заклинать его хотя бы в течение четырех дней, то есть в страстные четверг, лятницу и субботу, а также в светлое воскресенье,

удерживаться и ни за что на свете не совершить какого-нибудь невольного кощунства, дабы не потерять во мнении общества; ежели ему это удастся, он привлечет к себе людей неизмеримо больше, чем уехав, поскольку его поступки до и после праздника будут видны всем и сразу станут известны. Затем я уехал в Ла Ферте, надеясь, что он исполнит этот совет. С прискорбием я узнал, что, проведя последние дни страстной недели более чем сомнительно, хотя и скрывая это, он участвовал во всех обрядах, исполняемых в эти скорбные дни, следуя этикету покойного Месье, который предпасхальную неделю обыкновенно проводил в Париже; в день пасхи герцог был на большой мессе в своей приходской церкви св. Ев-стафия и с большой торжественностью исповедался и причастился. Увы, то было последнее причастие в жизни несчастного герцога Орлеанского, и, как я предвидел, оно снискало ему благосклонность общества.

27. 1717. Приезд царя во Францию

Петр I, царь Московии, совершенно заслуженно стал настолько знаменит и у себя, и по всей Европе и Азии, что я не решусь сказать, будто знаю другого столь же великого и прославленного монарха, равного героям древности, который вызывал бы такое восхищение в свое время и будет вызывать в грядущие века. В своем месте здесь говорилось о разнообразных деяниях этого монарха, о его многочисленных путешествиях в Голландию, Германию, Вену, Англию и многие северные земли, о цели этих путешествий, о некоторых обстоятельствах его военных предприятий, о его политике и семейных делах. Говорилось также, что он желал приехать во Францию в последние годы жизни покойного короля, который весьма учтиво отклонил этот визит. Поскольку это препятствие исчезло, царь захотел удовлетворить свое любопытство и велел передать регенту через князя Куракина, своего посланника, что он направляется в Нидерланды, откуда приедет, дабы встретиться с королем. Ничего другого не оставалось, кроме как выразить удовлетворение, хотя регент с удовольствием уклонился бы от этого визита. Отказ обошелся бы слишком дорого; не менее велики были трудности со столь могущественным и проницательным государем, исполненным, однако, причуд и еще не вполне избавившимся от варварских нравов, а также его огромной свитой, состоящей из людей, чье поведение весьма отличалось от привычного жителям этих стран и которым присущи были всевозможные прихоти и весьма странные манеры; и они, и повелитель их были весьма обидчивы и крайне упрямы, когда домогались того, что, по их мнению, было им положено или дозволено.

Из всех государей царь был особенно враждебен королю Англии,[174] их отношения доходили порой до неблаговидности, тем более оскорбительной, что они имели личную подоплеку, но это ничуть не смущало регента, чья близость с английским королем была известна всем; из корыстных целей эти отношения были превращены аббатом Дюбуа чуть ли не в зависимость. Главной страстью царя было сделать свое государство процветающим с помощью торговли. Дабы облегчить ее, он повелел строить каналы. Для строительства одного из них ему необходимо было содействие английского короля, так как этот канал частично проходил через его владения в Германии. Но соображения торгового соперничества вынудили Георга воспротивиться этому. Петр, начавший войну в Польше, а затем Северную, в которой участвовал и Георг, тщетно вел с ним

переговоры. Царь был крайне взбешен, тем паче что у него не было возможности использовать силу, а канал, начатый строительством, невозможно было продолжать. В этом была причина ненависти, которую он питал к Георгу до конца жизни и которая становилась все более ожесточенной.

Куракин принадлежал к одной из ветвей старинного рода Ягеллонов,[175] представители которого долгое время носили короны Польши, Дании, Норвегии и Швеции. Он был высок, хорошо сложен, понимал высоту своего происхождения, обладал большим умом, хитростью и был весьма образован. Он достаточно хорошо говорил по-французски и на многих других языках, много путешествовал, принимал участие в войнах, а затем был посланником при разных дворах. Тем не менее в нем еще чувствовался русский, и его таланты весьма портила крайняя скупость. Он и царь были женаты на сестрах,[176] и у каждого было от них по сыну.[177] Царица получила развод и была заточена в монастырь[178] неподалеку от Москвы, но Куракин не ощутил последствий этого. Он великолепно знал своего государя, который многое ему дозволял, выказывал большое доверие и уважение; он пробыл три года в Риме, откуда прибыл в Париж посланником. В Риме у него не было никаких полномочий и никаких дел, кроме секретных, ради которых царь и послал его как человека надежного и просвещенного.

Сей монарх, желавший вывести и себя и свою страну из варварства и расширить ее пределы с помощью завоеваний и договоров, понимал, насколько необходимо родниться посредством браков с наиболее могущественными государями Европы. Поэтому ему стало необходимо католичество, которое с греческим обрядом разделяет столь немногое, что он полагал не особо трудным свой план введения его у себя при сохранении, впрочем, свободы вероисповедания. Однако он был достаточно умен и потому прежде решил уяснить себе, каковы притязания Рима. Потому он послал туда некоего человека, способного собрать сведения, который пробыл там с полгода, но не сообщил ему ничего удовлетворительного. В Голландии царь открыл свой план королю Вильгельму,[179] который отговорил его от этих намерений, посоветовал воспользоваться примером Англии и самому стать главой церкви у себя, без чего он никогда не сможет вполне обладать властью. Совет этот тем более пришелся царю по душе, что как раз благодаря богатствам и власти московских патриархов, его деда и прадеда, его отец получил царскую корону, хотя принадлежал к обычной русской аристократии.[180] Между тем московские патриархи подчинялись константинопольскому ритуалу греческой церкви, хотя и в малой

степени. Их власть была столь велика и сан так высок, что царь при их въезде в Москву держал им стремя и пешком вел их коня под уздцы. После деда Петра в Москве не было патриарха.[181] Петр I, некоторое время царствовавший со своим старшим братом,[182] — который был не способен к управлению и давно уже умер, не оставив сыновей, не хотел так же, как его отец, иметь патриарха. В определенных случаях его заменяли архиепископы Новгородские, как занимающие вторую после московской кафедру, однако почти не имея власти, которую целиком сосредоточил в своих руках царь и сохранял особенно ревниво после совета, полученного от короля Вильгельма, так что со временем он сделался подлинным главой церкви в своей обширной державе. И все же страстное желание открыть своему потомству возможность сочетаться браком с католическими монархами Европы, а главное, добиться чести соединиться родственными узами с царствующими домами Франции и Австрии заставило его вернуться к первоначальному плану. Он надеялся, что человек, который был послан с секретным поручением в Рим, не получил верных сведений либо неверно их понял; посему он решил проверить свои сомнения, с тем чтобы уже твердо установить, какое решение принять. Для исполнения этого плана Петр выбрал князя Куракина, о котором знал, что он человек просвещенный и умный, и велел ему поехать в Рим якобы из любознательности, предвидя, что перед столь знатным вельможей откроются двери самых лучших, значительных и выдающихся людей в Риме и он, оставшись там под предлогом, будто ему нравится римская жизнь и хочется, не торопясь, все повидать и отдать дань восхищения чудесам всякого рода, в изобилии собранным в этом городе, будет иметь время и возможность наиболее полным образом получить сведения, интересующие царя. Куракин действительно прожил там три года, бывая, с одной стороны, у ученых, а с другой — в лучшем обществе, и постепенно узнал все, что хотел знать, и это удалось ему с легкостью, поскольку папский двор торжествовал успех своих светских притязаний и завоеваний в этой сфере, вместо того чтобы держать их в тайне. Прочитав длинный и верный отчет Куракина, царь вздохнул и сказал, что он хочет быть властелином у себя и не желает ставить над собой кого-то более великого, чем он, и перестал думать о переходе в католичество.-

Такие вот выгоды доставляют папы и римская курия церкви, и вот так они привлекают к ней души, главными пастырями каковых являются сии наместники Иисуса Христа, вверившего им оные души, и за то, как они пасли их, они ответят перед верховным Пастырем, который объявил св. Петру, а равно и

другим апостолам, что царство его не от мира сего, и спросил у двух братьев, хотевших, чтобы он рассудил их спор насчет дележа наследства, кто поставил его судить или делить их, и отказался вмешиваться; и хотя примирение братьев было бы добрым делом, он поступил так, дабы указать пастырям и священникам, что у них ни под каким видом нет ни власти, ни прав в мирских делах и что они должны решительно воздерживаться от вмешательства в оные. Князь Куракин не делал тайны из этой истории про интерес царя к Риму. Все, кто знал его, слышали, как он рассказывал об этом; я обедал у него, он обедал у меня, и я много беседовал с ним и с большим удовольствием слушал его разговоры на самые разные темы.

Регент, оповещенный им о скором прибытии царя во" Францию морским путем, послал Либуа, одного из королевских дворян, с королевским снаряжением, лошадьми, каретами, экипажами, столами, постелями, дабы встретить царя в Дюнкерке и оплачивать все расходы по его проезду со всею свитой до Парижа, а также следить, чтобы ему воздавались почести, как королю. Царь собирался совершить стодневное путешествие. Для него меблировали апартаменты королевы-матери в Лувре, где проводились заседания советов, которые после этого распоряжения стали собираться у их глав. Герцог Орлеанский обсудил со мной, какого бы титулованного вельможу выбрать, чтобы он пребывал при царе в продолжение всего визита, и я посоветовал маршала де Тессе: он ничем не занят, умеет держать себя и говорить, приобретя навык общения с иностранцами в военных походах и переговорах в Испании, Турине, Риме и при других итальянских дворах, обходителен, учтив и, вне всяких сомнений, прекрасно справится с делом. Герцог Орлеанский счел, что я прав, и на следующий день послал разыскать маршала де Тессе и передать ему приказ. Маршал де Тессе всегда был в крайне скверных отношениях с герцогом Орлеанским, да и сейчас их отношения были весьма натянутыми. Испытывая затруднения в общении с регентом, он сделал вид, будто удалился от мира. Обосновался он в великолепных покоях в приюте для неизлечимых.[183] Еще один он занимал в монастыре камальдулов[184] близ Гробуа. Часть недели он проводил в этом своем городском жилье, а часть в загородном. И там, и там он позволял себе чревоугодничать, сколько хотел, и при всем при этом считал, что удалился от мира. Тем не менее он был обрадован тем, что его избрали принимать царя, быть при нем, всюду сопровождать и всех ему представлять. Это была роль по нему, и он превосходно с нею справился. Когда стало известно, что царь приближается к Дюнкерку, регент послал маркиза де

Неля в Кале оказать ему прием и сопровождать до Бомона, поскольку только там должен был его встречать маршал де Тессе. Одновременно было велено подготовить для царя и его свиты особняк Лесдигьер,[185] поскольку возникли сомнения, не предпочтет ли он для себя и своих людей частный дом Лувру. То был просторный и красивый дворец, соседствующий с Арсеналом, и принадлежал он маршалу де Вильруа, который жил в Тюильри. Он пустовал, поскольку герцог де Вильруа был не из тех, кто живет на широкую ногу, и считал, что он расположен слишком далеко, чтобы там помещаться. Его целиком и с большим великолепием обставили королевской мебелью.

На всякий случай, чтобы не опоздать, маршал де Тессе приехал в Бомон за день до прибытия туда царя. Последний же прибыл туда в пятницу 7 мая в полдень. Тессе вышел встречать его к карете, удостоился чести отобедать с ним и в тот же день проследовал с ним в Париж. Царь изъявил желание ехать в Париж в карете маршала, но без него, а с тремя людьми из своей свиты.[186] Маршал же сопровождал его в другой карете. В Лувр царь прибыл в девять вечера и обошел покои королевы-матери. Он нашел их чрезмерно пышно убранными и освещенными, вновь сел в карету и отправился в особняк Лесдигьер, где и предпочел жить. И здесь он нашел, что покои, предназначенные для него, слишком великолепны, и велел поставить свою походную кровать в гардеробной. Маршал де Тессе, в чьи обязанности входило принимать царя и заниматься его столом, повсюду сопровождать его, быть всегда там, где он находился, тоже поселился в одной из комнат дворца Лесдигьер; ему пришлось изрядно потрудиться, повсюду следуя, а порой и бегая за царем. Вертон, один из дворецких короля, был назначен услужать царю, а также заниматься кормлением как его, так и свиты. Она состояла из сорока человек, и в нее входило около пятнадцати особ, весьма значительных по происхождению или по занимаемой должности, которые ели за одним столом с ним. Вертон был весьма неглуп, принадлежал к неплохому обществу, знал толк в хорошей еде и был любителем игры; он организовал в таком порядке услужение царю и сумел так вести себя, что царь проникся к нему исключительной приязнью, равно как и вся его свита.

Монарх сей вызывал восхищение своей исключительной любознательностью, неизменно интересуясь всем, что было связано с его планами в части правления, коммерции, просвещения, полиции; его любознательность распространялась на все, не пренебрегая даже самыми ничтожными подробностями, ежели впоследствии они могли оказаться полезными; при этом он показал себя человеком незаурядным и весьма сведущим, высоко

оценивал лишь то, что этого заслуживало, неизменно проявляя блистательный ум, верность суждений и живую восприимчивость. Все в нем свидетельствовало об обширных знаниях и о некой непреходящей значительности. Высочайшее, благороднейшее, утонченнейшее и возвышенное величие, ничуть, правда, не стесняющее, когда он со всей непреложностью демонстрировал его, поразительно сочеталось в нем с учтивостью, которую он, ничуть не умаляя своего монаршего сана, выказывал всегда и всем в соответствии с их положением. Ему была свойственна некая непринужденность, доходившая до вольности, однако в ней еще сохранился отпечаток давнего варварского состояния его страны, что проявлялось в порывистых и даже стремительных манерах, в непостоянстве желаний, причем он не выносил никакого их стеснения, а уж тем паче прекословия; стол его часто был не слишком обилен, куда менее, чем стол сопровождавших его, и нередко сервировался с небрежностью, что присуще тому, кто повсюду чувствует себя владыкой; ежели он что-то желал повидать или сделать, то неизменно принуждал действовать так, как ему хочется и как он сказал, независимо от возможностей и средств. Из-за желания все посмотреть, докучности зевак, глазевших на него, привычки к полной свободе, невзирая ни на что, он нередко пользовался наемными экипажами и даже фиакрами, а также первыми подвернувшимися под руку каретами, принадлежавшими людям, которые приехали сделать ему визит, а то и тем, кого он не знал. Он вскакивал в карету и приказывал везти себя в город, а иногда и за его пределы. Подобная история приключилась с приехавшей поглазеть на него г-жой де Матиньон, в чьей карете он уехал в Булонь и куда-то еще, а она с изумлением обнаружила, что осталась пешей. Когда царь таким образом ускользал от маршала де Тессе и своей свиты, они кидались вдогон ему, но несколько раз не могли разыскать.

Царь Петр был высок ростом, очень хорошо сложен, не тучен телом, с лицом округлой формы, высоким лбом и красивыми бровями; нос у него был довольно короткий и не массивный, чуть расширенный на конце, довольно полные губы, красноватое смуглое лицо, большие, красивые, живые и проницательные черные глаза, взгляд величественный и благосклонный, когда он следил за собой, но иногда суровый и бешеный; он страдал судорогами, которые случались у него не часто, но так искажали лицо и глаза, что внушали ужас. Продолжались они всего мгновение, взгляд становился блуждающим и страшным, но тотчас же прекращались. Весь его вид свидетельствовал об уме, рассудительности и величии и не чужд был известной

приятности. Он носил полотняный воротник, круглый, темный, похоже, не напудренный парик, не доходивший до плеч, коричневый полукафтан с золотыми пуговицами, башмаки, чулки, звезду и ленту ордена своего государства; перчаток и манжет он никогда не носил; полукафтан у него нередко был полностью расстегнут, шляпа вечно валялась на столе: он ее никогда не надевал, даже на улице. Но и при всей этой простоте, при том, что он иной раз ехал в первом попавшемся экипаже, сопровождаемый теми, кто подвернулся, все сразу понимали, кто он такой, но присущему ему от природы величественному виду. За двумя ежедневными трапезами он съедал и выпивал невообразимо много, не считая пива, лимонада и других напитков между трапезами: бутылку или две пива, столько же, а иногда и больше вина, потом пил десертное вино, а в конце каждой трапезы бокал, а порой пинту настойки на водке; его свита не уступала ему. За столом в одиннадцать утра и в восемь вечера она пила еще больше его и соответственно ела. Но когда меру переходили не слишком, последствий никаких не было. За царским столом обедал священник, которого царь любил и который выпивал вдвое больше, чем кто другой, и это очень забавляло царя. Князь Куракин каждый день приезжал в особняк Лесдигьер, но жил у себя. Царь неплохо понимал по-французски и, думаю, мог бы говорить, если бы хотел, но по причине своего положения всегда имел при себе переводчика. Очень хорошо говорил он по-латыни и на многих других языках. Во дворце его охраняла королевская гвардия, но он был против, чтобы гвардейцы сопровождали его, когда он выходил. При всей своей любознательности он не желал выйти из дворца Лес-дигьер и вообще подавать признаков жизни до тех пор, пока король не сделает ему визит.

Регент сделал визит царю в субботу утром, на следующий день после его прибытия. Царь вышел из кабинета, сделал несколько шагов навстречу регенту, с важным и превосходительным видом обнял, указал на дверь своего кабинета и вдруг, не соблюдая никаких правил приличия, повернулся и вошел туда. Регент прошел следом, а за ним последовал князь Куракин, который служил им переводчиком. Там стояли два кресла напротив друг друга; царь уселся на почетном месте, а регент на втором. Беседа продолжалась почти час, о делах не говорили, после чего царь вышел из кабинета, регент последовал за ним, отдал глубокий поклон, ответом на который был куда менее низкий поклон, и расстался с царем там же, где был встречен.

В понедельник 10 мая король посетил царя, который встретил

его у кареты, помог выйти и, шествуя рядом по левую руку от него, проводил к себе, где находились два совершенно одинаковых кресла. Король сел в то, что стояло справа, царь в левое; переводчиком у них был князь Куракин. Было удивительно видеть, как царь берет короля на руки, поднимает и целует, и король при его малолетстве, притом совершенно к этому не подготовленный, ничуть не испугался. Поразительна была ласковость, какую царь выказывал королю, и нежность, с какой он это делал, а также естественная учтивость, сочетающаяся с ощущением величия, равенства санов и превосходства в возрасте; все это очень ясно почувствовали. Он расточал королю похвалы, выглядел совершенно очарованным им и всех убедил в этом. Неоднократно он принимался его целовать. Король обратился к нему с небольшим и коротким приветствием, а герцог Мэнский, маршал де Вильруа и все присутствующие высокопоставленные придворные поддерживали беседу. Встреча продолжалась не более четверти часа. Царь проводил короля до кареты и помог ему в нее сесть.

Во вторник 11 мая между четырьмя и пятью часами царь отдал визит королю. Он был встречен королем у кареты и всюду шествовал справа от него. Весь церемониал был установлен перед визитом короля к нему. Царь выказывал королю ту же ласковость' и ту же любовь; длился визит не дольше, чем визит короля к нему, но народу собралось много. В восемь утра он ездил посмотреть Королевскую площадь, площадь Побед и Вандомскую площадь, а на следующий день осматривал обсерваторию, гобеленовую мануфактуру и королевский аптекарский огород. Повсюду он все внимательно изучал и задавал много вопросов.

В четверг 13 мая он очищал желудок и потому только днем мог продолжить осмотр многочисленных знаменитых мануфактур.[187] В пятницу 14-го в шесть часов утра он прибыл в большую галерею Лувра и смотрел рельефные планы всех королевских крепостей,[188] принимал его там Асфельд со своими инженерами. С той же целью там присутствовал маршал де Вилар с несколькими генерал-лейтенантами. Царь весьма долго изучал эти планы. Затем он посетил многие помещения Лувра, а потом спустился в сад Тюильри, откуда была удалена публика. Тогда строили Поворотный мост.[189] Он тщательно осмотрел это сооружение и долго там пробыл.

После обеда он съездил в Пале-Рояль к Мадам, которая посылала своего придворного приветствовать его. За исключением кресла, она приняла его, как принимала бы короля. Потом герцог Орлеанский приехал, дабы везти его в оперу, где они только вдвоем сидели в большой ложе герцога на передней

скамье, накрытой большим ковром. Через некоторое время царь спросил, нету ли пива. Тотчас же принесли на блюдце большой кубок. Регент встал, принял его, подал царю, и тот с улыбкой и учтивым поклоном взял кубок без всяких прочих церемоний, выпил и поставил на блюдце, которое продолжал держать регент. Возвратив его, регент взял тарелку с салфеткой и предложил ее царю, которую тот взял, как и пиво, даже не приподнявшись; это было крайне поразительное зрелище. Во время четвертого акта он поехал ужинать и просил регента не покидать ложу. На следующий день, в субботу, он вскочил в наемную карету и поехал смотреть всякие достопримечательности у ремесленников.

16 мая, в Троицу, он поехал в Дом инвалидов, где высказал желание все увидеть и изучить. В столовой отведал солдатской похлебки и вина, выпил за здоровье солдат, похлопал их по плечам, называя камрадами. Ему весьма понравились церковь, аптека и госпиталь, и вообще, казалось, он был восхищен тамошним порядком. Принимал его там маршал де Вилар. Супруга маршала приехала туда посмотреть на царя, и он, узнав, кто она, был с нею чрезвычайно учтив.

В понедельник 17 мая он рано отобедал с приглашенным им князем Ракоци, а потом отправился в Медон, где его ждали лошади из королевских конюшен, дабы он мог в свое удовольствие полюбоваться садами и парком. Князь Ракоци сопровождал его.

Во вторник 18-го маршал д'Эстре приехал за ним в восемь утра и в своей карете повез его к себе домой в Исси, где дал ему обед, а остаток дня весьма развлекал его, показывая разные вещи, касающиеся мореплавания и флота.

В среду 19-го он осматривал различные строения и мануфактуры. Утром герцогиня Беррийская и герцогиня Орлеанская по примеру Мадам послали своих первых конюших приветствовать царя. Все трое надеялись на ответное приветствие, а то и на визит. Им надоело, что об этом не заходит даже речи, и в конце концов они предприняли вышеназванный маневр. Царь ответил, что придет поблагодарить их. На принцев и принцесс крови он обращал внимания не больше, чем на первых вельмож двора, да и не очень их различал. Ему не понравилось, что принцы крови ставили условием визита к нему, чтобы он посетил принцесс крови, и царь с чрезвычайным высокомерием отверг это условие, так что все принцессы видели его только как любопытствующие, со стороны, за исключением принцессы де Конти, случайно встретившейся с ним. Но об этом будет рассказано ниже.

В четверг 20 мая он должен был поехать обедать в Сен-Клу,

где ожидал его герцог Орлеанский всего лишь с несколькими придворными, однако небольшая лихорадка, случившаяся у герцога ночью, вынудила его утром прислать извинения.

В пятницу 21-го царь сделал визит герцогине Беррийской в Люксембургский дворец, где был принят с королевскими почестями. После визита он прогулялся по садам. Герцогиня Беррийская в это время ушла на берег Меты, чтобы дать ему возможность посмотреть все здание, что он и сделал с великим интересом. Поскольку он собирался отбыть 16 июня, то попросил подготовить к этому сроку в Шарлевиле суда, намереваясь плыть вниз по Мезе.

В субботу 22-го он был в Берси у Пажо д'Онз-ан-Бре, главноуправляющего почтой, чей дом полон самых разных редкостей и диковин, как натуральных, так и механических. При этом присутствовал знаменитый о. Себастьен, кармелит. Царь провел там целый день, восхищаясь многочисленными великолепными машинами.

В воскресенье 23 мая он обедал в Сен-Клу, где его ждал герцог Орлеанский, осмотрел дворец и сады, каковые ему весьма понравились; на обратном пути заехал в Мадридский замок, а оттуда направился с визитом к герцогине Орлеанской в Пале-Рояль, во время которого при всей проявленной учтивости держал себя с величественным видом превосходства, что не проявлялось в такой мере у Мадам и герцогини Беррийской.

В понедельник 24-го спозаранку, еще прежде, чем король поднялся, царь прибыл в Тюильри. Он прошел к маршалу де Вилару, который показал ему коронные драгоценности. Царь нашел их прекрасными и гораздо более многочисленными, нежели он предполагал, но сказал, что очень мало понимает в них. Он признался, что вообще мало ценит красивые предметы, ежели их главные достоинства — стоимость либо фантазия, особенно когда они для него недоступны. После этого он высказал желание пойти повидать короля, который со своей стороны пришел, дабы встретиться с ним, к маршалу де Вилару. Так было задумано намеренно, чтобы это выглядело не как заранее намеченный визит, но как случайная встреча. Встретились они в кабинете, где и остались. Король держал бумажный свиток, который и дал царю, сказав, что это карта его державы. Такая любезность весьма понравилась царю, чья учтивость, дружественность и любовь были теми же, что и в прошлые разы, и выказывались как к равному с тем же величием.

После обеда он поехал в Версаль, где маршал де Тессе оставил его на герцога д'Антена, которому было поручено принимать там царя. Для него были приготовлены покои дофины,

[190] и спал он в комнате, соединяющей эти покои с покоями дофина, отца короля; сейчас там устроены кабинеты для королевы.

Во вторник 25-го царь с раннего утра, задолго до часа, когда он собирался быть у д'Антена, обозревал сады и проплыл по каналу. Он осмотрел весь Версаль, Трианон и Зверинец. Основная его свита была поселена во дворце. Они привезли девиц и спали с ними в покоях, принадлежавших г-же де Ментенон, по соседству с теми, где спал царь. Блуэн, смотритель Версаля, крайне возмущался, видя такое осквернение храма целомудрия, которого богиня этого храма и он сам, в ту пору вдовец, некогда не слишком-то придерживались. Но сдерживаться было не в обычае царя и его людей.

В среду 26-го царь, проведший весь день в Марли и возле Машины,[191] сообщил в Париж маршалу де Тессе, что завтра в восемь утра он прибывает в особняк Лесдигьер, где рассчитывает увидеть маршала, чтобы тот повез его куда-нибудь посмотреть процессию в честь праздника Тела Господня. Маршал отвез его к Нотр-Дам.

Ежедневно содержание царя обходилось в шестьсот экю, хотя с первых дней стол его был значительно сокращен. У него вдруг появилось желание, чтобы царица,[192] которую он весьма любил, приехала в Париж, но вскоре он переменил решение. Он велел ей отправиться в Аахен либо в Спа, по своему выбору, и в ожидании его принимать там воды.

В воскресенье 30 мая вместе с Бельгардом, сыном и наследником д'Антена в должности управляющего строениями, царь отправился со многими подставами отобедать к д'Антену в Пти-Бур, откуда тот повез его после обеда осмотреть Фонтенбло; царь там заночевал, а на следующий день участвовал в охоте на оленя, на которой в роли хозяина выступал граф Тулузский. Местность ему не слишком понравилась, а еще меньше охота, во время которой он чуть не свалился с лошади; он счел эту забаву чересчур бурной, да к тому же не знал в ней толка. По возвращении он соизволил ужинать вместе со своими людьми на острове пруда в Фонтанном дворе. Там они согнали усталость. В Пти-Бур он возвратился в карете с тремя людьми из своей свиты. Похоже, в карете они изрядно закусили и выпили.

Во вторник 1 июня с нижней террасы в Пти-Буре он сел на судно, дабы вернуться в Париж водным путем. Проплывая мимо Шуази, он велел причалить и захотел осмотреть дом и сады. Из-за этого любопытства ему пришлось на минуту зайти к принцессе де Конти, которая была в доме. Совершив прогулку, он снова сел на судно и выразил желание проплыть под всеми парижскими

мостами.

В четверг 3 июня, в восьмой день праздника Тела Господня, царь наблюдал из особняка Лесдигьер процессию прихожан церкви св. Павла. В тот же день он снова отправился ночевать в Версаль, так как захотел еще раз не спеша осмотреть его; Версаль весьма ему понравился; затем он изъявил желание ночевать в Трианоне, а три или четыре последующие ночи — в Марли, в павильонах, что ближе всего к дворцу, каковые и были приготовлены для него.

В пятницу 11 июня он поехал из Версаля в Сен-Сир, осмотрел все заведение и посетил классы, где занимались воспитанницы. Принимали его с королевскими почестями. Захотел — он повидать и г-жу де Ментенон, которая, узнав о таковом проявлении его любопытства, улеглась в постель и задернула все шторы, кроме одной, оставленной наполовину приоткрытой. Царь вошел к ней в спальню, первым делом открыл все шторы на окнах, потом отдернул полог кровати и стал разглядывать г-жу де Ментенон, не говоря ей ни слова, равно как и она ему, после чего удалился, даже не подумав поклониться. Мне известно, что она была этим крайне поражена, а еще более оскорблена, но покойного короля уже не было на свете. В субботу 12 июня царь возвратился в Париж.

Во вторник 15 июня ранним утром он отправился в Париже к д'Антену. В тот день я занимался делами с герцогом Орлеанским и покончил с ними в полчаса; он был поражен и хотел меня задержать. Я сказал, что в любой другой день я почел бы за честь остаться у него, если бы не царь, который скоро уедет, а я так еще и не видел его; потому я еду посмотреть на него к д'Антену. В дом к нему не вошел никто, кроме приглашенных и ее светлости герцогини с дочерьми и несколькими дамами, тоже явившимися посмотреть на царя. Я прошел в сад, где прогуливался царь. Маршал де Тессе, издалека завидевший меня, подошел, намереваясь представить меня царю. Я попросил ни в коем случае не делать этого и в его присутствии вообще не обращать на меня внимания, так как мне хочется как следует рассмотреть его, обгонять, останавливаться и ждать, когда он подойдет, короче, пялиться на него сколько душе угодно, чего я не смогу делать, ежели буду ему представлен. Я попросил маршала предупредить о том же д'Антена и, предприняв таковые предосторожности, в полной мере удовлетворил свое любопытство. Я нашел, что царь весьма живописен, но всюду и всегда держится словно хозяин. Царь ушел в кабинет, где д'Антен продемонстрировал ему всевозможные планы и разнообразные диковинки, о которых он задавал множество вопросов. Там я и увидел судорогу, о которой

уже упоминал. Я поинтересовался у Тессе, часто ли она случается у него; он сказал, что по нескольку раз на дню, особенно если царь забывает ее сдерживать. Когда они вернулись в сад, д'Антен повел царя мимо окон нижних апартаментов и сообщил, что там находится ее светлость с дамами, которые очень хотят увидеть его. Царь ничего не сказал и позволил вести себя. Он шел весьма спокойно, повернув голову к окнам покоев, где все любопытствующие дамы вскочили на ноги и были уже наготове. Царь всех их оглядел, чуть кивнул всем одновременно, даже не повернувшись к ним лицом, и гордо прошествовал дальше. По тому, как он принимал других дам, думаю, он повел бы себя иначе, не будь среди них ее светлости, поскольку опасался, что придется отдавать ей визит. Он намеренно даже не спросил, кто из них она, и не поинтересовался фамилиями остальных дам. Я пробыл там около часу, не отдаляясь и вовсю разглядывая его. Под конец я увидел, что он обратил на меня внимание; это вынудило меня быть сдержанней из опасения, что он поинтересуется, кто я такой. Как только он вернулся в дом, я, уходя, прошел через залу, где уже был накрыт стол. Д'Антен, никогда не изменяющий себе, нашел способ получить очень похожий портрет царицы, который он и поставил в той зале на камин вместе со стихами в ее честь, что весьма польстило и понравилось царю. И он и его свита нашли портрет весьма похожим.

Король подарил ему два великолепных настенных ковра работы гобеленовой мануфактуры. Еще он хотел подарить прекрасную шпагу с бриллиантами, которую царь с извинениями отказался принять; со своей стороны царь роздал шестьдесят тысяч ливров королевским слугам, которые услужали ему, подарил д'Антену и маршалам д'Эстре и де Тессе по своему портрету, украшенному алмазами, а также по пять золотых и одиннадцать серебряных медалей, на которых изображены главнейшие деяния его жизни. Он послал дружеский привет Вертону и настоятельно просил регента прислать его к нему в качестве королевского поверенного в делах, что и было обещано.

В среду 16 июня он верхом присутствовал на смотре обеих полков гвардии — тяжелой кавалерии, легкой кавалерии и мушкетеров. Был только герцог Орлеанский; царь почти не смотрел на войска, каковые обратили на это внимание. Оттуда он отправился на поздний обед к герцогу де Тре-му, где~ сказал, что из-за сильной жары, пыли и огромного количества пеших и конных зевак он покинул смотр раньше, чем собирался. Обед был превосходный; царь узнал, что маркиза де Бетгон, присутствовавшая там среди любопытствующих, — дочь герцога

де Трема, и пригласил ее за стол; она была единственной дамой среди множества обедавших вельмож. Посмотреть на царя пришло немало и других дам, и он, узнав, кто они, сказал им много любезных слов.

В четверг 17-го он второй раз ездил в обсерваторию и ужинал у маршала де Вилара.

В пятницу 18 июня регент ранним утром прибыл в особняк Лесдигьер, дабы попрощаться с царем. Некоторое время он пробыл с царем, третьим присутствовал князь Куракин. После этого визита царь отправился в Тюильри попрощаться с королем. Было договорено, что прощание пройдет без всякого церемониала. Невозможно выказать больше приязни, благожелательности и ласковости, нежели выказывал королю царь при каждой встрече; то же было и на следующий день, когда король приехал в особняк Лесдигьер пожелать царю доброго пути; это свидание тоже проходило без церемониала.

В воскресенье 20 июня царь отбыл и ночевал в Ливри, а оттуда поехал прямиком в Спа, где его ожидала царица; он не пожелал, чтобы его кто-нибудь провожал даже при выезде из Парижа. Его крайне поразила роскошь, которую он видел; ему очень по сердцу пришлись и король и Франция, и он с горечью сказал, что предвидит, что роскошь вскоре погубит Францию. Уезжал он, восхищенный оказанным ему приемом, всем, что увидел, свободой, какую ему предоставили, и с великим желанием установить тесный союз с королем, роковой преградой которому стали интересы Дюбуа и Англии,[193] о чем и тогда был, да и сейчас еще есть повод горько сожалеть.

Я еще не заканчиваю рассказ о сем всеобъемлющем и поистине великом царе; своеобычность и разнородность присущих ему талантов и благородных помыслов делают его государем, достойным высочайшего восхищения даже самых отдаленных потомков, невзирая на многие пороки, причиной которых являются варварское его происхождение, варварство его родины и полученного воспитания. Таково единодушное мнение, сложившееся о нем во Франции, которая взирала на него, как на чудо, и была очарована им.

Я достоверно знаю, что в один из первых дней царь встречался с герцогом Орлеанским и что, кроме того официального визита в Пале-Рояль, был еще один; герцог Орлеанский приехал за царем и увез его в своей карете; их беседа проходила в одном из кабинетов, третьим при ней присутствовал князь Куракин, и продолжалась она довольно долго. Не помню только, в какой день это было. Царь остался очень доволен маршалом де Тессе и слугами. Маршал был поставлен главой

всех должностных лиц дворцового ведомства, которые служили царю. Многие значительные особы рвались быть представленными гостю. Но много было и таких, кто вовсе не стремился к этому. Не была ему представлена ни одна дама; принцы же крови даже не сделали ему визитов; он никак не проявил своего к ним отношения, разве что своим поведением, когда видел их у короля. Ему очень понравилась Франция, и он сказал, что со скорбью предвидит, как чрезмерная роскошь вскоре погубит ее. Его войска стояли в Польше и Мекленбурге, и эти последние крайне тревожили английского короля, который прибегнул к посредничеству императора и использовал все возможные средства, чтобы вынудить царя вывести их оттуда. Он настоятельно просил герцога Орлеанского постараться добиться от царя, когда тот будет во Франции, обещания об их выводе. Герцог Орлеанский пытался это сделать, но безуспешно. При всем том царь выразил горячее желание установить тесный союз с Францией. Ничто так не отвечало нашим торговым интересам, нашему влиянию на Севере, в Германии и в целой Европе. Царь Петр торговлей держал Англию за горло, а короля Георга — страхом за его германские владения. Голландию он весьма уважал, к императору же относился крайне сдержанно. Невозможно отрицать, что он играл огромную роль и в Азии, и в Европе, так что Франция весьма выиграла бы от тесного союза с ним. Он не любил императора, хотел постепенно вырвать нас из нашей зависимости от Англии; это ведь Англия вынудила нас проявить прямо-таки неприличную глухоту к его предложениям, и она длилась еще долго после его отъезда. Вотще говорил я на эту тему с регентом и приводил ему доводы, всю убедительность которых он прекрасно чувствовал, но ответить мне ничего не мог. В ту пору чары аббата Дюбуа, подкрепляемые к тому же д'Эффиа, де Канийаком и герцогом де Ноайлем, еще слишком тяготели над ним. Дюбуа мечтал о кардинальской шапке, но пока не смел признаться в этом герцогу Орлеанскому. Англия, на которую он возлагал все свои честолюбивые упования, помогла ему в его стремлении стать кем-то, использовав в качестве приманки его давнее знакомство со Стэнепом. Потому-то Дюбуа добился, чтобы его послали в Голландию встретиться со Стэнепом, когда тот будет там проездом, а потом в Ганновер; в конце концов он заключил небезызвестные договоры и сделался благодаря этому государственным советником, а затем пробился в совет по иностранным делам. Впоследствии он повернул его в пользу Англии. Англичане, видевшие его тщеславие и влияние, услуживали ему и улещивали его, как только можно, дабы иметь и от него пользу для себя. Целью его было воспользоваться

большим влиянием, какое имел английский король на императора благодаря их близким и личным взаимоотношениям, чтобы стать кардиналом с помощью императора, который был всесилен в Риме и держал папу в страхе. Из-за этой блистательной перспективы мы оказались связаны с Англией чуть ли не на положении раба, так что регент не мог и шагу сделать без ее позволения, а уж Георг был далек от того, чтобы согласиться на наш союз с Россией как по причине взаимной неприязни и противоположности интересов с Петром, так и из-за нежелания повредить императору; эти две подоплеки, столь весомые для аббата Дюбуа, привели к тому, что царю в конце концов надоело наше равнодушие к его предложениям, дошедшее до такой степени, что мы не направили к нему королевским посланником ни Вертона, ни кого-либо другого. Потом пришлось долго раскаиваться, что мы поддались гибельным чарам Англии и так по-дурацки презрели Россию. Но беды, причиненные этой необдуманной связью, не закончились, и глаза у нас открылись только после того, как мы вполне осознали, что окончательно разорены, к чему приложили руку министерства его высочества герцога и наследовавшего ему кардинала Флери, в равной степени прельщенных Англией, первый — по причине огромных денег, которые по примеру кардинала Дюбуа он позволял вымогать у себя любовнице, второй — из-за бессмысленного пристрастия к ней.

28. 1723. Гийом Дюбуа, аббат, с 1721 года кардинал, первый министр в 1722 году, умер в 1723 году

Кардинал Дюбуа, насколько мог, скрывал свою болезнь, однако после того, как он погарцевал верхом в свите короля на смотре, его так скрутило, что он был больше не в состоянии таить ее от тех, кто мог оказать ему помощь. Но он постарался скрыть ее от общества: доковыляв кое-как на совет, он велел уведомить иностранных посланников, что уезжает в Париж, сам же никуда не поехал, затаился у себя и только иногда приказывал носить себя в портшезе, причем испытывая чудовищные страдания, от старого дворца, где он жил, к новому, когда ему взбредало поговорить с кем-нибудь по какому-то делу; при этом он когда выходил, а когда и не выходил из портшеза. В субботу 7 августа он почувствовал себя настолько худо, что хирурги и врачи объявили ему, что срочно необходима операция; ежели ее не сделать, он проживет, дай Бог, несколько дней, так как гнойник, прорвавшийся в мочевом пузыре в день, когда он ездил верхом, может вследствие разлития гноя произвести гангрену, если уже не произвел; посему его следует немедленно перевезти в Версаль, чтобы сделать эту операцию. После столь безжалостного объявления кардинала Дюбуа охватил такой страх, что весь следующий день, то есть в воскресенье 8-го, никак невозможно было перенести его на носилках; удалось это сделать только в пять утра в понедельник 9-го. Дав кардиналу Дюбуа после этого немножко отдохнуть, хирурги и врачи предложили ему принять святое причастие и сразу же хотели приступить к операции. Встречено это было отнюдь не со смирением; почти все время после смотра он пребывал в бешенстве, и оно еще усилилось в субботу, когда ему объявили об операции. Тем не менее он послал в Версаль привести к нему францисканца и пробыл наедине с ним около четверти часа. Для человека столь великой добродетели и настолько хорошо подготовившегося к смерти этого, несомненно, было более чем достаточно. Впрочем, такова привилегия предсмертной исповеди первых министров. Когда все возвратились к нему в комнату, ему предложили принять последнее причастие; он же завопил, что, дескать, это легко сказать, что существует какой-то особый церемониал для кардиналов, которого он не знает, и потому надо послать в Париж справиться у кардинала де Бисси. Все переглянулись, поняв, что он хочет оттягивать это как можно дольше, но, так как медлить с

операцией было нельзя, ему предложили немедленно сделать ее. Он же, ничего не желая слушать, в ярости выгнал всех.

Врачи, понимая, сколь губительно даже самое ничтожное промедление, послали в Медон оповестить герцога Орлеанского, который тотчас же в первой подвернувшейся под руку карете примчался в Версаль. Он принялся увещевать кардинала согласиться на операцию, потом справился у врачей, есть ли надежда, если ее сделают. Хирурги и врачи ответили, что они ничего не могут обещать, кроме того, что кардинал не проживет и двух часов, если немедленно не сделать операцию. Герцог Орлеанский вернулся к ложу больного и упрашивал его с такой заботой и так настоятельно, что тот согласился. Операция состоялась в пять часов, продолжалась минут пять, и производил ее первый лейб-хирург Перонье, сменивший на этой должности Марешаля, который присутствовал при ней вместе с Шираком и несколькими другими знаменитейшими врачами и хирургами. Кардинал страшно кричал и бушевал. Сразу же после операции герцог Орлеанский вернулся в комнату, и врачи не стали скрывать от него, что, судя по опухоли и тому, что из нее вышло, больному осталось жить недолго. Действительно, он умер ровно сутки спустя, во вторник 10 августа, в пять вечера, злобствуя на хирургов и на Ширака, которого, не переставая, бранил непотребными словами.

Его, однако, соборовали; приняв причастие, он ни с кем более не говорил, даже ни с одним священником, и умер в страшном отчаянии и ярости оттого, что расстается с жизнью. Вот так судьба изрядно насмеялась над ним, сперва заставив долго и дорого покупать свою благосклонность всевозможнейшими усилиями, стараниями, планами, происками, тревогами, трудами, душевными терзаниями, потом наконец низвергла на него стремительные потоки величия, могущества, безмерного богатства, дав, однако, наслаждаться ими всего четыре года, каковые я исчисляю со времени получения им поста государственного секретаря, куда входят и те два года, что он был кардиналом, и год-первым министром, чтобы в шестьдесят шесть лет, когда он пребывал на вершине блаженства, громогласно смеясь, все отнять. И все же он умер, будучи абсолютным владыкой своего господина, а не просто первым министром и обладая всей полнотой власти, не зависящей от могущества и власти короля, суперинтендантом почт, кардиналом, архиепископом Камбрейским, ненасытно до самой смерти тянувшим доходы с семи аббатств и предпринимавшим шаги, чтобы взимать оные еще с аббатств Сито, Премонтре и настоятелей других монастырей, и это при том, что он получал,

как оказалось, от Англии пенсию в сорок тысяч фунтов стерлингов.

Я поинтересовался разыскать список его доходов и счел, что будет весьма любопытно представить здесь плоды моих розысканий, округлив в сторону уменьшения суммы бенефиций, чтобы избежать любых преувеличений.

Камбре	120 000	ливров
Ножан-су-Куси	10 000	
Сен-Жюст	10 000	
Эрво	12 000	
Бургейль	12 000	
Берг-Сен-Винок	60 000	
Сен-Бертен	80 000	
Серкан	20 000	
	324 000	
Должность первого министра	150 000	
Должность суперинтенданта почт	100 000	
	250 000	
Пенсия от Англии по 24 ливра за фунт стерлингов	960 000	
Итого:		
Бенефиции	324 000	
Должность первого министра	150 000	
Должность суперинтенданта почт	100 000	
Пенсия от Англии	960 000	
	1 534 000	ливров

Я также снизил его жалованье за должность первого министра и суперинтенданта почт; полагаю, что он еще получал двадцать тысяч от духовенства как кардинал, но с полной достоверностью утверждать это не могу. Сколько он получил от Лоу и сколько прикарманил, трудно себе представить. Много из этого он заплатил в Риме, чтобы добиться кардинальской шапки, но все равно у него остались огромные суммы. У него было безумное количество прекраснейшей серебряной и позолоченной посуды великолепной работы, богатейшая мебель, редкостные драгоценности, лучшие и несравненные лошади всех пород и роскошнейшие экипажи. Стол у него был изысканный и преотличный, и он с удовольствием отдавал ему должное, хотя по природе и по необходимости соблюдать диету был крайне умерен в еде. Должность воспитателя герцога Орлеанского принесла ему аббатство Ножан-су-Куси, женитьба герцога — аббатство Сен-Жюст, первые поездки в Ганновер и Англию — аббатства Эрво и Бургейль, три же остальных — его всемогущество.

Какое чудовищное состояние! И каким путем собранное! И

как быстро он его лишился! Поистине, к нему в точности подходят стихи из псалма: «Видел я нечестивца грозного, расширявшегося, подобно укоренившемуся многоветвистому дереву; но он прошел, и вот нет его; ищу его и не нахожу».

Vidi impium superexaltatum et elevatum sicut cedros Libani;
Et transivi, et ecce non erat, et non est inventus locus ejus.

В среду вечером, на другой день после смерти, его перевезли из Версаля в Париж, в соборную церковь св. Гонория, где несколько дней спустя и погребли. Каждая академия, членом которой он был, обязана была отслужить по нему панихиду или присутствовать на оной, собрание галликанского духовенства, где он был председателем, также отслужило по нему панихиду, и еще одна как по первому министру состоялась в соборе Нотр-Дам, служил ее кардинал де Ноайль, и присутствовали на ней все высшие придворные. Надгробных речей ни на одной панихиде не произносили; никто не решился рискнуть. Брат кардинала,[194] бывший гораздо старше его и притом порядочный человек, которого тот перевез сюда, став государственным секретарем, остался на пожалованной ему должности секретаря кабинета и смотрителя мостов и дорог, каковую должность добыл ему младший брат после смерти занимавшего ее Беренгена, обер-шталмейстера, и он весьма достойно ее исполнял. Этот Дюбуа, человек крайне скромный, получил огромнейшее наследство. У него был единственный сын,[195] каноник церкви св. Гонория, который не хотел никаких мест и бенефиций и жил святой жизнью. Он не пожелал воспользоваться и малой долей свалившегося на него богатства. Некоторую часть его он потратил на возведение своему дядюшке некоего подобия мавзолея, красивого, но скромного, примыкающего к стене в подземелье церкви св. Гонория, где был погребен кардинал, а все остальное роздал бедным, боясь, что это богатство навлечет на него проклятие.

Существует множество огромных состояний, и немало из них составлено ничтожными людьми, однако среди последних нет ни одного, кто бы в такой же мере, как кардинал Дюбуа, был лишен всяких талантов, помогавших им пробиться и удержаться, если не брать в расчет таланта к самым гнусным и низким интригам. Ум у него был крайне заурядный, знания самые поверхностные, никаких способностей, внешность хорька, но притом педанта, речь неприятная из-за того, что он вечно употреблял неопределенные артикли; то, что он лжив, было прямо-таки написано у него на лбу, а уж безнравствен он был настолько, что это даже нельзя было скрыть; его приступы ярости весьма смахивали на припадки безумия; голова его не способна была

вместить более одного дела, да и то предпринимал он и вел их только ради собственной корысти; не было у него ничего святого, он не уважал никакие чтимые людьми связи, вызывающе пренебрегал верностью, данным словом, честью, порядочностью, истиной и почитал своим величайшим достоинством презрение ко всем этим вещам; столь же любострастный, сколь и любовластный, он жаждал заполучить себе все, принимая во внимание лишь себя одного, а всех прочих ни в грош не ставя и полагая крайним безумием думать и действовать по-другому; при всем этом был он умильным, смирным, уступчивым, льстивым, умеющим очаровать, с величайшей легкостью принимал любые обличья и надевал любые личины, часто противоречившие друг другу, лишь бы добиться целей, которые он себе ставил, хотя нередко имел слишком мало способностей, чтобы их достичь; в его порывистой и прерывистой речи, непроизвольно запутанной, не было ни смысла, ни толку, она у всех вызывала неприятное ощущение. Тем не менее, когда ему было нужно, он бывал остроумен, шутлив, умел рассказать забавную историйку, но ему недоставало гладкости речи из-за заикания, ставшего у него привычкой по причине его фальшивости, а также неуверенности, которую он испытывал, когда ему нужно было отвечать и говорить.

Совершенно невероятно, что при таких недостатках единственным человеком, которого удалось ему обольстить, оказался герцог Орлеанский, обладавший большим умом, здравомыслием и способностью очень быстро постигать сущность людей. Дюбуа начал это, когда герцог был еще ребенком, а он — его воспитателем, когда же тот стал молодым человеком, завладел им, поощрял в нем склонность к вольности нравов, к щегольству, разврату, презрение к любым правилам, внушая ему прекрасные принципы ученых вольнодумцев и тем самым развращая его сердце и ум, от каковых принципов герцог Орлеанский так никогда и не смог отрешиться, воспитывая в нем чувства, противные разуму, истине, совести, которые герцог всегда старался в себе подавлять. Самым сокровенным желанием Дюбуа, вкравшегося таким образом в доверие к герцогу Орлеанскому, было любыми способами оставаться при своем господине, с которым он связывал получение всех выгод и преимуществ, хотя в ту пору они были не слишком значительны, но достаточно велики для слуги кюре церкви св. Евстафия, а потом св. Лаврентия. Словом, он никогда не терял из виду герцога Орлеанского, чьи великие таланты и великие же недостатки знал и умел обращать себе на пользу, постоянно играя на них, ибо на слабоволии герцога он основывал свои главнейшие

надежды. Именно это и поддерживало его во многих неудачах, которые он претерпел, и самым досадным для него был неуспех при начале Регентс-ва. но мы уже видели, с какой ловкостью он сумел вновь сблизиться с герцогом Орлеанским. То был единственный талант, которым он обладал, наряду с талантом к низменной интриге. Дюбуа прельстил герцога Орлеанского иллюзиями насчет Англии, которые принесли государству столько бед и тягостные последствия которых еще дают себя знать. Он понуждал герцога и сразу же поставил его в этом личном интересе на один уровень с двумя претендентами, заинтересованными в случае смерти короля поддерживать друг друга; герцог Орлеанский позволил втянуть себя в это дело под воздействием болтовни Канийака, глубокомысленных sproposiiti[196] герцога де Ноайля и дерзких и надменных подстрекательств Стера, притом что он вовсе не желал этой короны; эту невероятную истину я не устану повторять, потому что всегда и вполне знал ее; невероятной же я ее назвал потому, что совершенно очевидно, что если бы ему досталась корона даже без всяких трудностей, то, чтобы получить и сохранить ее, ему пришлось бы затратить столько усилий, испытать столько стеснений и неудобств, что это не шло бы ни в какое сравнение с удовлетворением от обладания ею. Вот причина связи между ним и Дюбуа, ставшей столь прочной и глубокой после того, как тот добился, надо сказать не без труда, чтобы его послали в первый раз в Голландию; после этого его направляли в Ганновер, затем в Лондон, и тут уж он взял все переговоры в свои руки, захватив их, во-первых, благодаря слабоволию своего господина, а во-вторых, привязав его к себе, так что герцог Орлеанский не мог уже использовать никого другого, поскольку никто, кроме Дюбуа, не знал подлинных нитей, на которых основывалась тайная подоплека переговоров, а именно договоренности обоих претендентов о взаимной поддержке в случае смерти короля; для герцога Орлеанского было крайне опасным доверить эту тайну кому-то, кроме Дюбуа, который и стал руководить переговорами, пренебрегая самыми очевидными и явными интересами государства. Тут уж Дюбуа получил полную свободу вести себя в Лондоне по своему усмотрению и уступать англичанам во всем подряд, для чего не требуется большой ловкости. Герцог Орлеанский не всегда соглашался на уступки, которые Дюбуа хотел сделать англичанам, и те упрекали аббата, что его господин куда упрямей его, подразумевая, что он не пользуется у церкви доверием, и давая понять, каковы будут последствия в части того, что он хочет получить от них, ежели он не переубедит герцога Орлеанского и не добьется того, что устраивает их. Вот причина

всех этих пылких писем, о которых герцог Орлеанский несколько раз говорил мне и перед которыми не мог устоять, и причина внезапного возвращения Дюбуа из Англии без приказа и безо всякой подготовки, чтобы на сей раз лично сообщить то, чего нельзя было доверить письмам, и стремительный отъезд в Лондон, чуть только он преуспел в целях, которые поставил себе, чтобы порадовать английских министров и показать им на примере этого короткого вояжа, чего можно ждать от его влияния на регента, ежели он будет оставлен у них на острове, то есть как он будет для них необходим и до какой степени в их интересах всячески его ублажать, чтобы иметь возможность рассчитывать на него.

Вот так, не обладая никакими способностями, Дюбуа заключил с англичанами договоры, противоречащие интересам Франции и благу всей Европы, особенно же невыгодные Испании; вот так, точно по мановению, началось и мгновенно выросло до чудовищных размеров влияние Дюбуа, который, внезапно возвратясь из Англии и получив должность государственного секретаря, ниспроверг все советы, чтобы сбросить маршала д'Юселя и совет по иностранным делам и захватить переговоры в свои руки. Потребовав такую награду за проведение их, заставив герцога Орлеанского оценить всю их деликатность, всю ловкость, с какой он их провел, результаты, которые они принесли — не принесли же они никаких, — Дюбуа сумел убедить своего господина в том, что тот должен доверить иностранные дела одному ему, чтобы поддержать и укрепить глубокое доверие англичан, которое настоятельно нужно сохранить; для этого с них следует снять путы в лице маршала д'Юселя, Канийака и совета, каковой Дюбуа хотел устранить, чтобы все дела проходили через один-единственный канал, благоприятный для английского посла, к которому он не мог бы испытывать ни малейшего недоверия. Ну. а от государственного секретаря к прочим должностям дорога была скорой и легкой. Война, которую Дюбуа затеял против Испании[197] без какой-либо, даже самой ничтожной, причины, вопреки насущным интересам Франции и даже глубоко личному интересу герцога Орлеанского, с единственной целью уничтожить в угоду англичанам испанский флот,[198] была ценой за получение кардинальской шапки, а она тут же проторила ему дорогу к должности первого министра.

Но ежели кто-то удивится, как Дюбуа, не обладавшему никакими способностями, удалось столь скоро преуспеть с заключением двойного брака[199] после того, как он так развернулся, достиг таких высот благодаря Англии, принес ей в жертву Францию, а еще более Испанию, да еще при тех личных

предубеждениях, какие питали в Испании к герцогу Орлеанскому и до того, как он стал регентом, и после, то тут как раз все легко объясняется. Пусть испанский король был предубежден против герцога Орлеанского из-за того, что ему перед смертью Людовика XIV наговорила принцесса дез Юрсен, пусть чувствительные удары, чтобы угодить англичанам, нанесло ему во время Регентства министерство Дюбуа, все равно ни один человек не был привязан к своему королевскому семейству и к своей родной нации так кровно и неразрывно, как Филипп V. Это живое и никогда не умиравшее чувство было причиной его неутолимых страданий из-за Франции и всегда понуждало горячо желать нерасторжимой связи и союза с нею. Надежда на это явилась у него, когда ему было сделано предложение относительно брака Людовика XV; он воспринял его как исполнение сокровеннейших своих желаний, так что никакие условия вроде одновременной женитьбы принца Астурийского ничуть не смогли его охладить. С другой стороны, королева, также страстно желавшая, чтобы ее старший сын прочно и основательно утвердился в Италии — и из любви к этой стране, и из тщестлавия, а также чтобы ей было куда удалиться после и избегнуть судьбы вдовствующих испанских королев, всегда ужасавшей ее, — понимала наравне со своим супругом, что такое невозможно будет без согласия императора и что только английский король, бывший тогда в прекрасных отношениях с венским двором, мог вынудить последний благоприятствовать этому; Испания же могла надеяться на содействие Англии только с помощью герцога Орлеанского и даже аббата Дюбуа, поскольку они были связаны с Георгом и его министрами. Вот и все чудеса, вот почему оба эти брака были заключены так легко и быстро, а вся ловкость аббата Дюбуа выразилась в том, чтобы замыслить и решиться предложить их. Все это было для меня совершенно очевидно в Испании,[200] и еще я увидел, что отношение короля Испании и его министров к герцогу Орлеанскому не улучшилось — и королевы тоже; это сквозило, несмотря на все меры и все строжайшие предосторожности, так что, как бы ни старались они скрывать свои чувства, для меня их старания были завесой не толще кисеи; то же самое отношение я чувствовал и у маркиза де Гримальди. Такова разгадка пресловутых чудесных способностей Дюбуа.

Еще определеннее они проявились в его манере править, когда он стал подлинным хозяином государства. Все его старания, направленные на то, чтобы его господин, чью переменчивость он отлично знал, не выскользнул у него из рук, направлялись на постоянную слежку за герцогом Орлеанским,

дабы постоянно быть в курсе, что он делал, с кем виделся, сколько времени и кому уделил, каково его настроение, выражение лица, что он говорил после каждой аудиенции или увеселения, кто там был, с кем и о чем он разговаривал, а потом сопоставлять все эти сведения; особенно же Дюбуа усердствовал в том, что запугивал людей, нагонял на них страху, чтобы никто не набрался храбрости пойти прямиком к герцогу, и предотвращал поползновения всякого, кто возымел бы такую дерзость, не имея на то его дозволения и согласия. Слежка эта заполняла все его дни, на результатах ее он основывал все свои действия, а еще его заботой было держать всех без исключения в ежовых рукавицах, прибирать к рукам все-дела, милости, даже самые пустячные, — и проваливать все, что посмели попытаться провести помимо него; тех же, кто пытался это сделать, он не прощал и безжалостно преследовал. Эти труды, а также некоторые необходимые занятия, связанные с отдачей распоряжений, съедали все его время, так что он был практически недоступен, за исключением редких публичных аудиенций и немногочисленных аудиенций, которые он давал иностранным послам. А поскольку большинство посланников не могло пробиться к нему, то они ловили его на лестницах и в других местах, когда он куда-нибудь шел, и потому он старался тайком пройти там, где нельзя было с ними встретиться. Однажды он бросил в огонь огромное количество запечатанных пакетов, пришедших отовсюду, и потом радостно вскричал, что вот теперь он ознакомился с их содержанием. После его смерти у него нашли тысячи таких пакетов, даже не распечатанных. Таким образом, все дела оказывались запущенными, и никто, даже иностранные послы, не смел пожаловаться на это герцогу Орлеанскому, а он, предаваясь удовольствиям и все время раскатывая из Версаля в Париж и обратно, отнюдь не давал себе труда подумать о них, радуясь, что обрел свободу, тем паче что его портфель всегда был заполнен всякими пустяками, чтобы было чем заняться с королем; представлялись же королю лишь уже принятые решения о расходах, прошения о должностях и свободных бенефициях. Почти ни одно дело не решалось, и все они пребывали в полнейшем беспорядке и хаосе. Чтобы так управлять, больших способностей не требуется; все труды первого министра заключались в том, чтобы сказать по несколько слов каждому из министров, возглавляющих ведомства, уделить известное внимание депешам и отобрать из них для совета с королем самые малозначащие, а остальные небрежно просмотреть с герцогом Орлеанским и отложить в сторону, не приняв никакого решения; основными же его занятиями были шпионство, изучение

донесений слуг герцога Орлеанского и обдумывание всего этого, парирование возможных неприятностей, козни и махинации; его вспышки бешенства с проклятиями и сквернословием, от которых не были избавлены ни мужчины, ни женщины любого ранга и достоинства, спасали его от множества аудиенций, потому что люди предпочитали идти окольными путями, действуя через мелких чиновников, а то и проиграть свое дело, лишь бы не подвергаться ярости и оскорблениям Дюбуа. Здесь уже были приведены образчики его поведения, дающие, правда, слабое представление о том, что происходило на многолюдных аудиенциях, даваемых послам, прелатам, дамам и самым разным высокопоставленным лицам, а также офицеру, которого я прислал из Мадрида с брачным контрактом короля.

Сумасбродные выходки, которые кардинал Дюбуа позволял себе на публике, особенно после того, как стал хозяином государства, могли бы заполнить целую книгу. Я приведу тут для примера только некоторые. В бешенстве он иногда бегал по комнате, а потом перебегал в другую и носился там по столам и стульям, ни разу не ступив на пол; герцог Орлеанский часто бывал очевидцем подобных случаев и неоднократно рассказывал мне о них.

Кардинал де Жевр пришел как-то к герцогу Орлеанскому с жалобой на то, что кардинал Дюбуа послал его подальше в самых грязных выражениях. Здесь уже рассказывалось о том, что такими же выражениями он воспользовался в разговоре с принцессой Монтобан, и об ответе, который герцог Орлеанский дал на ее жалобу. По правде сказать, лучшего она не заслуживала. Удивительно только, что герцог Орлеанский то же самое ответил человеку столь строгих нравов, столь значительному и высокопоставленному, как кардинал де Жевр, сказав, что он всегда находил советы кардинала Дюбуа полезными и считает, что будет лучше, если кардинал де Жевр последует тому, который был ему дан. Вероятно, герцог сделал это затем, чтобы избавиться от подобных жалоб, и действительно, после такого примера больше к нему с ними не обращались.

Г-жа де Шеверни, овдовев, удалилась в приют для неизлечимых. Ее должность воспитательницы дочерей герцога Орлеанского была отдана г-же де Конфлан. Чуть погодя после рукоположения Дюбуа в кардиналы герцогиня Орлеанская спросила, ходила ли г-жа де Конфлан представляться ему. Г-жа де Конфлан ответила, что нет и что она не видит причин идти к нему: место, которое ей доверили их королевские высочества, не имеет никакого касательства к делам. Герцогиня Орлеанская настаивала, говоря, что герцог Орлеанский весьма внимателен к

кардиналу. Г-жа де Конфлан отказывалась и наконец заявила, что кардинал — сумасшедший, который всех оскорбляет, и она не желает нарываться на грубости. Она была неглупа, чрезвычайно горда, хотя и весьма учтива, и за словом в карман не лезла. Герцогиня Орлеанская стала смеяться над ее страхами и сказала, что поскольку г-жа де Конфлан не будет ничего просить у него или говорить о делах, а просто сообщит, что герцог Орлеанский дал ей место, то это будет обычная вежливость, каковая должна понравиться кардиналу; этим она сумеет снискать его благосклонность, и вообще тут нет ничего неприятного и никаких поводов для опасений; под конец же она заявила, что так требуют приличия и она хочет, чтобы г-жа де Конфлан сходила к нему. И вот после обеда та отправилась к нему, так как дело происходило в Версале, и вошла в большой кабинет, где человек восемь-десять ожидали, когда можно будет поговорить с кардиналом, который стоял возле камина и ругательски ругал какую-то женщину. Г-жа де Конфлан, бывшая невысокого роста, от страха совсем съежилась. Тем не менее, когда та женщина удалилась, она приблизилась к кардиналу. Увидев ее, он вышел навстречу и громко спросил, что ей нужно. «Монсеньер…» — начала г-жа де Конфлан. «Ну что монсеньер, что монсеньер? — прервал он ее. — Это, сударыня, невозможно». «Но, монсеньер…» — повторила она. Он снова прервал ее: «Черт бы вас побрал! Говорю вам еще раз: если я сказал, это невозможно, значит, невозможно». «Монсеньер», — произнесла снова г-жа де Конфлан, желая объяснить ему, что она ничего не просит, но он схватил ее за плечи, развернул, пихнул кулаком в спину и рявкнул: «Убирайтесь ко всем чертям и оставьте меня в покое!» Г-жа де Конфлан думала, что она тут и растянется. Обливаясь горькими слезами, она в ярости убежала и в таком состоянии явилась к герцогине Орлеанской, которой и поведала свое приключение, перемежая слова рыданиями. Все уже привыкли к выходкам кардинала, но эта показалась герцогине Орлеанской настолько необычной и забавной, что рассказ вызвал у нее приступ хохота, и это окончательно вывело из себя бедную де Конфлан, которая поклялась, что ноги ее в жизни не будет у этого грубияна.

На пасху, сразу после того, как Дюбуа стал кардиналом, он проснулся в восемь утра, стал отчаянно звонить во все колокольчики, а потом принялся поносить своих людей, изрыгая проклятья и ругательства и крича во весь голос, что они, подлецы, не разбудили его, что он собирался отслужить мессу и что он не знает, где взять время на все дела, которые навалились на него. После такой великолепной подготовки он принял решение никаких месс не служить, и я не знаю, отслужил ли он хотя бы

одну после рукоположения в кардиналы.

Личным секретарем у него был некто Венье, которого он взял из аббатства Сен-Жер-мен-де-Пре, где тот был послушником, и который в продолжение двадцати лет вел его дела с большим умом и пониманием. Он быстро уразумел характер кардинала и обеспечил себе прочное положение, говоря только то, что тому нравилось. Как-то утром он был у кардинала и тот потребовал что-то, чего не оказалось под рукой. Кардинал принялся ругаться, богохульствовать, клясть своих служащих, крича, что, раз их недостаточно, он возьмет еще двадцать, тридцать, пятьдесят, сто, короче, поднял неимоверный шум. Венье спокойно слушал; тогда кардинал обратился к нему, спрашивая, разве не ужасно, что ему так скверно служат за те деньги, которые он платит, тут же снова вышел из себя и потребовал ответа на свой вопрос. «Монсеньер, — отвечал Венье, — возьмите еще одного-единственного чиновника и поручите ему единственную обязанность — ругаться и бушевать за вас. Тогда все пойдет на лад: у вас появится много лишнего времени, и вы увидите, что вам хорошо служат». Кардинал расхохотался и утихомирился.

Ужинал он всегда один, и весь его ужин состоял из цыпленка. Однажды по небрежности слуги забыли подать ему цыпленка. Дюбуа уже собирался ложиться и тут вспомнил про него, стал звонить, кричать, поносить своих людей, а те, сбежавшись к нему, невозмутимо слушали. А он все яростней вопил, где его цыпленок и почему ему так поздно не дают ужинать. И тут, к его удивлению, слуги ему спокойно отвечают, что цыпленка он уже съел, но если ему угодно, то сейчас посадят на вертел еще одного. «Как?! — изумился он. — Я уже съел цыпленка?» Дерзкие и хладнокровные уверения слуг наконец убедили его, а потом люди насмехались над ним. На этом я остановился потому, что, повторю снова, таких случаев можно набрать на целый том. Но и этого вполне достаточно, чтобы показать, что это был за чудовищный субъект; когда он умер, облегчение испытали поистине все — и великие, и малые, и вся Европа, и даже его брат, с которым он обращался, точно с негром.

Однако самое большое облегчение испытал герцог Орлеанский. Он уже давно втайне стенал под гнетом жестокого владычества Дюбуа и цепей, в которые тот заковал его. Он уже не только не мог отдавать распоряжения или что-то решать, но даже испрашивал дозволения кардинала, когда чего-то желал, неважно, будь это серьезная вещь или пустяк; во всем ему приходилось подчиняться воле кардинала, и тот приходил в ярость, упрекал и осыпал его ругательствами, словно обычного просителя, если герцог начинал слишком упрямиться.

Несчастный герцог чувствовал собственную беспомощность и понимал, что она означает закат его власти и всемогущество кардинала. Он боялся Дюбуа, не переносил его, умирал от желания избавиться от него, и для этого были тысячи возможностей, но герцог Орлеанский не решался, не знал, как ими воспользоваться; к тому же он был ото всех отгорожен, за ним все время шпионили, рядом с ним не было никого, кому можно было бы вполне довериться, а кардинал, прекрасно осведомленный обо всем, удваивал усилия, дабы удержать с помощью страха то, что захватил благодаря своим ухищрениям, поскольку удержать иным способом не надеялся.

После того как кардинал Дюбуа умер, герцог Орлеанский возвратился в Медон и сообщил эту новость королю, который сей же час попросил его взять на себя ведение всех дел, назначил первым министром, а на следующий день принял от него присягу; спешно составленный патент был сразу же утвержден парламентом. Это мгновенное назначение, которое герцог Орлеанский ничуть не подготавливал, было вызвано опасениями епископа Фрежюсского[201] опять получить какого-нибудь сумасбродного первого министра. Как уже упоминалось, король любил герцога Орлеанского за почтительность, которую тот ему выказывал, за то, в какой манере герцог занимался с ним делами, за то, что, не боясь быть пойманным на слове, он оставлял за ним право выбора среди предложенных им лиц, кого одарить милостью, и еще за то, что герцог назначал часы работы так, чтобы не мешать его развлечениям. Как бы ни старался кардинал Дюбуа, к каким бы хитростям ни прибегал, чтобы очаровать и приручить короля, ничего у него не получалось, и вовсе не надо было острого зрения, чтобы увидеть, какое сильное отвращение чувствует к нему король. Кардинал был в отчаянии и лез из кожи, чтобы добиться своего. Но, кроме неестественного поведения и свойственных ему крайне неприятных манер, что отнюдь не помогало ему в стараниях понравиться, у него в окружении короля были два врага, весьма старавшихся удалить его от юного монарха: маршал де Вильруа, покуда он был там, и второй, куда более опасный, епископ Фрежюсский, который ненавидел кардинала из честолюбия и твердо решил низвергнуть его, если герцог Орлеанский не сделает этого, поскольку не мог вытерпеть, чтобы такой сумасброд первенствовал, а уж тем паче возвышался над ним; поэтому он изо дня в день не упускал случая опорочить его перед королем и все более усиливался сам.

29. 1723. Герцог де Лозен

Герцог де Лозен скончался 19 ноября в возрасте девяноста с половиной лет. Душевная дружба сестер, на которых мы были женаты, постоянное наше пребывание при дворе, причем при поездках в Марли нам четверым отводили отдельный павильон, — все это сблизило меня с ним, а после смерти короля мы почти ежедневно виделись и обедали то у меня, то у него. То был человек настолько необыкновенный и во всех отношениях неповторимый, что Лабрюйер имел все основания написать про него в своих «Характерах»,[202] что жизнь, которую он прожил, никому не может и присниться. Тому, кто близко знал его, даже в старости, эти слова кажутся более чем справедливыми. Это и побуждает меня рассказать о нем.

Он происходил из рода де Комонов, старшей в котором всегда считалась ветвь герцогов де Лафорсов, хотя де Лозены были не прочь оспорить это. Мать г-на де Лозена была дочерью герцога де Лафорса, брата второго маршала и герцога де Лафорса,[203] а также супруги маршала де Тюренна,[204] но дочерью от второго брака. Граф де Лозен, отец герцога, был капитан сотни дворян-алебардщиков, телохранителей короля, умер в 1660 году, и у него было пять сыновей и четыре дочери. Старший умер совсем молодым, второй ничем не отличился, прожил у себя в провинции до 1677 года и остался холостяком, третьим был Пюигильен, ставший впоследствии герцогом де Лозеном, герой моего повествования; четвертый изнывал в безвестности капитаном галеры и умер холостым в 1692 году; последний шевалье де Лозен недолго служил в тяжелой кавалерии, перешел вместе с принцами де Конти в Венгрию, некоторое время подвизался на службе у императора в чине генерала, однако вскоре ему там надоело, и после довольно длительной ссылки он вернулся в Париж; он являл собой тип своеобразного философа, был нелюдим, хмур, тяжел в общении, обладал умом и познаниями, часто ссорился со своим братом, который давал ему на жизнь, причем нередко снисходя к ходатайствам герцогини де Лозен; умер он холостым в Париже в 1707 году, шестидесяти лет от роду.

Герцог де Лозен был невысок, белобрыс, для своего роста хорошо сложен, с лицом высокомерным, умным, внушающим почтение, однако лишенным приятности, о чем я слышал от людей его времени; был он крайне тщеславен, непостоянен, полон прихотей, всем завидовал, стремился всегда добиться своего, ничем никогда не был доволен, был крайне необразован,

имел ум, не отшлифованный знаниями и изящными искусствами, характером обладал мрачным, грубым; имея крайне благородные манеры, был зол и коварен от природы, а еще более от завистливости и тщеславия, но при всем том бывал верным другом, когда хотел, что случалось редко, и добрым родственником; был скор на вражду, даже из-за пустяков, безжалостен к чужим недостаткам, любил выискивать их и ставить людей в смешное положение; исключительно храбрый и опасно дерзкий, он как придворный был наглым, язвительным и низкопоклонным, доходя в этом до лакейства, не стеснялся в достижении своих целей ни искательства, ни козней, ни интриг, ни подлостей, но при том был опасен для министров, при дворе всех остерегался, был жесток, и его остроумие никого не щадило. Младший сын гасконского дворянского рода, он прибыл ко двору очень юным, без гроша в кармане и назывался тогда маркизом де Пюигильеном. Приютил его маршал де Грамон, двоюродный брат его отца. В ту пору он занимал при дворе весьма высокое положение, пользовался доверием королевы-матери и Мазарини и имел полк гвардии, который должен был унаследовать граф де Гиш, его старший сын, бывший кумиром храбрецов и прекрасного пола и пребывавший в милости у короля и графини Суассон-ской, племянницы кардинала, которой король смотрел в рот и которая тогда царила при дворе.

Граф де Гиш ввел к ней маркиза де Пюигильена, и тот очень скоро стал любимцем короля, который дал ему только что сформированный собственный полк драгун, вскоре произвел в бригадные генералы и придумал для него должность генерал-полковника драгун.

Герцог Мазарини, в 1669 году уже удаленный от двора, хотел избавиться от должности фельд-цейхмейстера артиллерии; Пюигильен первым пронюхал об этом и попросил ее у короля, который пообещал, но велел несколько дней держать это в тайне. И вот настал день, когда король сказал, что сегодня объявит об этом. Пюигильен, имевший право входа наравне с камер-юнкерами, которое называется также правом большого входа, пришел подождать, когда король выйдет с заседания совета по финансам; он сидел в комнате, куда никто не входит, смежной с той, где были все придворные, и той, где проходил совет. Там находился Ниер, первый дежурный камер-лакей, который поинтересовался, по какому случаю маркиз сюда пришел. Пюигильен, уверенный в благополучном завершении своего дела, решил довериться лакею и, не таясь, выложил ему, чего он ждет. Ниер поздравил его, вытащил часы, глянул на них и сказал, что еще успеет исполнить одно срочное и не требующее большого

времени поручение короля; тут же он стремглав кинулся по малой лестнице наверх, где размещалось ведомство Лувуа, трудившегося там весь день; в Сен-Жермене помещения были тесные и было их мало, так что министры и почти все придворные жили в своих домах в Париже. Ниер ворвался к Лувуа и сообщил ему, что, выйдя с совета по финансам, на котором Лувуа не присутствовал, король объявит Пюигильена фельдцейхмейстером, что тот сам сообщил ему это и сказал, где он оставил Пюигильена.

Лувуа ненавидел Пюигильена, бывшего в дружбе с его соперником Кольбером, и испугался, что этот надменный любимец короля получит должность, так тесно связанную с его военным ведомством, а поскольку он старался, как только мог, урезать функции и власть начальника артиллерии, то предвидел, что Пюигильен ни по своему нраву, ни по тому, что пользуется благосклонностью короля, этого не потерпит. Он расцеловал Ниера, поблагодарил его, велел немедленно возвратиться обратно, взял какие-то бумаги, чтобы иметь видимый повод войти к королю, спустился вниз и нашел в вышеупомянутой комнате Пюигильена и Ниера. Ниер, видя пришедшего Лувуа, изобразил удивление и сказал, что совет еще не кончился. «Неважно, — отвечал Лувуа. — Я должен войти, мне нужно кое-что срочно доложить королю» — и тут же вошел. Король, удивленный оттого, что видит его, спросил, что его сюда привело, поднялся и пошел навстречу. Лувуа отвел его в нишу окна и сказал, что ему стало известно, что его величество намерен объявить фельдцейхмейстером Пюигильена, который в соседней комнате ожидает окончания совета, и что, хотя его величество волен оказывать милости и назначать, кого хочет, он, Лувуа, считает своим долгом указать его величеству на то, насколько несовместимы они с Пюигильеном, на его капризы и высокомерие и на то, что он захочет все переделать и переменить в артиллерии; должность эта неразрывным образом связана с военным ведомством, и потому недопустимо, чтобы в артиллерии непрерывно осуществлялись всякие затеи и фантазии, тем паче при наличии явного разлада между фельдцейхмейстером и государственным секретарем, поскольку это приведет к тому, что при малейшем разногласии они будут докучать его величеству своими взаимными попреками и дрязгами, в которые его величеству придется постоянно вмешиваться.

Король был крайне раздосадован, видя, что его тайна стала известна как раз тому, от кого он прежде всего хотел ее скрыть; с самым серьезным видом он ответил Лувуа, что ничего еще не случилось, отпустил его и продолжил совет. Чуть позже, когда

заседание кончилось, король вышел, дабы отправиться к мессе, увидел Пюигильена и прошел мимо, ничего ему не сказав. Пюигильен, крайне изумленный, ждал до конца дня, но, видя, что обещанное назначение не состоялось, при малом раздевании заговорил о том с королем. Король ответил, что пока это невозможно и вообще он поглядит; уклончивость ответа и сухой тон короля чрезвычайно встревожили Пюигильена. Он имел успех у дам, знал галантный- язык и, разыскав г-жу де Монтеспан, поведал ей о своих тревогах, умоляя положить им конец. Та наобещала с три короба и много дней повторяла свои обещания.

Потеряв терпение от всех этих проволочек и ломая себе голову над тем, что стало причиной его неудачи, Пюигильен решился на поступок, который можно было бы счесть невероятным, если бы он не свидетельствовал о нравах тогдашнего двора. Он переспал с любимой горничной г-жи де Монтеспан, поскольку для него все средства были хороши, лишь бы добыть сведения и обезопасить себя, и добился своего благодаря самой отчаянной дерзости, о которой до сих пор никто не знал. При всех своих любовных связях король ночевал только у королевы, приходя к ней иногда довольно поздно, но тем не менее каждую ночь; ну а для удовольствия он во второй половине дня всходил на ложе какой-нибудь любовницы. Пюигильен заставил эту горничную спрятать его под кроватью, на которую возлегли король с г-жой де Монтеспан, и из их разговора узнал о противодействии Лувуа его назначению, о гневе короля, оттого что тайна "Открылась, и решении не отдавать Пюиги-льену артиллерию из-за досады на него и во избежание постоянных свар между ним и Лувуа, которые неминуемо придется все время улаживать. Лозен слышал все, что говорили о нем король и его любовница, и как та, обещавшая ему всяческое содействие, изо всех сил чернила его. Кашляни он тогда, шевельнись, произойди любая случайность- и храбреца тут же обнаружили бы. Что бы с ним сталось тогда? Его история на этом бы закончилась, и рассказывать было бы больше не о чем.

Но везения у него было больше, чем благоразумия, и его не обнаружили. Король и его любовница наконец встали с постели. Король оделся и отправился к себе, а г-жа де Монтеспан занялась туалетом, собираясь пойти на репетицию балета, на которой должны были присутствовать король, королева и весь двор. Горничная извлекла Пюигильена из-под кровати, но он не счел необходимым пойти к себе и привести себя в порядок. Напротив, он устроился у дверей покоев г-жи де Монтеспан.

Когда она вышла оттуда, чтобы идти на репетицию балета, Пюигильен предложил ей руку и с самым спокойным и

почтительным видом спросил, смеет ли он надеяться, что она соблаговолила напомнить о нем королю. Г-жа де Монтеспан заверила его, что не забыла о его просьбе, и стала расписывать, как она ходатайствовала за него. Он же, чтобы дать ей как следует завраться, время от времени с самым доверчивым видом прерывал ее вопросами, но вдруг, наклонясь к ее ушку, сообщил ей, что она лгунья, дрянь, мерзавка, сучка, и слово в слово пересказал их с королем разговор. Г-жа де Монтеспан была так потрясена, что не нашла в себе сил хоть что-то ответить, едва добрела до места репетиции, пытаясь унять и скрыть дрожь, которая сотрясала все ее тело, а дойдя, упала без сознания. Там уже собрался весь двор. Король в ужасе бросился к ней, и ее с трудом привели в чувство. Вечером она рассказала королю, что с нею приключилось, пребывая в полной уверенности, что только от дьявола Пюигильен мог так скоро и так точно узнать все говорившееся о нем в постели. Король пришел в неописуемую ярость, услышав, какие оскорбления претерпела г-жа де Монтеспан от Пюигильена, и недоумевал, как он столь мгновенно получил такие точные сведения.

Пюигильен же был взбешен, оттого что ему не досталась артиллерия, и, таким образом, между ним и королем возникла враждебная натянутость. Дольше нескольких дней продолжаться такое не могло. И вот Пюигильен, воспользовавшись своим правом большого входа, подстерег короля, когда тот был один, и обратился к нему. Он заговорил об артиллерии, дерзко настаивая на выполнении данного слова. Король ответил, что считает себя свободным от исполнения его, поскольку дано оно было при условии сохранения тайны, а условие это не было выполнено. Тогда Пюигильен отошел на несколько шагов, повернулся к королю спиной, выхватил шпагу, переломил ее на колене, вскричав в ярости, что в жизни он больше не будет служить монарху, который столь недостойно не держит слова. Разгневанный король в тот миг совершил, быть может, самый прекрасный в своей жизни поступок: распахнул окно, выбросил в него трость, сказав, что никогда бы не простил себе, если бы ударил столь знатного дворянина, и вышел.

На следующее утро Пюигильен, не смевший после этого показаться королю на глаза, был арестован у себя в комнате и препровожден в Бастилию. У него был близкий друг де Гитри, любимец короля, для которого тот придумал должность главного королевского гардеробмейстера. Гитри отважился заступиться за друга перед королем и постарался напомнить ему, какую он питал склонность к Пюигильену. Ему удалось убедить короля, будто Пюигильен потерял голову, получив отказ от столь

значительной должности, на которую он полностью рассчитывал, имея королевское обещание, тем паче что и сам король хотел загладить свой отказ. Артиллерию он отдал графу дю Люду, кавалеру ордена Св. Духа с 1661 года, которого он весьма любил за его манеры и за сходные склонности к галантным приключениям и охоте. Граф дю Люд был капитаном и губернатором Сен-Жермена, а также камер-юнкером. Чтобы заплатить за артиллерию, он продал должность камер-юнкера герцогу де Жевру, который был капитаном гвардии, и вот эту должность в виде возмещения король предложил Пюигильену, сидящему в Бастилии. Пюигильен, видя столь невероятно скорое возвращение благосклонности короля, по свойственной ему дерзости решил, что сможет вырвать у него что-нибудь позначительней, и отказался. Однако это не отвратило от него короля. Гитри отправился в Бастилию уговаривать своего друга и с большим трудом склонил его соблаговолить принять предложение короля. Едва только Пюигильен дал согласие, как вышел из Бастилии, явился поклониться королю, принес присягу в своей новой должности и продал драгун.

В 1665 году после смерти маршала де Клерамбо он получил губернаторство в Берри. Я не касаюсь здесь его приключения с Мадемуазель,[205] о чем она сама так простодушно рассказала в своих «Мемуарах», и ее безмерной ярости, когда он отложил их бракосочетание, на которое король дал согласие: Лозен хотел подготовить красивые наряды и добиться, чтобы венчание состоялось во время королевской мессы; отсрочка эта дала возможность Месье и его высочеству Принцу, который и подзуживал Месье, сделать представление королю и убедить его взять назад согласие, отчего брак и не состоялся. Мадемуазель метала громы и молнии, но Пюигильен, ставший после смерти отца графом де Лозеном, без сопротивления и с великим благоразумием, вообще-то не свойственным ему, принес эту жертву королю. После отца он получил роту телохранителей-алебардщиков и тут же был произведен в генерал-лейтенанты.

Он влюбился в принцессу Монако, сестру графа де Гиша, ближайшую подругу и участницу всех интриг Мадам, которая пользовалась исключительным благорасположением короля и добилась от него беспримерного, чего ни до нее, ни после нее не бывало, а именно: пользуясь тем, что она дочь короля Англии, получила право иметь, как и королева, обер-гофмейстерину; ею она назначила г-жу де Монако. Лозен страшно ревновал ее и был недоволен ее поведением. В один из летних дней он приехал в Сен-Клу; Мадам и ее придворные дамы в поисках прохлады сидели на каменном полу, а принцесса Монако полулежала,

откинув руку. Лозен принялся любезничать с дамами, обернулся, да так ловко, что наступил каблуком принцессе Монако на ладонь, крутанулся и вышел. У принцессы Монако достало сил не вскрикнуть и промолчать.

Через некоторое время он выкинул штуку почище. До него дошли слухи, что король затеял интрижку с принцессой Монако; он узнал, когда Бонтан приведет ее, закутанную в плащ, по потайной лестнице к задней двери королевских покоев; а на той же площадке, как раз напротив задней двери, находился нужник. Придя заранее, Лозен спрятался в нужнике, закрылся на крючок и сквозь замочную скважину увидел, как король открыл дверь, вставил ключ снаружи и снова закрыл. Подождав немножко, Лозен послушал под дверью, запер ее на два оборота, ключ же забрал и бросил в нужник, а сам снова закрылся. Некоторое время спустя появляются Бонтан с дамой и очень удивляются, не обнаружив в двери ключа. Бонтан несколько раз тихонько стучит, но безрезультатно; наконец он постучался громче, так что король услышал. Бонтан сообщает, что дама с ним, и просит открыть дверь, так как ключа в ней нету. Король отвечает, что он вставил его снаружи; Бонтан ищет ключ на полу, а король пытается открыть защелку двери, но обнаруживает, что она заперта на два оборота. Все трое крайне удивлены, не знают, что делать, и выясняют через дверь, как это могло случиться; король изо всех сил жмет на ручку, но безуспешно: дверь заперта на два оборота-. В конце концов пришлось им попрощаться сквозь двери, а Лозен, который сидел, запершись в нужнике на крючок, как человек, пришедший туда по естественной надобности, слышал каждое слово, все видел через замочную скважину и от всей души беззвучно хохотал над ними, наслаждаясь их дурацким положением.

В 1670 году король решил совершить вместе с дамами триумфальное путешествие под предлогом посещения своих крепостей во Фландрии; его сопровождали армейский корпус и вся гвардия, а так как поход этот вызвал большую тревогу в Нидерландах, король постарался успокоить их. Общее командование вместе с патентом командующего армией он вручил графу де Лозену. Лозен исполнял свои функции с большим умом, учтивостью и крайним великолепием. И эта пышность, и само свидетельство того, что Лозен находится в большом фаворе, обеспокоили Лувуа, с которым Лозен нисколько не церемонился. Министр объединился с г-жой де Монтеспан, не простившей ни того давнего разоблачения, ни чудовищных оскорблений, какими ее осыпал Лозен, и они вдвоем действовали так ловко, что у короля пробудились воспоминания о сломанной

шпаге, о том, что Лозен, даже находясь в Бастилии, отказывался принять должность капитана гвардии; они внушили ему, что Лозен не умеет владеть собой, что он обольстил Мадемуазель и чуть не женился на ней, чтобы завладеть ее безмерными богатствами, наконец, что он опасен своей дерзостью, что он забрал себе в голову привлечь войска великолепием, подлещиванием к офицерам и дружественным обращением с ними во время похода во Фландрию и что те просто обожают его. Они ставили ему в вину, что он остался дружен и поддерживает связи с графиней Суассонской, которая была удалена от двора и обвинялась во многих преступлениях. Надо полагать, они коварно сговорились приписать иные из них Лозену, хотя я так и не смог узнать какие, и преуспели в этом. Козни эти продолжались весь 1671 год, но Лозен ничего не заметил ни по лицу короля, ни по лицу г-жи де Монтеспан, которые обращались с ним с обычной внимательностью и дружественностью. Он знал толк в драгоценных камнях, умел подбирать к ним оправу, и г-жа де Монтеспан нередко пользовалась его услугами. Однажды в середине ноября 1671 года он утром отправился в Париж по поручению г-жи де Монтеспан, связанному с драгоценностями, а едва вечером возвратился и вошел к себе в комнату, как тут же, почти одновременно с ним, туда явился маршал де Рошфор, дежурный капитан гвардии, и арестовал его. Безмерно удивленный Лозен хотел узнать причину, поговорить с королем либо с г-жой де Монтеспан или в крайнем случае написать им, но ему было отказано. Его препроводили в Бастилию, а вскоре переправили в Пиньероль, где заключили в каземат. Его должность капитана гвардии была отдана герцогу Люксембургскому, а губернаторство в Берри — герцогу де Ларошфуко, который после гибели де Гитри при переходе Рейна 12 июня 1671 года стал обергарде-робмейстером.

Можно представить себе состояние такого человека, как Лозен, который в одно мгновение рухнул с такой высоты и оказался в каземате замка Пиньероль, не имея возможности ни с кем увидеться и даже не представляя себе, в чем его преступление. Однако выдержал он там довольно долго, но в конце концов так тяжело заболел, что счел необходимым подумать об исповеди. Я слышал его рассказ, как он боялся, что к нему пришлют поддельного священника, и потому категорически потребовал капуцина; едва же тот к нему вошел, он схватил его за бороду и стал изо всех оставшихся сил дергать, дабы увериться, не накладная ли она. В этой тюрьме он провел не то четыре, не то пять лет.[206]

Нужда учит, и узники изобретают разные хитрости. Над

Лозеном и сбоку чуть выше помещались двое, и они нашли способ переговариваться с ним. Так они сговорились проделать скрытое отверстие, чтобы лучше слышать, а потом расширили его и стали друг друга навещать. По соседству с ними с декабря 1664 года находился в заключении суперинтендант Фуке, которого перевели сюда из Бастилии, куда доставили из Нанта, где король 5 сентября 1661 года приказал его арестовать и препроводить в Бастилию. Фуке узнал от соседей, с которыми он тоже нашел способ видеться, что в тюрьме находится Лозен. Не получавший никаких вестей Фуке надеялся узнать новости от Лозена и выказал желание увидеть его. Он помнил Лозена молодым человеком, который был представлен ко двору маршалом де Грамоном и хорошо принят у графини Суассонской, откуда король не вылезал; Фуке уже тогда благосклонно посматривал на него. Узники, сообщавшиеся с Фуке, уговорили его подняться по лазу и встретиться у них; Лозен тоже был рад увидеть его. И вот ни собрались вместе, и Лозен начал рассказ о своей судьбе и своих бедствиях. Несчастный суперинтендант весь обратился в слух и только широко раскрыл глаза, когда этот бедный гасконец, который был счастлив, что его приняли и приютили у маршала де Грамона, повел речь о том, как он был генералом драгун, капитаном гвардии, получил патент и назначение на командование армией. Фуке был в полном замешательстве и решил, что Лозен повредился в уме и рассказывает свои видения, особенно когда тот поведал, как он не получил артиллерию и что случилось потом; услышав же, что король дал согласие на его свадьбу с Мадемуазель, о том, что стало помехой этому браку и какие богатства невеста принесла бы в приданое, Фуке совершенно уверился, что безумие собеседника достигло предела, и ему стало страшно находиться рядом с ним. После этого Фуке охладел к беседе с Лозеном, которого он принял за тронувшегося рассудком, и счел пустыми баснями все его рассказы о том, что происходило в свете за промежуток времени между заключением в тюрьму того и другого. Условия содержания в тюрьме несчастного суперинтенданта были несколько мягче, чем у Лозена. Его жене и нескольким служителям замка было позволено видеться с ним и рассказывать о новостях. И вот Фуке первым делом сообщил им, как он сочувствует бедняге Пюигильену, которого он помнит таким юным и для своего возраста уже неплохо утвердившимся при дворе, но который сошел с ума, и вот теперь его по причине безумия упрятали в тюрьму. Каково же было его удивление, когда все наперебой стали уверять, что все услышанное им — чистая правда! Он никак не мог взять это в толк и готов был поверить, что они все

тронулись в уме; потребовалось время, чтобы его убедить. В свою очередь Лозен тоже был переведен из подземелья, помещен в камеру, а вскоре получил ту же относительную свободу, что и Фуке, так что они могли видеться, когда хотели. Не знаю, чем он прогневал Лозена, но тот вышел из Пиньероля врагом Фуке и, как мог, вредил ему, а после его смерти и до своей — его семейству.

У графа де Лозена было четыре сестры, не имеющих ничего. Старшая[207] была фрейлиной королевы-матери, которая в 1663 году выдала ее за Ножна, который принадлежал к семейству Ботрю, был капитаном стражи, гардеробмейстером и погиб при переходе Рейна; у него остался сын и несколько дочерей. Вторая[208] вышла за Бельзенса и прожила с ним безвыездно у себя в провинции; третья была настоятельницей монастыря Богоматери святых дев, а четвертая настоятельницей монастыря Ронсере в Анже.

Г-жа де Ножан не обладала ни умом своего брата, ни его способностями к интриге, была гораздо основательней его и куда менее необычной, хотя в этом смысле и похожей на него. Огромным горем стала для нее утрата мужа, по которому она до конца жизни носила большой вдовий траур и выполняла все, что при трауре положено. Но, несмотря на него, г-жа де Ножан хорошо поместила деньги, полученные как отступное за патенты, отнятые у ее брата, и за проданные им драгунский полк и чин генерал-полковника драгун, которые-он получил даром, взяла на себя заботу об оставшихся владениях де Лозена, так удачно накапливала доходы, поступавшие, пока он был в заключении, что он вышел из тюрьмы чрезвычайно богатым. Под конец она получила дозволение навещать его и несколько раз ездила в Пинье-роль.

Мадемуазель была безутешна из-за столь долгого и строгого заключения де Лозена и делала все возможное, чтобы освободить его. В конце концов король решил воспользоваться этим к выгоде герцога Мэнского и заставить ее дорого заплатить за освобождение графа де Лозена. Он велел сделать ей предложение, заключавшееся всего-навсего в том, чтобы после ее смерти обеспечить за герцогом Мэнским и его потомками графство Э, герцогство Омаль и княжество Домб. Это было огромное дарение как по стоимости, так и по значению и размерам этих трех владений. Два первых вместе с герцогством Сен-Фаржо и прекрасными землями в Тьере в Оверни Мадемуазель закрепила за Лозеном, когда их брак был разорван, и надо было заставить его отказаться от Э и Омаля, чтобы она могла распорядиться ими в пользу герцога Мэнского. Мадемуазель не могла решиться на столь кабальные условия и

отнять у Лозена эти значительные подарки. Сперва ее крайне назойливо уговаривали, потом ей стали угрожать министры — то Лувуа, то Кольбер, к которому она относилась лучше, потому что он всегда был в добрых отношениях с Лозеном, и который обращался с нею ласковей, чем его враг Лувуа, никогда не произносил жестоких слов, но действовал, исполняя порученное, куда жестче. Она непрестанно чувствовала, что король ее не выносит, что он так и не простил ей поездку в Орлеан, который она вовлекла в мятеж, а уж тем паче пушку Бастилии, из которой она приказала в своем присутствии выстрелить по королевским войскам, чем спасла Принца и его людей во время сражения в Сент-Антуанском предместье.[209] В конце концов она поняла, что король бесповоротно отдалился от нее и возвратит свободу де Лозену лишь ради осуществления желания возвысить и обогатить своих побочных детей, что он не прекратит преследовать ее, пока она не согласится, и надеяться на какие-либо уступки ей не приходится; наконец со стенаниями и горючими слезами она сдалась. Но, чтобы дело было законным, оказалось, что Лозен должен быть на свободе, дабы отказаться от дара Мадемуазель; тогда придумали такую уловку: у него якобы открылась настоятельная необходимость поехать на воды в Бурбон, и у г-жи де Монтеспан тоже, а уж там они смогут договориться. Лозена доставили в Бурбон под конвоем отряда мушкетеров, которыми командовал Мопертюи. Лозен многократно встречался в Бурбоне с г-жой де Монтеспан в ее апартаментах. Однако он был так возмущен грабежом, который она поставила условием его освобождения, что после долгих споров отказался слышать об этом и был вновь препровожден под стражей в Пиньероль.

Такое упрямство не устраивало короля, старавшегося ради любимых своих бастардов. Он послал в Пиньероль с угрозами и обещаниями сперва г-жу де Ножан, а затем Барройля, друга Лозена, принимавшего участие во всех его делах, который с огромным трудом добился согласия от узника-; посему было решено, что ему и г-же де Монтеспан необходимо вновь съездить в Бурбон якобы на воды. Лозен был привезен туда, как и в первый раз, под стражей и никогда не простил Мопертюи, что тот с такой строжайшей точностью исполнял свои обязанности. Эта поездка состоялась осенью 1680 года. Лозен на все согласился, г-жа де Монтеспан возвратилась с победой. Мопертюи и его мушкетеры откланялись графу де Лозену, и тот получил позволение выехать из Бурбона на жительство в Анже, а вскоре место его ссылки было значительно расширено: он мог свободно перемещаться по территории провинций Анжу и Турень. Завершение дела отсрочилось до начала февраля 1681 года, дабы создать

видимость, будто все произошло по доброй воле. Таким образом, Лозен получил от Мадемуазель только Сен-Фаржо и Тьер, меж тем как, поторопись он заключить с нею брак, он унаследовал бы все ее безмерные владения. Герцогу Мэнскому было сказано делать визиты Мадемуазель и свидетельствовать ей свое почтение, но принимала она его всегда крайне прохладно, а когда увидела, что он надел ее цвета, была крайне раздражена; он сделал это под видом выражения признательности, но на самом деле — чтобы возвыситься и придать себе значения, так как то были цвета Гастона; впоследствии их принял и граф Тулузский, но не по этой причине, а под предлогом уравнивания себя с братом; эти цвета они передали своим детям.

Лозен, которого обнадежили, пообещав самое мягкое обхождение, провел четыре года, мотаясь по этим двум провинциям, где томился ничуть не меньше, чем Мадемуазель от разлуки с ним. Она ругалась, ярилась на г-жу де Монтеспан и ее сыновей, горестно сетовала, что ее мало того что безжалостно ограбили, но еще и надули, держа Лозена в ссылке; короче, подняла такой шум, что в конце концов добилась его возвращения в Париж и предоставления полной свободы с единственным условием — не приближаться ближе, чем на два лье, к тому месту, где пребывает король. Лозен прибыл в Париж и усердно посещал свою благодетельницу. Скучая в этой, в общем-то, мягкой ссылке, он стал крупно играть и был чрезвычайно удачлив; играл он хорошо, уверенно, по возможности не на мелок и очень крупно выигрывал. Месье, который иногда наезжал ненадолго в Париж и играл там по крупной, разрешил Лозену приезжать играть к нему в Пале-Рояль, а потом в Сен-Клу, где он по большей части проводил лето. Лозен прожил так несколько лет, с исключительным благородством выигрывая и спуская крупные суммы, но чем дольше он, вращаясь в большом свете, находился в непосредственной близости от двора, 1ем невыносимей становился для него запрет появляться там. Наконец, не в силах более этого сносить, он попросил у короля разрешения поехать в Англию, где играли много и крупно. Разрешение было дано, и он, взяв с собой большие деньги, приехал в Лондон, где по этой причине был встречен с распростертыми объятьями; там он играл не менее счастливо, чем в Париже.

Царствовал тогда Иаков II, принявший Лозена с почестями. Уже готовилась революция. Она разразилась месяцев через восемь-десять после приезда Лозена в Англию. Казалось, она была учинена нарочно, чтобы к Лозену снова пришел успех, о котором узнали все. Принц Оранский, завладевший всеми сердцами,

армией и флотом, вот-вот должен был вступить в Лондон, и несчастный монарх Иаков II, не знавший, что станется с ним, преданный своими фаворитами и министрами, отринутый своим народом, доверил Лозену самое дорогое, что было у него, — королеву и принца Уэльского, которых тот благополучно доставил в Кале. Королева тотчас же послала в Версаль курьера, который скакал по пятам за курьером, отправленным в момент ее прибытия губернатором Кале герцогом де Шаро, ставшим впоследствии герцогом де Бетюн. В своем послании сразу же после приветствий королева тонко давала понять, что, несмотря на радость чувствовать себя вместе с сыном в безопасности, под защитой короля, она крайне огорчена, что не смеет привести к его стопам того, кому вместе с принцем Уэльским обязана спасением. В ответе короля после всех благородных и учтивых фраз говорилось, что он разделяет с нею долг благодарности и поспешит засвидетельствовать его графу де Лозену при встрече, вернув ему свою благосклонность. Действительно, когда она представила его королю на Сен-Жерменской равнине, куда тот выехал навстречу ей вместе со всем королевским семейством и двором, его величество говорил с Лозеном крайне благожелательно, вернул ему право большого входа и пообещал апартаменты в Версальском дворце, каковые вскоре и были предоставлены; с того дня Лозену были выделены комнаты в Марли и в Фонтенбло, так что до самой смерти короля он не покидал двора. Можно себе представить восторг честолюбивого придворного, когда блистательный и небывалый поворот событий вдруг извлекает его из бездны и вновь выносит на поверхность. Лозен получил также апартаменты в Сен-Жерменском дворце, выбранном для пребывания бежавшего двора, куда вскорости прибыл и король Иаков II.

Лозен, как ловкий царедворец, сумел воспользоваться всеми преимуществами, какие предоставили ему оба эти двора, обеспечив себе возможность часто беседовать с королем по делам английского двора и получая от него поручения. В конце концов он оказал английскому двору такие услуги, что король позволил ему принять в соборе Нотр-Дам в Париже из рук короля Иакова орден Подвязки, разрешил вторично поплыть в Ирландию в чине генерала вспомогательной французской армии и согласился на то, чтобы он одновременно получил такой же чин в армии английского короля, который в эту же кампанию в сражении на реке Бойн потерял Ирландию[210] и, возвратясь во Францию с графом де Лозеном, добился для него грамоты на герцогский титул, что и было подтверждено парламентом в мае 1692 г. Какой счастливый поворот судьбы! Но что это в сравнении с гласным

браком с Мадемуазель, с получением всех ее огромных владений, с подлинным титулом и саном герцога и пэра де Монпансье! Какое поразительное могло быть возвышение, особенно если бы от этого брака родились дети, как мог бы взлететь Лозен и, кто знает, докуда бы он поднялся!

Я уже рассказывал о его характере, блистательных кознях и поразительных странностях. Остаток своей долгой жизни он был близок к королю, его отличали и высоко чтили при дворе, жил он в полном изобилии, держал себя как большой вельможа; у него был самый великолепный дом при дворе и самый лучший стол утром и вечером, бывать у него почиталось честью; так было и в Париже после смерти короля. Но все это не радовало его. Он был близок к королю только по видимости и чувствовал, что сердце и душа монарха настроены против него, что тот держит его на расстоянии, и при всей своей хитрости и изворотливости так и не сумел приблизиться к нему. Он и женился-то на моей свояченице только потому, что предполагал вновь установить положительные отношения с королем, поскольку маршал де Лорж тогда командовал армией в Германии, а потом, увидев, что его планы в этом отношении потерпели неудачу, шумно рассорился с тестем. Он способствовал браку герцога де Лоржа с дочерью Шамийара, потому что надеялся вновь сблизиться с королем, воспользовавшись доверием, каким был взыскан этот министр, но и здесь не преуспел. Он предпринял поездку в Аахен якобы на воды, потому что хотел завязать и установить знакомства, с помощью которых намеревался вернуть благорасположение и войти в число приближенных короля, но опять же тщетно. Наконец, это же толкало его на разные сумасбродства вроде мнимой ревности к сыну Шамийара, еще почти мальчику, чтобы нагнать страха на отца и вынудить отослать сына в посольство для ведения мирных переговоров. Все его разнообразные планы не удавались, всякий раз он приходил в уныние, громко уверяя всех и себя, что находится в глубочайшей опале. Он использовал все, чтобы подольститься, делая это с исключительной униженностью, но при сохранении внешнего достоинства; все эти годы он как бы отмечал годовщину своей опалы каким-нибудь чудным поступком, в основе чего лежали его нрав и одиночество, а результатом нередко бывало какое-нибудь сумасбродство. Он сам говорил о том и утверждал, что при приближении такой годовщины его покидает вся рассудительность и что это сильнее его. Он надеялся угодить королю придворной утонченностью и не замечал, что навлекает на себя насмешки.

Он от природы был необычен во всем, и ему нравилось поражать собой даже домашних и лакеев. Он изображал из себя

глухого и подслеповатого, чтобы все видеть и слышать, не возбуждая подозрений, и развлекался, насмехаясь над глупцами, даже самыми высокопоставленными, говоря с ними на их бессмысленном языке. Манеры у него были сдержанные, вкрадчивые, слащавые и даже почтительные, и вдруг своим тихим медоточивым голосом он высказывал мысли, поразительные и поражающие своей верностью, значительностью или остроумием, причем выраженные в двух-трех словах и нередко с простодушным или рассеянным видом, словно он и не задумывался над этим. Притом он опасался всех без исключения и при множестве знакомых почти — а может, и вовсе — не имел друзей, хотя всячески заслуживал дружбы готовностью услужить, чем только мог, и легкостью, с какой открывал людям свой кошелек. Он любил принимать у себя знатных и не особо знатных иностранцев со всей придворной учтивостью, но точащий его червь тщеславия отравлял ему жизнь. И еще он был добрым и заботливым родственником.

За год до смерти короля мы выдали м-ль де Малоз, внучку одной из сестер маршала де Лоржа, за графа де Пуатье, последнего представителя этого великого и прославленного рода, чрезвычайно богатого, владельца многих земель во Франш-Конте; оба молодые были круглыми сиротами. Герцог де Лозен устроил свадьбу и поселил новобрачных у себя. Граф де Пуатье скончался почти в одно и то же время, что король, и это была большая потеря, потому что он много обещал; он оставил жену, беременную дочерью, которая стала его наследницей и впоследствии вышла за герцога де Рандана, старшего сына герцога де Лоржа; вдова его вела себя как и подобает представительнице такого рода. Следующим летом после смерти Людовика XIV герцог Орлеанский проводил смотр королевской гвардии на равнине, простирающейся вдоль Булонского леса. По другую сторону ее находится Пасси, где у де Лозена был прелестный дом. Накануне смотра я приехал туда, собираясь переночевать, и там была г-жа де Лозен с обществом. Графиня де Пуатье умирала от желания поглядеть на смотр: по молодости лет она никогда не видела его, но не решалась в первый год траура показаться там. Общество оживленно обсуждало, как это сделать, и все согласились, что г-жа де Лозен может отвезти ее в своей карете, чтобы графиня была не на виду; на том и порешили. И вот посреди веселого разговора вернулся из Парижа де Лозен, уехавший туда с утра. Ему рассказали, как разрешили затруднение графини де Пуатье. Лозен же, едва понял в чем дело, страшно рассвирепел, вышел из себя и в каком-то неистовом гневе наговорил жене множество обидного, причем в выражениях

не просто крайне суровых, но и весьма крепких, оскорбительных и безрассудных. Она молча расплакалась, графиня де Пуатье рыдала навзрыд, а гости пребывали в крайнем замешательстве. После этого вечер показался нам длиной с год, и столовая, где за завтраком било ключом веселье, за ужином выглядела как унылая монастырская трапезная; Лозен сидел злой, все молчали, и лишь изредка кто-нибудь набирался решимости шепнуть слово-другое соседу. Когда подали фрукты, Лозен вышел из-за стола и отправился спать. Сразу после его ухода гости хотели утешить г-жу де Лозен да и себя и завели было разговор о том, что произошло, но она вежливо и благоразумно остановила его и велела подать карты, чтобы больше не возвращаться к этому. На следующий день прямо с утра я пошел к де Лозену, чтобы откровенно высказать ему свое мнение о сцене, которую он вчера устроил. Но я не успел этого сделать: едва увидев меня, он простер руки и вскричал, что я вижу перед собой безумца, который заслуживает не моего визита, а помещения в сумасшедший дом, затем принялся восхвалять свою жену, которая вполне была достойна этих похвал; заявил, что не стоит ее, что должен целовать следы ее ног, всячески клял и ругал себя; потом со слезами на глазах сказал, что заслуживает жалости, а не гнева, что он должен рассказать мне о своем позоре и ничто-жеств_е, что ему уже за восемьдесят и у него нет ни детей, ни наследников, что он был капитаном гвардии и, останься им до сих пор, все равно бы уже не смог исполнять эту должность, о чем и твердит себе постоянно, но тем не менее все годы, после того как этот чин был отнят у него, он не может утешиться, не может вырвать из сердца этот кинжал; поэтому все, напоминающее об этом, выводит его из себя, и, когда он услыхал, что жена повезет г-жу де Пуатье на смотр гвардии, к которой он теперь не принадлежит, в голове у него помутилось, он не смог сдержать себя и устроил чудовищную сцену, свидетелем которой я был; после припадка безумия он не смеет никому больше показаться на глаза, запрется у себя в комнате и падает к моим ногам, умоляя сходить к его жене и попытаться уговорить ее, чтобы она сжалилась над обезумевшим стариком, умирающим от стыда и сокрушения, и попыталась его простить. Столь откровенное и столь горестное признание перевернуло мне душу. Теперь я старался лишь успокоить и утешить его. Примирить супругов удалось без труда; мы, правда, не без сопротивления вытащили де Лозена из его комнаты, и в течение нескольких дней он с большой и явной неохотой показывался на людях; мне об этом рассказали, потому что в тот же вечер я уехал: мои обязанности в ту пору не оставляли мне много свободного времени.

В связи с этим случаем я часто думал, какое великое несчастье поддаться упоению мирской тщетой и как ужасно положение честолюбца, который, несмотря на богатства, на прекраснейший дом, на достигнутое положение, на телесную немощь, не может отрешиться от нее и вместо того, чтобы наслаждаться тем, что у него есть, и чувствовать себя счастливым, изводит себя бесплодными и постоянными сожалениями и огорчениями, который не может понять, что для него, не имеющего детей и находящегося в том возрасте, когда стремительно приближаешься к окончанию земного пути, обладание тем, о чем он сожалеет, даже если бы он был в состоянии исполнять эти обязанности, стало бы обманчивыми узами, привязывающими его к быстро уходящей жизни, и принесло бы лишь мучительную скорбь, оттого что она кончается. Но люди умирают такими, какими они были при жизни, и крайне редко бывает иначе. Это безумное сожаление по чину капитана гвардии было так сильно у де Лозена, что он частенько надевал синий кафтан с серебряными галунами, которому, не смея придать полное сходство с мундиром капитанов гвардии, какие те надевали в дни смотров и при смене караула, придал известную на него похожесть, хотя еще больше он смахивал на форму начальников охот в королевских охотничьих округах, и это могло бы навлечь на него насмешки, если бы он не приучил общество к своим странностям и чудачествам и не поставил себя выше всяких насмешек.

При всей своей хитрости и низкопоклонстве он никому не давал спуску и с самым добродушным видом мог припечатать любого разящей и безжалостной остротой. Больше всего доставалось министрам, командующим армиями, всевозможным счастливчикам и членам их семейств. Он как бы присвоил себе право делать что угодно, причем никто не смел на это обижаться. Единственными, кого он не трогал, были де Грамоны; он никогда не забывал, что в начале жизни они гостеприимно приютили его и оказывали ему покровительство; он их любил, принимал в них участие и испытывал почтение к ним. Старый граф де Грамон пользовался этим и мстил за весь двор, осыпая герцога де Лозена насмешками по любому поводу, но тот ни разу не ответил ему тем же и никогда на него не сердился, а просто старался тихо избегать его. Много он делал для детей своих сестер. В свое время здесь уже рассказывалось, как отличился во время чумы епископ Марсельский,[211] и о нем самом, и о его владениях. Когда чума закончилась, де Ло-зен попросил для него аббатство у герцога Орлеанского. Через некоторое время регент раздавал бенефиции и забыл про епископа Марсельского. Г-н де Лозен сделал вид,

будто ему ничего неизвестно, и поинтересовался у герцога Орлеанского, соблаговолил ли тот вспомнить про епископа Марсельского. Регент был смущен. Герцог же де Лозен, словно желая усилить его замешательство, тихо и почтительно сказал ему: «Отложим это лучше, ваше высочество, на следующий раз» — и с этой саркастической фразой и улыбкой вышел, оставив онемевшего регента. Острота стала известна всем, и пристыженный герцог Орлеанский искупил свою забывчивость, предложив епископу Марсельскому перейти на епископство Ланское, а когда тот отказался сменить епархию, дал ему большое аббатство, хотя к тому времени г-н де Лозен уже умер.

Лозен помешал назначению маршалов Франции, осмеяв притязавших на этот чин кандидатов. Как всегда почтительно и смиренно, он сказал регенту, что если тот действительно собирается произвести в маршалы Франции людей, как поговаривают, совершенно ни к чему не пригодных, то он нижайше просит вспомнить, что он, Лозен, является старейшим генерал-лейтенантом и имел честь командовать армиями с патентом командующего. Впрочем, я уже рассказывал об этой, на мой взгляд, чрезмерно ядовитой шутке. Он не мог удержаться от подобных колкостей — слишком сильны были в нем ревность и зависть, но, поскольку остроты его были крайне метки и язвительны, их часто повторяли.

У нас всегда были очень хорошие отношения, и он без всякой моей просьбы, просто по дружбе, оказывал мне действительно важные услуги; я был с ним очень внимателен и обходителен, и он со мной тоже. Тем не менее его язык однажды не пощадил и меня; его острота могла меня погубить, и я даже не понимаю, как и почему все обошлось. Король дряхлел, чувствовал это и начал задумываться о том, что будет после него. Острословы не были на стороне герцога Орлеанского, однако ясно чувствовалось, что близится время его величия. Все взоры были обращены к нему, все злобно следили за ним, а следственно, и за мной, потому что я издавна был единственным человеком при дворе, который не скрывал своей близости к нему и который, как все знали, всецело пользовался его доверием. Де Лозен пришел обедать ко мне, а мы уже сидели за столом. Общество, собравшееся у меня, ему откровенно не понравилось, и он ушел к Торси, с которым у меня в ту пору не было совершенно никаких отношений; Торси тоже сидел за столом со множеством людей, враждебных герцогу Орлеанскому; там были, между прочим, Талар и Тессе. «Сжальтесь надо мной, — обратился к Торси де Лозен с робким и смиренным видом, который он умел напускать на себя. — Я пришел отобедать к господину де Сен-Симону, но он уже сидел с

обществом за столом. Я остерегся сесть вместе с ними: не хочу быть пятой спицей в клике. Потому я пришел пообедать к вам». Все, разумеется, в смех. Острота вмиг разошлась по Версалю. Г-же де Ментенон и герцогу Мэнскому она стала известна тотчас же, однако со мной все делали вид, будто ничего не произошло. Рассердись я, ее стали бы только чаще повторять; потому я отнесся к этому, как если бы меня до крови царапнула злая кошка, и не показывал Лозену, что знаю про его слова.

Года за три-четыре до смерти Лозен очень тяжело болел, и, казалось, болезнь сведет его в могилу. Мы неизменно навещали его, но он никого из нас не хотел видеть и только однажды допустил г-жу де Сен-Симон. В дом часто заходил кюре церкви св. Сульпиция Ланге и несколько раз прорывался к Лозену, который вел с ним странные беседы. Как-то он был в спальне у больного, и туда проскользнул герцог де Лафорс; де Лозен недолюбливал его и частенько над ним посмеивался. Встретил он де Лафорса очень хорошо и тут же вновь стал громко разговаривать с кюре. И вдруг повернулся к Ланге и с комплиментами и извинениями сказал, что самое дорогое, что он может ему дать, — это свое благословение, после чего протянул к нему с постели руки и благословил его; затем Лозен обратился к герцогу де Ла-форсу, говоря, что всегда почитал его как старшего и главу рода и просит у него в этом качестве благословения. Оба, впав в крайнее замешательство и удивление, не могли вымолвить ни слова. Больной повторил свою просьбу, и герцог де Лафорс, успевший прийти в себя, счел все это настолько забавным, что дал благословение больному, после чего, боясь расхохотаться, выскочил в соседнюю комнату, где сидели мы, и, давясь от смеха, с большим трудом поведал, что с ним приключилось. Через минуту вышел растерянный кюре, но, правда, пытаясь улыбаться, чтобы показать, что ничего особенного не произошло. Де Лозен, зная, что тот пылкими речами искусно вытягивает у людей деньги на построение своей церкви, часто говорил, что себя-то он не позволит ему одурачить; подозревая обоих визитеров в корысти, он посмеялся одновременно и над священником, дав ему благословение, которого должен был бы просить у него, и над герцогом де Лафорсом, заставив его благословить себя. Кюре, понявший это, был чрезвычайно удручен, но тем не менее, будучи духовным лицом, продолжал посещать его, однако де Лозен прекратил его визиты, перестав понимать по-французски.

На следующий день после того, как он почувствовал себя крайне плохо, Бирон и его жена, дочь г-жи де Ножан, рискнули войти к нему в спальню и встали за портьерами, вне поля его зрения; однако он увидел их в каминном зеркале, меж тем как

они были уверены, что он не может ни увидеть, ни услышать их. Больной любил Бирона, но терпеть не мог его супругу, хотя она была его племянницей и основной наследницей: он считал ее слишком корыстной, ему несносны были ее манеры, и тут он полностью сходился во мнении со светом. Он был возмущен этим тайным вторжением к нему в спальню и понял, что, тревожась о наследстве, она явилась, чтобы самолично попытаться выяснить, как скоро он умрет. Он решил заставить ее раскаяться в этом, а заодно и потешиться над ней. И вот, как человек, считающий, что он находится в одиночестве, Лозен принялся горячо молиться, прося у Бога прощения за прошлую свою жизнь; вел он себя и выражался так, словно был уверен в скорой своей смерти, говорил, что скорбь, вызванная его немощностью, велит ему каяться, что он хочет отдать все, чем владеет, чем одарил его Господь, во искупление грехов и целиком завещает свое состояние больницам, что после столь долгой жизни, в течение которой он не думал, как должно, о спасении души, это единственный путь, который открывает ему Господь для спасения, что он благодарит Господа за это единственное оставленное ему средство и всем сердцем выбирает его. И молитву, и обет он произносил таким жалостным, убежденным и решительным тоном, что ни Бирон, ни его жена ни на миг не усомнились, что он исполнит это решение и они лишатся наследства. У них пропало желание далее шпионить за ним; поникшие, они вышли и рассказали герцогине де Лозен, какой жестокий приговор они услышали, умоляя ее добиться хотя бы некоторого смягчения. В этот момент больной велел послать за нотариусами, и г-жа де Бирон впала в совершеннейшее отчаяние. Именно этого и добивался завещатель. Он велел нотариусам подождать, потом пригласил их и продиктовал завещание, которое являлось смертельным ударом для г-жи де Бирон. Правда, подписание его он решил отложить, а потом стал чувствовать себя все лучше и лучше и вообще не подписал. Он очень веселился, разыграв эту комедию, а когда выздоровел, не смог удержаться, чтобы со смехом не рассказать ее кое-кому. Невзирая на возраст и столь тяжелую болезнь, силы его очень скоро восстановились, и последствий никаких не было.

У него было железное здоровье при обманчиво хрупкой внешности. Ежедневно он весьма основательно обедал и ужинал в большом обществе, держал обильный и изысканный стол, ел все без всякой опаски, не делая разбора между постным и скоромным и сообразуясь лишь с собственным вкусом; по утрам он пил шоколад, на каком-нибудь из столов летом и осенью у него всегда стояли фрукты, в другое время года — печенья, а также пиво,

сидр, лимонад и прочие напитки на льду, и он в течение дня все время подходил к нему, ел, пил, уговаривая остальных следовать его примеру; из-за стола вечером он вставал после фруктов и немедленно отправлялся спать. Кстати, помню, как-то раз после этой болезни он съел у меня за столом большое количество рыбы, овощей и других кушаний, причем воспрепятствовать ему я не мог; обеспокоенные, мы послали вечером осторожно разузнать, не стало ли ему после этого худо; когда прибыл наш посланец, Лозен сидел за столом и с аппетитом ел.

Он очень долго не оставлял любовных похождений. Мадемуазель ревновала его, и они не раз из-за этого ссорились. Через много лет я услышал от г-жи де Фонтениль, дамы крайне приятной, чрезвычайно умной, правдивой и исключительно добродетельной, что г-н де Лозен, приехав с Мадемуазель на какое-то время в Э, не смог удержаться, чтобы не бегать там за юбками; Мадемуазель узнала про это, вспылила, исцарапала его и прогнала от себя. Графиня де Фиеско помирила их: Мадемуазель появилась в конце галереи, а Лозен стоял в другом, и он прополз к ней через всю галерею на коленях. Подобные скандалы, более или менее бурные, неоднократно происходили и впоследствии. Она даже била его, да и он изрядно чувствительно поколачивал Мадемуазель, и бывало это не один раз; в конце концов, осточертев друг другу, они рассорились раз и навсегда и более уже не встречались. Тем не менее у Лозена было много ее портретов, и упоминал он о ней всегда с большим уважением. Все были уверены, что они сочетались тайным браком. Когда она умерла, он надел черное с серебряными галунами, которые сменил на белое с легкой голубизной, когда было запрещено украшать одежду золотом и серебром.

Его унылый и тяжелый от природы характер еще ухудшился из-за тюрьмы и привычки к одиночеству; он стал нелюдим и задумчив до такой степени, что, когда у него собиралось лучшее общество, он после обеда оставлял его на г-жу де Лозен, а сам удалялся и долгие послеобеденные часы проводил в одиночестве, чаще всего без книги, поскольку читал он только бессмысленные выдуманные сочинения, да и то очень мало, так что знания его ограничивались лишь тем, что он повидал, и до самого конца жизни он был поглощен придворными и светскими новостями. Я неоднократно и крайне огорчался решительным отсутствием у него способности записать то, что он делал и чему был свидетелем. Помню, я пытался вытянуть из него хоть какие-то крохи — пустое: он начинал рассказывать, перечислял первым делом имена людей, принимавших участие в истории, которую он собирался поведать, мгновенно забывал о теме своего рассказа и

переходил на кого-нибудь из этих лиц, но вскоре перекидывался на следующего, имеющего касательство к первому, затем на третьего; точь-в-точь как в романе, он заводил сразу дюжину истории, которые ставили вас в тупик и перебивали друг друга, ни одну из них не завершал и окончательно запутывал рассказ, так что совершенно невозможно было что-то узнать у него, а тем паче запомнить. К тому же в разговоре он всегда был сдержан из-за характера либо из-за своих политических соображений, и вся занятность бесед с ним заключалась только в колкостях и язвительных остротах, от которых он не мог удержаться. Месяца за четыре до болезни, сведшей его в могилу, то есть когда ему уже было девяносто, он еще выезжал лошадей и раз сто совершал в Булонском лесу перед королем, направлявшимся в Охотничий павильон, пассажи на молодом жеребчике, которого только-только выездил, вызывая у зрителей изумление своей ловкостью, твердой и изящной посадкой. О де Ло-зене можно рассказывать бесконечно.

Последняя его болезнь началась без всякого предвестия, почти внезапно и была жесточайшая из всех: у него во рту случился рак. До своего конца де Лозен переносил ее стойко и с невероятным терпением, без жалоб, без раздражения, без возражений, и это он, который был несносен самому себе! Увидев, что болезнь развивается, он удалился в покои, которые заранее в предвидении подобного снял в монастыре Малых августинцев, куда и переехал из дому, желая умереть спокойно, будучи недоступным для г-жи де Бирон и любой другой женщины, кроме своей жены; ей он позволил приходить в любое время в сопровождении одной из служанок.

В этом последнем уединении он допускал к себе только племянников и кузенов, но и то как можно реже и очень ненадолго. Он думал лишь о том, как извлечь наибольшую пользу из своего ужасного состояния, все время посвящал благочестивым беседам со своим духовником и несколькими тамошними монахами, душеспасительному чтению, одним словом, всему тому, что наилучшим образом могло приуготовить его к смерти. Когда мы виделись с ним, он не выглядел ни неряшливым, ни удрученным, ни страдающим; был он учтив, спокоен, довольно вяло и безразлично поддерживал беседу о событиях, происходящих в свете, и то только для того, чтобы о чем-то говорить; вместе с тем очень неохотно, почти односложно отвечал на вопросы о своем настроении и состоянии, и такое ровное, мужественное и смиренное душевное расположение сохранялось у него все четыре месяца до самой кончины; однако за десять или двенадцать дней до смерти он уже не хотел видеть ни кузенов, ни

племянников, да и жену старался отослать как можно быстрей. Перед смертью он соборовался, выслушал все назидания и до последней минуты сохранял ясность ума.

Умер он ночью, а перед этим утром послал за Бироном и сообщил ему, что сделал для него все, что хотела г-жа де Лозен, отписав ему по завещанию все свое состояние, за исключением достаточно небольшой суммы, завещанной Кастельморо-ну, сыну своей второй сестры, и вознаграждения слугам; всему, что он делал для Бирона, когда тот женился, и что сделал перед смертью, Бирон целиком обязан г-же де Лозен и потому всегда должен помнить о благодарности ей; властью дяди и завещателя он запретил Бирону причинять ей огорчения, беспокойство, чинить препятствия и затевать против нее какие бы то ни было процессы, после чего твердым голосом простился и отпустил племянника; все это рассказал мне на следующий день сам Бирон и в тех самых выражениях, которые я тут привожу. Совершенно разумно Лозен запретил пышные похороны и был погребен у Малых августинцев. От короля он не имел ничего, кроме той старинной роты алебардщиков, которая спустя два дня была упразднена. За месяц до смерти де Лозен пригласил к себе Диллона, поверенного в делах короля Иакова при нашем дворе и заслуженного генерала, и вручил ему свою цепь ордена Подвязки и Св. Георгия из оникса, окруженного исключительно красивыми и крупными алмазами, дабы тот передал их своему монарху. Разумеется, я понимаю, что слишком многословно повествую о человеке, который кажется мне заслуживающим того, чтобы рассказать о нем по причине исключительной необычности его жизни и постоянных наших отношений и встреч, происходивших благодаря тому, что мы жили по соседству, меж тем как он явно недостаточно участвовал в главнейших делах, чтобы надеяться на какое-нибудь место в историях, которые будут написаны в будущем. Совсем иное чувство стало причиной того, что рассказ о Лозене оказался столь пространным. Я приблизился к тому пределу, которого страшился достичь, потому что мои склонности никак не могут смириться с правдой: они не угасли и потому мучительны, а правда безжалостна и не дает даже надежды, что удастся как-то смягчить ее, страх подойти в конце концов к ней останавливал меня, удерживал, леденил. Это означает, что пришла пора рассказать о смерти герцога Орлеанского, о том, какой смертью он умер, и для меня это ужасный рассказ особенно после столь сильной и столь длительной привязанности, которую я питал к нему до конца его жизни и которая будет жива во мне до конца моей собственной, заставляя меня терзаться от горя и скорби по нему.

30. 1723. Скоропостижная смерть герцога Орлеанского

Дрожь ужаса проняла меня до мозга костей от мысли, что Господь в гневе внял молитвам герцога Орлеанского. Известно, что герцог боялся медленной смерти, заранее объявляющей о себе, но оказывающейся драгоценнейшим даром для того, кто умеет им воспользоваться; он предпочитал умереть внезапно. Увы, смерть, постигшая его, была даже более скорой, чем смерть блаженной памяти Месье, который куда дольше боролся с нею. 2 декабря, встав из-за стола, я поехал из Медона в Версаль к герцогу Орлеанскому и три четверти часа пробыл наедине с ним в кабинете, где застал его одного. Мы прохаживались по кабинету, говоря о делах, которые он должен был в тот день докладывать королю. Никаких перемен в его состоянии я не заметил; с некоторых пор он растолстел и огрузнел, но сохранял обычную ясность ума и остроту суждений. После разговора я сразу же возвратился в Медон и, приехав, некоторое время беседовал с г-жой де Сен-Симон. По причине времени года у нас бывало мало гостей; я оставил г-жу де Сен-Симон у. нее в кабинете, а сам перешел к себе. Не прошло и часу, как я услышал крики и внезапный переполох; я вышел и вижу: перепуганная г-жа де Сен-Симон ведет ко мне конюха маркиза де Рюффека, присланного ко мне из Версаля с вестью, что у герцога Орлеанского случился апоплексический удар. Я был крайне расстроен, но ничуть не удивлен, поскольку, как явствует из вышеизложенного, давно ждал этого. Не находя себе места от нетерпения, я дождался кареты, которая подъехала не сразу, поскольку конюшни были довольно далеко от нового дворца, вскочил в нее и велел гнать. В воротах парка меня останавливает второй посланец маркиза де Рюффека, сообщающий мне, что все кончено. Наверное, с полчаса я просидел в стоявшей карете, погруженный в скорбь и раздумья. Наконец принял решение ехать в Версаль и, прибыв туда, прямиком пошел в свои апартаменты, где и заперся. Нанжи, который хотел стать первым конюшим и историю с которым я расскажу позже, пришел после меня к герцогу Орлеанскому, но тот скоро спровадил его, и Нанжи сменила г-жа де Фалари, весьма красивая авантюристка, вышедшая замуж за такого же авантюриста, брата герцогини де Бетюн. Она была одной из любовниц несчастного герцога. У него уже был подготовлен мешок с делами, чтобы идти с ними к королю, и он около часа болтал с нею, ожидая времени приема у короля. Они сидели в

креслах, стоящих рядышком, и вдруг он повалился прямо на нее, не подавая более ни малейших признаков жизни и не приходя в сознание. Фалари, естественно, страшно перепугавшись, стала изо всех сил звать на помощь, крича все громче и громче. Видя, что ответа нет, она, как могла, оперла тело несчастного герцога на соприкасающиеся подлокотники кресел, побежала в большой кабинет, в спальню, в передние, но, не найдя ни души, выбежала во двор и на нижнюю галерею. То был час, когда герцог Орлеанский занимался делами с королем, и его люди знали, что в это время к нему никто не приходит и он их тоже не потребует, так как он шел к королю наверх по малой лестнице, которая вела из его подвала, служившего гардеробной, в заднюю приемную короля, где его и дожидался слуга, несший мешок с бумагами; возвращался же он обычно по главной лестнице и через кордегардию. В конце концов Фалари привела людей, но среди них не было никого, кто мог бы оказать помощь, и она послала за нею первого, кто подвернулся под руку. Случай, а верней сказать, провидение распорядилось так, что роковое это событие произошло тогда, когда все либо занимались своими делами, либо делали визиты, так что прошло добрых полчаса, прежде чем явились врач и хирург; не меньше времени было потрачено, чтобы собрать слуг герцога Орлеанского. Врачи, стоило им только взглянуть на него, пришли к выводу, что надежды нет. Его тут же положили на пол, пустили кровь, но, что бы ни делали, он не подавал ни малейших признаков жизни. Чуть только разнеслась первая весть о случившемся, как сразу сбежался самый разный народ: большой и малый кабинет были битком набиты. Меньше чем через два часа все было кончено, и вскоре в кабинетах стало столь же пусто, сколь недавно было людно. Чуть только пришла помощь, Фалари тут же сбежала и во весь опор поскакала, в Париж.

Лаврийер был одним из первых, кого оповестили об апоплексическом ударе. Он тут же помчался сообщить об этом королю и епископу Фре-жюсскому, а затем, как истый царедворец, умеющий воспользоваться любым критическим моментом, понесся к его светлости герцогу, понимая, что тот вполне может стать первым министром, на что и настроил его своим сообщением, а затем спешно вернулся к себе и на всякий случай написал для него патент на должность первого министра, взяв за образец патент герцога Орлеанского. Получив известие о смерти герцога, едва она произошла, Лаврийер послал оповестить о ней его светлость герцога, а затем отправился к королю, у которого собрались самые высокопоставленные придворные, чуть только они узнали, что жизнь герцога Орлеанского находится под

неминуемой угрозой. Епископ Фрежюсский при первом сообщении об апоплексическом ударе договорился с королем о назначении его светлости герцога, которого он, вне всяких сомнений, заранее подготовил к этому, основываясь на состоянии здоровья герцога Орлеанского, каковое не было для него тайной, особенно после того, что я рассказал ему о нем; когда его светлость герцог, узнав о смерти герцога Орлеанского, прибыл к королю, к тому как раз впустили немногих самых высокопоставленных придворных, собравшихся у дверей королевского кабинета; он обратил внимание, что король был опечален, а глаза у него были покрасневшие и в них стояли слезы. Едва он вошел в кабинет и двери закрылись, епископ Фрежюсский громко обратился к королю, сказав, что после столь огромной потери, какой является смерть герцога Орлеанского, хвалу которому он воздал всего в двух словах, его величество не может сделать ничего лучше, как просить присутствующего здесь его светлость герцога согласиться взять на себя бремя всех государственных забот и принять после герцога Орлеанского пост первого министра. Король, не говоря ни слова, взглянул на епископа Фрежюсского и кивком выразил согласие, а его светлость герцог тотчас же поблагодарил его. Лаврийер, радуясь, что его хитрые маневры так скоро дали результат, держал в кармане присягу первого министра, скопированную с присяги герцога Орлеанского, и во всеуслышание предложил епископу Фрежюсскому, чтобы герцог прямо сейчас и присягнул. Тот заметил королю, что это вполне уместно, и герцог принес присягу. Спустя некоторое время он вышел, и все, кто был в кабинете, последовали за ним; множество народу, собравшегося в соседних комнатах, увеличило его свиту, и через минуту все только и говорили, что о герцоге.

Герцог Шартрский, в ту пору еще начинающий распутник, находился у одной девицы из оперы, которая была у него на содержании. Туда и послали курьера с вестью об апоплексическом ударе, а по дороге он встретил второго, посланного к нему с сообщением о смерти отца. Карету его встречали отнюдь не толпы, а только герцоги де Ноайль и де Гиш, которые сразу же предложили ему всяческую помощь и вообще все зависящее от них. Он же воспринял их как назойливых просителей, поспешил отделаться и торопливо поднялся к своей матушке, которой рассказал, что встретил двоих, решивших заманить его в ловушку, но не поддался на их хитрости и ловко сумел их сплавить. Сие блестящее проявление ума, здравого смысла и политичности предвещало все то, чем он впоследствии отличался. С трудом удалось ему растолковать, какую он

совершил огромную глупость, но тем не менее он и в дальнейшем продолжал их делать.

Я же, проведя ужасную ночь, пошел к одеванию короля, но не затем, чтобы показаться там, а чтобы иметь возможность наверняка и без труда сказать несколько слов его светлости герцогу, с которым я был в постоянных отношениях после «королевского заседания» парламента[212] в Тюильри, хотя и крайне досадовал на него за то, что он дал уломать себя и согласился на восстановление в правах бастардов. При одевании он всегда стоял в нише среднего окна, напротив которого одевался король, а поскольку он был высок ростом, его легко было увидеть за плотной стеной придворных, окружавших одевающегося короля. В тот день стена эта была просто чудовищна. Я сделал герцогу знак, чтобы он подошел поговорить со мной, и через секунду, пробравшись через толпу, он был около меня. Я отвел его к другому окну, к тому, что ближе к кабинету, и сказал, что не буду скрывать, как безмерно и смертельно я удручен, но в то же время надеюсь, что он ни в малой степени не сомневается, что если бы выбор первого министра был поручен мне, то он был бы таким же, какой сделал король; в ответ он рассыпался в любезностях. Затем я сообщил, что в мешке, который герцог Орлеанский должен был взять к королю, когда с ним, увы, случился этот смертельный удар, лежит одно дело, о котором мне необходимо дать ему пояснения, поскольку теперь он является преемником герцога Орлеанского; еще я сказал, что мне невыносимо общество и что я прошу его прислать ко мне и передать, когда у него выпадет свободная минута, чтобы я пришел к нему, только пусть меня впустят через ту дверцу его кабинета, которая выходит на галерею, чтобы мне не сталкиваться с людьми, заполняющими его покои. Он крайне любезно пообещал мне сделать это сегодня же и извинился, что из-за хлопот, связанных с тем, что он всего первый день занимает свою новую должность, он не может мне назвать точное время приема, удобное для меня. Я хорошо знал и этот кабинет, и эту дверцу, так как прежде, после свадьбы герцогини Беррийской, эти покои принадлежали ей; находились они в новом крыле на верхней галерее, а неподалеку, напротив лестницы, были мои покои.

Оттуда я пошел к герцогине Сфорца, с которой мы были в дружбе и которая всегда поддерживала со мной отношения, хоть я давно и не встречался с герцогиней Орлеанской, что прежде уже здесь отмечал. Я сказал г-же Сфорца, что в постигшем нас несчастье я считаю себя обязанным из уважения и привязанности к покойному герцогу Орлеанскому пойти выразить свою скорбь

всем, кто был близок к нему, его главным служителям и даже его побочным детям, хоть их и не знаю, и мне представляется крайне неприличным сделать исключение для герцогини Орлеанской; я сказал также г-же Сфорца, что ей известны наши отношения с герцогиней и что менять их у меня нет никакой охоты, но в нынешних горестных обстоятельствах я почитаю долгом пойти к вдове герцога Орлеанского и выразить ей свое почтение; мне, впрочем, совершенно безразлично, повидаюсь я с нею или нет, мне достаточно того, что я исполню свой долг; посему я прошу ее узнать у герцогини Орлеанской, согласна ли она меня принять, а если да, то принять подобающим образом, хотя мне все равно, согласится она или нет, поскольку, каков бы ни был ответ, я все равно буду удовлетворен своим поведением. Она меня заверила, что герцогиня Орлеанская будет рада видеть и принять меня самым достойным образом, а сама она немедленно отправляется исполнять мое поручение. Поскольку г-жа Сфорца жила совсем рядом с герцогиней Орлеанской, я подождал у нее, пока она вернулась. Она сообщила, что герцогиня Орлеанская будет счастлива меня видеть и принять так, что я останусь доволен. Я тут же отправился к ней. Застал я ее в постели в немногочисленном обществе приближенных дам, первых служителей и герцога Шартрского при соблюдении всех приличий, какие могли заменить скорбь. Едва я приблизился к ней, она заговорила о постигшем нас общем горе; не было произнесено ни слова о том, что произошло между нами: я поставил такое условие. Герцог Шартрский удалился к себе, я же, сколько мог, поддерживал спотыкающийся разговор. Затем я пошел к герцогу Шартрскому, жившему в апартаментах, которые занимал его отец, прежде чем стал регентом. Мне сказали, что он заперся у себя. В то утро я еще трижды приходил к нему. В третий раз его камердинер, устыдившись, пошел доложить обо мне, хоть я и был против. Герцог Шартрский встал в дверях своего кабинета, где он пребывал с каким-то неведомым мне простолюдином; с людьми этого сорта он чувствовал себя лучше всего. Моим глазам предстал растерянный, настороженный человек, в нем не чувствовалось скорби, а только крайнее замешательство. Громким и звучным голосом, ясно и красноречиво я выразил ему соболезнования. Он, видимо, принял меня за какого-нибудь проходимца, какими счел и герцогов де Ноайля и де Гиша, и не удостоил меня ни словом в ответ. Я подождал несколько секунд, но, видя, что из этого истукана ничего не выжмешь, поклонился и удалился, а он даже шага не сделал, чтобы проводить меня, хотя должен был проводить до двери, и ринулся к себе в кабинет. Удаляясь, я окинул взглядом

находившееся там общество, и, должен признаться, мне показалось, что все были крайне изумлены. После чего, изрядно утомленный беготней по дворцу, я направился к себе.

Когда я вышел из-за стола, явился лакей герцога, сказавший, что меня ждут, и провел меня через малую дверцу прямо в кабинет. Герцог встретил меня на пороге, закрыл дверь, усадил в кресло, а сам сел рядом. Он мне рассказал, что по выходе с королевского одевания был у герцога Шартрского, которому выразил соболезнования и предложил все зависящее от него, дабы заслужить его дружбу и доказать неподдельную привязанность к памяти герцога Орлеанского; герцог Шартрский в ответ на это молчал как рыба, и тогда он обратился к нему с еще более горячими заверениями быть во всем полезным ему, на что герцог Шартрский сухо и односложно буркнул что-то вроде благодарности, причем вид у него был такой, словно ему не терпится выпроводить назойливого пришельца, отчего герцог решил удалиться. В ответ я поведал, с каким я столкнулся приемом этим утром у герцога Шартрского, и мы посетовали друг другу на его поведение. Герцог был крайне учтив и любезен со мной и просил меня почаще навещать его. Я же ответил, что мне при его обремененности заботами и посетителями будет неловко докучать ему и отнимать время у людей, которые будут иметь к нему дела, посему я ограничусь тем, что буду появляться у него, когда мне будет что ему сказать, а поскольку я непривычен ждать в передних, то прошу его дать своим людям распоряжение, чтобы они сразу докладывали о моем приходе, и принимать меня в кабинете, как только появится возможность; я же постараюсь не злоупотреблять и недолго задерживаться. После чего последовали заверения в дружбе, учтивости, приглашения и т. п. Продолжалось все это около трех четвертей часа, а затем я поехал в Медон.

На следующий день г-жа де Сен-Симон поехала в Версаль выразить королю соболезнования в связи с постигшей его утратой и повидать герцогиню Орлеанскую и ее сына. Епископ Фрежюсский пришел к г-же де Сен-Симон, чуть только узнал, что она в Версале, где она даже не оставалась ночевать. Из всех комплиментов, которые он наговорил обо мне и для моего сведения, она поняла, что для него предпочтительнее было бы, если бы я пребывал в Париже, а не в Версале. Ла-врийер, тоже пришедший повидать ее и боявшийся меня еще больше, чем епископ Фрежюсский, был более откровенен, поскольку был глупее и не так красноречив; он крайне возмутил г-жу де Сен-Симон своей неблагодарностью после всего, что я для него сделал. Сей мелкий прихвостень надеялся, что, поспешив

предупредить герцога и прислужившись к нему, уловил его в свои сети и изрядно продвинулся к получению герцогского титула. Когда во времена герцога Орлеанского он заговаривал со мной на этот счет, мои ответы не располагали его ко мне. Теперь же он хотел пустить пыль в глаза его светлости герцогу и обмануть его лживыми примерами, но боялся, что я разоблачу его. Мне не требовалось слишком много, чтобы утвердиться в решении, принятом уже давно в связи с угрожающим состоянием здоровья герцога Орлеанского. Я переселился в Париж, твердо постановив являться на глаза новым хозяевам королевства лишь в редких случаях крайней необходимости либо когда этого настоятельно требуют приличия, да и то ненадолго, храня достоинство своего происхождения и положения. К счастью для меня, я всегда, во все времена, допускал возможность полного изменения своего положения, а к тому же, сказать по правде, утрата герцога Бургундского и все виденное мной в правительстве сделали меня равнодушным к любым потерям того же свойства. Я стал свидетелем кончины этого дорогого мне принца в том же возрасте, в каком мой отец утратил Людовика XIII: отец в тридцать шесть лет потерял короля, которому был сорок один год, я же в тридцать семь лет лишился принца, которому не было еще и тридцати, принца, готового взойти на престол и вернуть миру справедливость, порядок, истину; затем я лишился правителя королевства, который мог бы прожить целый век, — ведь мы были с ним почти ровесники, он всего на полгода был старше меня. События эти подготовили меня к тому, что мне суждено пережить себя, и я постарался этим воспользоваться.

Монсеньер умер сорока девяти лет с половиной, герцог же Орлеанский прожил на два месяца меньше. Я вспомнил, что они прожили почти один и тот же срок по причине отношения их друг другу до самой смерти Монсеньера. Вот он, сей мир, и вся его тщета!

Смерть герцога Орлеанского вызвала много толков в стране и за ее границами, однако иностранные державы отнеслись к нему несравненно справедливей и сожалели о нем куда больше, чем французы. Хотя иностранцы знали его слабости, а англичане беззастенчиво пользовались ими, тем не менее по опыту общения с ним они ничуть не подвергали сомнению разносторонность и остроту его ума, величие духа и целей, необыкновенную проницательность, мудрость и искусность его политики, обширность применяемых им методов и средств, умение искусно лавировать при любых изменениях обстоятельств и условий, точность оценки всех деталей положения и умелое их использование, его превосходство над своими посланниками и

над теми, кого присылали к нему иностранные державы, отменное искусство распутывать дела и менять их ход, непринужденную легкость, с какой он мгновенно решал, когда хотел, любой вопрос. Столько великих и редкостных качеств правителя государства вынуждали опасаться и обхаживать его, а свойственное ему во всем изящество, позволявшее даже отказ сделать приятным, еще сильнее притягивало к нему. А еще более они почитали его за великую, прирожденную доблесть. Недолгий период, когда ничтожный Дюбуа околдовал и как бы затмил собой герцога, лишь поднял его в их глазах благодаря сравнению действий, которые совершал он самостоятельно, и действий, которые лишь исходили от его имени, но совершались этим его министром. Когда же сей министр умер и герцог вновь взял бразды правления и повел государство с тем же талантом, каким они восхищались, они увидели, что слабохарактерность, бывшая величайшим его недостатком, во внешних делах ощущается куда меньше, чем во внутренних.

Король, тронутый его неизменным почтением, стараниями угодить ему, манерой, в какой он говорил с ним и занимался делами, оплакивал его и был по-настоящему удручен его утратой и впоследствии вспоминал о нем, а делал он это часто, не иначе как с уважением, любовью и сожалением; так что правда сама выходит наружу вопреки всем ухищрениям и усилиям лжи и самой свирепой клеветы, о чем у меня будет возможность рассказать в добавлениях к этим «Мемуарам», каковые добавления я надеюсь написать, если Бог даст мне для этого время. Его светлость герцог, поднявшийся так высоко благодаря смерти герцога Орлеанского, воспринял ее весьма прилично и достойно; госпожа герцогиня тоже крайне благопристойно; бастарды, которые от нее ничего не выигрывали, не имели поводов радоваться. Один епископ Фрежюсский едва сдерживал ликование. Он обливался потом, пытаясь не выдать его, но радость и затаенные надежды все равно невольно прорывались, и, как он ни старался, это было заметно. Двор же почти не разделял скорби, так как чувства там испорчены страстями. Были там и люди, чьи глаза ничто не застило, люди, которые видели в герцоге Орлеанском то же, что видели в нем иностранцы, и неизменно отмечали превосходные свойства его ума, доступность, терпеливость и спокойствие, с которыми он выслушивал людей и которые никогда не изменяли ему, доброжелательность, в какую он так естественно облекал свои слова и поступки, хотя порой это была всего лишь маска, манеру с любезным видом держать на расстоянии и отказывать, ничуть при этом не оскорбляя, и потому они чувствовали всю тяжесть

этой утраты. Другие, которых было куда больше, тоже горевали, но не столько сожалея о нем, сколько оттого, что знали характер его преемника, а тем паче его приближенных. Однако большая часть придворных ничуть не сожалела о нем: одни-так как принадлежали к враждебным камарильям, другие — оттого что их возмущала его непристойная жизнь, а манера давать обещания и не исполнять вызывала сильное недовольство, хотя чаще всего и без оснований; короче, то были либо неблагодарные, которыми полон мир и которые при дворе составляют чуть ли не большинство, либо те, кто по своему положению надеялся при его преемнике добиться большего в карьере и в достижении своих видов, либо множество неразумных любителей перемен и новшеств. Что касается церкви, то ханжи и даже просто набожные люди ликовали, что кончилась его распутная жизнь, являвшаяся примером для вольнодумцев, а янсенисты и сторонники Буллы, то ли исходя из тайных своих помыслов, то ли по глупости, согласно решили, что нет причин сожалеть о его смерти. Первые, поначалу обретшие надежду, впоследствии претерпели при нем куда хуже, чем при покойном короле; вторые, ярящиеся оттого, что он не все им позволяет, так как они желали раз и навсегда искоренить и упразднить принципы и вольности галликанской церкви, главным образом право обжалования злоупотреблений, установить безграничную власть епископов и возвратиться к давнему положению, когда власть епископата была грозой для всех вплоть до короля, не скрывали радости, что избавились от столь выдающегося ума, который ограничивался тем, что жертвовал им отдельных людей, но твердо сдерживал, когда они рвались к своей главной цели, пытаясь всяческими ухищрениями достичь ее; теперь они уповали на его преемника, который, надеялись они, не распознает их коварства, так что они легко обведут его и смогут действовать свободней и наглей.

Парижский и все другие парламенты, а также все судейское сословие, которое, поскольку оно постоянно находится вместе, легко проникается общим духом, не могли простить герцогу Орлеанскому тех самовластных ударов, нанести каковые его в конце концов вынудил сам парламент, пытавшийся с помощью бесконечных проволочек, используя его долготерпение, вырвать у него всякую власть и захватить ее себе. Сперва хитростью, потом дерзостью парламент сумел избежать последствий большинства этих ударов, однако уже не мог двигаться тем же путем и, так как пределы, поставленные регентом парламенту, оставались, не добился столь желанной для себя цели. Парламент не таил своей мрачной и угрюмой радости, что избавился от правителя, у которого вырвал столько уступок, и не мог утешиться, что не

сумел отнять всего и не сумел превратить себя из простого суда в подобие английского парламента, под игом которого к тому же находится верхняя палата.

Армия, вся без разбору подавленная комиссиями всякого ранга и преизбытком обеими руками раздаваемых крестов Св. Людовика, которые, впрочем, слишком часто покупались в канцеляриях и у женщин, равно как повышения и чины, возмущалась жестокой экономией, доведшей ее до крайней нищеты, и суровым соблюдением уставов, державших ее в подлинном рабстве. Повышение жалованья не произвело ни малейшего впечатления ни на солдат, ни на кавалеристов из-за крайней дороговизны самых обычных и необходимых для жизни вещей, так что эта, столь важная, общепринятая и многочисленная часть государства, как никогда прежде измученная и доведенная до рабского состояния чиновниками и множеством других людей, либо презираемых, либо почти не пользующихся уважением, могла лишь испытывать облегчение и питать надежду на перемену, которая сможет облегчить ее ярмо, внесет больше порядка в службу и заставит больше уважать заслуги и усердие. Флот, словно исключенный из употребления и преданный забвению, мог лишь негодовать из-за переживаемого им упадка и радоваться любым переменам, каковы бы они ни были, а все, кто называл себя купцами, кому чинили всемерные препятствия в угоду англичанам, кого во всем притесняла Индийская компания, также не могли быть настроены лучше. Наконец, большинство населения Парижа и провинций, доведенное до отчаяния жестокими финансовыми операциями и постоянными фокусами для того, чтобы вытянуть у него все деньги, фокусами, которые к тому же развеяли по воздуху все состояния и принесли отчаяние во все семьи, возмущенное чудовищной дороговизной, к чему и привели эти операции, дороговизной на все без исключения — и на предметы роскоши, и на самые необходимые для жизни товары, — уже давно стенало и, подстрекаемое жаждой облегчения, столь же тщетно, сколь упорно, мечтало об освобождении. В конце концов, не было такого человека, который не хотел бы на что-то рассчитывать, который не отчаялся бы от всех этих фокусов и плутовства, от того, что он неизменно попадает, несмотря на всю свою предусмотрительность, в ловушки и поставленные силки, который, видя, как тает его унаследованное имущество и состояние, и не находя защиты ни у права, ни в законах, не задумался бы, как жить дальше и как прокормить семью.

Столь острое и затрагивающее всех положение, явившееся неизбежным следствием многочисленных идей, с которыми

последовательно брались за финансы в пагубном стремлении вытянуть их из того разора и хаоса, в каком они находились, когда умер Людовик XIV, не могло вызвать у общества сожалений о том, кого оно считало виновником этих бед; вот так же дети плачут и сердятся на полено, которое неосторожный взрослый, проходя мимо, уронил им на ногу, в ярости со всей силой швыряют это полено как причину причиненной им боли, не обращая ни малейшего внимания на прохожего, являющегося единственной и подлинной причиной ее. Я-то прекрасно предвидел, к чему приведет таковое устройство или, верней сказать, все более усиливающееся расстройство финансов, и, желая, чтобы это не было вменено в вину герцогу Орлеанскому, предложил ему созвать Генеральные штаты, с чем он согласился, однако герцог де Ноайль, исходя из личных своих интересов, сорвал после смерти короля эти планы, о чем рассказывается в соответствующем месте в этих «Мемуарах». С течением лет у многих спала пелена с глаз, и они горько пожалели о герцоге Орлеанском, воздав наконец ему должное за его заслуги.

На другой день после кончины герцога Орлеанского его тело перевезли из Версаля в Сен-Клу, а на следующий день после этого начались траурные церемонии. Граф де Шаролуа вместе с герцогом де Жевром и маркизом де Бово, который должен был нести край мантии графа де Шаролуа; поехали в карете короля и с эскортом королевских гвардейцев в Сен-Клу. Граф де Шаролуа, представлявший короля, подавал святую воду; герцог Шартрский в сопровождении двух сыновей герцога Мэнского встретил его при выходе из кареты, а потом проводил до кареты. Сердце герцога Орлеанского перевез из Сен-Клу в Валь-де-Грас архиепископ Руанский, первый раздава-тель милостыни при покойном; по левую руку от него сидел граф де Клермон, принц крови, а на передней скамейке — герцог де Монморанси, сын герцога Люксембургского, в сопровождении подобающей свиты, какая обыкновенно полагается в подобных случаях. Принц де Конти вместе с герцогом де Рецом, сыном герцога де Вильруа, сопровождали траурный кортеж, который с великой пышностью проследовал из Сен-Клу в Сен-Дени через Париж. Шевалье де Бирон, которому его отец передал должность обер-шталмейстера герцога Орлеанского, когда стал герцогом и пэром, ехал верхом, равно как и граф д'Эстамп, капитан гвардии; все прочие главные приближенные покойного герцога ехали в каретах. Похороны были отложены до 12 февраля. Герцог Шартрский, ставший герцогом Орлеанским, граф де Клермон и принц де Конти были в глубоком трауре; архиепископ Руанский отслужил заупокойную мессу в присутствии главнейших придворных, а Понсе, епископ

Анжерский, произнес надгробную речь, не соответствующую, впрочем, величию усопшего. В Версале король посетил герцогиню Орлеанскую и ее высочество герцогиню и удостоил той же чести герцога Шартрского; то был единственный принц крови, которого он посетил. Он также сделал визиты принцессе де Конти, м-ль де Шартр и герцогине Мэнской.

Спустя два дня после смерти герцога Орлеанского маршал де Вилар вошел в государственный совет и стал губернатором марсельской крепости и фортов, получив эту должность после покойного обер-шталмейстера.

Мне вспомнилось, что ранее я обещал рассказать кое-что об этой должности. Несмотря на решение регентского совета, о чем я уже в свое время говорил, недвусмысленно и четко утвердившего обер-шталмейстера во всех обязанностях его должности и в полной независимости от великого конюшего, последний не переставал досаждать ему, как только мог. Сын обер-шталмейстера, унаследовавший после его смерти эту должность, решил избавиться от этих постоянных и назойливых помех; его отец принадлежал к друзьям епископа Фрежюсского, и тот рвался услужить ему в этом деле, тем паче что правота была на его стороне. Беренген подал докладную записку королю и еще одну — герцогу Орлеанскому. Принц Шарль Лотарингский, великий конюший, был так этим уязвлен, что, когда Беренген послал ему, как обычно, на подпись счета по малой конюшне, ответил, что не сможет подписать расходы, о которых не имеет понятия. Ему пытались доказать его неправоту, но он уперся. А счета необходимо было подписывать, чуть позже я поясню почему. Проволочка затянулась чуть ли не на полгода, и наконец его высочество герцог объявил великому конюшему, что если тот будет упорствовать, то он сам их подпишет как главноуправляющий штатом королевского двора, что и сделал. Так великий конюший из-за скверного характера потерял одну из привлекательнейших прерогатив своей должности, и уж всяко нужно будет большое везение, чтобы когда-нибудь вернуть ее. А вот в чем суть мнимой щепетильности великого конюшего, до сих пор не свойственной ни ему, ни кому-либо другому, и вот каков порядок этих подписей. Главноуправляющий штатом королевского двора, фельд-цейхмейстер, великий конюший и камер-юнкеры в год, когда они несут службу, являются распределителями расходов по своим ведомствам, то есть они передают счета по этим расходам за своей подписью и безо всякой иной проверки в расчетную палату, где эти счета и оплачиваются. Обер-гардеробмейстер, обер-шталмейстер и первый дворецкий, заведующий столом короля, независимый от

главноуправляющего штатом королевского двора со времен Гизов, которыми и была установлена эта должность, вели и составляли счета расходов по своим ведомствам и подписывали их, но, поскольку расчетная палата не признавала их подписи, так как они не были распределителями средств, было принято, что обер-гардеробмейстер направлял счета за гардероб короля камер-юнкеру, несущему в этот год службу, чтобы тот подписал их, причем не глядя и ни в коем случае не проверяя их, а лишь удостоверившись в наличии подписи обер-гардеробмейстера; так же было установлено по части счетов за стол короля между первым дворецким и главноуправляющим штатом королевского двора и между великим конюшим и обер-шталмейстером относительно счетов по малой конюшне.

Беренген, обер-шталмейстер, едва добившись подтверждения независимости своей должности, умер 1 декабря в возрасте сорока трех лет, не пережив и на полгода своего отца, после которого он эту должность унаследовал; то был человек почти никому не известный, неуверенный, нелюдимый, стеснительный в обществе, но умный и начитанный. Женат он был на дочери покойного маркиза де Лавардена, некогда бывшего посланником в Риме, и у них была единственная дочь. Его единственный брат был тогда в очень скверных отношениях с герцогом Орлеанским, так как имел безумие оспаривать у того любовницу, и герцог уже довольно давно выслал его из Парижа, так что он даже не надеялся получить должность обер-шталмейстера после покойного брата, однако внезапная смерть герцога Орлеанского вернула ему надежду. Епископ Фрежюсский дал ему эту должность.

В тот же день, что и герцог Орлеанский, умерла супруга маршала д'Юмьера, дочь г-на де Ла-шастра, оставившего после себя «Мемуары». Она была придворной дамой королевы, и в конце своей долгой, почти восьмидесятивосьмилетней жизни отличалась крепким здоровьем, ясным умом и еще сохранила следы былой красоты. Умерла она исключительно от старости, еще накануне, ложась спать, отменно чувствовала себя, а перед этим по своему обыкновению выходила и выезжала. Почти сразу же после смерти маршала д'Юмьера она поселилась в доме близ монастыря кармелитов на улице Сен-Жак. Она была первой герцогиней, которая, удалясь на покой, из каких-то непонятных благочестивых соображений велела снять с лошадей чепраки, а поскольку во Франции, как и всюду, любят подражать глупостям, это переняли у нее многие, впрочем, в то же время сохранившие, опять-таки по ее примеру, на своих каретах гербы и знаки своего сана.

На другой день после смерти герцога Орлеанского граф Тулузский объявил о своем бракосочетании с сестрой герцога де Ноайля, вдовой маркиза де Гондрена, старшего сына герцога д'Антена, имевшей двух сыновей. Она была придворной дамой последней дофины. Свет, в котором полно глупцов и завистников, ответил на получение ею после замужества нового титула завистливыми и недоброжелательными толками. Как можно было здесь неоднократно увидеть, у меня не было поводов любить герцога де Ноайля и я никогда не скрывал своего отношения к нему, однако истина требует сказать, что происхождение герцогов де Ноайлей не давало оснований возражать против брака одной из представительниц этого рода с принцем крови. Никто по крайней мере не станет отрицать, что есть большая разница между ней и дочерью Сегье, которая стала герцогиней де Вернейль, была приглашена королем на свадьбу герцога Бургундского, даже сидела на этой свадьбе за королевским столом и вообще пользовалась теми же привилегиями, что и графиня Тулузская. Не слишком высокое положение капитана гвардии кардинала Мазарини, которое отец первого маршала и герцога де Ноайля непонятным образом сменил на чин первого капитана личной королевской гвардии, что позволило ему впоследствии стать герцогом и пэром, сбивает с толку многих людей, не ведающих, что этот же самый капитан гвардии Мазарини де Ноайль был сыном дочери старого маршала де Роклора, а сестра его отца была женой дё Бирона, сына и брата обоих маршалов и герцогов де Биронов, и от этого брака произошел нынешний маршал и герцог де Бирон; род же де Ноайлей восходит к 1250 году, они находятся в родстве с лучшими семьями своей и соседних провинций, а землями и замком Ноайль, от которого получили фамилию, владеют с незапамятных времен.

В должности первого президента парижского парламента негодяя сменил сумасшедший по милости его высочества герцога, который весьма благоприятствовал Жеврам и решил взяться за парламент, выбрав на это место Новиона, старейшего председателя суда, но человека, совершенно неподходящего для этой должности. Он отнюдь не был ни неправосуден, ни бесчестен, как другой Новион, его дед, тоже некогда бывший первым президентом парламента, но в своем деле он знал только низшее судопроизводство, в котором, правда, разбирался великолепно, словно опытнейший поверенный, однако вне пределов этой темной науки ждать от него было нечего. Человек он был хмурый, замкнутый, диковатый, раздражительный, со множеством капризов, доходивших до сумасбродства, не

друживший ни с кем, впадавший в отчаяние, когда ему нужно было с кем-то встретиться, истинное мучение для своего семейства и для всякого, кто имел с ним дело, короче, невыносимый для других и, по его собственному признанию, нередко и для самого себя. Таким он проявил себя и на своем новом посту, где ему приходилось иметь дело с судом, со своей судейской братией, с публикой, от которой он запирался, так что добраться до него было невозможно; и вот, запершись так, отчего истцы стенали еще чаще, чем от его грубостей и sproposito[213] когда им удавалось прорваться к нему, он, по его словам, отправлялся подышать воздухом в тот дом, который занимал до того, как стал первым президентом, и там, у порога каретной мастерской, болтал с каретником, своим бывшим соседом, умнейшим, как он утверждал, человеком на свете.

Однажды некий несчастный истец из простых пребывал в полном отчаянии оттого, что не может добраться до Новиона, чтобы попросить о назначении слушания дела, ходил кругами вокруг его дома во Дворце правосудия, не зная, к кому обратиться и в какую стену биться головой. Он забрел в хозяйственный двор и увидел там человека в душегрейке, всем видом смахивавшего на конюха, который грубо спросил, что он тут делает и чего ему нужно. Бедняга истец смиренно ответил, что у него ведется процесс, который его совершенно уже разорил, что ему очень хочется, чтобы дело было поскорей решено, но какие бы старания он ни прикладывал, сколько бы сюда ни являлся, никак не может пробиться к господину первому президенту, который имеет такой нелюдимый и чудной характер, что не желает никого видеть и никого не допускает к себе. Человек в душегрейке поинтересовался, есть ли у него при себе копия искового прошения по своему делу, и велел ему дать ее: он, дескать, посмотрит, нельзя ли будет передать ее господину первому президенту. Несчастный истец вытащил из кармана копию прошения и, усиленно благодаря человека в душегрейке за его добросердечие, все-таки высказал сомнение, что тот сумеет помочь добиться слушания дела у первого президента, отличающегося столь своеобычным и прихотливым нравом, после чего удалился. Четыре дня спустя он был оповещен своим поверенным, что его дело будет рассмотрено через два дня, чем был приятно поражен. И вот, готовый к тяжбе, в сопровождении своего адвоката он является на слушание дела в большой судебной палате. Каково же было его изумление, когда он увидел того самого человека с хозяйственного двора сидящим на месте первого президента и в президентской мантии! Ноги у него подкосились, и он облился холодным потом, вспомнив, что

говорил ему о нем же, приняв его за Бог знает кого. Приключение это закончилось тем, что он мигом выиграл процесс. Вот таков был Новион.

Он был женат на одной из Вертело, тетушке г-жи де При, которая весьма содействовала тому, чтобы гг. де Жевры сделали его первым президентом. К исполнению обязанностей, связанных с этой должностью, он испытывал величайшее отвращение, но, поскольку был старейшиной председателей суда, не мог потерпеть, чтобы кто-то другой занял ее.

Когда его высочество герцог на сретение 1724 года объявил, что большое производство в кавалеры ордена Св. Духа будет в троицын день, генеральный контролер Доден и государственный секретарь Морепа, оба страстно желавшие носить орден, вновь начали препятствовать тому, чтобы Кроза и Монтаржи занимали должности великого казначея и секретаря ордена; таковые попытки уже были предприняты по случаю их производства на следующий день после посвящения, однако герцог Орлеанский, позволивший им купить должности, оставил эти попытки без внимания и велел им исполнять свои обязанности. Его высочество герцог оказался более склонен пойти навстречу желаниям людей, которые его устраивали. Кроза и Монтаржи получили приказ продать свои должности, первый — Додену, второй — Морепа; это не обошлось без сильного сопротивления, в результате которого продающие получили дозволение продолжать носить орден. Одновременно его высочество герцог отдал должность великого казначея д'Арменонвилю, хранителю печати, а секретаря — первому президенту парламента Новиону, который, обрадовавшись тому, что будет носить орден, был весьма недоволен тем, что присягу придется оплачивать и выкладывать деньги за крест и голубую ленту, каковое недовольство весьма непристойно и выказал.

Наконец Новиону стали невмоготу его обязанности первого президента, а еще более просители, которые непрерывно лезли к нему с делами, и в сентябре 1724 года, пробыв на этом посту всего лишь год, он подал в отставку к великому облегчению парижан, наконец-то избавившихся от него, и с радостью возвратился к прежней, столь любимой им жизни: никого более не видел, не имел никакой должности, замкнулся у себя в доме, беседуя в свое удовольствие с соседом-каретником на пороге его мастерской, и на семьдесят втором году умер в своем поместье Гриньон в сентябре 1731 года, никем не оплакиваемый.

Заключение

Вот я наконец и достиг того предела, до которого поставил себе довести эти «Мемуары». «Мемуары» хороши, только если они совершенно правдивы, а правдивыми они могут быть, когда пишущий их был очевидцем и участником описываемых событий либо получал сведения от достойных совершеннейшего доверия людей, бывших очевидцами и участниками оных событий; сверх того, необходимо, чтобы пишущий был предан истине до такой степени, что готов был бы всем пожертвовать ради нее. Что касается этого последнего пункта, смею заверить в своей совершенной преданности истине и убежден, что никто из знающих меня не станет это опровергать. Именно любовь к истине сильнее всего вредила моей карьере. Я это часто ощущал, но предпочитал истину всему и не мог заставить себя пойти ни на какое притворство; скажу больше: я любил ее даже во вред себе. Можно легко увидеть, что я не раз становился жертвой обмана, причем часто грубого, следуя дружескому чувству или ревнуя о благе государства, каковое я неизменно ставил превыше всех прочих соображений и всегда и безоговорочно- выше собственных интересов; такое случалось множество раз, но я не счел сие заслуживающим упоминания, поскольку это касалось лишь меня, не проливая нового света и не прибавляя любопытных подробностей касательно дел или жизни общества; можно отметить, что именно я настаивал на передаче финансов герцогу де Ноайлю, так как считал его, и совершенно ошибочно, из всех богатейших вельмож наиболее способным и достойным получения этого ведомства, и сделал я это буквально через несколько дней после того, как раскрылись гнуснейшие его козни, которые он недавно строил против меня. Это можно видеть и по тому, что я сделал для спасения герцога Мэнского вопреки моим сокровеннейшим и настоятельнейшим интересам, потому что счел опасным напасть одновременно на него и на парламент, а парламент тогда был самым первоочередным делом, не терпевшим отлагательства. Ограничусь этими двумя фактами, не упоминая о множестве других, описанных в этих «Мемуарах» в зависимости от того, когда они происходили и насколько представляли интерес для понимания хода дел и обстоятельств жизни двора и общества. Остается коснуться беспристрастности — качества важнейшего, труднодостижимого и, не побоюсь даже сказать, недоступного для всякого, кто пишет о том, что он видел и в чем участвовал. Прямые и правдолюбивые люди нас пленяют, двоедушные, каких полно при любом дворе, возмущают, а что уж

говорить о тех, кто причинил нам зло. Стоицизм — прекрасная и благородная иллюзия. И я не стану ставить себе в заслугу беспристрастность: это было бы напрасным делом. Читатель найдет в этих «Мемуарах» достаточно мест, где бьют ключом хвалы и порицания людям, к которым я неравнодушен, тогда как и те и другие становятся куда сдержанней, когда речь идет о тех, кто мне безразличен; однако я всегда горячо вступаюсь за добродетель против бесчестных людей в зависимости от глубины их пороков и добродетелей. И все-таки еще раз заверяю и льщу себя надеждой, что все построение моих «Мемуаров» подтвердит, что я всемерно остерегался поддаваться своим симпатиям и неприязни, особенно последней, стараясь давать выход обоим этим чувствам не иначе как с весами в руке, не только ничего не утрируя, но даже и не преувеличивая, не забываясь, следя за собой, словно за врагом, отдавая всем и всему полную справедливость и выявляя одну только чистую правду. В этом смысле я могу утверждать, что был полностью беспристрастен, а иного способа быть таковым, убежден, не было и нет.

Что касается точности и достоверности рассказанного мной, то из самих «Мемуаров» можно увидеть, что почти все в них почерпнуто из того, в чем я сам был участником, а остальное мне поведали люди, имевшие непосредственное отношение к описываемым мною событиям. Всех их я называю, и их имена, равно как их близкие отношения со мной, — вне всяких сомнений. Я оговариваю, когда полученные мною сведения не вполне достоверны, а ежели чего не знаю, то не стыжусь в том признаться. Таким образом, все представленное в моих «Мемуарах» получено из первых рук. Их достоверность, их подлинность не может возбудить ни малейшего сомнения, и, мне думается, я могу сказать, что не было еще доселе воспоминаний, которые содержали бы столь же много предметов, так глубоко и подробно рассмотренных, были бы столь же поучительны и представляли бы такой же интерес.

Не сомневаюсь, что, ежели мои «Мемуары» когда-нибудь узрят свет, они вызовут бурю негодования, но, так как я сам не увижу их напечатанными, мне это безразлично. Каждый привержен своим близким, своим интересам, претензиям, иллюзиям и не терпит даже самого ничтожного противоречия им. Любой человек-друг истины, но только если она ему благоприятна, да вот благоприятна она в подобных вещах весьма немногим. Ежели ты о ком-то говоришь хорошо, он это воспринимает как должное: этого требует истина. А те, о ком говоришь иначе, а таких большинство, приходят в тем большую ярость, чем больше это дурное подтверждается фактами;

поскольку же во времена, когда я писал, особенно в конце, все шло к вырождению, к беспорядку, к хаосу, а впоследствии это только усилилось и поскольку эти «Мемуары» проникнуты стремлением к порядку, закону, истине, твердым правилам и нелицеприятно представляют все, что им противостоит, что ныне царствует, все шире распространяя свою невежественную и усиливающуюся власть, то корчи ненависти перед сим правдивым зеркалом, несомненно, будут всеобщими. К тому же «Мемуары» написаны не для тех, кто является чумой для государств, кто отравляет их и из-за собственной глупости или своекорыстия ведет к гибели дорогами, которые лишь ускоряют упадок, а для людей, которые жаждут знания, дабы предотвратить гибель, но которых старательно отстраняют те, кто добился могущества и доверия и более всего боится просвещения; написаны они для людей, не ведающих иной корысти, кроме справедливости, истины, рассудка, закона, разумной политики, и приверженных лишь общему благу.

Мне остается сделать еще замечание о беседах, которые я вел со многими людьми, в особенности с герцогом Бургундским, герцогом Орлеанским, г-ном де Бовилье, министрами, однажды с герцогом Мэнским, раза три-четыре с покойным королем, наконец, с его высочеством герцогом и еще множеством значительных особ, а также о том, что высказывал я, и об их мнениях, которые я, соглашаясь, принимал или оспаривал. Среди этих бесед есть такие, а их немало, которые читатель, не знающий меня, уверен, будет склонен отнести к тому разряду придуманных речей, каковые историки частенько приписывают полководцам, посланникам, сенаторам, заговорщикам, дабы расцветить свои сочинения. Но с той же достоверностью, какая до сих пор двигала моим пером, я могу заверить, что все речи, которые я вел и ныне воспроизвожу, переданы в сих «Мемуарах» с самой скрупулезнейшей точностью, равно как и слова, что были обращены ко мне; более того, если и есть мне в чем упрекнуть себя, то уж скорее в том, что я здесь не усиливал, а, напротив, ослаблял свои слова потому, что памяти свойственно забывать многие подробности, и потому, что воспламененный целью и обстоятельствами, говоришь куда живей и с большей силой, нежели потом воспроизводишь сказанное. Добавлю с той же уверенностью, какую выразил выше, что ни у кого из знавших меня не возникло бы ни малейших сомнений в точности пересказываемых мною бесед, какими бы резкими они ни казались, и что любой из них узнал бы меня в каждом слове.

Общим недостатком всех «Мемуаров», который мне всегда особенно не нравился, я считаю то, что, закончив их, читатель

теряет из виду главных действующих лиц, о которых там больше всего говорилось, так что его любопытство насчет их дальнейшей жизни остается неудовлетворенным. Ведь всегда хочется узнать, что с ними было дальше, но только так, чтобы не утруждать себя поисками сведений в других книгах, поскольку этому вопреки жажде познания препятствует леность. Вот это-то мне и хочется предотвратить, если Господь дарует мне еще жизни. Разумеется, я не смогу написать продолжение с той же полнотой, с какой писал, когда был в гуще событий. И хотя кардинал де Флери ничего не скрывал от меня, ежели я изъявлял желание узнать об иностранных делах, и даже первый рассказывал мне о них, а также о разных придворных событиях, сам я весьма мало и с крайним равнодушием следил за ними; еще меньше интереса я проявлял к беседам с министрами и другими осведомленными лицами, к тому же они происходили с такими длительными перерывами, что у меня есть все основания опасаться, что добавление или продолжение этих моих «Мемуаров» будет куда более вялым, будет содержать куда меньше сведений и вообще сильно отличаться от того, что написано мною до сей поры; однако из него хотя бы будет видно, что сталось с людьми, которые появлялись на страницах этих «Мемуаров», и я предполагаю довести их до смерти кардинала де Флери.

И наконец, неужели я не скажу несколько слов о стиле, о его небрежности, о словах, повторяющихся чересчур близко, о чрезмерном иной раз изобилии синонимов, особенно же о запутанности, нередко происходящей от длинных периодов, и, наверное, о встречающихся иногда повторах? Я чувствовал эти свои недостатки, но не мог их избежать, поскольку, захваченный содержанием, обращал внимание не столько на манеру его изложения, сколько на то, чтобы лучше его передать. Я никогда не был склонен к академичности и не могу отучить себя от привычки писать быстро. Чтобы выправить мой стиль, сделать его более правильным и приятным, пришлось бы переделывать весь этот труд, а это было бы превыше моих сил и, боюсь, оказалось бы бесплодным занятием. Чтобы как следует выправить уже написанное, нужно уметь хорошо писать, но здесь легко можно увидеть, что я даже не решаюсь притязать на это. Я помышлял лишь о точности и правде. Смею утверждать, что оба эти достоинства неотделимы от моих «Мемуаров», составляют их основу и душу и хотя бы за это их стиль заслуживает известной благосклонной снисходительности. Он тем более нуждается в ней, что я не могу обещать сделать его лучше и в задуманном мной продолжении.

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Выбирать из многотомных «Мемуаров» Сен-Симона — непросто. Тематическое и жанровое разнообразие «гигантской рукописи», по выражению Л.Я.Гинзбург, — беспрецедентно. Но понятно и честолюбивое желание составителя, имеющего дело с «Мемуарами», по возможности достичь двух, по-видимому, взаимоисключающих целей: 1) дать читателю представление о совершенно свободном, в духе монтеневских «Опытов» раскинувшемся пространстве «Человеческой комедии» Сен-Симона (так озаглавил свое исследование Жан де ля Варанд (Jean de la Varende. M. Le duc de Saint-Simon et sa comidie humaine. P., 1955) и 2) сохранить подобие тематического и композиционного единства, невидимо, но властно, изнутри организующего материал, несмотря на своевольное чередование тем, отступлений, несмотря на проспективную и ретроспективную диахронии, к которым с величайшей непринужденностью прибегает Сен-Симон. По этому пути пошел в свое время И. М. Гревс — составитель, переводчик и комментатор первого советского двухтомного издания отрывков из «Мемуаров» (Сен-Симон. Мемуары. Избранные части «Подлинных воспоминаний герцога де Сен-Симона о царствовании Людовика XIV и эпохе регентства», тт. 1–2, М.-Л., «Academia», 1934–1936). Сославшись на устрашающую многотомность первого полного научного издания «Мемуаров» (тридцать томов под редакцией Ж. Шерюэля «в 50-х годах прошлого столетия», двадцать один том Р., «Hachette»1881–1893, «сорок с лишним томов» под редакцией А. Ренье и А. Буалиля, «1 том вышел в 1879 г.», восемь томов неизданных сочинений (Ecrits inidits de Saint-Simon, P. 1881–1893) и т. п., то есть изрядно напугав читателя необозримой содержательностью сен-симоновского текста (со своей стороны мы могли бы указать на академическое издание Bibliothique de la Pliiade, последний, седьмой, том которого вышел в 1961 году, а также на еще более тщательное, снабженное скрупулезными историческими и лингвистическими комментариями, с публикацией вариантов и параллельных отрывков из рукописи Данжо, издание «Gallimard» 80-х годов нашего века), И.М. Гревс предложил в сущности отличный от сен-симоновского вариант членения рукописи, разбивая ее на главы, отсутствующие у Сен-Симона, стремясь придать привычные очертания чему-то совершенно непривычному, сближая разведенное и противопоставляя соседствующее:

Детстве и юность Сен-Симона

Разлад Сен-Симона с королем

Три министра конца царствования: 1) Поншартрен, 2) Шамийяр, 3) Помпонн

Врачи короля

Побочные сыновья короля

Политические виды Сен-Симона

Личность короля и его отношение к людям и т. п.

Что ж, эти и подобные им извлечения из океана сведений, не имеющие подчас ничего общего с текучей непрерывностью «Мемуаров», вполне возможны. Ведь существуют отдельные издания типа: «Придворное общество эпохи регентства». P.,- L», «Смерть Месье (старшего дофина)» Lyon, 1948 или изданная на глянцевитой бумаге с роскошными цветными иллюстрациями картин знаменитых художников «Галерея портретов к «Мемуарам» Сен-Симона.» P., «Garnier», где словесное описание дополняется живописным, а живописное — словесным.

Предлагаемое издание станет, по-видимому, еще одной попыткой примирить многообразие с целостностью. Нам представляется, что бьющее через край множество организуется на началах более конструктивных, нежели простое тематическое единство. Судьба автора, слишком гордого и независимого и потому, возможно, не слишком удачливого военного, политика или царедворца, многое объясняет в его отношении к происходящему. Ведь проницательная, остраненная, в высшей степени продуктивная позиция участника и в то же время стороннего наблюдателя стала бы попросту невозможной, если бы Сен-Симон оказался самозабвенно вовлеченным в круговорот омывающей его придворной жизни. Книга эта должна, как нам кажется, дать представление о человеке, с бескорыстным интересом наблюдающем за игрой больших и малых исторических сил эпохи, игрой, наводящей на мысль о судьбе, придающей смысл случайному и поверхностному разнообразию жизни.

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

Аверн д', граф, мессинец, обосновавшийся во Франции, с 1694 — бригадир, погиб в 1694 г. в сражении за Вислохские высоты

Аво д' Жан-Антуан де Мэм, граф (1640–1709), с 1672 по 1674 — посол в Венеции, затем в Голландии и Швеции

Айен Адриен-Морис, граф (1678–1766), будущий герцог де Ноайль

Айен Франсуаза-Шарлотта д'Обинье, графиня, с 1704 — герцогиня де Ноайль

Акен д' Антуан (1632–1696), с 1677 — лейб-медик Людовика XIV, с 1693 — в опале

Алегр Ив, маркиз (1653–1733), с 1693 — бригадный генерал, с 1696 — тесть Барбезье, с 1724 — маршал Франции и главнокомандующий французскими войсками в Бретани

Альба Альварес де Толедо, герцог (1507–1582), испанский полководец, правитель Нидерландов

Альбре д' Цезарь-Фебус (1614–1676), с 1653 — маршал Франции

Альберготти Франсуа-Зенобль-Филипп, граф (1654–1717), флорентиец на службе у Франции, фаворит герцога Люксембургского

Амбре Франсуа де Жела де Вуазен, маркиз (1641–1721), с 1671 — генерал-лейтенант Верхней Гиени

Амьенский Луи Огюст де Шеврез, видам (1676–1744), сын герцога де Шевреза, с 1711 — герцог и пэр, с 1741 — губернатор Амьена, маршал Франции

Анжерский, епископ Понсе де ла Ривьер, Мишель (1672–1730), с 1706 — епископ Анжера, член Французской академии

Анжуйский, герцог — см.: Филипп V, король Испании

Анна Стюарт, королева Англии (1665–1714), дочь Якова II

Антен д' Луи-Антуан (1665–1736), законный сын маркизы де Монтеспан, с 1702 — генерал-лейтенант, с 1708 — суперинтендант построек, с 1711 — герцог и пэр

Антен д' Луи де Пардайан, герцог (1707–1743), сын Луи-Антуана д' Антена, с 1743 — бригадный генерал

Аржансон д' Марк-Рене, маркиз (1652–1721), префект полиции при Людовике XIV, государственный советник

Аржантон д' Мария-Луиза де ла Буасьер, графиня-см. Сери, м-ль

Аркур д', принцесса (ум. в 1715), урожденная де Бранкас, фрейлина королевы Марии-Терезии

Аркур д' Анри, маркиз де Беврон (1654–1718), сын Франсуа III

д'Аркура, маркиза де Беврона, и Катрины Летелье де Турневиль, женат на Марии-Анне Клод Брюлар, с 1693 — генерал-лейтенант, губернатор Турне, в 1697 — чрезвычайный посол в Испании, с 1700 — герцог, с 1703 — маршал Франции, с 1705 — капитан королевской гвардии, с 1710 — пэр

Арле Ахилл III (1638–1712), граф де Бомон, с 1667 — генеральный прокурор, с 1689 — первый президент парламента, с 1707 — в отставке

Арле Франсуа (1625–1695), с 1671 — архиепископ Парижский, доктор Сорбонны, один из инициаторов отмены Нантского эдикта; присутствовал при бракосочетании Людовика XIV с мадам де Ментенон

Арлю Луи де Вертийи, граф (погиб при Хоштедте в 1704), шталмейстер Людовика XIV, с 1690 — бригадир, с 1696 — бригадный генерал

Арманьяк д' Луи Лотарингский, граф (1641–1718), сын Анри Лотарингского, графа д'Арманьяка и Маргариты дю Камбу, обер-шталмейстер Людовика XIV, прозванный при дворе Великим

Арманьяк Катрина де Невиль-Вильруа, графиня (1639–1707), жена графа д'Арманьяка

Арманьяк Шарлотта Лотарингская (1678–1757), дочь Луи Лотарингского, графа д'Арманьяка, и Катрины де Невиль-Вильруа

Арменонвиль, великий казначей ордена Св. Духа

Арпажон Катрина-Генриетта д'Аркур-Беврон, герцогиня (1631–1701), дочь Франсуа II д'Аркура и Рене д'Эпине-Сен-Люк, третья жена Луи, герцога д'Арпажона, мать графини де Руси, сестра Франсуа III д'Аркура, маркиза де Беврона, фрейлина королевы

Арпажон д' Луи, маркиз (1667–1736), внук фрейлины дофины, с 1709 — бригадный генерал, с 1736 — генерал-лейтенант

Астурийский Луи-Филипп де Бурбон, принц (1707–1725), старший сын Филиппа V и Марии-Луизы Савойской

Асфельд Клод-Франсуа Бидаль, маркиз (1665–1743), друг Сен-Симона, в эпоху регентства — член военного совета, ответственный за строительство фортификаций

Аши Франсуа-Филипп де Карвуазен, маркиз (1638–1718), с 1691 — капитан, затем — бригадир карабинеров, с 1704- бригадный генерал

Баварская Мария-Анна-Кристина, дофина (ум. в 1690), жена Монсеньера

Баварский Максимилиан-Мария-Эммануил, курфюрст (1662–1726), командующий имперской армией, с 1692 — губернатор Испанских Нидерландов, во время войны за испанское наследство

воевал на стороне Франции

Баденский Людвиг-Вильгельм, принц (1655–1707), командующий имперской армией, крестник Людовика XIV, вступил на престол в 1677

Байи Гийом (ум. в 1695), аббат, с 1646 по 1674 — священник миссии Версальского прихода

Бальзенс Кастельморон Арман, маркиз, муж Анны де Комон-Лозен (1631–1712), второй сестры герцога де Лозена

Барада Франсуа, с 1625 — обер-шталмейстер, в опале с декабря 1626

Барбансонский Октав-Игнаций, принц (1640–1693), первый сокольничий в Испанских Нидерландах, с 1674 — губернатор Намюра

Барбезье Луи-Франсуа-Мари Летелье, маркиз (1668–1701), третий сын министра Лувуа и Анны де Суврe, муж Катрины-Луизы-Марии де Крюссоль д'Юзес, брат герцогини де Вильруа, с 1685 — государственный секретарь по военным делам

Барбезьер Шарль-Луи, маркиз (1651–1709), с 1676 — драгунский полковник, с 1688 — бригадный генерал, с 1696 — генерал-лейтенант

Барройль Анри (ум. в 1705), с 1659 — комендант Бастилии, телохранитель Лозена

Барруа Сен-Реми Франсуа, барон де Манувиль, с 1698 — посол герцога Леопольда Лотарингского во Франции

Бассомпьер Франсуа (1579–1646), в 1621 — посол в Испании, с 1622 — маршал Франции, по приказу кардинала Ришелье заключен в Бастилию (1631–1643), автор «Мемуаров»

Беврон Франсуа III д'Аркур, маркиз (ум. в 1705), генерал-лейтенант губернаторства Верхняя Нормандия

Беврон Шарль д'Аркур, граф (ум. в 1688), командир кавалерийского полка Месье, обвинялся как соучастник маркиза д'Эффиа и кавалера Лотарингского в деле об отравлении Мадам (Генриетты Английской)

Безон Арман Базен (1655–1721), с 1698 — архиепископ Бордосский, приближенный герцога Орлеанского, член совета регентства

Бельгард Габриэль де Пардайан, маркиз (1689–1719), сын д'Антена

Бельгард Роже де Сен-Лари, герцог (1563–1646), губернатор Бургундии

Бервик Джек Джеймс (1671–1734), побочный сын Якова II и Арабеллы Черчиль, сестры герцога Мальборо; после революции 1688 последовал за отцом в изгнание и ооосновался при французском дворе, с 1706 — маршал Франции; погиб в 1734 при

осаде Филисбурга

Беренген Жак-Луи II, маркиз (1680–1723), сын Жака-Луи I, маркиза де Беренгена (1651–1723), члена совета регентства, с 1718-бригадный генерал, с 1723 — обер-шталмейстер короля

Беренген Мария-Луиза-Генриетта де Бомануар-Лаварден, маркиза (1690–1755), дочь Анри-Шарля, маркиза де Лавар-дена, жена Жака-Луи II, маркиза де Беренгена

Бернар Самуэль (1651–1739), сын гравера, один из богатейших банкиров Европы, государственный советник при Людовике XV

Беррийская Мария-Луиза-Елизавета, герцогиня (1695–1719), с 1710 — жена Шарля, герцога Беррийского

Беррийский Шарль, герцог (1686–1714), третий сын старшего Дофина (Монсеньера) и Марии-Анны-Кристины Баварской, младший внук Людовика XIV; женат на Марии-Луизе-Елизавете, дочери Филиппа II, герцога Орлеанского, и мадемуазель де Блуа

Берто, монах-ораторианец, принимавший участие в полемике вокруг квиетизма

Бетюн Мария-Франсуаза Потье, графиня (1697–1764), дочь Франсуа Бернара-Потье, герцога де Трема, после выхода замуж за Луи-Мари-Виктуара де Бетюна (1671–1744), с сентября 1715 — графиня де Бетюн

Бетюнская Мария Фуке, герцогиня (1640–1716), единственная дочь суперинтенданта Никола Фуке, жена герцога Бетюнского

Бетюнский Арман I де Бетюн, герцог де Шаро (1641–1717), муж Марии Фуке, губернатор Кале, в 1695 передал герцогство сыну, Арману II, герцогу де Шаро (1663–1747)

Бешамель Луи (1630–1703), тесть Вильруа, с 1659 — секретарь короля, с 1685 — суперинтендант дворца Мадам и Месье

Биньон Жером II (1627–1697), после смерти отца, Жерома I (1656), директор королевской библиотеки, государственный советник

Биркенфельд Христиан III, герцог Баварский, принц Пфальцский (1674–1735)

Бирон Луи-Антуан де Гонтан, шевалье (1701–1788), четвертый сын Шарля-Армана де Гонтана, с 1757 — маршал Франции

Бирон Мария-Антуанина Ботрю де Ножан (ум. в 1742), дочь Армана де Ботрю, графа де Ножана

Бирон Шарль-Арман де Гонтан, маркиз (1664–1756), с 1715 — член военного совета, герцог де Бирон, с 1734 — маршал Франции, обер-шталмейстер герцога Орлеанского, муж Марии-Антуанины Ботрю де Ножан

Бисси Анри де Тиар, аббат (1657–1737), с 1713 — кардинал

Бисси Жак де Тиар, маркиз (1648–1744), полковник кавалерии, с 1704 — генерал-лейтенант, с 1707 в отставке

Бланзак Мария Генриетта де Рошфор, графиня (1663–1736), дочь маршалыпи де Рошфор

Бленвиль Жан де Вариньи (1581–1628), гардеробмейстер, камер-юнкер, государственный советник, посол в Англии

Блуэн Луи (ум. в 1729), интендант дворцовых ансамблей Версаля и Марли, первый камер-лакей Людовика XIV, заслуживший его абсолютное доверие

Бовилье Генриетта-Луиза Кольбер, герцогиня (1657–1733), дочь Жана-Батиста Кольбера и Марии Шаррон, супруга герцога де Бовилье

Бовилье Поль, граф де Сент-Эньян (1648–1714), сын Франсуа де Бовилье, первого герцога де Сент-Эньяна, затем герцог де Бовилье, женат на Генриетте-Луизе Кольбер, с 1685 — председатель государственного совета финансов, с 1689 — воспитатель, затем обер-камергер герцога Бургундского, с 1690 — воспитатель герцога Анжуйского, с 1693 — герцога Беррийского, с 1701 — испанский гранд, ближайший друг и покровитель Сен-Симона

Бово Пьер Мадлен, маркиз (1663–1734), с 1718 — генерал-лейтенант, глава посольства для заключения брака короля

Бонтан Александр (1626–1701), сын Жана-Батиста Бонтана, лейб-медика Людовика XIII, с 1627 — обер-камергер, затем-управляющий Версальским дворцом, губернатор Рен-на; преданная служба королю принесла ему дворянский титул

Боссюэ Жак-Бенинь (1627–1704), с 1670 — воспитатель Дофина, с 1681 — архиепископ города Мо; проповедник, автор богословских сочинений, он оказывал ощутимое влияние на внутреннюю политику Версальского двора, был одним из вдохновителей отмены Нантского эдикта

Бранкас Анри-Игнаций (1684–1760), аббат, младший брат маршала де Бранкаса, податель милостыни при Монсеньере, с 1714 — епископ Лизье

Бранкас Луи, герцог де Вилар-Бранкас, маршал (1672–1750)

Брантом Пьер де Бурдель (1535–1614), аббат, мемуарист

Браччано — см.: Юрсен дез, принцесса-103, 104, 108, 111, 116. Брессе Жан-Клод, барон (ум. в 1704), уроженец Франш-Конте, служил в Испании, затем, с 1692 — на службе у Людовика XIV, с 1694 — бригадный генерал, с 1696 — генерал-лейтенант

Бретон, бродячий священник

Бретонсель Луи-Франсуа, маркиз (1645–1696), с 1689 — полковник, с 1694 — бригадир

Бретонский Людовик, герцог (1702–1712), старший сын герцога Бургундского; умер от краснухи вскоре после смерти родителей

Брион Анри Лотарингский, граф (1661–1712), старший сын Луи Лотарингского, графа Арманьяка

Бриссак Альбер де Грийе (1627–1713), маркиз, затем герцог и пэр, с 1693 — генерал-лейтенант, затем майор королевской гвардии

Бройль Шарль-Гийом, маркиз де (1668–1751), сын графа де Бройля, маршала Франции с 1724

Буагильбер Пьер ле Пезан (1646–1714), племянник Вобана, экономист, генерал-лейтенант, командующий военным округом в Руане

Буден Жан (ум. в 1728), ученик Фагона, лейб-медик Монсеньера, с 1709 — врач короля, с 1711 — лейб-медик Дофины

Бузоль Мария-Франсуаза Кольбер де Круасси, маркиза (1671–1724), старшая дочь министра Кольбера

Буйонская Мария-Элизабет де Ла Тур д'Овернь, мадемуазель, дочь Годфруа-Мориса (ум. в 1725)

Буйонская Мария-Анна Манчини, герцогиня (1650–1714), племянница Мазарини, жена Годфруа-Мориса

Буйонский Годфруа-Морис, герцог (1639–1721), обер-камергер королевского двора

Буйонский Эммануил-Теодоз (1643–1715), племянник маршала Тюренна, младший брат Годфруа-Мориса, с 1669 — кардинал, с 1671 по 1700 — первый духовник короля, в 1698 — французский посол в Риме

Бульдюк Жиль-Франсуа (1615–1742), королевский аптекарь

Бур, граф (1655–1739), главнокомандующий немецкой кавалерией, с 1702 — генерал-лейтенант, с 1725 — маршал Франции

Бурбон-Конде Луи III, герцог (1668–1710), сын Анри-Жюля де Бурбона, принца Конде, и Анны Баварской, принцессы Палатинской, с 1685 женат на Луизе-Франсуазе де Бурбон, называемой мадемуазель де Нант, губернатор Бургундии

Бурбон, мадемуазель де, Франсуаза-Мария де Бурбон, называемая «младшая мадемуазель де Блуа» (1677–1749), дочь Людовика XIV и мадам де Монтеспан, с 1692 — жена Филиппа II Орлеанского, будущего регента

Бурбонская Луиза-Франсуаза де Бурбон (1673–1743), дочь Людовика XIV и мадам де Монтеспан, жена герцога Луи III Бурбон-Конде

Бургундская Мария-Аделаида Савойская, герцогиня (1685–1712), старшая дочь Виктора-Амедея II, герцога Савойского, и

Анны-Марии Орлеанской, дочери Месье, племянница Людовика XIV, с 1696 — замужем за герцогом Бургундским

Бургундский Луи, герцог (1682–1712), старший сын Монсеньера и Марии-Анны-Кристины Баварской, муж Марии-Аделаиды Савойской, отец Людовика XV, с 1711 — Дофин

Бурдей Пьер де, историк и мемуарист

Бурли Жорж де Гискар, граф де Бурли (1606–1693), с 1648 — помощник воспитателя Людовика XIV, с 1642 — генерал-лейтенант, губернатор Седана до 1692

Буффлер Катрина-Шарлотта де Грамон (ум. в 1739), дочь маршала-герцога Антуана-Шарля де Грамона, супруга Луи-Франсуа Буффлера

Буффлер Луи Франсуа (1644–1711), после смерти брата с 1672 — маркиз, с 1693 — маршал Франции, с 1695 — герцог и пэр, муж Катрины-Шарлотты де Грамон

Бюдо Антуан Эркюль, маркиз (ум. в 1629), муж Луизы де Крюссоль, впоследствии — маркиз де Сен-Симон, камергер при Генрихе IV, с 1612 — государственный советник

Бюдо Диана-Генриетта, герцогиня (1630–1670) — первая жена Клода де Рувруа, отца мемуариста

Бюсси-Рабютен Роже де (1618–1693), писатель и историк

Ван Дейк Антонис (1599–1641); фламандский живописец

Вандейль Франсуа де Клерамбо, маркиз (ум. в 1712), с 1693 — бригадный генерал, с 1691 — командующий кавалерией в армии герцога Мэнского, с 1663 по 1664 служил в Венгрии

Вандомская Мария-Анна де Бурбон-Конде, названная мадемуазель Энгиен (род. в 1678), дочь Анри-Жюля, принца де Бурбон-Конде, с 1710 — жена герцога Вандомского

Вандом Филипп, герцог (1655–1727), рыцарь Мальтийского ордена, с 1678 — Верховный приор ордена, с 1693 — генерал-лейтенант, принимал участие в осаде Намюра, в военных кампаниях в Италии, Каталонии и др., с 1706 — в опале, брат Луи-Жозефа

Вандомский Луи-Жозеф, герцог (1654–1712), внук Цезаря Вандомского, узаконенного побочного сына короля Генриха IV и Габриэлы д'Эстре, с 1688 — генерал-лейтенант, с 1695 по 1697 — командующий армией в Каталонии, с 1702 по 1706 — в Италии, с 1706 по 1708 — во Фландрии, с 1709 по 1712 — в Испании, женат на Марии-Анне де Бурбон-Конде

Вантадур Шарлотта-Элеонора де Ла Мот-Уданкур, герцогиня (1651–1744), в 1671 вышла замуж за Луи Шарля Леви, герцога де Вантадура, сестра герцогини де ла Ферте, с 1684 — фрейлина герцогини Орлеанской, воспитательница сыновей герцога Бургундского — герцога Бретонского (ум. в 1712) и герцога

Анжуйского, будущего короля Людовика XV

Ватвиль Шарль, барон (ум. в 1670), с 1647 — бригадный генерал, с 1660 — губернатор Сен-Себастьяна, представитель Испании во время заключения Пиренейского мира, посол в Лондоне, вице-король Наварры, посол в Лисабоне

Веймарский, герцог Бернард Саксонский (1604–1639), один из прославленных полководцев Тридцатилетней войны, командовал армией Людовика XIII в Эльзасе

Вен Жан Гард де Вен д'Агу де Монтобан, маркиз (1642–1732), с 1688 — полковник, в 1689 служил в итальянской армии в Альпах, с 1693-генерал-лейтенант; женат на Шарлотте-Рене Ладвока, его свойственник Симон Арно, маркиз де Помпонн (1618–1699), был женат на Катрине Ладвока

Венье, аббат, секретарь кардинала Дюбуа

Вертон Луи Франсуа, бывший дворецкий герцогини Бургундской

Вивонн Луи-Виктор де Рошешуар (1636–1688), герцог де Вивонн, с 1695 — маршал Франции, с 1679 — пэр, с 1641 — обер-камергер, брат мадам де Монтеспан

Виллар Клод-Луи-Гектор, маркиз (1653–1734), сын Пьера Виллара, с 1674 — кавалерийский полковник, с 1693 — генерал-лейтенант, с 1697 по 1700 — чрезвычайный посол в Вене, во время войны за Испанское наследство — командир корпуса, с 1702 — маршал Франции, с 1705 — герцог, с 1710 — губернатор Меца, в 1712 нанес поражение австрийским войскам под командованием принца Евгения Савойского в сражении под Дененом, с 1715 — член Французской академии, член совета регентства, с 1723 — губернатор марсельской крепости и фортов, с 1733 — фельдмаршал

Виллар Пьер, маркиз (1623–1698) — с 1654 приближенный принца де Конти, с 1668 — губернатор Безансона, с 1672 по 1679 — посол Франции в Савойе, Дании и Испании, с 1683 — государственный советник; женат на Марии Жиго де Белфон

Виларсо братья: Пьер, маркиз де Морне (1623–1698), Луи, маркиз (1619–1691), Шарль (взят в плен и убит при Флерюсе в 1690 г.)

Вилласер Эдуард Кольбер, маркиз (1628–1699), с 1677 — обер-камергер королевы, государственный советник, с 1691 по 1699 — суперинтендант построек, с 1697 — обер-камергер герцогини Бургундской

Вильгельм III Оранский (1650–1720) — см. Оранский, принц

Вильена Хуан-Эммануэль-Фернандес Пачеко, маркиз, герцог Эскалоне (1648–1725), испанский гранд, вице-король и главнокомандующий в Наварре, Арагоне, Каталонии, Сицилии,

Неаполе, с 1713 — мажордом; Сен-Симон встретился с ним в Испании во время своего посольства

Вильруа Луи-Никола де Невиль, герцог (1663–1734), сын маршала де Вильруа, женат на Маргарите Летелье де Лувуа, с 1693 — бригадир пехоты, с 1702 — генерал-лейтенант, с 1708 — капитан гвардии в покоях короля

Вильруа Мария-Маргарита де Косе-Бриссак (1648–1708), жена Франсуа де Невиля, маршала де Вильруа

Вильруа Франсуа де Невиль, герцог (1644–1730), с 1677 — генерал-лейтенант, с 1685-губернатор Лиона, с 1693 — маршал Франции, проигравший сражения в кампаниях 1701, 1702 и 1706, с 1714 по 1722 — воспитатель Людовика XV

Вильруа Маргарита Летелье де Лувуа, герцогиня (1678–1711), дочь Мишеля Летелье и Анны де Сувре, жена Луи-Никола, герцога де Вильруа

Вобан Себастьян Ле Претр (1633–1707), военный инженер, с 1688-генерал-лейтенант, с 1699 — почетный член Французской академии, с 1707 — маршал Франции; с 1677 — руководитель всех инженерных работ по фортификации, автор сочинений по экономике, предшественник физиократов. Его книга «Королевская десятина», содержащая предложения по совершенствованию налоговой системы во Франции, вызвала недовольство Людовика XIV

Вобкур Луи-Клод де Нетанкур-Оссонвиль, граф (ум. в 1705), с 1687 — генеральный инспектор, с 1696 — генерал-лейтенант

Вовенарг Люк де Клапье, маркиз (1715–1747), французский моралист, автор «Максим»

Водемон Франсуа II Лотарингский, граф (1572–1632), муж Екатерины де Зальм, отец Карла IV Лотарингского

Водемон Карл-Анри, принц (1649–1723), незаконный сын Карла IV, герцога Лотарингского, и Беатрисы де Кюзанс, испанский гранд, губернатор Нидерландов и Миланской области

Водемон Анна-Елизавета Лотарингская-Эльбеф, принцесса (1649–1714), дочь Карла III Лотарингского, герцога Эльбефа, жена Карла-Анри Водемона

Вуазен Даниэль-Франсуа (1654–1717), с 1674 — советник парламента, с 1708 — государственный советник, с 1709, после отставки Шамийяра — государственный секретарь по военным делам и министр, с 1714 — канцлер и хранитель печати

Вуазен Шарлотта Трюден (1663–1714), жена Даниэля Франсуа Вуазена, дочь председателя парижской счетной палаты

Вьевильъ Мария-Луиза де Ла Шоссе д'Е д'Аре (1669–1715), жена Рене Коскаэра, маркиза де Ла Вьевиля, гардеробмей-стерина герцогини Беррийской

Гамаш Клод-Жан Батист, граф, затем маркиз (1652–1736)

Гамильтон Антуан (1646–1720), французский писатель

Ганноверская Генриетта-Филиппина Баварская, герцогиня (1652–1730), младшая сестра Анны Баварской, супруги Анри-Жюля де Бурбона, принца Конде

Генего Клод (ум. в 1686), с 1643 — королевский казначей, после опалы Фуке заключен в Бастилию

Генрих II (1519–1559), король, сын Франциска I

Генрих III (1551–1589), король Франции, сын Генриха II и Екатерины Медичи

Генрих IV (1553–1610), король Франции

Георг I (1660–1727), король Англии

Гессенский Карл (1654–1730), с 1663 — ландграф

Гиз Генрих II Лотарингский, герцог (1614–1664), автор «Мемуаров»

Гиз Елизавета Орлеанская (ум. в 1696), дочь Гастона Орлеанского и Маргариты Лотарингской, жена Луи-Жозефа Лотарингского, герцога Гиза

Гийон Жанна-Мария Бувье де Ла Мотт (1648–1717), основательница квиетизма

Годе — см. Шартрский, епископ.

Гондрен Луи де Пардайан д'Антен, маркиз (1689–1712), старший сын Луи Антуана де Пардайана де Гондрена, герцога д'Антена, и Юлии-Франсуазы де Крюссоль, муж Марии-Виктории Софи де Ноайль, с 1711 — воспитатель Дофина

Гонзаго Луиза-Мария (ум. в 1667), королева Польши

Грамон Антуан-Шарль IV, маршал-герцог (1645–1720), второй сын Антуана III де Грамона, с 1673 — губернатор Наварры, в 1704 — чрезвычайный посол в Испании, министр Филиппа V, тесть маршала де Буффлера

Грамон Филибер, граф (1621–1707), родной брат Антуана III де Грамона, маршала-герцога, губернатор Ониса. генерал-лейтенант при губернаторстве провинции Беарн

Грамон Элизабет Гамильтон, графиня (1621–1708), с 1667 — придворная дама королевы Марии-Терезии, супруга графа Филибера де Грамона

Грансе Ардуэн де Руксель (ум. в 1706), аббат, с 1688 — первый капеллан Месье

Гискар Луи, граф (1651–1720), сын Жоржа де Гискара, графа де Бурли, с 1688 — инспектор инфантерии и бригадный генерал, с 1692 — губернатор Намюра, с 1693 — генерал-лейтенант, посол в Швеции

Гитри Ги Шомон (ум. в 1671), с 1656 — гардеробмейстер, с 1657 — член Государственного совета, с 1669 — обер-

гардеробмейстер

Гиш де Антуан де Грамон. граф, затем герцог (1672–1725), старший сын маршала де Грамона, с 1688 — адъютант Монсеньера, с 1704 — генерал-лейтенант, с 1724 — маршал Франции. Благодаря интригам своей жены, Марии-Кристины де Ноайль, и протекции мадам де Ментенон получил должность полковника королевской гвардии, которая принадлежала маршалу де Буффлеру

Гиш Мария-Кристина де Ноайль (1671–1748), дочь Анна-Жюля, герцога де Ноайля, и Марии-Франсуазы де Бурнонвиль, жена Антуана де Грамона, графа де Гиша

Гонкуры братья: Эдмон (1822–1896) и Жюль (1830–1870)

Гримальди Хосе Гутьерес, маркиз (1660–1733), личный секретарь Ори, с 1705 — государственный секретарь Испании, с 1715 — секретарь королевы, первый министр, сменивший Альберони, с 1721 — государственный советник, председатель Совета иностранных дел

Дамон Мишель, муж Анны Обур, брат г-жи де Фремон, с 1689 — генеральный контролер канцелярии

Дамон Анна Обур, жена Мишеля Дамона — гардеробмейстерина

Данжо Филипп де Курсийон, маркиз (1638–1720), с 1665 — полковник, с 1672 — адъютант, с 1680 — воспитатель Дофина, придворный кавалер первой Дофины, затем — герцогини Бургундской, государственный советник, член Французской академии, мемуарист

Данжо Софи-Мария Баварская, маркиза (1664–1736), с 1684 — фрейлина Дофины

Дегранж Мишель Ансель (1649–1731), личный секретарь короля, с 1691 — церемониймейстер

Декарт Рене (1596–1650)

Демаре Никола (1648–1721), в 1703 сменил Шамийара на посту министра финансов

Деффан Мари, маркиза (1697–1780), мастер эпистолярного жанра

Диллон Артур, граф (1670–1733), поверенный в делах короля Якова II при французском дворе

Доден Шарль-Гаспар (1679–1736), с 1722 — генеральный контролер финансов

Домб Луи Огюст де Бурбон, принц (1700–1755), второй сын герцога Мэнского

Донгуа Никола, с 1709 — главный секретарь парламента

Дормье Анри (1651–1731), адвокат Государственного совета, интендант герцогини Бургундской

Дре Томас (1640–1730), советник парламента

Дре Томас (1677–1749), сын советника парламента, после женитьбы на Екатерине-Анжелике Шамийар, дочери Шамийара, получил титул маркиза и должность обер-цереможниймейстера

Дюбуа Гийом (1656–1723), сын аптекаря, аббат, с 1683 — воспитатель герцога Шартрского, в 1716 — чрезвычайный посол в Англии и Голландии, с 1718 — министр иностранных дел, с 1721 — кардинал, с 1722 — премьер-министр

Дюкло Шарль Пино (1704–1772), французский моралист

Дюмон Гиацинт (1627–1706), с 1687 — шталмейстер короля, затем — управляющий делами двора Монсеньера в Медоне и Шавиле

Дюрас Жак-Анри де Дюрфор (1626–1704), с 1675 — маршал Франции, старший брат герцога де Лоржа, племянник Тюренна

Дюрас Анжелика-Виктория де Бурнонвиль, герцогиня (1686–1764), с 1706 — жена второго сына Жака-Анри де Дюрфора — Жана-Батиста де Дюрфора (1684–1770)

Дюшен Мишель-Колен, с 1693 — старший лакей герцога Беррийского, затем — герцога Бургундского

Евгений Франсуа Кариньян, принц Савойский (1663–1736), сын Евгения Мориса, графа де Суассона, и Олимпии Манчини, родственник Бурбонов по женской линии, воевал на стороне Империи

Жевр Бернар-Франсуа Потье, маркиз (1655–1739), с 1703 — герцог де Трем, обер-камергер, с 1704 — губернатор Парижа

Жевр Леон-Потье, аббат (1656–1744), с 1719 — кардинал

Жевр Леон-Потье, герцог (1620–1704), с 1669 — камер-юнкер

Жонвель Анри-Лемерсье де Отфе, маркиз (ум. 30 мая 1692), с 1674 — участник Фронды принцев

Жоффревиль Франсуа ле Дануа, маркиз (ум. в 1721), с 1715 — комендант Намюра, член военного совета

Жуайез Жан-Арман, маркиз (1631–1710), с 1677 — генерал-лейтенант, с 1685 — губернатор Нанси, с 1693 — маршал

Зойер, барон, баварский генерал

Иаков II — см.: Яков II

Иннокентий XI Одескальки, папа римский с 1676 по 1689

Кавальерини Жан-Жак (1639–1699), архиепископ Никеи, с 1692 по 1696 — нунций во Франции, с 1695 — кардинал

Кавуа Луи д'Оже, маркиз (1640–1716), королевский обер-квартирмейстер

Казо Анри, шталмейстер Монсеньера, с 1711 — обер-квартирмейстер герцога Беррийского, сын сестры Дюмона

Камбрейский, архиепископ — см. Фенелон

Камилл Лотарингский-Арманьяк, принц (1666–1715),

младший сын графа д'Арманьяка, племянник кавалера Лотарингского

Канийяк Филипп де Монбуасье Бофор, маркиз (1669–1725), с 1669 — младший лейтенант черных мушкетеров, с 1703 — бригадный генерал, с 1720 — генерал-лейтенант в Нижнем Лангедоке, с 1718 — член совета регентства, друг Филиппа III Орлеанского

Кантекруа Эжен-Леопольд Перно, граф (ум. в 1637), муж Беатрисы де Кюзанс (1614–1663), которая, овдовев в 1637, вышла вторым браком замуж за Карла IV, герцога Лотарингского, став матерью Во демона и графини де Лильбон

Капет Гуго (940–997), основатель династии французских королей

Карл, кардинал, епископ Мецский и Страсбургский

Карл II (1661–1700), с 1665 — король Испании, последний представитель габсбургской династии

Карл IV — см. герцог Лотарингский (1604–1675), отец Водемона

Карл V (1500–1558), император Священной Римской империи, испанский король Карлос I

Карл V Мудрый (1338–1380), король Франции

Карл VII (1403–1461), король Франции

Карл, эрцгерцог (1685–1740), второй сын императора Леопольда, будущий император Карл VI

Кассадо Изидор де Монтелеоне, маркиз, в 1704 — испанский посол в Генуе

Кастельморон Шарль-Габриэль де Белзенс, маркиз (1682–1739), сын Армана де Бальзенса и Анны де Комон

Кастри Мария-Елизавета де Рошешуар-Вивонн, маркиза (1663–1718), племянница мадам де Монтеспан

Катина Никола (1637–1712), с 1676 — генерал-майор пехоты, с 1677 — бригадный генерал, с 1688 — генерал-лейтенант, с 1693 — маршал Франции, в 1696 — командующий армией в Пьемонте, в 1702 — в Германии

Кевр Виктор-Мари, граф д'Эстре (1660–1737), с 1707 — маршал-герцог д'Эстре

Кевр Люси-Фелисите де Ноайль д'Айен, графиня (1683–1745) — дочь Анна-Жюля, герцога де Ноайля, и Марии-Франсуазы де Бурнонвиль, жена маршала де Кевра

Келюс Марта-Маргарита де Валуа (1671–1729), племянница мадам де Ментенон, в 1686 вышла замуж за графа де Келюса, воспитателя Дофина, генерал-лейтенанта, умершего в 1704

Кенель, отец, Пакье (1634–1719), французский теолог, янсенист, после смерти Арно (1694) возглавил партию янсенистов

Кёльнский, курфюрст-архиепископ — Максимилиан-Генрих Баварский (1621–1688), с 1650 — архиепископ Кёльна

Клерамбо Филип, маркиз де Паллуан (ум. в 1665), с 1641 — бригадный генерал, с 1652 — маршал Франции, с 1655 — губернатор Берри

Клермон Луи де Бурбон-Конде, граф (1709–1771), сын Лун III де Бурбон и Луизы-Франсуазы де Бурбон

Клермон-Шаст Франсуа-Альфонс (1661–1740), брат епископа Лана

Колменеро Франсуа, кавалер ордена Св. Якова, с 1700 — генерал артиллерии, в 1707 перешел на службу к императору Иосифу 1

Клемент Баварский Йозеф-Клемент (1671–1723), младший брат курфюрста Баварского, с 1688 — архиепископ Кёльна

Кольбер Никола (1627–1676), брат Жана-Батиста, с 1665 — хранитель королевской библиотеки

Кольбер Мария-Шарон де Менар (1630–1687), жена Жана-Батиста Кольбера

Кольбер Жан-Батист (1619–1683), с 1661-государственный советник и интендант финансов, с 1664 — суперинтендант прикладных искусств и мануфактур, с 1665 — генеральный контролер финансов, государственный секретарь по делам королевского дома, морским делам и торговле

Комайон Луи де Дамас, граф (ум. в 1692), военный инженер, участник турецкой кампании

Коммин Филипп де (1447–1511), французский историк

Конде Анри-Жюль де Бурбон, принц Конде (1643–1709), сын Луи II, принца де Бурбон-Конде, и Клер-Клеманс де Майе-Брезе, муж Анны Баварской (1648–1723)

Конде Луи II, принц де Бурбон-Конде, называемый Великим Конде (1621–1686); Сен-Симон был лично знаком с его сыном, внуком, правнуком и племянником (принцем Конти)

Конти Луи-Арман де Бурбон, принц (1629–1666), брат Великого Конде, представитель младшей ветви рода Конде; принимал участие во Фронде, в 1650 — заключен в Вснсенский замок, в 1659 женился на племяннице кардинала Мазарини Анне-Марии Мартинози (1637–1672), командовал армиями в Каталонии и Пьемонте

Конти Луи-Арман де Бурбон, принц (1661–1685), старший сын Луи-Армана де Бурбона, в 1680 женился на Марии-Анне, старшей мадемуазель де Блуа

Конти Луи-Арман II (1695–1727), граф де ла Марш; получил титул принца де Конти в 1709, после смерти своего отца Франсуа-Луи, принца де Конти, с 1715 — член совета регентства

Конти Мария-Анна, принцесса (1666–1739), дочь Людовика XIV и мадемуазель де Лавальер, с 1680 — замужем за принцем де Конти

Конти Мария-Тереза де Бурбон-Конде, принцесса (1666–1732), дочь Анри-Жюля де Бурбона, принца Конде, в 1685 вышла замуж за своего кузена Франсуа-Луи, принца де Конти

Конти Франсуа-Луи, принц (1664–1709), граф де ла Марш, после смерти старшего брата Луи-Армана (1685) унаследовал титул принца де Конти

Конфлан Луиза-Франсуаза де Жюссак, маркиза (1652–1727), с 1715 фрейлина герцогини Орлеанской, с 1716 — воспитательница ее дочерей

Коснак Мария-Анжелика, графиня (1674–1717), кузина принца де Шале, первого мужа принцессы дез Юрсен

Коэтанфао Франсуа-Туссен, маркиз (1657–1721), придворный герцогини Беррийской, старый приятель Сен-Симона

Кребийон-сын Клод (1707–1777), французский романист

Крейль Катрина-Антуанетта Бето де Шемо (1655–1735), дочь председателя счетной палаты

Креки Шарль II, граф де Канапль (ум. в 1630), младший брат Франсуа, герцога де Ледигьера, полковник гвардии, отец Шарля III де Креки

Креки Шарль III (1623–1687). с 1653 — маркиз, затем герцог и пэр, обер-камергер в покоях короля, губернатор Парижа, посол Франции в Риме

Кренан Пьер де Перьен, маркиз (ум. в 1702), с 1693 генерал-лейтенант

Крене Арман-Жан-Батист Фортен (ум. в 1714), сын первой роты мушкетеров, с 1712 — корнет

Криньян Луи-Прованс Адемар де Монтей, маркиз (1671–1740), внук мадам де Севинье, Сен-Симон встречался с ним в окружении герцога Шартрского, в 1700 — посол в Лотарингии, с 1702 — бригадир

Кроза Антуан, великий казначей ордена Св. Духа

Кромвель Оливер (1599–1658)

Круа Ла Клод-Франсуа (1653–1729), парижский сборщик податей

Круасси Шарль-Франсуа Кольбер, маркиз де Круасси (1625–1696), младший брат министра Кольбера, с 1679 — президент парижского парламента, государственный секретарь по иностранным делам и министр

Куален Пьер (1630–1706), с 1653-главный духовник короля, с 1666 — епископ Орлеанский, с 1697 — кардинал

Куален Арман дю Камбу, герцог (1635–1702). брат кардинала

Куален Шарль-Цезарь (1641–1699), рыцарь Мальтийского ордена, младший брат Армана дю Камбу

Куланж Мария-Анжелика Дюге де Баньоль (1641–1728), в 1659 вышла замуж за Филиппа де Куланжа (ум. в 1723)

Куракин Борис, князь (1675–1727), полковник лейб-гвардии, дипломат, посол в Лондоне, Гааге, с 1716 — в Париже

Куртен Оноре (1626–1703), с 1673 — государственный советник, сопровождал Мазарини в 1659

Куртанво Мишель-Франсуа ле Телье де Лувуа, маркиз (1663–1721), старший сын министра Лувуа

Кюзанс Беатриса, принцесса (1614–1663), с 1637 — вдова графа де Кантекруа, вышла замуж вторым браком за Карла IV Лотарингского, мать Водемона и графини де Лильбон

Л'Обепин Шарлотта (1640–1725), мать Сен-Симона

Ла-Рош-сюр-Ион Луиза-Аделаида (1696–1750), дочь Франсуа-Луи, принца де Конти и Марии-Терезы де Бурбон-Конде

Ла Врийер Луи II Фелипо, маркиз (1672–1725), секретарь по делам религий

Ла Врийер Франсуаза де Майи, маркиза, супруга Луи II Фелипо, маркиза де Ла Врийера

Лавальер маркиз (1670–1739), с 1698 — приближенный к Монсеньеру, затем, с 1711 — к новому Дофину, с 1714 — генерал-полковник кавалерии

Лавальер Луиза-Франсуаза Леблан (1644–1710), с 1667 — герцогиня де Лавальер, фаворитка Людовика XIV; в 1674 удалилась в монастырь кармелиток

Лавальер Мария-Тереза де Ноайль (1684–1784), дочь Жюля де Ноайля, маршала и пэра Франции, жена Шарля-Франсуа Леблана, маркиза де Лавальера (1670–1739), брата фаворитки Людовика XIV

Ла Шез Франсуа д'Экс, называемый отцом де Ла Шезом (1624–1709), иезуит, с 1675 по 1709 — духовник короля

Лабрюйер Жан (1645–1696), французский моралист

Ла Рю Шарль, отец де (1643–1725), с 1705 — духовник герцогини Бургундской, с 1712 — герцога Беррийского

Ла Шетарди Иоахим Тротти, аббат (1636–1714), с 1709 — духовник мадам де Ментенон

Лагранж Жак, бывший военный комиссар, интендант Эльзаса, затем, с 1693 — интендант армии в Германии, с 1698 — в опале

Ламотт Луиза де При, герцогиня (ум. в 1709), супруга маршала Филиппа де Ламотт-Уданкура (1605–1657)

Ламуаньон Гийом де (1617–1677), первый президент парламента

Ламуаньон Кретьен-Франсуа, маркиз де Бавиль (1644–1709),

сын первого президента парламента Гийома де Ламуаньона, с 1673 — генеральный прокурор, с 1698 — первый президент парламента

Лан Луи Анн де Клермон-Шаст, маркиз (1659–1721), с 1694 — епископ Лана, старший брат Франсуа-Альфонса де Клер-мон-Шаста (1661–1740), фаворит Монсеньера и м-ль Шуэн

Ланге Жан Батист Жозеф Ланге де Жержи (1675–1750), с 1714 — кюре церкви св. Сулышция

Лангр Луи де Клермон-Тоннер, духовник короля, с 1695 — епископ-герцог Нуайона

Ланкло Анна (1620–1705), известная под именем Нинон, дочь музыканта Ланкло, приобрела известность при кардинале Ришелье, ее первом покровителе; ее салон посещали П. Скаррон, Сент-Эвремон, Ларошфуко, принц Конде, другие выдающиеся деятели эпохи

Ларошгийон Франсуа VIII, герцог (1663–1728), с 1714 (после смерти отца) — герцог де Ларошфуко

Ларошфуко Франсуа VI (1613–1680), мемуарист, автор «Максим»

Ларошфуко Франсуа VII, герцог (1634–1714), сын мемуариста, с 1671 — губернатор Берри. с 1672 — гардеробмейстер, с 1679 — обер-егермейстер

Лассе Леон де Мадайан де Лепар, граф, затем маркиз (1678–1750), сын Армана де Мадайана, маркиза де Лассе

Лафайет Мари-Мадлен (1634–1693)

Лафейад Франсуа д'Обюссон, маршал-герцог (1625–1691), с 1667 — генерал-лейтенант, с 1674 — губернатор Доля, в 1678 — вице-король Сицилии и командующий военно-морским флотом

Лафейад Луи д'Обюссон, граф (1673–1725), сын Франсуа III д'Обюссона, с 1724 — маршал Франции

Лафонд Клод (ум. в 1719), с 1676 — докладчик в Государственном совете, с 1683 по 1698 — интендант флота и армии во Франш-Конте, сменил Лагранжа на посту интенданта армии в Германии

Лафорс Анри-Жак де Комон, герцог (1675–1726)

Лафонтен Габриэль, с 1667 — откупщик Луи-Анри де Бурбон-Конде

Лашастр Эдм, граф де Нанси (ум. в 1645), автор «Мемуаров» о юношеских годах Людовика XIV, или его сын Луи, маркиз де Лашастр (ум. в 1664)

Леви Мария-Франсуаза д'Альбер де Шеврез, герцогиня (1678–1734), дочь Шарля-Оноре д'Альбера, герцога де Шеврез, и Жанны-Марии Кольбер, жена маркиза де Леви (1669–1734)

Ле Гершуа Пьер-Гектор (ум. в 1740), интендант Алансона,

государственный советник

Леблан Луи-Клод (1669–1728), с 1719 по 1723 и с 1726 по 1728 — член военного совета, государственный советник, военный министр

Леви Мария-Франсуаза д'Альбер де Шеврез, герцогиня (1678–1734), дочь Шарля-Онора д'Альбера, герцога де Ше-вреза, и Жанны-Марии Кольбер, жена маркиза де Леви (1669–1734)

Ледигьер Шарль I де Бланшфор де Креки, герцог (ум. в 1638), стал герцогом Ледигьером в результате женитьбы на Мадлене де Бон, дочери коннетабля Ледигьера, с 1622 — маршал Франции

Ледигьер Жан-Франсуа-Поль де Бонн де Креки, герцог (1678–1703), с 1703 — бригадир

Ледигьер Луиза-Бернардина де Дюрфор-Дюрас, герцогиня (1678–1747), дочь Жака-Анри де Дюрфора, маршала-герцога де Дюраса, и Маргариты-Фелиции де Леви-Вантадур, жена Жана-Франсуа-Поля, герцога де Ледигьера

Ленонкур Робер (ум. в 1561), с 1538 — кардинал, с 1551 по 1553 — епископ Меца

Ленотр Андре (1613–1700), французский архитектор, с 1657-генеральный контролер королевских построек

Леон, принц (1679–1738) Луи Бретонский, сын Луи де Шабо, герцога де Рогана

Леопольд I (1640–1705), германский император с 1658 по 1705

Лескалопье Шарль-Цезарь (1671–1753), с 1711 по 1730 — интендант Шампани, с 1730 — государственный советник

Летелье Мишель (1603–1685), с 1643 по 1666 — государственный секретарь по военным делам, с 1677 — канцлер и хранитель печати, отец министра Лувуа

Либуа Этьенн Россен де, уроженец Льежа, с 1701 — обосновался во Франции, придворный

Ливри Луи Санген (1648–1723), с 1688 — маркиз, женат на Марии-Антуанетте де Бовилье, дочери герцога де Сент-Эньяна, с 1676 — главный метрдотель Людовика XIV

Лильбон Анна Лотарингская-Водемон, принцесса (1639–1720), дочь Карла IV и Беатрисы де Кюзанс, вдовы графа де Кантекруа, сестра Водемона, жена Франсуа-Мари Лотарингского, принца де Лильбон

Лильбон Беатриса-Гермиона Лотарингская, мадемуазель де (1662–1738), с 1711 — аббатиса де Ремиремон

Лильбон Елизавета Лотарингская, принцесса д'Эпине (1664–1748), сестра Беатрисы-Гермионы, дочь Анны Лотарингской-Лильбон

Лильбон Франсуа-Мари Лотарингский, принц (1627–1694),

четвертый сын Карла II Лотарингского, герцога д'Эльбефа, женат вторым браком на Анне Лотарингской-Водемон

Лозен Габриэль Номпар II, граф де Комон (ум. в 1660), отец герцога де Лозена

Лозен (Пюигильен) Антуан Номпар де Комон, герцог (1632–1723), муж Женевьевы Мари де Дюрфор, дочери маршала де Лоржа; с 1688-драгунский полковник, с 1670 — генерал-лейтенант, командир королевской гвардии, в 1665 и 1671 — в опале, с 1692 — герцог и пэр

Лозен Женевьева Мари де Дюрфор (1680–1740), дочь маршала де Лоржа, супруга герцога де Лозена

Лозен, пятый брат герцога де Лозена, шевалье

Лонгвиль Пьер де Реноль, в ближайшем окружении герцога Шартрского

Лорж Ги Альфонс де Дюрфор, герцог (1630–1702), племянник и соратник маршала Тюренна, женат на Женевьеве де Фремон, дочери Никола де Фремона, члена королевского совета; с 1676 — маршал Франции, с 1689 — губернатор Гиени, с 1694 — Лотарингии, тесть Сен-Симона

Лорж Ги Никола де Дюрфор, герцог (1683–1758), сын маршала де Лоржа, муж дочери Шамийара

Лорж Женевьева де Фремон, супруга маршала де Лоржа

Лорж Мария-Габриэль, дочь маршала де. Лоржа, супруга Сен-Симона

Лотарингский Антуан, герцог (1490–1544), сын Рене И, герцога Лотарингского

Лотарингский Филипп, кавалер (1643–1702), фаворит Филиппа Орлеанского

Лотарингский Карл III, герцог д'Эльбеф (1543–1608), сын Франсуа I, герцога Лотарингского, и Кристины Датской, женат на Клавдии Французской (1547–1574), дочери Генриха II и Екатерины Медичи

Лотарингский Генрих Добрый (1563–1624), первый сын Карла III Лотарингского, женат на Маргарите де Гонзаго (ум. в 1632), дочери герцога Виченцо Мантуанского

Лотарингский Карл (1567–1607), кардинал, второй сын Карла III Лотарингского

Лотарингский Франсуа, принц (ум. в 1715), пятый сын герцога Карла V Лотарингского и Марии-Элеоноры Австрийской

Лотарингский Франсуа II, граф де Водемон (1572–1632), третий сын Карла III Лотарингского, муж Екатерины де Зальм, дядя Николь, отец Карла IV, герцога Лотарингского

Лотарингская Николь, герцогиня (1608–1657), дочь Генриха Доброго, герцога Лотарингского и Маргариты де Гонзаго, жена

Карла IV Лотарингского

Лотарингский Никола-Франсуа (1609–1670), муж Клод-Франсуазы

Лотарингская Клод-Франсуаза, герцогиня (1612–1648), вторая дочь Генриха Доброго, сестра Николь

Лотарингский Карл IV, герцог (1604–1675), сын Франсуа II Лотарингского, графа де Водемона, женат первым браком на своей кузине Николь, герцогине Лотарингской, вторым — на Луизе-Маргарите д'Аспремон-Нантейль, любовник мадам де Кантекруа, отец Водемона

Лотарингский и Барский Карл V, герцог, называемый принцем. (1643–1690); сын Никола-Франсуа Лотарингского (1609–1670), младшего брата Карла IV Лотарингского, и Клавдии-Франсуазы Лотарингской, муж Марии-Элеоноры Австрийской, дочери императора Фердинанда III, вдовы польского короля, воевал с Турцией и Людовиком XIV

Лотарингский Леопольд, герцог (1679–1729), сын Карла V, герцога Лотарингского и Марии-Элеоноры Австрийской, муж Мадемуазель (1678–1744), зять Месье, с 1697 на основании положения Рисвикского мирного договора — герцог Лотарингский

Лотарингский Поль, принц (1672–1693). сын Франсуа-Мари, принца де Лильбон и Анны Лотарингской-Водемон, узаконенной дочери Карла IV, герцога Лотарингского

Лотарингский Шарль (Арманьяк), принц (1684–1753), сын Луи Лотарингского, графа Арманьяка и Екатерины де Невиль-Вильруа, муж Франсуазы-Аделаиды де Ноайль, обер-шталмейстер, с 1748 — губернатор Пикардии

Лотарингская Мария-Элеонора Австрийская, принцесса (1655–1697), жена Карла V Лотарингского и Барского

Лувиль Шарль-Огюст д'Аллувиль, маркиз (1664–1731), обер-камергер герцогов Бургундского и Беррийского

Лувуа Анна де Сувре, маркиза (1646–1715), дочь Шарля де Сувре, маркиза де Куртанво, мать герцогинь де Ларошфуко и Вильруа, жена маркиза де Лувуа

Лувуа Франсуа-Мишель Летелье, маркиз (1641–1691), женат на Анне Сувре (1646–1715), с 1662 — государственный секретарь военного ведомства, с 1672 — государственный министр, с 1683 — суперинтендант построек и мануфактур

Люд Анри де Дайон, граф (ум. в 1685), с 1675 — герцог, женат первым браком на Рене Элеоноре де Буйе, графине де Креанс, вторым — на Маргарите-Луизе де Бетюн: с 1653 — обер-камергер, с 1669 — фельдцейхмейстер артиллерии, с 1670 — генерал-лейтенант, герцог и пэр на основании королевского

патента

Люд Маргарита-Луиза де Бетюн, графиня де Гиш, затем — герцогиня (1643–1726), в первом браке жена Армана де Грамона, графа де Гиша, во втором — Анри де Дайона, герцога де Люда, статс-дама герцогини Бургундской

Людовик Святой, Людовик IX (1215–1270), король Франции, старший сын Людовика VIII и Бланш Кастильской

Людовик XII (1462–1515), король Франции

Людовик XIII (1601–1643), сын Генриха IV и Марии Медичи, король Франции с 1610 по 1643

Людовик XIV (1638–1715), король Франции

Людовик XV (1710–1774), король Франции

Людр, девица де Лоррен, фрейлина Мадам, фаворитка Людовика XIV

Люин Шарль д'Альбер, герцог (1578–1621), коннетабль, фаворит Людовика. XIII

Люин Шарль-Филипп д'Альбер, герцог (1695–1758)

Люксембургский Мари-Леон д'Альбер, сьер де Брант (ум. в 1630), муж Маргариты-Шарлотты Люксембургской, герцогини де Пине, старший брат коннетабля де Люина

Люксембургский Франсуа-Анри де Монморанси-Бутевиль (1628–1695), в 1661 благодаря браку с Мадленой де Клермон (1641–1701) стал герцогом де Пине-Люксембургским, с 1675-маршал Франции, с 1691 — губернатор Нормандии

Люксембургский Шарль-Франсуа-Фредерик, герцог де Бофор-Монморанси (1662–1726), сын Франсуа-Анри, герцога Люксембургского, женат первым браком на Марии-Анне д'Альбер де Шеврез (ум. в 1694), вторым — на Марии-Жилонне Жилье де Клерамбо (1677–1709), с 1691 — губернатор Нормандии, с 1702 — генерал-лейтенант

Люк Шарль Франсуа, граф де Винтимиль (1653–1740), посол Франции в Швейцарии, Вене, участник Баденского конгресса, с 1714 — государственный советник

Люлли Жан-Батист (1633–1687), композитор, главный концертмейстер при дворе Людовика XIV, основатель и первый директор Оперного театра

Мадемуазель, Анна-Мария-Луиза Орлеанская, герцогиня де Монпансье (1627–1693)

Мазарини Арман-Шарль де ла Порт, герцог (1631–1713), в 1661 получил титул герцога в результате женитьбы на племяннице Мазарини — Гортензии Манчини, с 1648 по 1669 — фельдцейхмейстер артиллерии

Мазарини Джулио (1602–1661) с 1641 — кардинал, с 1643 и до конца жизни — первый министр Людовика XIII и Людовика

XIV

Майенский Карл Лотарингский (1554–1611), с 1573-герцог, обер-камергер короля, губернатор Бургундии, после гибели братьев возглавил лигу, однако позднее примирился с Генрихом IV

Майи Луи, граф (1662–1699), воспитатель Дофина

Майи Мария-Анна-Франсуаза де Сент-Эрмин, графиня (1667–1734), гардеробмейстерина королевы, жена Луи де Майи

Малоз Мари-Женевьева Генриетта де Бурбон Малоз, внучка Генриетты де Дюрфор, маркизы де Малоз

Мальборо Джон Черчилл (1650–1722), английский полководец, одержал ряд блестящих побед в ходе войны за Испанское наследство

Мансар Франсуа (1598–1666), французский архитектор

Мантуанский Виченцо I де Гонзаго, герцог (1562–1612), муж Маргариты Фарнезе

Мантуанский, герцог, Фердинанд-Карл IV де Гонзаго (1652–1708)ˆс 1665 — герцог Мантуи и Монферрато

Мантуанская Сюзанна-Генриетта Лотарингская, герцогиня, дочь Карла III Лотарингского д'Эльбефа, вторая жена Фердинанда-Карла IV де Гонзаго

Манчини Олимпия (1640–1708) — см. Суассонская, графиня

Марен Жан де Муйерон (род. в 1654), сын интенданта финансов, помощник Кольбера, с 1668 — капрал кавалерии

Марешаль Жорж (1658–1736), с 1703 — лейб-хирург короля, в 1707 получил дворянский титул

Мариво Пьер Карле де Шамблен (1688–1763), французский писатель, драматург

Марсан Шарль Лотарингский-Арманьяк, граф (1648–1708), младший брат графа д'Арманьяка, генерал-лейтенант Нижней Нормандии

Марсельский, епископ, Дени Франсуа Ксавье (1671–1755)

Марсен Фердинанд, граф (1656–1706), маршал, воспитатель герцога Бургундского, с 1701 — чрезвычайный посол в Испании Филиппа V

Матиньон Жак III Гойон, кавалер, затем граф (1644–1725), с 1680 — приближенный Монсеньера, с 1693 — генерал-лейтенант провинций Шербура, Гранвиля, Сен-Ло

Матиньон Шарлотта Гойон (1657–1721), племянница и жена Жака III Гойона, графа де Матиньона

Маффеи Аннибал, граф, обер-шталмейстер, с 1714 — вице-король Сицилии

Медави Жак-Леонор Руксель де Грансе, граф (1655–1725), губернатор Дюнкерка, с 1724 — маршал Франции

Медичи Екатерина (1519–1589), жена Генриха II, королева Франции

Мезон Клод де Лонгней (1668–1715), президент парламента

Мезон Жан-Рене де Лонгней, маркиз (1699–1731), президент парламента, сын Клода де Лонгней

Мейре Шарль II де ла Порт, герцог (1602–1662), кузен кардинала Ришелье, с 1639 — маршал Франции, с 1642-герцог и пэр — 83. Мелак Иезекиль (1642–1704), с 1693-генерал-лейтенант и губернатор Ландау

Мелен Анна-Юлия де Мелен-Эпине, мадемуазель (1672-173?), дочь Александра-Гийома де Мелена, принца д'Эпине, и Жанны-Пелагеи де Роган-Шабо

Ментенон Франсуаза (1635–1719), дочь Констана д'Обиньи и Жанны Кардайан, с 1651 — жена писателя Поля Скаррона, умершего в 1660; став воспитательницей побочных детей Людовика XIV, получила от него в дар поместье Ментенон и титул маркизы де Ментенон, с 1684 — морганатическая жена короля

Меренвиль Гаспар де Монтье, граф (1648–1724), полковник кавалерии, с 1689 — губернатор Нарбонна, с 1693 — бригадир

Мериме Проспер (1803–1870), французский писатель

Мерси Клод-Флоримон, граф (1666–1734)

Мецский Куален Анри-Шарль дю Камбу, епископ (1664–1732)

Мецский Фейад Жорж д'Обюссон (1609–1697), с 1668 — епископ Меца

Монако, принцесса Катрина-Шарлотта де Грамон (1639–1678), с 1673 — управляющая домом Мадам

Монбазон Луиза-Юлия де ла Тур д'Овернь, принцесса (1679–1750) дочь Годфруа-Мориса, герцога Буйонского, и Марии-Анны Манчини

Монбазон Эркюль де Роган-Гемене, герцог (1568–1654), обер-егермейстер, губернатор Парижа и Иль-де-Франс

Монгла Франсуа-де-Поль де Клермон, маркиз (1620–1675), с 1643 — королевский гардеробмейстер

Монгон, дочь маркизы Эдикур, графиня

Монморанси Анри II, герцог де Монморанси-Дамвиль (1595–1632)

Монморанси Шарль-Франсуа-Фредерик II, герцог (1702–1764), сын Шарля-Франсуа-Фредерика I де Монморанси-Люксембурга, с 1728 — герцога де Пине-Люксембургского

Монпансье Анна-Мария-Луиза Орлеанская, герцогиня (1627–1693), дочь Гастона, герцога Орлеанского, брата Людовика XIII, и Маргариты Лотарингской

Монплезир Гийом Сольнье, маркиз (ум. в 1709), служил в

полку Роклора под началом маршала де Лоржа

Монтаржи Шарль ле Ба (1658–1731), с 1701 — генеральный казначей, с 1722 — государственный советник

Монтелеоне — см. Кассадо

Монтескье Шарль Луи (1689–1755)

Монтеспан Луи-Анри де Пардайан, маркиз

Монтеспан Франсуаза-Атенаис де Рошешуар (1641–1707), дочь Габриэля де Рошешуара и Дианы де Грансень, жена Луи-Анри де Пардайана, маркиза де Монтеспана, с 1660 — гофмейстерина королевы Марии-Терезии, фаворитка Людовика XIV, мать герцога Мэнского и графа Тулузского; после брака короля с мадам де Ментенон удалилась от двора

Монтобан Шарлотта Ботрю, принцесса (1641–1725), жена Жана Батиста де Рогана, называемого принцем Монтобаном (ум. в 1704), супруги жили врозь

Монтозье Шарль де Сент-Мор, герцог (1610–1690), сын Леона III де Сент-Мора, барона де Монтозье, воспитатель Дофина, губернатор Сентонжа и Нормандии

Монфор, Оноре-Шарль д'Альбер (1669–1704), сын Шарля-Оноре д'Альбера, герцога де Шевреза и Жанны-Марии Кольбер, муж Марии-Анны-Жанны де Курсийон, дочери Филиппа де Курсийона, маркиза де Данжо; с 1696 — бригадир, с 1702 — бригадный генерал, близкий друг Сен-Симона

Моншеврейль Анри де Морне, маркиз (1622–1702), командир полка кардинала Мазарини

Моншеврейль Маргарита Буше д'Орсе, маркиза (ум. в 1699), с 1679 — гувернантка фрейлин Дофины, жена маркиза де Моншеврейля

Мопертюи Луи де Мелен, маркиз (1635–1721), командир отряда мушкетеров, с 1693 — генерал-лейтенант

Морепа Жан-Фредерик Фелипо, граф (1701–1781), сын Жерома Фелипо, графа де Поншартрена, с 1715 — государственный секретарь, с 1738 — министр, с 1749 — в опале

Моро Дени (ум. в 1707), обер-гардеробмейстер короля, затем обер-камергер герцога Бургундского

Мортемар Луи II де Рошешуар, герцог (1681–1746), муж Марии-Генриетты де Бовилье, дочери Поля де Бовилье, с 1708 — бригадир, с 1710 — обер-камергер

Мэнский Луи-Огюст, герцог (1670–1736), старший сын Людовика XIV и мадам де Монтеспан, узаконен в 1673, муж Анны-Луизы де Бурбон-Конде, с 1682 — губернатор Лангедока, с 1692 — генерал-лейтенант, с 1694 — пэр Франции, с 1714 — фельдцейхмейстер артиллерии, удостоен титула принца крови, с 1715 — воспитатель Людовика XV

Мэнская Анна-Луиза-Бенедикта, принцесса (герцогиня) де Бурбон-Конде (1676–1753), с 1691 — жена герцога Мэнского

Навайль Сюзанна де Бодео, маршальша (1609–1684), дочь Шарля де Бодео-Парабера, графа де Нейана, жена маршала де Навайля

Навайль Филипп II де Монто, герцог (1619–1684), паж кардинала Ришелье, с 1651-губернатор Ниора, с 1665 — губернатор Ларошели, командующий армиями в Лотарингии, Эльзасе, Шампани и Бургундии, с 1674 — маршал Франции, с 1683 — воспитатель герцога Шартрского

Нанжи Луи-Арман де Бришанто, маркиз (1682–1742), маршал Франции

Нанон Бальбьен — горничная мадам де Ментенон

Нейан Луиза Тирако, графиня (1591–1673), мать супруги маршала де Навайля

Нель Луи III де Майи, маркиз

Нинон — см. Ланкло

Ноайль Адриен-Морис (1678–1766), граф Айен, с 1704 — герцог де Ноайль. сын Анна-Жюля де Ноайля, женат на Франсуазе-Шарлотте д'Обинье; командующий войсками в Каталонии во время кампании 1694–1695, во Фландрии в 1696–1697, с 1712 — испанский гранд, с 1715 — председатель финансового совета, с 1734 — маршал Франции

Ноайль Анн, граф, затем герцог (1615–1678), отец Анна-Жюля, герцога де Ноайля

Ноайль Анн-Жюль, герцог (1650–1708), с 1677 — бригадный генерал, с 1678 — герцог и пэр, губернатор Руссильона, с 1681-Лангедока, с 1682 — генерал-лейтенант, с 1693 — маршал Франции, муж Марии-Франсуазы де Бурнонвиль

Ноайль Жан-Франсуа, маркиз (1658–1696), брат кардинала де Ноайля, с 1692 — бригадир кавалерии

Ноайль Луи-Антуан (1651–1729), брат Анна-Жюля, с 1695 — архиепископ Парижа, с 1700 — кардинал

Ноайль Франсуаза-Шарлотта д'Обинье (1684–1739), дочь Шарля д'Обинье и Женевьевы Пьетр, племянница мадам де Ментенон, с 1704 — жена герцога Адриена-Мориса де Ноайля

Новион Андре III Потье, маркиз де Гриньон (1659–1731), внук Никола Пуатье Новиона (1618–1693), первого президента (1678–1689) — первый президент парижского парламента с 1723 по 1724

Ногаре Мария-Мадлена-Аньес де Гонтан-Бирон, маркиза (1653–1724), фрейлина Дофины

Ножан Диана-Шарлотта де Комон-Лозен, маркиза (1632–1720), дочь Габриэля-Номпара II де Комона, графа де Лозена и

Шарлотты де Комон Ла Форс, с 1663 — фрейлина королевы

Ножан Луи Ботрю, шевалье, затем маркиз (ум. в 1708), муж Мадлены Кольбер де Тюржи

Носе Шарль (1664–1739), с 1717 — гардеробмейстер герцога Орлеанского, с 1719 — обер-камергер регента, с 1722 — в опале

Ноэль, отец, францисканец

Нуайе Франсуа Сюбле, сеньер (1588–1645), с 1629 — государственный советник, генеральный контролер и интендант финансов, с 1636 по 1643 — государственный секретарь по военным делам

Ньер Пьер (1597–1682), уроженец Байона, музыкант герцога д'Эпернона, с 1638 — обер-гардеробмейстер Людовика XIII, с 1653 — первый дежурный камер-лакей Людовика XIV

Ньер Франсуа-Луи (1647–1719). сын Пьера Ньера, унаследовавший его должность первого камер-лакея Людовика XIV

О д' Габриэль-Клод, маркиз де Вилье (1654–1728), с 1686 — воспитатель графа Тулузского, с 1696 — камергер графа Тулузского, с 1699 — наставник герцога Бургундского, с 1707 — генерал-лейтенант, командующий эскадрой в Тулоне, член государственного совета по морским делам

О д' Мария-Анна де Вернь, маркиза (1657–1737), жена Габриэля-Клода д'О

Обинье д' Агриппа (1500–1630), французский поэт

Обинье д' Шарль, граф (1643–1703), старший брат мадам де Ментенон, муж Женевьевы-Филиппы Пьетр, с 1691 — воспитатель герцога Беррийского

Обиньи Клод-Мор (ум. в 1719), с 1701-епископ Нойона, с 1707 — епископ Руанский

Овернский Фредерик-Морис де ла Тур, граф (1642–1707), племянник маршала Тюренна, брат кардинала Буйонского, с 1677 — генерал-лейтенант, с 1688 — кавалер ордена Св. Духа

Омон д' Луи, маркиз де Виллекье (1667–1723), с 1704 — герцог, с 1702 — бригадный генерал, с 1704 — губернатор Булони, в 1713 — посол в Лондоне

Онейль Никола де Фремон, маркиз де Розей (1622–1696), отец маршальши де Лорж, с 1644 — казначей Прованса, с 1674 — докладчик в Государственном совете, королевский казначей

Оранский, принц Нассауский и Оранский (1650–1702), сын Вильгельма II Нассауского и Генриетты-Марии Стюарт, муж Марии Стюарт, старшей дочери английского короля Якова II, штатгудтер Голландских Соединенных Штатов, после английской революции 1688 — король Англии под именем Вильгельма III

Орлеанский Гастон (1608–1660), третий сын Генриха IV и

Марии Медичи, брат Людовика XIII, женат первым браком на Марии Бурбонской, единственной наследнице герцога де Монпансье, вторым — на Маргарите Лотарингской, отец Мадемуазель, Анны Марии Орлеанской

Орлеанский Луи I, с 1723 — герцог (1703–1752), сын Филиппа II, герцога Орлеанского

Орлеанский Филипп II, герцог Шартрский (1674–1723), сын Филиппа I, герцога Орлеанского, и Шарлотты Елизаветы Баварской, после смерти отца, с 1701,- герцог Орлеанский, женат на Франсуазе-Марии Бурбонской, прозванной мадемуазель де Блуа, с 1715 — регент

Орлеанская Франсуаза-Мария Бурбонская (1677–1749), дочь Людовика XIV и мадам де Монтеспан, с 1692 — герцогиня Орлеанская

Орлеан, мадемуазель — см. Беррийская, герцогиня

Орлеанская, Мадам, Шарлотта Елизавета Баварская (1652–1722)

Орри Филибер (1689–1747), с 1730 — генеральный контролер финансов, с 1736 — государственный министр

Осса д'Арман (1537–1604) — французский кардинал и дипломат, его знаменитые «Письма», опубликованные в 1624, являют собой классический образец изысканной дипломатии

Отфор Мари, герцогиня (род. в 1616), с 1630 — фрейлина, с 1638 — гардеробмейстерина Анны Австрийской

Пажо д'Онз-ан-Бре, Луи-Леон (1679–1754), почетный член Академии наук; Людовик XV посетил развернутую в его доме на набережной Берси экспозицию машин и механизмов

Парабер (ум. в 1755), жена Цезаря-Александра де Бодэана, графа де Парабера, фаворитка регента

Парижский, архиепископ — см.: Ноайль Луи-Антуан

Парис, братья откупщики

Паскаль Блез (1623–1662)

Пельтье Мишель ле Пельтье де Сузи (1640–1725), с 1691 по 1715 — генеральный директор фортификаций, с 1693 — государственный советник, член финансового совета и совета регентства

Пермийак Луи де Белькастель (ум. в 1699), квартирмейстер кавалерии в армии маршала де Лоржа, тестя Сен-Симона

Перно Никола, начальник кордегардии

Перонье — первый лейб-хирург

Петр I (1672–1725), император России

Помпадур, Габриэлла де Монто-Навайль, маркиза (1663–1727), с 1712 — гувернантка детей герцога Беррийского

Помпонн Анри-Шарль Арно, аббат (1669–1756), сын Симона

Арно, маркиза де Помпонна, с 1711 — государственный советник по делам религий

Помпонн Катрина Ладвока, маркиза (1636–1711), супруга Симона-Арно, маркиза де Помпонна

Помпонн Симон-Арно, маркиз (1618–1699), сын Робера Ар-но и Катрины Лефевр де ла Бодери, племянник янсениста Антуана Арно, женат на Катрине Ладвока. с 1671 — государственный секретарь по иностранным делам, с 1679 — в опале, его сменил на этом посту Круасси, в 1691 — восстановлен в должности

Поншартрен Луи Фелипо (1643–1727), с 1677 — первый президент бретонского парламента, с 1687 — интендант финансов, с 1689 — генеральный контролер, государственный секретарь по морским делам, министр, с 1699 по 1714 — хранитель печати и канцлер

Поншартрен Жером Фелипо, граф де Морепа (1674–1747), сын Луи Фелипо де Поншартрена, с 1691 — советник Парламента, с 1693 — государственный секретарь, с 1715 — государственный секретарь по делам королевского дома, духовенства, по морским делам и торговле

Поншартрен Элеонора-Кристина де ла Рошешуар-Руа, графиня (1681–1708), жена Жерома Фелипо де Поншартрена

Порт, маркиз де — см.: Бюдо Эркюль де

Портленд Джон Вильгельм Бентник, граф (1647–1709), камергер Вильгельма Оранского, затем — обер-шталмейстер, с 1698 — посол во Франции

Прево Антуан (1697–1763), французский писатель

При Агнесса Вертело де Пленёф, маркиза (1698–1727), любовница его высочества герцога

Пруст Марсель (1871–1922), французский писатель

Пуатье Фердинанд Жозеф де Ри д'Оглюр, граф (ум. в октябре 1715, в год женитьбы на мадемуазель де Малоз)

Пуатье Элизабета-Филиппина (род. в 1715), графиня, затем герцогиня, в 1728 вышла замуж за Ги-Мишеля де Дюрфора, герцога де Лоржа

Пфальцская Генриетта, принцесса, дочь Франсуа II Лотаринг-ского, с 1621-замужем за Луи, принцем Пфальцским

Пюилоран Антуан де л'Аж, суперинтендант Гастона Орлеанского (ум. в 1635), с 1634 — герцог и пэр благодаря протекции Ришелье, женившего его на своей кузине Поншато

Пюисегюр Жак-Франсуа де Шатене, маркиз (1655–1743), с 1704 — генерал-лейтенант, главнокомандующий во Фландрии и Пикардии, с 1735 — маршал Франции

Пюрнон Клод Бонно (1636–1721), первый дворецкий Мадам, затем, с 1673 по 1683 — Месье

Рандан Ги-Мишель де Дюрфор, граф де Лорж, затем герцог де Рандан, в 1728 женился на Элизабете-Филшшине де Пуатье

Ракоци Франсуа-Леопольд, князь (1679–1735), с 1704 — князь Трансильвании, с 1716 — обосновался во Франции

Резен ла Франсуаза Ритель (1662–1721), с сентября 1693 — вдова Жана-Батиста Резена, в дальнейшем — любовница Монсеньера

Реймский, архиепископ, Шарль Морис Ле Телье (1642–1710)

Ремиремон, аббатиса — см. Лильбон, м-ль

Рене, король — Рене Анжуйский (1408–1480), второй сын Луи II Анжуйского, герцога Барского, король Сицилии, Неаполя и Иерусалима

Ренель Луи III де Клермон д'Амбуаз, маркиз (1630–1677), бальи и губернатор Шомона, генерал-лейтенант

Рец Жан Франсуа Поль де Гонди (1613–1679), с 1651 — кардинал

Рец Лу-Франсуа-Анн де Невиль, маркиз, затем герцог (1695–1766), сын маршала Вильруа, с 1722 — пэр и герцог де Рец

Рибейра Луиш де Камера, граф (1685–1723), с 1714 по 1723 — посол Португалии во Франции

Риво дю Жак III де Бово, с 1654 — маркиз дю Риво (1626–1702), капитан швейцарской гвардии Гастона Орлеанского, с 1652 — генерал-лейтенант

Рипарфон Этьенн-Габрио (1641–1704), с 1661 — адвокат Парижского парламента

Ришелье Анна Дуссар де Фор де Вижеан, герцогиня (ум. в 1684), жена Армана де Ришелье, фрейлина, затем, с 1671,- статс-дама королевы, с 1679 — Дофины

Ришелье Арман-Жан дю Плесси (1585–1642), с 1607 — епископ Люсона, с 1616 — государственный секретарь, с 1622 — кардинал, с 1624 — первый министр Людовика

Ришелье Арман-Жан де Виньеро дю Плесси, герцог де Фронзак (1629–1715), с 1680 — придворный кавалер Дофины

Роган Арман-Гастон Максимильен (1674–1749), аббат де Субиз, сын Франсуа де Рогана от второго брака, с 1712 — кардинал, с 1713 — главный духовник короля

Роган Луи, герцог де Роган-Шабо (1652–1719), муж Марии-Елизаветы, с 1689 — герцог и пэр

Роган Луи, шевалье (ум. в 1674), второй сын Луи VII де Рогана, герцога де Монбазона, арестован за оскорбление его величества и обезглавлен в 1674

Роган Мария-Елизавета де Вард, герцогиня (1661–1743)

Роган Франсуа де Роган-Монбазон, принц (1631–1712)

Розель Алексис-Франсуа, шевалье (ум. в 1716), с 1704 —

генерал-лейтенант, с 1704 — начальник гвардии герцога Мэнского, откупщик налогов, с 1712 — в отставке

Розен Конар (1628–1715), первый генерал-лейтенант лагеря, с 1703 — маршал Франции

Роклор Антуан, барон (1544–1625), маршал Франции, дед Антуана Гастона, герцога де Роклора

Роклор Антуан-Гастон, герцог (1656–1738), с 1696 — генерал-лейтенант, с 1724 — маршал Франции

Роклор Мария-Луиза де Монморанси-Лаваль, герцогиня (1667–1734), жена герцога де Роклора, фрейлина Дофины

Роклор Франсуйза (ок. 1684–1741), старшая дочь герцога и герцогини де Роклор, супруга принца де Леона

Рошфор Анри-Луи д'Алуаньи (ум. в 1676), бригадир жандармерии, с 1672 — генерал-лейтенант, с 1675 — маршал Франции

Рошфор Мария-Мадлена, урожденная Монморанси де Лаваль (1646–1729), вдова маршала Франции Анри-Луи де Рошфора, гардеробмсйстерина Дофины

Руайан Мария-Анна де ла Тремуйль (1676–1708), дочь маркиза де Руайана и сестры принцессы дез Юрсен, с 1696 — жена герцога де Шатийона, сына маршала Люксембургского

Рубенс Петер Пауэл (1577–1640)

Рулье Пьер (1657–1712), дипломат, с 1697 по 1703 — чрезвычайный посол в Лисабоне

Руси Катрина-Франсуаза д'Арпажон, графиня (1661–1716), дочь герцогини д'Арпажон

Руси Франсуа И де Ларошфуко, граф (1660–1721), муж Катрины-Франсуазы д'Арпажон

Рье Поль Эркюль, граф (1645–1709)

Рюффе Анн-Мари-Луи Дамас, маркиз (ум. в 1722), с 1704 — бригадный генерал, с 1710 — генерал-лейтенант, с 1716 — помощник воспитателя Людовика XV

Рюффек Арман-Жан де Рувруа де Сен-Симон, маркиз (1699–1754), младший сын Сен-Симона и Марии Габриэль де Лорж

Савойская Анна-Мария Орлеанская, герцогиня (1669–1728), дочь Месье, брата Людовика XIV, и Генриетты Английской, жена герцога Савойского

Савойский Виктор-Амедей II (1666–1732), с 1675-герцог Савойский, отец герцогини Бургундской, с 1713 — король Сицилии, с 1718 по 1730 — король Сардинии

Сальм Доротея (ум. в 1707), с 1662 — аббатиса Ремиремона

Сандра Грасьен-Куртиль де (1644–1712), французский писатель

Себастьен Жан-Трюше (1657–1729), кармелит

Севинье Мария де Рабютен-Шанталь (1626–1696), автор знаменитых писем дочери, Франсуазе де Гриньян, в которых изображались нравы и события Версальского двора начиная с 60-х годов XVII в.

Сегье Пьер (1588–1672), с 1624 — президент парламента, с 1632 — хранитель печати, с 1635 — канцлер Франции, в 1650 получил от королевы титул герцога де Вильмора

Сегье Шарлотта (1623–1704), младшая дочь Пьера Сегье, в первом браке замужем за герцогом Сюлли (ум. в 1661), во втором браке — за Анри Бурбонским, герцогом де Вер-нейлем (1601–1682), узаконенным побочным сыном короля Генриха IV и Генриетты де Вернейль

Сен-Жорж — Яков III, сын Якова II, кавалер (1688–1766) — см.: Уэльский принц

Сен-Луи Луи ле Луре (1629–1714), бригадир кавалерии

Сен-Майоль Жан-Батист Прими Висконти, граф (1640?- 1713? 1734?)

Сен-Морис Клод, маркиз, с 1702 — генерал-лейтенант

Сен-Никез, Клод де Гиз (ум. в 1612), незаконный сын герцога Клода де Гиза, с 1574 — аббат Клюни

Сен-Пуанж Жильбер Кольбер, маркиз (1642–1706), первый секретарь военного министерства, с 1701 — главный казначей

Сен-Пьер Луи-Гиацинт де Кастель (1659–1748), с 1695 — приближенный герцога Шартрского, с 1706 — шталмейстер герцогини Орлеанской, брат известного писателя, аббата Шарля де Сен-Пьера (1658–1743)

Сен-Симон Луи де Рувруа, дед мемуариста (ум. в 1643)

Сен-Симон Луиза де Крюссоль, маркиза (1604–1695), супруга Шарля де Рувруа, дяди мемуариста

Сен-Симон Клод де Ревруа (1607–1693), отец мемуариста

Сен-Симон Луи де Рувруа, герцог (1675–1755)

Сен-Симон Мария-Габриэль де Лорж, герцогиня (1678–1743), дочь Ги Альдонса де Дюрфора, герцога де Лоржа, и Женевьевы де Фремон, с 1695 — супруга Сен-Симона де Рувруа, фрейлина герцогини Беррийской

Сен-Симон Жан Луи, сын мемуариста

Сент-Мор Оноре, граф (ум. в 1731), воспитатель Дофина, обер-шталмейстер герцога Беррийского

Сент-Олер Франсуа-Жозер Бопуаль, маркиз (ум. в 1743), член Французской академии

Сент-Эрем Франсуа-Гаспар де Монморен. маркиз (1621–1701), с 1655 — королевский обер-егермейстер, капитан гвардии и губернатор Фонтенбло

Сеньеле Жан-Батист Кольбер, маркиз (1651–1690), сын

генерального контролера финансов, унаследовал должность государственного секретаря, с 1689 — государственный министр

Сери Мария-Луиза (1680–1748), с 1696 — статс-дама герцогини Орлеанской, с 1709 — жена графа д'Аржантона, любовница герцога Шартрского, родила от него сына (1702), получившего впоследствии титул кавалера Орлеанского

Силли Франсуаза-Маргарита, графиня (1584–1626), с 1604- замужем за графом де Жуаньи

Серон (ум. в 1692), домашний врач Лувуа

Скаррон Поль (1610–1660), французский писатель

Скаррон, г-жа — см.: Ментенон, мадам де

Сожон Анна-Мария де Кампэ (ум. в 1694), статс-дама Мадам, с 1649 — фаворитка Гастона Орлеанского

Сомри, помощник воспитателя герцога Бургундского

Сорель Шарль (1-602-1674), французский писатель

Стендаль (Анри Бейль)

Стрейф Чарлз Фредерик, барон (ум. в 1706), с 1704 — бригадный генерал

Стэнеп Вильгельм, граф Харингтон (1690–1756), посол в Испании

Стэр Жан Дабримф, граф (1673–1747), губернатор Шотландии при Вильгельме III, подполковник шотландских гвардейцев при королеве Анне, с 1712 — генерал-лейтенант, лорд-камергер, с 1715 по 1720 — посол в Париже, фельдмаршал при Георге I

Суассонская Олимпия Манчини, графиня (1640–1708), племянница кардинала Мазарини, жена графа де Суассона, Евгения-Мориса Савойского. обер-гофмейстерина королевы Марии-Терезии во дворце Тюильри, хозяйка салона, где бывал молодой Людовик XIV

Суастр Эжен-Жан-Доминик де Гин де Боньер (ум. после 1720), с 1689 — полковник кавалерии

Субиз Анна де Роган-Шабо (1649–1709), сестра принцессы д'Эпине, вторая жена Франсуа де Рогана, получившего благодаря этому браку титул принца де Субиза, фаворитка Людовика XIV

Субиз Франсуа де Роган-Монбазон, принц (1631–1712), сын Эркюля де Рогана, герцога де Монбазона, и Марии д'Авогур Бретаньской, женат первым браком на Катрине де Лионн, вторым — на Анне де Роган-Шабо, отличился во время венгерской кампании, с 1677 — генерал-лейтенант

Сурди Франсуа д'Эскубло, маркиз (ум. в 1707), с 1682 — генерал-лейтенант

Сфорца Луиза-Аделаида де Дама-Тианж, герцогиня (1654–1731), фрейлина Мадам

Сюлли Максимильен Анри, шевалье, герцог Бетюнский (1669–1729), с 1712 — после смерти старшего брата Максимильена-Пьера-Франсуа (1664–1712) — герцог де Сюлли

Талар Камил д'Остен де ла Бом, герцог (1652–1728), с 1677 — бригадир, с 1693 — генерал-лейтенант, чрезвычайный посол в Англии, с 1701 — маршал Франции, с 1704 — губернатор Франш-Конте, с 1717 — член совета регентства, с 1726 — государственный министр

Таллеман де Рео Жедеон (1619–1692), французский мемуарист

Тальмон Фредерик-Гийом де ла Тремуйль, принц (1695–1734), с 1710 — генерал-лейтенант

Танкред Жан-Батист, лейб-хирург Месье — брата короля

Телье, отец Мишель (1643–1719), иезуит, с 1709 — духовник короля; по его инициативе преследовались янсенисты, изгонялись последние протестанты, был разрушен Пор-Рояль (1710). После смерти Людовика XIV — в опале и изгнании как личный противник регента Филиппа Орлеанского

Телье Шарль-Морис (1642–1710), младший брат министра Лувуа, дядя Барбезье, с 1671 — архиепископ Реймский, с 1673 — государственный советник

Терра Гастон Жан-Батист, маркиз де Шантом (1639–1719), с 1688 — канцлер Месье, с 1703, после смерти Луи Бешамеля — суперинтендант дома герцога Орлеанского

Тессе Рене III де Фруле, граф (1650–1725), чрезвычайный посол в Савойе, с 1696 — обер-шталмейстер герцогини Бургундской, с 1703 — маршал Франции, с 1704 — испанский гранд, с 1708 — посол в Риме, друг Поншартрена

Тессе, управляющий Сен-Симона

Тианж Габриэла де Рошешуар, маркиза (1634–1693), старшая сестра мадам де Монтеспан, с 1655 — замужем за маркизом де Тйанжем, вскоре покинула его и жила одна в своем парижском особняке, устраивая пышные приемы

Тийаде Жан-Батист де Кассанье, маркиз (ум. в 1692), сын сестры Лувуа, с 1678 — генерал-лейтенант

Тоннер Франсуа (1629–1710), епископ Нуайонский, с 1694 — член Французской академии

Торси Жан-Батист Кольбер, маркиз (1665–1746), племянник Кольбера, муж Катрины-Фелисите-Арно де Помпонн, с 1699 — суперинтендант почтового ведомства, министр иностранных дел, с 1715 по 1721 — член совета регентства

Торси Катрин-Фелисите-Арну де Помпонн (1678–1746), дочь Симона-Арну, маркиза де Помпонн, жена маркиза де Торси

Тортонский Реста Жюль, с 1701 — епископ Тортона

Тосканский, великий герцог, Козимо III Медичи (1642–1723), женат на дочери Карла VI

Тосканская, великая герцогиня Маргарита-Луиза Орлеанская (1645–1721), дочь Гастона Орлеанского и Маргариты Лотарингской, жена Козимо III Медичи

Треву Пьер (1649–1729), иезуит, с 1698 — духовник Филиппа II, герцога Орлеанского, после его смерти — духовник Филиппа III, герцога Орлеанского и герцогини Беррийской

Трем — см. Жевр Бернар Франсуа Потье

Тремуйль Шарль, герцог (1655–1709), муж Мадлены де Креки

Тремуйль Ла Эмануэль-Теодоз де Ла Тур, герцог д'Альбре (1667–1730), обер-камергер Людовика XIV

Тремуйль Мария-Арманда-Виктория (1677–1717), дочь Шарля, герцога де Ла Тремуйля, первая жена Эммануэля-Теодоза де Ла Тур, герцога д'Альбре

Тулузский Луи-Александр де Бурбон, граф (1678–1737), младший побочный сын Людовика XIV и маркизы де Монтеспан, с 1683 — адмирал французского флота, на основе легитимации уравнен с принцами крови

Тулузская Мария-Виктория-Софи де Ноайль, маркиза (1688–1766), дочь Анна-Жюля, герцога де Ноайля и Марии-Франсуазы де Бурнонвиль, в первом браке замужем за Гондреном Луи де Пардайаном д'Антеном, во втором — с 1723 — за графом Тулузским

Турвиль Анн-Илларион де Константен, граф (1642–1701), с 1682 — генерал-лейтенант, с 1689 — вице-адмирал Леванта, с 1693 — маршал Франции

Тюренн Анри де Ла Тур д'Овернь, виконт (1611–1675), второй сын Анри де Ла Тур д'Оверня и Елизаветы де Нассо, женат на Шарлотте де Комон Лафорс, с 1643 — маршал Франции, с 1652 по 1653 — военный министр, с 1660 — генерал-фельдмаршал

Урш Шарль, граф (1665–1746), с 1702 — бригадир, с 1718 — генерал-лейтенант

Уэльский, принц, Яков III, сын английского короля Якова II, наследник английского престола (1688–1766), эмигрировал во Францию вместе с отцом, Яковом II, несколько раз пытался вернуть себе трон с помощью французских войск

Фагон Ги-Кресан (1638–1718), лейб-медик Людовика XIV и его внуков

Фалари Мария-Тереза-Блондель л'Аранкур, герцогиня (1679–1782), фаворитка регента

Фелипо де Поншартрен, сын канцлера — см. Поншартрен

Фенелон Франсуа де Салиньяк де Ламот (1651–1715), в 1695

— архиепископ Камбрейский, с 1689 по 1695 — воспитатель герцога Бургундского, автор романа «Приключения Телемаха», написанного в назидание внуку короля, с 1683 — член Французской академии, после выхода романа (1699), содержавшего скрытую критику правления Людовика XIV, выслан в Камбре, где провел остаток жизни

Феррейро Томас-Феликс, маркиз де ла Мармора, с 1674 по 1677, 1681–1687 и 1697–1698 — посол герцога Савойского во Франции

Фиеско Жилонна-Мария д'Аркур, графиня (1619–1699), во времена Фронды — одна из приближенных Мадемуазель

Филипп IV (1605–1665), с 1621 — король Испании

Филипп V — герцог Анжуйский (1683–1746), внук Людовика XIV, второй сын Дофина и Марии-Кристины Баварской, с 1700 — король Испании под именем Филиппа V, женат первым браком на Марии-Луизе, принцессе Савойской, вторым — на герцогине Пармской, Елизавете Фарнезе

Филипп VI Валуа (1293–1350), король Франции

Флери Гийом-Франсуа-Жоли де, с 1717 — генеральный прокурор, друг Сен-Симона, передавший ему в 1747 «Мемуары» Торси

Флери, кардинал, Андре-Эркюль (1653–1743), с 1698 по 1715 — епископ Фрежюса, с 1715 — воспитатель Людовика XV, с 1726 — премьер-министр

Флери Клод, аббат (1640–1723), с 1672 — воспитатель братьев Конти, затем, с 1689 по 1690 — помощник наставника герцога Бургундского, автор «Истории церкви»

Флешье Эспри (1632–1710), проповедник, автор надгробных речей, с 1687-епископ Нимский, с 1688 — воспитатель старшего Дофина

Фонтанж Мария-Анжелика де Скорайль, герцогиня (1661–1681), с 1679 по 1681 — фаворитка Людовика XIV, в 1680 у нее родился от короля сын, который через год умер; по слухам, мать и сын были отравлены

Фонтевро Мария-Мадлена-Габриэла де Рошешуар (1645–1704), с 1670 — аббатиса Фонтевро

Фонтениль Луиза-Мария-Тереза де Мэм, маркиза (1668–1755), сестра первого президента, жена Франсуа I де Ла-роша, маркиза де Фонтениля

Франсин Жан Никола (ум. в 1735), метрдотель короля, зять композитора Люлли

Франсуа, принц (ум. в 1715), пятый сын Карла V Лотарингско-го и Марии-Элеоноры Австрийской, умер от краснухи

Франциск I (1494–1547), король Франции

Фрежюсский, епископ, см.: Флери, кардинал

Фремон Женевьева (1634–1703), вторая жена Никола де Фремона

Фремон Женевьева, дочь Никола де Фремона, маркиза де Розея, сеньера д'Онейля, и Женевьевы, дочери Клода Дамона, королевского секретаря

Фремон Никола, сеньер д'Онейль (1627–1696), женат первым браком на Изабо Катлан, вторым — на Женевьеве Дамон, матери Женевьевы Дамон, супруги маршала де Лоржа, с 1684 по 1694 — хранитель королевской казны и член королевского совета

Фруассар Жан (1337–1414), французский поэт и романист, автор «Хроник»

Фуа Анри-Франсуа де Фуа-Кандаль (1640–1714), с 1667 — герцог де Рандан-Кандаль

Фуа Мария-Шарлотта де Роклор, герцогиня (1645–1710), жена Анри-Франсуа де Фуа

Фуке Никола (1615–1680), интендант полиции и финансов, с 1650 — генеральный прокурор Парижского парламента, с 1653 — суперинтендант финансов и государственный министр; в 1661, после того как Кольбер раскрыл его злоупотребления, Фуке предстал перед верховным судом и был приговорен к пожизненному заключению в крепости Пиньероль

Фюрстенберг Гийом-Эгон (1629–1704), с 1686 — кардинал, с 1688 — кардинал-коадьютер Кёльна

Шазерон Франсуа де Монете, маркиз (1617–1697), с 1646 — капитан кавалерии, с 1675 — бригадный генерал, с 1677 — генерал-лейтенант, с 1681 — генерал-лейтенант Руссильонского полка

Шамаранд Калер-Жильбер д'Орнезон, граф (1621–1699), первый личный слуга короля, с 1679 — первый метрдотель дофины Баварской

Шамбодон Жан-Жак Тибо, сьер (ум. в 1713), капитан аркебузиров

Шамийар Елизавета-Тереза ле Ребур (1667–1731), жена Мишеля Шамийара

Шамийар Мишель (1652–1721), принадлежал к дворянству мантии, с 1686 — советник Парижского парламента, с 1689 — интендант в Руане, с 1700 — министр, с 1701 — государственный секретарь по военным делам, с 1706 — главный казначей по делам орденов, с 1709 — в отставке

Шамийар Мишель (1689–1716), сын Мишеля Шамийара, с 1707 — граф де Кани, государственный секретарь по военным делам

Шамийи Ноэль Бутон, маркиз (1636–1715), с 1673 — бригадный генерал, с 1674 — губернатор Грава, с 1678 — генерал-лейтенант, с 1685 — губернатор Страсбурга, с 1701- комендант провинций Онис, Пуату и Сентонж, с 1703 — маршал Франции

Шанле Жюль Боле, маркиз

Шаро Арман II де Бетюн, герцог (1663–1747), старший сын Армана I де Бетюна, герцога де Шаро, с 1702 — генерал-лейтенант, с 1701 — капитан гвардии, с 1722 — воспитатель Людовика XV

Шаролуа Шарль де Бурбон-Конде, граф (1700–1760), сын Луи III де Бурбон-Конде и Луизы-Франсуазы Бурбонской, принц крови на основании легитимации, с 1720 — член совета регентства

Шартр, мадемуазель Луиза-Аделаида Орлеанская (1698–1743), дочь регента Филиппа Орлеанского и м-ль де Блуа

Шартрский, епископ Годе де Марэ Поль (1647–1709), с 1690 — епископ Шартрский, духовник мадам де Ментенон

Шартрский — см.: Орлеанский Луи I, сын регента

Шартрский, герцог, Филипп II (1674–1723), племянник Людовика XIV, сын его брата Филиппа I, герцога Орлеанского; после смерти отца (1701) — герцог Орлеанский, будущий регент

Шартрская, герцогиня, Франсуаза-Мария де Бурбон, мадемуазель де Блуа (1677–1749), дочь Людовика XIV и мадам де Монтеспан, с 1692 — герцогиня Орлеанская

Шатийон Мария-Розали де Бруйи, маркиза (1675–1735), гардеробмейстерина Мадам

Шатильон Алексис-Мадлен-Розали, граф (1690–1754), женат первым браком на Шарлотте-Вотрюд Вуазен

Шатле Антуан-Шарль, маркиз (ум. в 1720), сын Эрара дю Шатле, маршала Лотарингского, и Анны-Элизабет д'Омон, перешел на службу Франции, с 1704 — генерал-лейтенант, с 1710 — губернатор Венсенна

Шатле Сюзанна-Жиго де Бельфон, дочь маршала и Мадлены Фуке, маркизы дю Шатле

Шатонеф Балтазар Фелипо, маркиз (1638–1700), кузен канцлера Поншартрена

Шеверни Луи де Клермон-Монгла (1645–1722), сын Монгла, маркиз, потом граф, дипломат, в 1684 — чрезвычайный посол Франции в Вене, с 1685 по 1689 — в Дании, с 1699 — в свите герцога Бургундского, с 1716 — воспитатель герцога Шартрского, государственный советник

Шеверни Мария-де-Жоанн де ла Карр Сомери (1652–1727), жена графа Луи де Клермон-Монгла, с 1716 — гувернантка дочерей регента

Шеверни Филипп Юро (1528–1599), отец графини де Монгла, с 1583 — канцлер

Шеврез Жанна-Мария-Кольбер, герцогиня (1650–1732), жена герцога де Шевреза

Шеврез Шарль-Оноре д'Альбер, герцог (1646–1712), сын Луи-Шарля д'Альбера, герцога де Люина, и Луизы-Марии Сегюийе, женат на Жанне-Марии Кольбер, зять герцога де Бовилье, с 1696 — губернатор Гиени

Шенберг Фредерик-Арман, граф (1615–1690), служил в Швеции, Голландии, затем во Франции, с 1675 — маршал, после отмены Нантского эдикта покинул Францию и нашел покровительство у Вильгельма Оранского, фельдцейхмейстер артиллерии

Ширак Пьер (1650–1732), профессор медицинского факультета университета в Монпелье, с 1715 — лейб-хирург регента, с 1718 — директор ботанического сада

Шуазель Клод, граф де Шуазель-Франсьер (1632–1711), с 1676 — генерал-лейтенант, с 1693 — маршал Франции

Шуэн, мадемуазель — Мария-Эмилия де Жоли (ум. в 1723), фрейлина принцессы де Конти, любовница Монсеньера

Эдикур Бонн де Пон, маркиза (1644–1709), жена маркиза Эдикура

Эдикур Мишель III Сюбле, маркиз (ум. в 1718), с 1684 — обер-егермейстер королевской охоты

Экленвильер Шарль-Тимолен (ум. в 1707), с 1704 — бригадный генерал

Эльбеф Карл-Анри III Лотарингский, герцог (ум. в 1692)

Эльбеф Анри Лотарингский, герцог (1661–1748), сын Карла III Лотарингского-Эльбефа и его второй жены Элизабеты де ла Тур-де-Буйон, муж Шарлотты де Рошешуар-Вивон, с 1691 — полковник, с 1692, после смерти отца, — герцог д'Эльбеф, с 1696 — генерал-лейтенант, губернатор Артура, Пикардии и Эно

Эльбеф Франсуаза де Монто-Навайль, герцогиня (1653–1717), дочь Филиппа II де Монто, герцога де Навайля, третья жена Карла III Лотарингского, герцога д'Эльбеф

Эльбеф, мадемуазель, Сюзанна-Генриетта Лотарингская, дочь Карла III Лотарингского д'Эльбефа и Франсуазы де Монто, будущая жена герцога Мантуанского

Энгиен, мадемуазель, Мария-Анна де Бурбон-Конде

Эньян Франсуа, аббат (ум. в 1709)

Эпине дез Адриен де Бонсан, сьер, с 1697 по 1702 — метрдотель герцогини Бургундской, с 1709 — королевский шталмейстер

Эпине Елизавета Лотарингская, принцесса (1664–1748),

сестра м-ль де Лильбон

Эпине д’ принц, муж г-жи д'Эпине

Эрар Клод (1646–1700), известный адвокат, ведший дела дома Мазарини и герцогов Буйонских

Эскалоне д', герцог-см.: Вильена, маркиз де

Эстамп Филипп-Шарль, граф (1665–1737), с 1716 — капитан гвардии герцога Орлеанского

Эстрад д', маршал Годфруа (1607–1686), граф, затем герцог, с 1675 — маршал Франции, выполнял различные дипломатические поручения в Англии, Голландии и Пьемонте

Эстре д', Виктор-Мари (1660–1737), граф, затем герцог, с 1684-вице-адмирал, с 1704 — генерал-лейтенант испанского флота

Эстре Люси-Фелисите де Ноайль д'Айен, графиня (1683–1745), дочь Анна-Жюля, герцога де Ноайля, жена маршала д'Эстре, с 1698 — фрейлина герцогини Бургундской

Эффиа д' Антуан Куафье-Розе, маркиз (1638–1719), обер-шталмейстер герцога Орлеанского, преданный интересам герцога Мэнского и интриговавший против герцога Орлеанского

Юзес д' Катрина-Луиза-Мария де Крюссоль (1674–1694), дочь Эммануила II де Крюссоля д'Юзеса и Марии-Жюли де Сент-Мор, с 1691 — первая жена Луи-Франсуа-Мари Летелье, маркиза де Барбезье

Юзес д' Эммануэль II, граф де Крюссоль (1642–1692), губернатор Сентонжа

Юзес Юлия-Франсуаза де Монтозье, герцогиня (1647–1695), жена Эммануэля II, графа де Крюссоля

Юзес д' герцоги: Луи, погиб при Неервиндене в 1693, и его брат Жан-Шарль (1675–1739), сыновья Эммануэля II, графа де Крюссоля

Юмьер Луиза-Антуанетта де Ла Шастр (1635–1723), жена маршала д'Юмьера, дочь Эдма де Лашастра, фрейлина королевы

Юмьер д' Луи IV де Креван, герцог (1628–1694), с 1668 — маршал Франции, с 1685 — фельдцейхмейстер артиллерии, с 1690 — командующий войсками во Фландрии, с 1690- герцог д'Юмьер, друг Лувуа

Юрсен дез Анна-Мария, принцесса (1642–1722), дочь Луи II, маркиза де ла Тремуйля, с 1650 — герцога де Нуармутье, с 17 лет замужем за Адриеном-Блезом де Талейраном, принцем де Шале, во втором браке-за Флавио дель Орсино, герцогом Браччано. После его смерти (1698) стала именоваться принцессой дез Юрсен (офранцуженное имя Орсино); ко времени сближения с Сен-Симоном в 1695 жила в особняке своего брата, герцога де Нуармутье, с 1704 по 1714 выступала проводником политики

мадам де Ментенон при испанском дворе, подчинив своему влиянию Филиппа V и его жену, с 1715 — в ссылке

Юрфе Жозеф-Мари де Ласкари, маркиз (1652–1724), воспитатель Монсеньера, с 1691 — лейтенант легкой кавалерии Монсеньера

Юрфе Луиза де Гонто-Бирон, маркиза (1655–1739), фрейлина принцессы де Конти, жена маркиза д'Юрфе

Юсель д' Никола де Лэ дю Бле, маркиз (1652–1730), в 1690 — главнокомандующий французскими войсками в Эльзасе, с 1703 — маршал Франции, с 1718 — председатель совета внешних сношений и член совета регентства

Яков II, герцог Йоркский (1633–1701), сын английского короля Карла II Стюарта, вступил на престол в 1685 после революции 1688 г. эмигрировал во Францию, где и прожил до самой смерти

Александр Бондарев

notes

1

Виктор-Амедей II Савойский.

2

Анна Стюарт, королева Англии с 1702 г. Проводила политику своего предшественника Вильгельма Оранского, поддерживая все антифранцузские коалиции.

3

В 1703 г. Виктор-Амедей Савойский, тесть двух внуков Людовика XIV, порвал с Францией и заключил союз с императором Леопольдом. В дальнейшем — деятельный участник всех военных союзов против Франции.

Марией-Луизой, женой испанского короля Филиппа V, младшей дочерью Виктора-Амедея Савойского.

5

Мадам де Роклор, принцессы де Субиз и д'Аркур, мадам де Моншеврей и д'Андикур, известные своими галантными похождениями и превратившиеся к концу жизни в святош; пользовались покровительством мадам де Ментенон.

6

Намек на сердечную склонность герцогини Бургундской к герцогу де Фронзаку (будущему маршалу де Ришелье), Молеврие, «красавчику» Нанжи и аббату Полиньяку.

Т.е. отказалась от услуг иезуита о. де Ла Рю.

8

О. Исаака Мартино.

9

В портшез, обитый голубым шелком; в голубые ливреи были облачены королевские слуги. Слуги герцога Орлеанского носили красные ливреи.

10

Симона Бульдюка — профессора химии Королевского ботанического сада (ум. в 1729).

11

Мадам де Ментенон.

12

В 1702 г.

13

В 1703 г.

14

Талар разработал план осады и 18 октября осуществил штурм Ландау. Задолго до штурма герцог Бургундский, побуждаемый многократными призывами Людовика XIV, помимо воли покинул армию и 22 сентября предстал перед королем в Фонтенбло.

15

См.: Т. 4, р. 5.

16

См.: Т. 3, р. 118 и далее.

17

Унижаемый фараоном и его жрецами, библейский бог Моисей, призванный богом Яхве вывести из Египта сынов Израилевых, начинает творить чудеса, которые повергают в оцепенение его притеснителей (Исход, VII–VIII).

18

В Т. 4, pp. 373–374 Сен-Симон рассказывает о притязаниях иезуитов на брестскую курию, а также (pp. 339–341) о «деле» кардинала де Ноайля и двух епископов. В этих процессах герцог Бургундский выступал противником иезуитов.

19

Филипп VI (1293–1350), король Франции с 1328 г., родоначальник королевской династии Валуа.

20

Карл V (1337–1380) — король Франции с 1364 г.

21

Карл VII (1403–1461) — король Франции с 1422 г.

22

Людовик XII (1462–1515) — король Франции с 1498 г.

23

Франциск I (1494–1547) — король Франции с 1515 г.

Франциск II, Карл IX и Генрих III.

25

Генрих IV (1553–1610) — король Франции с 1589 г.

26

Единый налог, которым Вобан дважды — в 1695 и 1707 гг. — предлагал заменить прежние непропорциональные налоги. Десятина должна была взиматься деньгами или натурой с любого твердого дохода. Планируемое нововведение не получило поддержки в придворных кругах, поскольку лишало дворянство особых привилегий, уравнивая его с третьим сословием.

27

Высшее сословно-представительное учреждение, состоявшее из депутатов духовенства, дворянства и третьего сословия; впервые были созваны Филиппом IV в 1302 г., в последний раз — в 1614 г. Герцог Бургундский намеревался возродить их деятельность, сохранив за ними, правда, лишь совещательный голос.

28

Второй по значению после ордена Св. Духа французский орден, учрежденный в 1469 г. Людовиком XI в честь архангела Михаила, покровителя скалистого острова в бухте Мон-Сен-Мишель, гарнизон которого мужественно отбивал все атаки англичан.

29

Барону Имгофу.

30

Матиасу Гоффену. Монахи ордена Сент-Круа, основанного в XIII в. льежским каноником неподалеку от города Юи, обосновались позднее на улице Бретоннери.

31

Анри-Франсуа д'Агессо (1668–1751).

32

Аннибал, граф Маффеи, с 1714 г. — вице-король Сицилии.

33

Герцог Савойский, новый король Сицилии, изгнал иезуитов в 1716 г.

34

Норманны отвоевали Сицилию у арабов в XI в.

35

Хинная настойка, употреблявшаяся как укрепляющее. Экстракт этого алкалоида был завезен в Европу из Бразилии и Колумбии в 1672 г. врачом Легра и успешно применялся Гельвецием, у которого о. Ла Шез купил его для Людовика XIV.

36

Сен-Симон неоднократно сравнивает герцога Мэнского с «узурпатором» Кромвелем.

37

Жером Фелипо де Поншартрен был крив на один глаз.

38

Пятый сын герцога Карла V Лотарингского и Марии-Элеоноры Австрийской; умер от краснухи 27 июля 1715 г.

«Верую» (лат.).

40

Францисканец Франсуа Эньян (ум. в 1709), пользовавшийся покровительством Великого Конде, привез из Леванта рецепты всевозможных лекарств, основал в Лувре лабораторию и с помощью собрата-францисканца о. Руссо стал изготовлять лечебные снадобья. Придворные острословы прозвали монахов луврскими капуцинами.

41

«Ныне и в смертный час» — заключительные слова молитвы «Аве Мария».

Луи-Филиппа, принца Астурийского (1707–1725), Марии-Анны, инфанты Испанской (1718–1761), и дона Филиппа, инфанта Испанского (1720–1765).

Кардинала Мазарини.

44

Дворец в Париже, старинная резиденция французских королей. Строился начиная с 1564 г. по проекту архитектора Филибера Делорма (1515–1570).

45

Король Испании Карл II дезавуировал барона Ватвиля, оскорбившего 10 октября 1661 г. Годфруа д'Эстрада (1607–1686), чрезвычайного посла в Англии, а также продал Франции за 50 миллионов Дюнкерк (24 марта 1662), что необычайно подняло престиж д'Эстрада в глазах его соотечественников, поскольку с 1658 г. Дюнкерк принадлежал Франции и был передан Англии на основании договора, заключенного между Кромвелем и Мазарини.

46

Шарль III герцог де Креки (1623–1687) вынудил папу принести извинения за оскорбление, нанесенное герцогине де Креки солдатами корсиканской гвардии.

47

Филипп IV умер 17 сентября 1665 г.

48

В соответствии с договором, подписанным 7 ноября 1659 г., Мария-Терезия и Людовик XIV отказывались от прав на испанский престол. В договоре отмечалось, что отказ от испанской короны вступает в силу после получения Людовиком XIV приданого в пятьсот тысяч экю. Поскольку приданое так никогда и не было выплачено, а кортесы не утвердили пункт об отречении, Людовик XIV получил формальный повод начать Деволюционную войну за Испанские Нидерланды (1667–1668).

49

12 июня 1672 г.

50

По Аахенскому мирному договору, заключенному 2 мая 1668 г., Франция сохраняла за собой 11 городов, возвратив Испании Франш-Конте.

51

Сравнение царствования Людовика XIV с правлением римского императора Августа (27–14 гг. до н. э.), отмеченным расцветом наук и искусств, стало общим местом во французской официозной поэзии. Впервые оно прозвучало в поэме Шарля Перро «Век Людовика Великого», прочитанной автором на заседании Академии 27 января 1687 г. Метафора Перро вызвала возмущение Буало, Расина и др., усмотревших в этом панегирике утверждение преимуществ «новых» поэтов над «древними».

52

Заключив 27 апреля 1662 г. альянс с Соединенными провинциями сроком на двадцать пять лет, Франция оказывала Голландии военную помощь в ходе англо-голландской войны 1667 г. Однако, заключив между собою мир 31 июля, Англия и Голландия, обеспокоенные военными успехами Франции на континенте, создали новую антифранцузскую коалицию, к которой в январе 1668 г. присоединилась Швеция. Людовик XIV начал военные операции по захвату Соединенных провинций, в то время как государственный секретарь по иностранным делам Лионн, а после его смерти (1671) Арно де Помпонн по дипломатическим каналам делали все от них зависящее, чтобы развалить этот тройственный союз. 12 июня 1672 г. французская армия форсировала Рейн и через неделю вступила в Утрехт. Лишь наводнение спасло Амстердам от уничтожения.

53

Людовик XIV покинул армию 16 июля 1672 г., назначив своими заместителями Тюренна и герцога Люксембургского. Одной из причин его внезапного отъезда явилось, по-видимому, провозглашение принца Вильгельма Оранского голландским штатгальтером.

54

При содействии Вобана Людовик XIV захватил Франш-Конте в феврале-июле 1674 г. Нимвегенский мирный договор (1678), завершивший голландскую войну (1672–1678)., окончательно закрепил эту провинцию за Францией.

См. коммент. 82 к т. 1.

56

9 марта 1678 г., после шестидневной осады, тщательно подготовленной Лувуа, Гент пал.

57

10 августа 1678 г. Франция заключила мир с Соединенными провинциями, 17 сентября — с Испанией и 5 февраля 1679 г. — с императором Леопольдом.

58

22 апреля 1676 г. французский флот под командованием Вивонна Дюкена нанес поражение испано-голландскому флоту адмирала Рюитера; победоносное морское сражение у Липарских островов 2 июня упрочило гегемонию Франции на Средиземном море; в том же году Алжир дважды подвергался обстрелу из корабельных орудий, триполийские корсары были рассеяны в Хиосской бухте, Денонвиль разгромил ирокезскую армию в районе североамериканских Великих Озер.

59

Герцогство Люксембургское было захвачено в ходе мартовской (1682) и июньской (1684) военных кампаний.

60

С 15 по 23 мая 1684 г. Сохранились отчеканенные 15 мая 1685 г. памятные медали с изображением дожа, приносящего Людовику XIV извинения от имени Генуэзской республики.

61

Война за Пфальцское наследство с Аугсбургской лигой (1688–1697).

62

Построенный в 1687 г. в Версальском парке по проекту Мансара, дворец был облицован по фасаду белыми фаянсовыми изразцами с синим узором. Второй дворец, так называемый Малый Трианон, был построен в 1762–1764 гг. при Людовике XV архитектором Жаком Анжем Габриелем (1698–1782).

63

1697 г.

64

Людовик XIV прибыл в Версаль вечером 26 июня.

Рисвикский — см. коммент. 100 к т. 1.

66

На основании Туринского мирного договора (29 августа 1696) Людовик XIV вернул деревни Стаффард (Кунео) и Марсай (Пьемонт), где в 1690 и 1693 гг. герцог Савойский потерпел поражение от маршала Катина.

67

Пышный прием, устроенный английскому послу Джону Вильгельму Бентнику, графу Портленду, состоялся в феврале 1698 г.

68

На основании Рисвикского мирного договора 1697 г. герцогство Люксембургское вошло в состав владений Испании.

69

Сен-Симон имеет в виду вступление на испанский престол под именем Филиппа V внука Людовика XIV, герцога Анжуйского (16 ноября 1700).

70

Шарль-Луи, маркиз де Сент-Эрем, был сыном Франсуа-Гаспара де Монморена, маркиза де Сент-Эрема (1621–1701).

То есть привилегией сидеть в присутствии короля.

72

Сен-Симон ссылается на личные беседы с Людовиком XIV в 1699 и 1703 гг.

Марии-Терезии, дочери Филиппа IV. См. коммент. 48.

74

В 1674 г. принц Оранский отказался жениться на Марии-Анне, будущей принцессе де Контп, которая считалась «наименее постыдной» из внебрачных детей Людовика XIV, поскольку ее мать, мадемуазель де Лавальер, не была замужем.

См. коммент. 28 к т.1.

76

Симон Арно, маркиз де Помпонн, министр иностранных дел, был отстранен от должности в 1679 г.

77

По инициативе Лувуа и с одобрения Людовика XIV в ходе войны 1672–1678 гг. пострадали многие культурные и исторические ценности Рейнской области (Пфальца).

78

Осада Бергена началась 21 марта и завершилась взятием города 8 апреля 1691 г.

79

Лувуа пил воду из железистого источника в оранжерее дворца.

80

Версия об отравлении Лувуа не получила научного подтверждения.

81

Вильгельм III Оранский, король Англии.

82

Карл II Габсбург, с 1665 г. — король Испании.

83

В 1674 г. герцог де Лозен подвергся опале и был заключен в Бастилию, где провел около 10 лет.

84

«…словно находясь в кабаке, король хлопнул в ладоши и постучал всеми ложками и вилками своего столового прибора по тарелке» (см.: Т. 1, р. 801).

85

Шарль-Тома Лотарингский-Водемон (1670–1704), генерал-фельдмаршал императорской армии в Италии.

86

Турин, являвшийся столицей Савойи, был осажден весной 1705 г. В решающем сражении 6–7 сентября 1706 г. французские войска под командованием Лафейада потерпели поражение и вынуждены были оставить Италию. См. коммент. 245 к т. 1.

87

Войска коалиции под командованием герцога Мальборо и принца Евгения Савойского нанесли поражение армии Талара в сражении при Гохштедте в августе 1704 г.

88

Взятый в плен 1 февраля 1702 г. под Кремоной и освобожденный на основании картели (договоренности об обмене пленными), маршал Вильруа возглавил в 1706 г. командование армией во Фландрии, однако и после поражения 23 мая при Рамильи не утратил расположения короля.

89

Маршал де Марсен.

90

Сражение под Турином. См. коммент. 86.

91

Эрцгерцог Карл, второй сын императора Леопольда I, воевал в Испании в союзе с Англией как претендент на испанскую корону. 28 сентября он вступил в Мадрид, однако был холодно встречен населением города. Весть о смерти старшего брата Иосифа I побудила его вернуться в Германию, где он был коронован под именем императора Карла VI.

92

Благодаря выигранному сражению при Альмансе 25 апреля 1707 г.

93

20 августа 1710 г.

Торси был послан в Гаагу на поиски мира в мае 1709 г.

95

На переговорах в голландской крепости Гертрудьенберг, проходивших с марта по июль 1710 г., помощник Вильгельма Оранского Хейнциус потребовал, чтобы Людовик XIV самолично отозвал из Испании Филиппа V, на что король ответил, что «привык воевать с неприятелем, а не с собственными детьми».

96

Леди Мэшем, враждебно настроенная по отношению к герцогине Мальборо, пожаловалась королеве Анне, что герцогиня взяла у камеристки перчатки, прежде чем та успела обслужить королеву. Потерявшая самообладание герцогиня выплеснула воду из миски в лицо леди Мэшем. А вот интерпретация, какую этот эпизод получил в письме Вольтера Фридриху II от 5 августа 1738 г.: «Если бы герцогиня Мальборо не выплеснула воду из миски в лицо леди Мэшем и не забрызгала бы платья королевы Анны, королева не устремилась бы в объятия тори и не предоставила бы Франции передышку, без которой та уже просто не смогла бы выжить».

97

Королева Анна приходилась внучкой Генриетте-Марии Французской, дочери французского короля Генриха IV.

98

В 1712 г. Виллар нанес поражение принцу Евгению в сражении под Дененом, исход которого ускорил заключение Утрехтского мира (1713).

99

В 1659 г.

100

См. коммент. 244 к т. 1.

101

Герцоги и пэры.

102

Увлечение Людовика XIV Гортензией Манчини, племянницей кардинала Мазарини, вызывало эксцентричные вспышки ревности ее мужа Армана де ла Порта. Оказавшись в щекотливом положении. Гортензия Манчини покинула Францию в сопровождении Луи де Рогана. Разгневанный король лишил шевалье де Рогана должности обер-егермейстера. В ответ на это Роган примкнул к заговору против Людовика XIV. Заговор был раскрыт, а Луи де Роган казнен на площади Бастилии в 1674 г.

103

Восстание протестантов в Севеннских горах в ответ на отмену Нантского эдикта (1685). Новое восстание камизаров (1702) было подавлено маршалом Вилларом осенью 1704 г.

104

Брат — Шарль-Франсуа Кольбер, маркиз де Круасси, с 1679 г. — министр; сын — Жан-Батист Кольбер, маркиз де Сеньеле, с 1683 г., после смерти отца, — государственный секретарь по морским делам, с 1689 г. — министр, член Государственного совета.

105

Сен-Симон имеет в виду Германа-Мориса Саксонского (1696–1750), внебрачного сына Августа II, курфюрста Саксонского, маршала Франции, участника войны за Австрийское наследство (1740–1748), с 1747 г. — главнокомандующего французской армией.

106

Виктор-Мари, граф д'Эстре, получил маршальский жезл в 1703 г. в возрасте 43 лет. Стал называться маршалом де Кевр.

107

Побочный сын Якова II, получил маршальский жезл в 1706 г.

108

Напуганные восстанием Парламентской фронды, Мазарини и Анна Австрийская с малолетним Людовиком XIV покинули Париж в ночь с 5 на 6 января 1649 г.

109

Желая сохранить в тайне отношения между Генриеттой Орлеанской и Арманом де Грамоном. графом де Гишем, Луиза де Лавальер покинула Тюильри ранним утром 24 февраля 1662 г. и укрылась в монастыре близ Шайо, где в тот же день вечером ее разыскал Людовик XIV.

110

Анна Австрийская скончалась 19 января 1666 г. 22 января король показался в Версале, а затем в тот же день отправился в Сен-Жермен, где прожил в относительном уединении около двух лет.

111

Мария-Терезия скончалась 30 июля 1683 г. 6 мая 1682 г. Людовик XIV покинул Сен-Жермен и окончательно обосновался в Версале.

Жером Фелипо де Поншартрен.

113

См.: Т. 2, р. 658. Деловая поездка в Руан завершилась небольшой прогулкой: «…мы направились с г-жой де Сен-Симон в Дьепп полюбоваться на море». Тем временем король поручил Поншартрену выяснить, с какой целью и как долго Сен-Симон пробудет в Руане.

114

Леон Пажо (ум. в 1686) и его сын Леон (ум. в 1708), а также Руйе держали на откупе всю королевскую почту.

115

Начальник швейцарской гвардии, маркиз де Куртанво (1663–1721), старший сын министра Лувуа, наткнулся во дворце на тайных шпионов. Не ведая о том, что они расставлены там по распоряжению самого короля, Куртанво разгласил свое открытие, за что немедленно поплатился занимаемой должностью.

116

Привилегией сидеть в присутствии короля пользовались только принцессы крови и герцогини.

117

Здесь, по-видимому, Луи VII (1598–1667), сын Эркюля де Рогана.

118

Салон графини пользовался репутацией «школы галантности».

119

Пьер Нарбонн, автор двадцатипятитомного «Дневника царствований Людовика XIV и Людовика XV с 1701 г. по 1744 г.» (Версаль, 1866), свидетельствует: «Полагают, что строительство Версаля, Трианона, Менаржи и Марли обошлось более чем в шестьсот миллионов».

120

Единственным законным наследником династии Бурбонов оставался Людовик XV, поскольку Филипп V на основании Договора об отречении отказывался от прав на французскую корону.

121

Не в Бастилию, а в тюрьму Фор-Левек.

122

Героиня рыцарского романа «Амадис Гальский», заключенная в заколдованный замок.

123

См.: Т. 2, р. 968.

124

Связь с принцессой де Субиз, Анной де Роган Шабо.

125

Мадам де Монтеспан и мадам де Ментенон.

126

Герцогиня де Роклор, урожденная Мария-Луиза де Монморанси-Лаваль.

127

Мадам де Ментенон родилась во Франции, в городе Ниоре, о чем свидетельствует запись об обряде крещения, занесенная в приходскую книгу церкви Нотр-Дам де Ниор 28 ноября 1635 г.

128

С 1635 г. Поль Скаррон страдал острыми приступами ревматизма, которые в 1640 г. окончательно «приковали его к стулу» и вынудили пользоваться услугами носильщиков портшеза.

129

После смерти герцогини де Ришелье мадам д'Арпажон, названная герцогиней де Брюйер, «была неожиданно назначена статс-дамой дофины». Сен-Симон обходит молчанием тот факт, что Франсуаза д'Обинье, будущая мадам де Ментенон, отклонила предложение занять эту должность.

130

В январе 1650 г. Мазарини, заключив перемирие с Парламентской фрондой, арестовал Конде, Конти и Лонгвиля — лидеров Фронды принцев.

131

В рассказе о смерти герцога де Креки Сен-Симон приводит апокриф о том, как однажды в молодые годы в доме герцога король встретился с гадалкой, которая, не зная, кто он, предрекла ему, что, овдовев, он женится по любви на женщине незнатного происхождения, которая будет помыкать им до последних дней его жизни. Наряду с этим многочисленные документы эпохи свидетельствуют о пророчестве некоего Барбе, то ли каменщика, то ли архитектора, предсказавшего мадам Скаррон головокружительную карьеру.

Янсенистов, изгнанных из Пор-Рояля в 1709 г.

133

Сен-Симон убежден, что лигеры во главе с Гизами были причастны к убийству Генриха III и Генриха IV — деда Людовика XIV.

Людовика XIII.

135

Два эдикта, преследующие не отрекшихся родственников изгнанных гугенотов (январь 1686), декларация в отношении эмигрантов (май) и, наконец, декларация, санкционирующая изгнание пасторов (июль).

136

Правительство Людовика XIV направляло в провинции миссионеров для обращения протестантов в католицизм.

137

Весть о расправе, учиненной католиками над гугенотами в Париже и других городах Франции в ночь с 24 на 25 августа 1572 г., была одобрительно встречена папской курией.

138

Регалиями именовалось право французских королей на получение доходов с епископских диоцезов и на назначение епископов. В 1673 г., а затем в 1682 г. Людовик XIV распространил это право на южные епархии королевства, находившиеся в ведении Ватикана, чем вызвал недовольство папы Иннокентия XI.

139

12 марта 1682 г. тридцать пять епископов совместно с тридцатью пятью священниками приняли составленную Бос-сюэ декларацию из четырех статей. Статья I ограничивала вмешательство пап в дела светской (королевской) власти, в частности отвергала право Рима низлагать королей. Статья II провозглашала прерогативу декретов Вселенских соборов, на которые никто, в том числе и папа, не имел права посягать. Статья III предоставляла свободной галликанской церкви право самостоятельно решать вопрос о принятии постановлений Рима в зависимости от укоренившихся нравов страны и «обычаев отцов». Статья IV, признавая главенствующую роль папы в вопросах веры, оставляла за галликанской церковью право принятия окончательного решения по конкретным вопросам.

140

Связано с обстоятельствами отлучения от церкви маркиза де Лавардена (1643–1701), французского посла в Риме. Посольские особняки и прилегающие к ним дома обладали дипломатическим иммунитетом, чем пользовались скрывавшиеся от правосудия преступники. 12 мая 1687 г. Иннокентий XI издал бреве, разрешающий полиции преследовать преступников даже в посольских помещениях, угрожая строптивым послам отлучением от церкви. В 1688 г. Лаварден во главе небольшого вооруженного отряда отправился в Рим с целью дезавуировать папский бреве, за что и был наказан отлученийм от церкви. В отместку Людовик XIV оккупировал графство Венето; Иннокентий XI ответил альянсом с Вильгельмом Оранским.

141

Мария-Анна Баварская, супруга Монсеньера, старшего дофина.

142

В 1675 г. Боссюэ удалось настоять на временном удалении мадам де Монтеспан, которая в январе 1676 г. разрешилась дочерью, мадемуазель де Тур, впоследствии узаконенной.

143

В марте 1691 г. мадам де Монтеспан окончательно покинула свои апартаменты в Версале, которые перешли к герцогу Мэнскому, ее сыну, и удалилась в монастырь св. Иосифа.

См.: Т. 2, pp. 939–940.

145

Шарль, граф д'Обинье (1634–1703), с 1691 г. — воспитатель герцога Беррийского.

146

Женевьева Пьетр. Она «безобразна», писала Франсуаза д'Обинье брату 25 февраля 1678 г.

Барбезье, Поншартреном, Шамийяром, Демаре и Вуазеном.

«Отдохновение» (франц.).

149

См.: гл. 14, «Гнев короля на г-жу де Торси».

150

В 1709 г.

151

См.: Т. 1, р. 484; Т. 3, р. 383.

152

Супруга министра Торси, урожденная Арну, была родственницей знаменитого теолога Пор-Рояля, янсениста Антуана Арну (1612–1694).

153

Документы эпохи подтверждают роль принцессы дез Юрсен как посредницы между мадам де Ментенон и испанским двором.

154

До апреля 1713 г.

155

Рассказывая о придворных событиях июля 1711 г., Сен-Симон упоминает о травме герцогини Беррийской, повлекшей за собой преждевременные роды.

Герцогинь Бургундской и Беррийской.

157

Персонаж ветхозаветных преданий, пророк, ученик пророка Илии. Став свидетелем вознесения Илии на огненной колеснице, обрел способность творить чудеса.

158

Римский император (с 361 г.), объявив себя сторонником язычества, издал эдикты против христиан, за что получил прозвище Отступник.

159

Франсуа-Луи, принцу Конти, женатому на Марии-Терезе де Бурбон, дочери Анри-Жюля, принца Конде.

160

Герцог Шартрский и принцы крови устранялись от командования в начале войны за Испанское наследство.

161

26 и 27 августа 1714 г.

162

Ассирийский царь, превращенный в быка в наказание за свою надменность. Гигантская статуя Навуходоносора рассыпалась в прах от брошенного в нее камня, поскольку представляла собою колосс на глиняных ногах.

163

Инкогнито посетили французский двор соответственно в 1706 и 1709 гг.

164

Шарль-Морис Ле Телье (1642–1710), с 1665 по 1710 г. — королевский капеллан.

165

Луизу де При (1624–1709), с 1664 г. — воспитательницу детей короля, затем — детей Дофина и герцога Бургундского.

«Отче наш» (лат.).

«Богородице, дево, радуйся» (лат.).

168

В соответствии с 88-й статьей Устава ордена эти обряды совершались 1 января и на Троицу.

169

См.: Т. 2, pp. 351–352.

Карл VI, второй сын императора Леопольда.

171

По сообщению «Амстердамской газеты» (№ 16), граф де Люк устроил 15 февраля в Вене празднества по случаю дня рождения Людовика XV.

172

Ла Врийер как секретарь Совета регентства и Леблан в качестве члена Военного совета.

173

«Разделяй и властвуй» (лат.).

174

Георгу I.

175

К литовскому роду Ягеллонов восходит родословная польского короля Владислава II (1348–1434); короли Дании, Норвегии и Швеции не имели отношения к Ягеллонам.

176

В 1698 г. Петр I аннулировал свой брак с Евдокией Лопухиной, однако продолжал считать себя свояком Бориса Куракина.

177

Царевич Алексей Петрович, умер в тюрьме в 1718 г. Сын Бориса Куракина умер в октябре 1749 г.

Евдокия была сослана в Покровский монастырь г. Суздаля, где и умерла в октябре 1749 г.

179

С Вильгельмом III Петр I встречался во время своего первого турне по Европе в 1697–1698 гг.

180

Отец Петра I Алексей Михайлович Романов (1629–1676) был внуком Федора, патриарха Московского Филарета (с 1619).

181

С 1721 г. патриархия была заменена Святейшим синодом.

182

Петр I вступил на престол после смерти Федора Алексеевича (апрель 1682) и царствовал вместе с Иваном Алексеевичем (1666–1696).

183

Больница в Иври, близ Парижа, основанная в 1634 г.

184

Монастырь ордена, основанного св. Ромуальдом (р. в 956 г. в Равенне) в 1012 г. близ деревни Камальдоли, неподалеку от Флоренции.

185

Роскошный дворец, построенный на средства Себастьяна Замета (1547–1614), обер-гофмейстера Марии Медичи, и проданный его сыновьями коннетаблю Ледигьеру; во все время пребывания царя в Париже дома улицы Серизе были отмечены мелом для придворных, состоящих в свите почетного гостя.

186

В свиту Петра I входили князь Долгорукий, барон Скафыров и граф Толстой.

187

Царь посетил целый ряд мануфактур в Сент-Антуанском предместье, в том числе зеркальные, получившие благодаря стараниям Кольбера статус королевских.

188

С 1699 г. в Большой галерее Лувра устанавливались макеты французских и иностранных крепостей. Ко времени визита Петра I их насчитывалось около ста двадцати семи.

189

Соединял сад Тюильри с Елисейскими полями; строился с 1716 по 1718 г.

190

Апартаменты, занимаемые дофиной Баварской после смерти Марии-Терезии.

191

Инженерное сооружение из колес и насосов, сконструированное голландским инженером Раннекеном в 1682 г. для поднятия воды из Сены в большой водоем, откуда она поступала по акведуку в версальские и марлийские фонтаны.

192

Вторая жена Петра I Екатерина (1682–1727), будущая императрица Екатерина I.

193

Гийом Дюбуа, премьер-министр Франции, начиная с января 1716 г. стал выступать активным сторонником сближения с Англией, тем более что инициатива такого сближения исходила от самого Георга I. Авантюристические планы премьер-министра Альберони (1664–1752), задавшегося целью вернуть Испании уступленные Австрии на основании Утрехтского мирного договора итальянские провинции, и притязания Филиппа V на французскую корону вызвали серьезную обеспокоенность регента Филиппа Орлеанского. С июля 1715 г. Дюбуа начинает тайные переговоры со Стэром, а после интенсивной переписки со Стэнопом (март-апрель) встречается с ним 21 июля 1716 г. на переговорах в Гааге, чтобы 4 января 1717 г. увенчать свои дипломатические инициативы подписанием договора, предусматривающего создание тройственного союза Франции, Англии и Голландии против Испании. В 1718 г. к этому союзу, пафос которого заключался в подтверждении нерушимости условий Утрехтского мира, присоединилась Австрия.

Жозеф Дюбуа (1650–1740).

195

Жан-Батист Дюбуа.

Бестактность (итал.).

197

Тройственный союз Франции, Англии и Голландии потребовал от Филиппа V отказаться от прав на итальянские провинции (герцогства Парма и Тоскана, после прекращения царствовавших там династий, должны были перейти к сыну Филиппа V, инфанту дону Карлосу). Испания отвергла эти требования. Альберони через посредство испанского посла во Франции Челламаре поддержал заговор герцога и герцогини Мэнских против регента. Раскрытие заговора послужило поводом к тому, чтобы 2 января 1719 г. регент по настоянию Дюбуа объявил войну Испании.

198

В морском сражении 13 сентября 1721 г.

199

Потерпев поражение в войне, Филипп V стал искать пути примирения с Филиппом Орлеанским: он принял отставку Альберони и предложил на рассмотрение регенту соглашение о браке 11-летнего Людовика XV со своей дочерью, инфантой Марией-Анной, а также своего старшего сына, герцога Астурийского — с младшей дочерью герцога Орлеанского, мадемуазель де Монпансье. Дюбуа принимал активное участие в этих переговорах и 25 ноября 1721 г. подписал соглашение о браке Людовика XV, а 20 января 1722 г. — принца Астурийского.

200

В 1721 г. в течение шести месяцев Сен-Симон находился в Испании во главе посольства, направленного регентом для переговоров о заключении «двойного брака».

201

Флери Андре Эркюль (1653–1743), аббат, затем с 1726 г. — кардинал, епископ Фрежюса с 1698 по 1715 г., с 1715 г. — воспитатель Людовика XV.

202

В конце главы «О дворе» Лабрюйер характеризует некоего Стратона, которого современники без труда отождествили с Лозеном.

203

Отец Шарлотты де Комон Лафорс (1606–1688), Анри-Номпар де Гомон, герцог де Лафорс (1582–1678), приходился младшим братом Арману-Номпару, герцогу де Лафорсу (ум. в 1675), маршалу с 1652 г.

204

Шарлотта де Комон вышла замуж за виконта де Тюренна в 1653 г.

205

Анна-Мари-Луиза Орлеанская, герцогиня де Монпансье (1627–1693), дочь Гастона Орлеанского, брата Людовика XIII и Марии де Бурбон, герцогини де Монпансье.

206

В действительности — с декабря 1671 по апрель 1681 г., т. е. около 10 лет.

207

Диана-Шарлотта де Комон-Лозен вышла замуж за Армана Ботрю, графа де Ножана.

208

Анна де Комон вышла замуж за маркиза Армана Бельзенса.

209

Мадемуазель, воевавшая во времена Фронды на стороне принцев, увенчала себя рядом блистательных побед, в том числе взятием Орлеана. В Париже, где она была встречена как героиня, в ходе сражения в Сент-Антуанском предместье Мадемуазель развернула орудия Бастилии против королевских войск, чтобы прикрыть отход Принца Конде. «Этот пушечный залп сразил ее мужа!» — прокомментировал Мазарини, подразумевая предполагаемый брак Мадемуазель с Людовиком XIV.

210

После сражения 1 июля 1690 г. на реке Бойн, когда франко-голландские войска были разгромлены Вильгельмом III, Якову II пришлось расстаться с надеждой на скорую реставрацию.

211

Во время эпидемии чумы, свирепствовавшей в Марселе (1720–1721), Дени-Франсуа Ксавье (1671–1755) проявил незаурядную выдержку и самопожертвование, вызвавшие восхищение современников: поэты Ш.-Ю. Мильвуа («Бельзенс и чума в Марселе») и А. Поп («Опыт о человеке») воспели подвиг мужественного епископа.

212

Заседания 1718 г., на котором были зарегистрированы акты о лишении побочных сыновей Людовика XIV- герцога Мэнского и графа Тулузского — привилегий принцев крови, оговоренных в завещании короля. Герцог де Бурбон-Конде был назначен воспитателем Людовика XV вместо герцога Мэнского.

213

Бестактность (итал.).